ISSN 0130 – 6545

6. 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Спасите, пожалуйста, мой мир».

Дети Америки высказываются против ядерной войны.

(Обложка книги, выпущенной американским издательством «Арбор хауз»)

ЛИ БИНГФАН (КНР).
«Мы хотим мира».

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

6 *июнь* *1985*

Содержание

ХАННЕС ВАДЕР — Стихи *(Перевод с немецкого и вступление Б. Хлебникова)* 3

ОСВАЛЬДО СОРИАНО — На зимних квартирах *(Роман. Перевод с испанского Валерия Будылдина)* 9

ЧЖАН КАНКАН — Северное сияние *(Повесть. Перевод с китайского А. Желоховцева под редакцией С. Хохловой. Вступление В. Ф. Сорокина)* 83

СИМОН КАРМИГГЕЛТ — Рассказы *(Перевод с нидерландского Е. Любаровой, И. Волевич, Ю. Сидорина и И. Братуся)* 145

ШРИКАНТ ВАРМА — Стихи *(Перевод с хинди Роберта Рождественского и Александра Сенкевича. Составление и послесловие М. Салганик)* 155

Критика

ИШТВАН КИРАЙ — Литература общечеловеческого воздействия *(Перевод с венгерского О. Громова)* 163

Е. ЧЕЛЫШЕВ — Шрикант Варма. Традиции и поиски 168

АЛЕК БРОК — Размышления о каталонской литературе последних десятилетий *(Вступление и перевод Н. Матяш)* 172

Письма из-за рубежа

ФЕЙ УЭЛДОН — О необходимости феминистской литературы *(Перевод с английского М. Кан)* ✦ ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА — ...С точки зрения человека и его времени 180

Отклики, встречи, впечатления

ГАО МАН — Поездка в Москву *(Перевод с китайского)* 184
А. ВЕСЕЛИЦКИЙ — С любовью к России *(Заметки к «Дневникам Монделло» Франческо Лентини)* 189

Культура и современность

А. ФЕСЮН — «Поколение ленивцев» и «Япония XXI века» ✦ А. КАЦУРА — Мистические культы и экологический пессимизм 195

Заметки писателя

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Махатма Ганди: жизнь и судьба 203

Публицистика

КСЕНИЯ МЯЛО — Молодежь Запада в 80-е годы: контрасты стиля и бытия 215

Наши гости

Н. КИЯМОВА — Эдуард Глиссан (Мартиника) ✦ Л. ЗАВЬЯЛОВА — Ив Бруссар (Франция) 228

Говорят советские издатели

Н. МАШОВЕЦ — О выпуске зарубежной литературы в издательстве «Молодая гвардия» в 1985—1986 годах 232

Среди книг

Издано в СССР

ИРИНА АРХИПОВА — Певец и его книга *(Николай Гедда. Дар не дается бесплатно)* ✦ НИКИТА БОГОСЛОВСКИЙ — Искусство или суррогат? *(Франсуаза Малле-Жорис. Дикки-Король)* ✦ А. НИКОЛАЕВСКАЯ — Беспощадность и великодушие Мюриэл Спарк *(Мюриэл Спарк. Избранное)* 234

Издано за рубежом

А. ПЕТРИКОВСКАЯ — Последняя книга Алана Маршалла *(Бойцы Алана Маршалла)* ✦ АНАТОЛИЙ МЕЛЬНИКОВ — Лен Дейтон: «У меня много общего со шпионами» *(Лен Дейтон. Берлинская игра)* ✦ Н. ПОПОВА — Тень Иудушки Головлева *(Катрин Лепрон. Обход владения)* 239

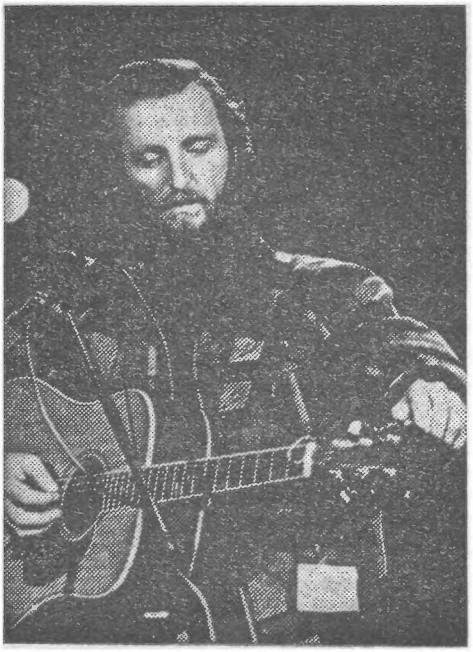
Из месяца в месяц

246

На 1-й странице обложки — ГЮНТЕР БРЕНДЕЛЬ (ГДР). «Праздник юности».

На 4-й странице — ЭНДРЮ УАЙЕТ (США). «Сын Альберта».

© «Иностранная литература» 1985



ХАННЕС ВАДЕР

■

Перевод с немецкого и вступление
Б. ХЛЕБНИКОВА

Поет Ханнес Вадер

Ханнес Вадер — один из наиболее ярких представителей жанра «авторской песни» в ФРГ. Он родился в 1942 году неподалеку от Билефельда. О детстве, прошедшем «меж картошкой и цветной капустой», рассказывается во многих его песнях. Четырнадцатилетнего Ханнеса отец привел в музыкальный кружок рабочей самодеятельности. Ханнес играл на кларнете и саксофоне в маленьких оркестрах, зарабатывая себе на жизнь. В конце 50-х годов Вадер пробует выступать с собственными песнями. Его кумирами были Жорж Брассанс и Боб Дилан, из классиков — Вийон. (Об их влиянии Вадер говорил и позднее, а свой седьмой альбом, 1976 г., он даже назвал «Малое завещание» — по песне из этого альбома, которая перекликается со знаменитым стихотворением Вийона и песенными завещаниями рассанса.) Первы успехи Вадера были ободряющими, и с этих пор песня стала главным делом его жизни.

В 60-е годы, когда «пасхальные марши мира» и митинги протеста против американской войны во Вьетнаме собирали огромное количество участников, «авторская песня» приобрела в ФРГ большую популярность. Политическая злободневность, непосредственное обращение к широкой аудитории, сам образ певца-бунтаря делали «авторскую песню» органической частью массовых движений протеста. Именно в это время стали известны имена Франца Йозефа Дегенхардта, Дитера Зюверкрюпа и Ханнеса Вадера.

В 1969 году вышел первый альбом с двенадцатью песнями Вадера, с которыми он много и успешно гастролирует по ФРГ.

В 1971 году Вадера внезапно арестовывают. Газеты пестрят сообщениями о том, что Вадер якобы связан с левыми экстремистами, но вскоре Вадера освобождают за отсутствием улик. Сам он подозревает, что стал жертвой провокации. Однако с этих пор Вадеру закрыт доступ на радио и телевидение. Более того, через пять лет вновь появляются газетные сообщения о связях Вадера с террористами.

Вадер отозвался на эти сообщения так: «Я выступал не только на коммерческих концертах, но и перед молодыми социалистами, на праздниках газеты ГКП «Унзере цайт», на митингах протеста. Эти обстоятельства, а также характер вопросов при обыске (о содержании моих песен, о моем отношении к практике «запретов на профессию») заставляют предположить, что новая кампания против меня нацелена отнюдь не на борьбу с терроризмом, которому я никогда не симпатизировал. Она нацелена против тех социально активных, критически настроенных по отношению к нашему государству людей, к которым я причисляю и себя».

Несмотря на то, что радио и телевидение бойкотировали Вадера, его известность неудержимо росла. Он выпустил подряд три альбома песен. Один из них был назван «Крысолов».

Существует народная немецкая баллада о событиях, которые якобы произошли летом 1284 года, когда бродячий музыкант спас город Гамельн от крыс. Не получив обещанной награды, Крысолов решил отомстить горожанам и игрой на флейте заманил гамельнских детей в реку Везер.

© Verlag pläne, Dortmund, 1984.

К этой легенде обращались, переосмысливая ее, многие поэты, например, Гёте, Гейне, Цветаева. Переосмыслил ее сюжет и Вадер: в его балладе гамельнские дети помогают Крысолову бороться с несправедливостью. Именно за это горожане изгоняют ребят, а вину сваливают на Крысолова.

В нескольких альбомах Вадер выступает как собиратель и исполнитель старинных баллад, народных песен на нижненемецком диалекте, матросских песен. Особое место в исполнительском творчестве Вадера занимают песни международного революционного и рабочего движения. Среди них «Интернационал», «Вперед, заре навстречу», песня итальянских партизан «Белла, чао», песня чилийских патриотов «Эль пуэбло унидо», русская «Дубинушка», а также песни, хорошо известные нам в исполнении Эрнста Буша: песня тельмановского батальона «Небо Испании», «Песня Единого фронта» Брехта и Эйслера, песня узников фашистских концлагерей «Болотные солдаты». На берлинском международном фестивале «Красных песен» Вадер выступал с хором ветеранов-коммунистов ГДР, тем самым хором, с которым часто пел Буш. Это замечательное свидетельство продолжающихся традиций.

За последние пять лет Вадер выпустил четыре новых альбома своих песен. Теперь главной его темой стала борьба за мир. Журналисты называют Вадера «певцом мечты о мире», «интегрирующей фигурой движения сторонников мира».

Вадеру приходится много ездить по стране. По впечатлениям от своих поездок и встреч он пишет баллады «Сбор подписей» и «Снова в пути», где показаны и молодые безработные, и неофашисты, и «зеленые» коммуны, и молодежные демонстрации протеста. Словом, каждая баллада — это развернутый рассказ о сегодняшнем дне ФРГ.

Недавно западногерманское издательство «Плэнэ» выпустило книгу, в которой собраны все песни Вадера. В ней Вадер говорит: «...когда слышишь от буржуазного критика, что поэт, активно поддерживающий прогрессивные движения, становится тенденциозным, а из-под его пера начинают выходить лишь газетные передовицы, то порою критик оказывается прав. Такая опасность действительно есть, но на то она и существует, чтобы смело принять ее вызов. Ведь при активной общественной позиции поэту открываются огромные творческие возможности. Я считаю, что мои коллеги, которые избегают подобного риска, многое теряют. За этим кроется просто трусость, боязнь проверить делом свои убеждения. А это первый долг каждого художника, который хочет, чтобы его принимали всерьез».

Крысолов

Наверно, вы слышали сказку о том,
как в Гамельне завелись
не то чтоб недавно, не то чтоб давно
несметные полчища крыс.
Бродячим артистом в ту пору я был,
народ веселил по стране,
и вот в старинный Гамельн зайти
однажды случилось мне.
На рыночной площади сразу же я
увидел огромный плакат:
спасителю города обещал
сто талеров магистрат!

Не мешкая, я в магистрат поспешил,
чтоб делу помочь поскорей,
но стражник, который стоял на часах,
меня задержал у дверей.
Однако он все же сказал господам:
пришел-де издалека
какой-то бродяга, с мешком за спиной,
лохматый, а в ухе серьга,
да флейта в руке, но велел передать,
что он за награду готов
навеки наш город избавить от крыс,
поскольку, мол, он крысолов.

Мне долго за дверью пришлось простоять,
потом кто-то мне прокричал:
«Согласны, получишь награду свою,
коль выполнишь, что обещал».

Я с флейтой по Гамельну ночью прошел,
и звук ее был так высок,
что в городе целом никто, кроме крыс,
его бы расслышать не смог.
А нечисть зато услыхала меня,
ее этот посвист манил,
я полчища крыс за собою увел
и в Везере утопил.

Узнавши наутро, что город спасен,
весь Гамельн пустился в пляс.
Но быстро забыли люди о том,
кто ночью их город спас.
Когда же я снова пришел в магистрат
за платой законной моей,
ехидный голос ответил мне
из-за закрытых дверей:
«Тебя, негодяй, чертовщине такой
лишь дьявол и мог научить.
Отправляйся к нему и попробуй с него
свои талеры получить!»

Я сказал, что без денег от них не уйду,
и весь день у дверей просидел,
только зря просидел, ни один из господ
даже выйти ко мне не посмел.
А под вечер вдруг выскочили сторожа
(больше дюжины было их)
и по улицам с бранью погнали меня
вплоть до самых ворот городских.
Напоследок они за дубины взялись:
«Впредь не сунешься в Гамельн, босяк!»—
отдубасили до полусмерти меня
да еще натравили собак.

Я при свете луны свои раны обмыл,
кое-как пыль с лохмотьев стряхнул
и от горькой обиды проплакал всю ночь,
но под утро внезапно заснул.
А когда я проснулся, мой план был готов,
и я в Гамельн вернулся, ведь там,
как всегда, на воскресную службу народ
разошелся в тот час по церквам.
Дома были лишь дети и старики,
так как в церковь не брали их,
а я верил в детей, потому что они
справедливей отцов своих.

Синяки на лице я белилами скрыл,
нос накрасил да как запою,
сразу все ребятишки сбежались ко мне,
чтобы песню послушать мою.
В этой песне я им обо всем рассказал:
как спас город, а в прошлую ночь
выгнан был, словно вор, и ребячьим сердцам
захотелось мне тут же помочь.
Дети Гамельна дружно решили, что впредь
не годится неправду терпеть,
и любую несправедливость они
поклялись сообща одолеть.

Шли дни, но никто из ребят не забыл
об обещании том,
поступки отцов они стали судить
своим неподкупным судом.
Родителям совестно стало, теперь
ночами их мучил стыд,
за это отцом бывал не раз
безжалостно сын избит,
но от побоев только росло
мужество у ребят.
В конце концов, решили отцы
пожаловаться в магистрат.

Властям же важнее всего их покой.
Тому, кто дрожит за власть,
непослушанье бывает порой
страшней, чем любая напасть.
И вот бургомистр приказал отцам
сформировать отряд,
который коварно в эту же ночь
напал на спящих ребят.
Отцы связали своих детей,
заткнули кляпами рты
и тайно из Гамельна увели
среди ночной темноты.

И погрузился город с тех пор
в кладбищенскую тишину,
а за пропавших детей магистрат
свалил на меня вину,
и даже составлен был документ,
мол, с флейтою чародей
увел за собою, чтоб погубить,
из Гамельна всех детей.
Но дети выросли, и они
повсюду теперь живут
и детям своим, и детям детей
баллады мои поют.

Там, где на помощь приходят в беде,
там, где за правду стоят,
там непременно отыщется след
гамельнских ребят.
Есть еще в мире насилье и страх,
несправедливость и гнет,
вот почему покоя и мне
сердце мое не дает.
Вот почему неустанно готов
с песней о зле и добре
снова ходить по земле Крысолов,
чтоб ее петь детворе.

Пока не сгинет среди людей
неправда, до этих пор
я буду песней учить детей
неправде давать отпор!
Я буду песней учить детей
неправде давать отпор!

Оглядываясь назад

Я плутал довольно долго
меж удач и неудач,
ничего не видел толком
или вовсе был незряч,
без тебя бы я, наверно,
и остался бы слепой.
Жаль, что я сейчас так редко
вижусь именно с тобой.

Прежде я порой невольно,
хотя был и сам раним,
причинял немало боли
людям самым дорогим,
а теперь душа иною
стала, взяв с тебя пример.
Жалко, что тебя со мною
нету именно теперь.

Я искал свою дорогу
среди тысячи дорог,
ставил целей слишком много,
но дойти до них не мог.
Это ты мне посветила
путеводною звездой.
А дорога разлучила
меня именно с тобой.

Добрые времена

До чего надоел затянувшийся зной.
Дождь пошел, и я выскочил в сад,
только с улицы вскоре вернулся домой,
ни прохладе, ни влаге не рад.
У меня от дождя покраснели глаза,
жжет лицо и ужасно болит голова.
Я на улицу хмуро гляжу
из распахнутого окна —
там по листьям пожухлым течет не вода,
а разбавленная кислота,
и пытаюсь себе представить
старые добрые времена.

Но боюсь, что на нашей земле испокон
до сих пор еще не было добрых времен,
а какой быть ей завтра,
решится сейчас:
кромешным ли адом,
цветущим ли садом —
все зависит от нас!

Прежде эта округа зеленой была,
воздух чище, прозрачней ручей,
но метелью ее заметала зола
из огромных и страшных печей.

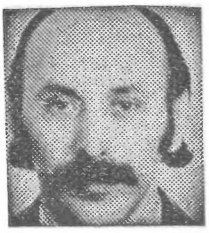
Охранялись те печи надежно вполне
и тайком жгли людей
в том смертельном огне,
но едва только в здешних краях
повисал легкий смрад сладковатый,
сразу прятались птицы и звери куда-то,
а парочку, что целовалась в кустах,
охватывал страх.

Я в далекие вглядываюсь века.
Там из жижи кровавых болот
то багровой струей вытекает река,
то дремучая чаща встает.
В винной бочке пустой,
не боясь винодела,
поселилась волчица с волчатами смело.
Там дороги травой заросли.
Замолчали часы похоронно,
и, покрытые птичьим пометом,
встали стрелки над городом мертвым,
а руины домов обживают вороны.

Налетел ураган, атлантический шквал
облака грозовые в куски
прямо над головами у нас разорвал,
как набитые градом мешки.
Ослабела, наверно, стихия, а то бы
нам всемирного вновь не избегнуть потопа.
Сил нет прежних, природа
смертельно больна.
Но мы знаем ту клику, что губит планету.
Вот когда мы сумеем призвать их к ответу,
вот тогда и наступят
добрые времена!

А пока что на нашей земле испокон
до сих пор еще не было добрых времен,
а какой быть ей завтра,
решится сейчас:
кромешным ли адом,
цветущим ли садом —
все зависит от нас!

■



ХЛЕБНИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1943 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассанса (Франция)—«ИЛ», 1982, № 7; стихи У Дж. Смита (США); Г. Грасса (ФРГ) — «ИЛ», 1983, № 10 и других немецких поэтов.

ОСВАЛЬДО СОРИАНО

На зимних квартирах

РОМАН

Перевод с испанского ВАЛЕРИЯ БУДЫЛДИНА

I

Двое ожидавших на перроне явно скучали. Один из них, как мне представилось, старший по чину,— в черном залоснившемся костюме — стоял с окурком в углу рта. Другой — грузный, в синем комбинезоне — размахивал еле мерцавшим фонарем, сигналя машинисту. Я взял чемодан и двинулся к выходу. Вагон был почти пуст, немногочисленные пассажиры безмятежно спали. Я спрыгнул на перрон и огляделся.

Из вагона первого класса вывалился некто ростом под два метра и весом не меньше центнера; на мгновение он замер, вертя головой во все стороны, будто надеясь, что здесь ему все же вручат букет цветов. Грузный засвистел и разразился бранью в адрес машиниста. Человек в черном костюме подошел ко мне и, улыбнувшись, поздоровался.

— Вы Моралес? — произнес он, не расставаясь с окурком.

Я улыбнулся в ответ.

— Нет, я Гальван.

— Андрес Гальван! — Он протянул мне руку.— Карранса, начальник станции. Где вы намерены остановиться?

Я было раскрыл рот, собираясь спросить, что он посоветует мне, как увидел солдат. Тот, что повыше ростом, без особой уверенности показывал на меня, второй же, смуглолицый, в надвинутой на уши каске, торчал чуть позади, едва различимый. У сержанта топорщились усищи, которые эта публика отращивает, чтобы держать в страхе новобранцев.

— Документы,— выдавил сержант.

Начальник станции заговорил вдруг изменившимся голосом — глуховатым и хриплым:

— Это Гальван... известный певец... Вроде ничего такого...

Я протянул удостоверение личности. Сержант взглянул на него, повертел и что-то записал в книжечку.

— На праздник приехали? — спросил он, не глядя на меня.

— Да. Меня пригласил сеньор Суарес.

© Osvaldo Soriano, 1982.

ОСВАЛЬДО СОРИАНО — OSVALDO SORIANO (род. в 1943 г.)

Аргентинский писатель, сценарист, журналист. В 1976 г. после военного переворота в Аргентине эмигрировал во Францию. Там вместе с Хулио Кортасаром основал журнал латиноамериканских прогрессивных писателей «Син сенсура». Автор романов «Печальный, одинокий и последний» («Triste, solitario y final», 1973), «Не будет больше ни горя, ни забвения» («No habrá más penas ni olvido», 1980), других произведений.

Роман Освальдо Сориано «На зимних квартирах» («Cuarteles de invierno»), повествующий о жизни в Аргентине времен господства военной диктатуры, переведен и издан в ряде европейских стран, экранизирован. В «ИЛ» печатается по изданию Editorial Bruguera, S. A., Barcelona (España), 1982.

— Капитан Суарес,— поправил он.

— Капитан Суарес,— повторил я.

Он вернул мне удостоверение, перевел взгляд, посмотрел через мое плечо и вдруг заорал:

— Стой!

Верзила, приехавший в первом классе, уже почти протиснулся в дверь зала ожидания. Солдаты прицелились ему в спину, а чтобы попасть в него, совсем не надо было быть чемпионом — на такой спинище запросто можно накрыть банкетный стол. Он опустил на землю сумку и невозмутимо поглядел на них. Лицо невеселое, да и весь он производил впечатление человека, которому чертовски наскучило таскать свое тело по свету. Одет в длинную кожаную куртку и потертые джинсы.

— К стене! — скомандовал сержант и показал на рекламу какого-то ресторана. Верзила не заставил себя упрашивать: поднял руки, выпятил зад и уперся пятернями в рекламу. Смуглолицый солдат принялся его ощупывать, хотя это оказалось задачей непростой. Сержант, стоя поодаль, разглядывал при желтоватом свете документы верзилы.

— Рочита... ведь это...— произнес за моей спиной начальник станции.

Поезд тронулся, и конец фразы я не расслышал.

— Что вы сказали?

— Роча это, говорю,— и он показал на верзилу, хладнокровно взиравшего на то, как роются в его сумке.— Очень неплохой вообще-то боксер. Только, по-моему, немного медлителен, а?

Я пригляделся. Действительно, шустрым этого Рочу не назовешь. Спокоен, хотя у подобных верзил беспокойство обнаружить нелегко.

— Не знаю,— ответил я.— Никогда не видел его.

— По телевизору,— продолжал начальник,— когда он парагвайца разделал, как бог черепаху... Кулачина у него зверский, но быстроты реакции не хватает.— тут он придвинулся ко мне и спросил, понизив голос: — Правда, что он уже того... кончился, одним словом?

— Кончился? Почему?

— Говорят. Вы ведь из Буэнос-Айреса, должны знать.

Я повторил, что вижу его впервые, и вышел через пустой зал ожидания на улицу. Довольно широкая, обсаженная цветущими деревьями, она, похоже, вела к центру. Я не спеша двинулся вперед. На углу увидел пустырь, поросший бурьяном, а в зарослях некое подобие лачуги, притулившейся к двум мощным древесным стволам. Пройдя еще пару кварталов, я миновал таверну, где шестеро завсегдатаев дулись в карты и выпивали. Не останавливаясь, лишь скользнув по ним взглядом, я перешел на другую сторону. Знойный ветерок слегка ласкал листья акаций. По улице проехал армейский джип, в нем сидели те самые парни, что проверяли наши документы на вокзале. Я вспомнил, что еще из дома захватил с собой бутерброд с ветчиной и сыром. Положив чемодан на капот стоявшей у тротуара машины, я достал пакет и продолжал свой путь, на ходу откусывая отсыревший хлеб. Поглядывая на серые, обветшалые дома, я пытался представить себе, чем заняты обитатели этого городишка, скажем, в десять вечера. Вдруг за спиной у меня загромыхали шаги, будто Кинг-Конг[1] вновь вырвался на свободу. Невольно обернувшись, я снова увидал верзилу, который торопливо вышагивал по проезжей части. Он топал так, словно задался целью раздавить всех здешних муравьев. Я решил его подождать. Верзила двигался, не сгибая колен, казалось, будто он переступал на ходулях. Голова выдвинута вперед, сумка заброшена за спину. Поравнявшись со мной, он остановился, переводя дух.

[1] Гигантская обезьяна — персонаж нашумевшего в свое время одноименного американского фильма. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Догнал,— послышался его почти утробный голос.

Глаза Рочи были маловаты для такого лица, зато нос как у любого из боксеров-ветеранов. Я смотрел на него, не зная, что сказать, и наконец спросил:

— Все в порядке?

Он улыбнулся, опустил сумку на землю.

— Ага,— сказал и поглядел на меня застенчиво.— А у меня есть ваша пластинка. Представляете? Ну та, где «Последняя пирушка».

Он произнес это так, будто был единственным в стране обладателем моей пластинки. Я прожевал остаток бутерброда, ожидая продолжения.

— Петь приехали? — спросил он, вынимая платок и вытирая потный загривок.

— Да, на празднике. У них тут завтра годовщина — сколько-то там городишке.

Не успел я договорить, а он уже понимающе кивнул, будто мой ответ его порадовал.

— Вы тоже прикатили сюда подзаработать, а?

Вопрос прозвучал нагловато, если учесть, что задавший его перед этим признался, что хранит мой диск. Я только развел руками, будто подтверждая — «как же иначе», а он опять тряхнул головой.

— Роча. Очень приятно,— промолвил верзила и протянул руку, длинную и тяжелую, как пожарный шланг.

— Очень рад,— ответил я.

Он поднял сумку, и вся его туша приготовилась сделать первый шаг. Мы шли молча, а он то и дело поглядывал на меня. Только на углу уже, панибратски хлопнув меня по спине, сказал:

— Здорово поете, черт побери.

II

Старуха хозяйка провела нас в самую дальнюю комнату. Дверь из нее выходила в просторный внутренний двор, засаженный цветами и обрамленный крытой галереей. На одной из постелей спала кошка, она лениво приоткрыла глаза, услыхав наши шаги. Роча оглядел стены, потолок и распятия в изголовьях кроватей.

— Не пойдет,— сказал он наконец,— окон нет.

Старуха неодобрительно покосилась на него и отошла к двери в ожидании нашего окончательного решения.

— А что, с окнами на улицу разве нет? — В голосе его прозвучала обида.— Мне необходимо окно, воздух, много воздуха. Я боксер, понимаете?

Бьюсь об заклад, что никому бы и в голову не пришло принять его за священника или бизнесмена.

— А мой друг поет,— добавил он.— Легкими оба живем, сеньора, легкими.

— Можно, конечно, и с окнами на улицу, но цена ей будет другая.

Роча встрепенулся.

— Порядок, бабушка, пойдет!— Он был доволен.

— Но вам придется заплатить лишнюю сотню, ведь я подготовлю ее специально для вас...

Я было подумал, что для меня это дороговато, но Роча поторопился с ответом:

— Говорю, бабушка, цена не имеет значения. Вы нам дайте ключ, а мы пока пойдем перекусим. Или, может быть, уже поздно и у вас в городишке все позакрывалось?

Старухе явно не понравилось это «у вас в городишке», но она все же объяснила нам, где можно поесть.

Лично мне вполне хватило бы сандвича, однако верзила излучал

столь заразительное жизнелюбие, что я решил составить ему компанию.

Ресторан оказался из тех, куда ходят показывать свои туалеты. Войдя в зал, Роча приостановился в дверях, чтобы оглядеться. Любой незнакомец привлек бы здесь внимание, тем более неудивительно, что появление такого гиганта произвело сенсацию. Мы не сделали и десятка шагов в глубь зала, а уже все смотрели только на нас. Роча широко улыбался и кивал направо и налево, хотя никто из сидевших в зале не отвечал на его приветствия. За столиками, а их было примерно с полдюжины, посетители были заняты уже десертом. Я поспешил в дальний угол, чтобы укрыться от любопытных взглядов, но не успел занять место, как услыхал донесшийся издалека свистящий шепот:

— Сюда, Гальван, сюда — здесь лучше.

Шепоту Рочи мог бы позавидовать любой продавец лотерейных билетов. Он уселся в самом центре зала и уставился на официанта, словно недоумевая, как это до сих пор его не обслужили. Я не спеша подошел и сел напротив.

— Почему это вы прячетесь? Вы разве не видите, что тут мы знаменитости?

Его взор излучал теплоту и нежность. Официант приблизился к нам и, хотя произнес «господа», обратился лишь ко мне; он явно красил остатки шевелюры, тщетно пытаясь замаскировать обширную плешь на голове последними прядками с самого затылка. Я выбрал бифштекс с жареной картошкой. Роча потребовал поджаренную на решетке говяжью требуху — «для обоих» — и литр вина, но официант продолжал смотреть только на меня, считая, видимо, что угощаю именно я.

— Значит, бифштекс не надо,— сказал он.

— Это мне,— ответил я.

— И требуху обоим,— настаивал Роча.

— Не чересчур ли? — ехидно прокомментировал официант, вновь не удостоив моего спутника взглядом.

Тогда Роча взял его за плечо и резко повернул.

— Обоим,— повторил он мрачно.

Плешивый отошел, воздержавшись на этот раз от комментариев.

— А вообще-то не надо злить официантов,— вдруг заметил Роча с ноткой раскаяния,— иначе заранее испоганят вам все, кусок в рот не полезет. Сам служил официантом, знаю.

— Не в таких городках,— с надеждой произнес я.— Здесь народ добрее.

Он расхохотался. Его хохот вызвал у меня раздражение.

— Вы, я вижу, не часто выезжаете из столицы,— сказал он и провел левой рукой по густым, лоснящимся волосам. Тут только я заметил шрам на тыльной стороне руки. Двое за соседним столиком посматривали в нашу сторону и вполголоса что-то обсуждали. Один из них, помоложе, был в сером костюме и выглядел совершенно заурядно; другой — коротышка лет пятидесяти — выделялся огромной красной бабочкой на белой сорочке. Черный костюм сидел на нем идеально, разве что жилет был несколько тесноват.

Официант принес заказ. Роча нагнулся над тарелками и какое-то время изучал бифштекс и жаркое.

— Можете есть спокойно,— объявил он,— плевков нету.

Я пересилил себя и принялся за еду. Не успел я разделаться с картошкой, как Роча уже проглотил свое жаркое и опустошил бутылку. Затем он присвистнул, подзывая официанта, словно подзывал такси. На этот раз плешивый предпочел держаться на расстоянии.

— Клубнику обоим и кофе.

Я не скрывал своего неодобрения, но он преспокойно дожевывал последний кусок хлеба.

— Я работать сюда приехал, а не наедаться как боров,— сказал я.— А вы кого из себя строите — не Кассиуса ли Клея?

Он посмотрел на меня так, будто не понял издевки, и промычал:

— А вы хоть раз видели его, Кассиуса Клея?

Ну разве можно было обижаться на человека, чьи глаза сияли искренним восторгом!

— Раза два, по телевизору,— ответил я.

Роча замолчал, нагоняя на себя притворную скромность.

— Довелось мне с ним драться, когда он первый раз приезжал... от нашей Федерации.

Он ждал, следя за тем, какое впечатление произведут на меня его слова.

— Ну и?

— Вы небось считаете, что такое могут доверить у нас любому?

Официант принес клубнику и кофе, но Роча даже не заметил его появления. Боксер резко отодвинул стул назад и, встав, как бы изготовился к бою.

— Я его раскусил. Все отдают ему инициативу с ходу, а он знай себе поигрывает левой и — р-раз! Удар наверняка.

— Не будем здесь устраивать представление,— взмолился я.

Но он ничего не слышал. Последовал боковой правой, и кулак его застыл в десяти сантиметрах от моего лица. Я украдкой огляделся. Молодая пара собралась уходить, юноша подавал своей спутнице пальто. Коротышка с красной бабочкой остался один и все поглядывал на нас, видимо намереваясь заговорить.

— Вот так всякое дурачье и валится с ног, ясно? А если я улучу момент, когда он откроется, что будет?

Он уронил кулачищи и смолк, ожидая моего ответа.

— Клубника,— подсказал я.

Он будто удивился, обнаружив перед собой вазочку с ягодами. Мгновение спустя вазочка была пуста.

— Если вы составите мне компанию, я не прочь повторить...— и он показал на бутылку.

Я побоялся, что его вконец развезет.

— Пойдемте куда-нибудь в другое место. Здесь закрывают.

Я опять огляделся. Кроме нас в зале оставался один коротышка, следивший за каждым нашим движением.

Волосы, причесанные на пробор, отливали у него бриллиантином, грудь едва возвышалась над столом.

— Ладно,— вздохнул Роча и подал знак официанту, который мгновенно подскочил, обрадовавшись, что мы уходим. Верзила достал изрядно потрепанный кожаный бумажник.

— Я заплачу,— заявил он, подчеркивая свое превосходство.

Я же решил не поддаваться и предложил:

— Нет, заплатим поровну.

Он улыбнулся. Улыбка должна была еще раз подчеркнуть мое бедственное по сравнению с ним состояние и возвысить его мнимое достоинство. Вытащив из бумажника несколько банкнот, он протянул их официанту. Плешивый в свою очередь улыбнулся, но не тронулся с места и не спускал глаз с Рочи.

— Уже уплачено, сеньор,— произнес официант и показал на соседний столик, из-за которого поднялся коротышка.— Доктор вас приглашает.

Даже тоном своего голоса официант выражал особую почтительность к тому, кого он назвал доктором.

Я был готов уже поблагодарить, как принято в подобных случаях, но Роча, раздосадованный, словно младенец, у которого отобрали соску, с недовольной гримасой спросил:

— Что еще за доктор?

— Доктор Эсекиель Авила Гальо, к вашим услугам,— предста-

вился коротышка, очутившись у нашего столика, и протянул нам мягкую и липкую ручонку, затем резной деревянной тростью указал на дверь.

— Надеюсь, не откажете в любезности выпить со мной по бокальчику, господа,— осклабился он, его красная бабочка задергалась на жирной шее в такт словам.— Мне очень хотелось бы с вами побеседовать.

III

Мы пересекли площадь. Ночь была теплой, весна расцветила клумбы. Доктор Авила Гальо сорвал красную гвоздику и аккуратно прикрепил ее к лацкану пиджака. Некоторое время шли молча; доктор элегантно опирался на трость, а Роча все старался не уронить своего достоинства. Я слегка отстал, наслаждаясь ароматом цветов и рассматривая едва освещенную площадь. Неожиданно Авила Гальо остановился, поднял голову и раскинул руки, точно пытаясь объять вселенную.

— Господа,— воскликнул он,— вот он, наш многострадальный город!

Роча притормозил, неуклюже развернулся и застыл, уставившись на доктора. Я тоже остановился, так что тот оказался между нами и выглядел довольно смешно со вскинутыми вверх ручками, тыча острием трости в церковную колокольню. Вздохнув, он уронил лапки и понизил голос.

— Если бы вы знали, как необходим нам праздник,— заговорил он. Потом показал пальцем на меня.— Вам предстоит петь в театре «Авенида» для публики избранной, безупречной; там будут и военные, а если обещаете не исполнять ничего такого — вы понимаете, что я имею в виду,— то придут и три наших священнослужителя. Не бог весть какое веселье, но ведь вам за это платят, верно? Самое важное, чтобы заплатили.

Затем он взглянул на Рочу.

— Вот у вас совсем другое дело — зрелище для народа. В клубе «Союз и Прогресс». И будьте начеку — правой Сепу́льведа бьет без промаха. Семь нокаутов подряд.

Роча плюнул на ствол ближайшего дерева.

— Если он вас одолеет, то будет драться на чемпионате.

Роча сплюнул еще раз, но промолчал. А я думал о своей публике.

— Стало быть, вы хотите сказать, что не каждый сможет послушать меня?

— Разумеется нет.

Он определенно давал понять, какую высокую честь решили оказать мне власти.

— А не могли бы мы чего-нибудь выпить? — поинтересовался Роча, прислонившись к тому дереву, на которое только что плюнул. Доктор взглянул на него и услужливо захихикал.

— За этим и идем. У меня дома припасено несколько бутылок бургундского. И виски найдется, если вы предпочитаете.

У кинотеатра «Авенида» стояли два такси, а рядом торчали двое солдат в касках и с автоматами, очень похожие на тех, что были на вокзале. Коротышка поздоровался с ними, один из солдат откликнулся: «Как поживаете, доктор?» — второй молча свободной рукой отдал честь.

Пешком мы прошли несколько кварталов. Жил коротышка в старом особняке со светлым, свежевыкрашенным фасадом. На входной двери красовалась табличка: «Доктор Эсекиель Авила Гальо. Адвокат». По обеим сторонам от входа — окна, подальше — небольшая железная дверца, которая, по-видимому, и вела в недра адвокат-

ской обители. Хозяин распахнул дверь и жестом пригласил нас в дом. Из дальней комнаты доносились голоса «Би Джиз» [1]. Мы очутились в просторном кабинете с застекленными книжными шкафами, в одном из которых я заметил переплетенную подшивку «Закона» до 1967 года. На письменном столе возвышалась гора каких-то папок. На трех имевшихся в комнате креслах скопился порядочный слой пыли, а на облупившейся дальней стене висела картина маслом, изображавшая триумф Сан-Мартина в Чакабуко [2]. Справа от нее красовалось фото какого-то деятеля с допотопной прической и мрачным взглядом. Я невольно заинтересовался, и доктор пояснил:

— Ортис[3], единственный смелый и честный гражданский президент за всю историю нашей страны.

Роча качнул головой в знак согласия. Доктор указал нам на кресла, сам же расположился за письменным столом. Я осторожно присел, стараясь не запачкаться, а верзила вытащил платок и принялся самым беззастенчивым образом вытирать пыль. Я закурил. Авила Гальо посмотрел на меня, вывалил содержимое стоявшей на столе пепельницы в корзину для бумаг и передал пепельницу мне как раз в тот момент, когда я начал было ее разыскивать. Мы столкнулись на полпути между моим креслом и его столом; он дружелюбно пожал мою руку и доверительно прошептал:

— Что предпочтете выпить? Виски? Отличного вина? Или кофе?

Потом обратился к Роче:

— Вы, очевидно, остановитесь на бургундском, не так ли?

Роча удобно устроился в кресле, которое скрылось под его тушей.

— Только не белое,— послышалось в ответ.

Авила Гальо едва заметно усмехнулся и весело, но все же не без укоризны произнес:

— Бургундское не бывает белым, друг мой, на то оно и бургундское. Сейчас сами убедитесь.

Он вышел в коридор. Некоторое время мы сидели молча, а потом Роча негромко присвистнул, хотя мы были в двух метрах друг от друга, и я понял, что это у него в крови. Я повернулся к нему:

— Симпатичный карапуз, а?

Я поднес палец к губам, призывая к молчанию, и он понимающе кивнул. Какое-то время мы лишь переглядывались. Наконец появился хозяин.

— Друзья,— произнес он торжественно и опять почти исчез за столом,— я пригласил вас к себе на бокал вина потому, что вы мне нравитесь, однако не скрою, мной движет и профессиональное чувство.

Это уже становилось занятным. Он выдержал короткую, несколько театральную паузу, а заговорив вдруг, словно увеличился в размерах.

— В наше время успешная организация праздника — весьма сложное дело, господа, и вы это знаете не хуже меня. Раньше можно было обойтись любой чепушинкой. А в столь трудные для нации времена сделать так, чтобы праздник был праздником от начала и до конца, это вам не индюшачьи сопли, извините за выражение.

— Точно,— согласился Роча.

— О, вы меня понимаете,— доктор одарил его явно заговорщицким взглядом.— Вы ведь отлично знаете, что в наше время даже для исполнения марша в школе нужна смелость.

---

[1] Популярный английский ансамбль рок-музыки.

[2] В битве, развернувшейся 11 февраля 1817 года в районе Чакабуко в Андах, патриотические силы под командованием национального героя Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартина разгромили испанских роялистов, обеспечив независимость Чили.

[3] Речь идет о Роберто М. Ортисе (1886—1942), занимавшем пост президента Аргентины с 1938 по 1940 г.

Он оценивающе посмотрел на нас. Я потушил сигарету, не сводя глаз с него.

— Отвага, дисциплина и патриотизм! — провозгласил он, припечатав ладони к столу.— А потому не обойтись без опытного организатора, мозгового центра, если хотите, а таковым могу стать только я, не сочтите за нескромность.

Роча с серьезным видом покачивал головой.

— Вот, значит, вы и добудете мне халат,— сказал он.

От неожиданности Авила Гальо остолбенел.

— Боксер вашей...— он запнулся,— категории... и не имеет собственного халата?

Мне показалось, что лицо Рочи залилось краской.

— Забыл дома,— буркнул он и опустил глаза, словно не выдержав сурового взгляда доктора Эсекиеля Авилы Гальо.

Наш организатор как будто вознамерился произнести очередную сентенцию, но отворилась дверь, и вошла она.

На ней была цветастая блуза под горло, быть может несколько мешковатая. Высокая, стройная. Простые черты лица, не тронутые косметикой. Длинные черные волосы схвачены гребешком. Девушка лет двадцати, она определенно была не из тех, что коллекционируют разбитые сердца в таких городишках, как Колония-Вела. Взгляд наивен и робок, явно глаза ее никогда не видели ничего такого, что было бы за пределами дозволенного. Одарив нас ласковой улыбкой, она поставила на стол поднос.

— Мартита,— представил ее доктор.— Моя дочь.

Мы поднялись. Она протянула нам белую изящную руку, которую я учтиво и осторожно пожал, а доктор по-старомодному изрек:

— Свет очей моих.

Его слова так и повисли в воздухе. Я сел в свое кресло. Доктор продолжал стоять за столом, опершись руками о папки и с гордостью поглядывая на дочь. Маленькие карие глазки Рочи впились в нежную шею девушки, потом скользнули ниже и, видимо не обнаружив ничего выдающегося, зацепились за худенькие бледные руки. Она осторожно вытащила руку из клещей верзилы и подала нам бокалы. Потом, пробормотав: «С вашего позволения», удалилась столь же застенчиво, как и вошла. Роча медленно опустился в кресло, глядя на закрывшуюся за ней дверь.

— Вот это настоящее бургундское,— сказал доктор, причмокивая, смакуя вино. Роча, тем временем придя в себя, разом опрокинул бокал.

— Вкусно,— сказал он и посмотрел на донышко бокала.

Авила Гальо шлепнулся в кресло, явно разочарованный.

— Какой вам нужен халат? — перешел он к делу.

— Что? — Верзила, похоже, думал о чем-то другом.

Доктор взял карандаш и раскрыл записную книжку.

— Я вижу, вас одолевает сон, сегодня не буду вас больше задерживать. Я спросил, какой халат вам нужен.

— Да любой, только по мне.

Я попытался вообразить, где Авила Гальо сможет раздобыть халат такого размера. Разве что сдерет крышу с шапито. Доктор что-то пометил в своей книжке и обратился ко мне:

— Надеюсь, у вас все необходимое имеется. Завтра вы можете познакомиться с оркестром и прорепетировать. Аккомпаниатор не плох.

Я кивнул, допил кофе и изобразил на лице усталость.

— И последнее, друзья. На вашем месте я бы избегал общения с публикой до выступления. С другой стороны, если местные газетчики будут брать у вас интервью, я бы очень просил вас — это моя

личная просьба, поверьте — не забыть отозваться надлежащим образом о выдающейся роли вооруженных сил, об их инициативе и усилиях в организации этого праздника для жителей нашего города.

Он что-то еще узрел в книжке и стремительно поднялся.

— Господа, увидимся завтра на утренней мессе.

И, не дав нам возможности согласиться или возразить, подскочил к двери, плавно отворил ее и позвал:

— Мартита! Господа уходят!

Мы с Рочей переглянулись. Неслышно вновь возникла Марта. На этот раз она распустила волосы, и они волнами ниспадали на плечи. В руках у нее было нечто вроде рекламного приложения в два разворота с плохо пропечатанным текстом. Обращаясь к Роче, она сказала:

— Тут ваше фото,— голос ее от застенчивости дрогнул.

На фотографии Роча казался лет на десять моложе, и узнать его можно было лишь с большим трудом. Две колонки почти слепого текста были озаглавлены: «Сегодня в Колонию-Велу прибывает известный боксер Тони Роча».

— А, такое же фото было напечатано в газете «Кроника»,— сказал Роча, выпятив грудь,— как раз в тот день, когда я отправил в нокаут Мурильо в Луна-парке.

Я попрощался с Мартой и ее отцом. Как только вышел, почувствовал головную боль — духота была невыносимая. А Роча никак не мог расстаться с Мартой и что-то торопливо нашептывал ей в коридоре. Наконец Авила Гальо, широко улыбаясь, еще раз пожал нам на прощание руки. Мне не терпелось броситься в постель. На углу Роча хлопнул меня по спине и изрек:

— Значит, завтра на мессу, ну как, а?

Я не ответил. Признаться, я уже жалел, что не снял отдельную комнату. А он продолжал:

— Да что с вами? В бога не верите?

Я молчал. Тогда он взял меня за руку и попросил, на этот раз негромко:

— Сделайте мне одолжение, Гальван. Я всегда молюсь перед боем.

— Голова болит,— сказал я.

Перейдя улицу, я было ускорил шаг, однако он тотчас же нагнал меня.

— Так бы и сказали, старина! В пансионе я вам сделаю массаж, и все будет в порядке. Я в этих делах дока. Когда обходишься без тренера... Представляете, если разболится голова перед боем... должен уметь, а?

Я взорвался.

— Оставьте меня, катитесь ко всем чертям! — заорал я.— Отправляйтесь в церковь, бросайтесь в реку — куда угодно, только оставьте меня, черт вас возьми! Не могу слышать больше ничего!

На этот раз он отстал. Вернувшись в пансион, я сразу же выключил свет.

IV

Кто-то тряс меня так, будто начался пожар. Я в ужасе проснулся и обнаружил, что Роча пытается меня растолкать, ухватившись за плечо. Он зажег все лампы и стоял у моей постели явно в нерешительности. Еще мгновение — и я окончательно проснулся, с досадой почувствовав, что голова продолжает болеть. Прежде чем я успел послать его подальше, Роча скорчил рожу и буркнул:

— Поклонника вам привел.

На пороге застыл какой-то сморчок в немыслимо широких шта-

нах под гаучо и шляпе а-ля Гардель[1]. Он опирался на гитару, как будто позировал фотографу.

— Извините,— взмолился я,— я неважно себя чувствую и хотел бы еще поспать, если вы, конечно, не против.

Роча выглядел крайне разочарованным.

— Да ведь этот малый — сущий виртуоз, когда играет на гитаре,— и он ткнул в сторону сморчка мизинцем.— Давай проходи, Ромерито! Приветствуй маэстро! — заорал он.

Ромерито чуть ли не прыгнул на меня, чтобы пожать мне руку.

— Это просто клад, а не парень,— заявил Роча и у своей постели начал раздеваться. «Парню» под шляпой было никак не меньше шестидесяти.

— Счастлив познакомиться, господин Гальван,— промолвил он и принял прежнее положение, опершись на гитару.

— Очень приятно,— ответил я.— Рад познакомиться. Вы не будете возражать, если мы выпьем кофе и побеседуем завтра? А сейчас я немного устал, поверьте.

— Ваше исполнение «Мадресельвы»[2] превосходит первоначальную интерпретацию,— ляпнул он, не заикнувшись.

— Благодарю,— сказал я,— завтра мы и это обсудим.

— Послушав вас, можно исполнить танго на память.

Я понял, что легко мне от него не отделаться. Потянулся за сигаретами, но Ромерито опередил меня и уже совал сигарету из своей пачки.

— Зато вот эти новые танго, что вы исполняете... Ну эти, как бишь... песни протеста... до меня не доходят, скажу честно.

Я озлился.

— До меня тоже,— отрезал я,— уже давно их не пою.

Он изобразил свободной рукой понимающий жест и подался вперед.

— Такой очаг не для пирожков,— сказал он несколько загадочно.

Затем поискал взглядом, куда бы присесть, но так и не решился.

— А кроме того,— прошелестел Ромерито, окончательно настраиваясь на критический лад,— танго не следует мешать с политикой.

Я не ответил, тогда он затянулся сигаретой и добавил:

— Разве не так?

— Выходит, вы тоже поете? — брякнул я вместо ответа.

Он напустил на себя скромность, покосился на гитару и погладил ее как любимого пса.

— Кое-какой опыт имеется,— сказал он.— С самого, можно сказать, детства ощутил склонность к искусству.

Биографии было не миновать. Роча захрапел на своей кровати, как слон, но Ромерито не обращал на него внимания.

— Наконец мне выпало счастье познакомиться с великим маэстро.

«Ну, вот и еще один»,— подумал я.

А голос его звучал уже торжественно.

— Это произошло в Тандиле[3], в тридцать третьем году. Конечно, тогда я был еще младенцем.

— И Карлитос, разумеется, вам сказал, что вы на верном пути.

— Именно так,— он сощурился.— Он пригласил меня в свою уборную и попросил спеть. Я исполнил для него «Талисманчик». С самой обыкновенной гитаркой, «паркингтон», как сейчас помню.

Я подумал: «Гардель, видимо, был на редкость терпеливым человеком».

---

[1] Карлос Гардель — знаменитый аргентинский певец, исполнитель песенок танго, и киноактер. Погиб в авиакатастрофе в 1935 году.

[2] Популярное танго, впервые исполнявшееся Карлосом Гарделем.

[3] Город в провинции Буэнос-Айрес.

— Потом, уже в зрелом возрасте, я не раз приезжал в столицу, но, увы, мне не везло, больше я так и не встретился с великим Карлосом Гарделем.

Он потупил взор, будто неожиданно нахлынуло какое-то не слишком приятное воспоминание. Потом вдруг бесцеремонно поставил ногу на мою кровать, вскинул к груди, украшенной узеньким черным галстучком, гитару и принялся наигрывать нечто, отдаленно напоминавшее «Вернулась ночь». Вдруг прервал игру.

— Некто, чье имя сейчас знаменито, но кого я не буду называть из деликатности, подставил мне ножку в тот самый момент, когда я уже собирался поступить в оркестр Д'Агостино,— он снова сделал паузу.— Год тысяча девятьсот сорок восьмой.

Я только молча кивнул. Он принялся было коверкать «Малену», но вот опять остановился.

— В то время, чтобы сделать карьеру, надо было быть перонистом...

Он пристально изучал меня. Поскольку я сохранял невозмутимость, он добавил:

— И дело тут совсем не в том, что я был против, не подумайте,— тут он резко рванул струну.

— Ну а теперь? — подстегнул я его.

— Теперь... мне иногда кажется, что мой поезд уже ушел. Конечно, надежда всегда есть, особенно когда такой артист, как вы, сможет прослушать меня.

— Я хотел спросить: а сейчас что-нибудь изменилось?

Он посерьезнел и опять рванул струну.

— Видите ли,— решился он наконец,— лично мне политика всегда приносила беду, потому я и сказал вам, что танго и политика несовместимы. Далеко ходить не надо. Вот, например, в семьдесят четвертом году мы создали небольшой оркестрик, субсидию дал наш муниципалитет, вернее дон Игнасио Фуэнтес, в ту пору член муниципального совета, мир праху его, но тут как раз все так закрутилось... ребята спалили почти весь город.

— Закрутилось?

— Ну да,— подтвердил он с гордостью,— двадцать два трупа за один только день. Нешуточная заварушка, уверяю вас. К счастью, уже три года у нас квартируют военные. Открыли новую школу, казарму построили.

Роча повернулся на другой бок, оглушительно рявкнул во сне и захрапел на новый лад. Я потушил сигарету и подчеркнуто стал поправлять подушку. Поскольку сморчок намека не понял и продолжал стоять, я широко зевнул и поглядел на него в упор.

— Я чрезвычайно благодарен вам за внимание,— проговорил он и забренчал вновь на гитаре.— Хочу посвятить вам свое произведение, написанное совместно с доном Хуаном Онорио. Исполняется впервые. Само собой разумеется, если оно вам понравится, мы отныне официально предоставляем вам право включить его в свой репертуар. Называется «Забвенья грусть».

Не успел я возразить, как он уже взвыл. Голосишко у него был пронзительный и надрывный, любой пропойца исполнил бы песенку куда более складно. Где-то посередине он дал жутчайшего петуха. Потревоженный Роча подскочил на кровати и сел как лунатик.

— Что такое? — завопил он, вытаращив глаза. Ромеро продолжал как ни в чем не бывало, словно игнорируя неблагодарную публику. Он ударил по струнам и взвыл еще громче. Тогда Роча встал, сграбастал его за шиворот, приподнял примерно на полметра и поволок к двери.

— Пошел-ка ты вон, образина! — прорычал он.

К моему изумлению, Ромерито продолжал бренчать, болтая ножками в воздухе. Некоторое время я еще слышал треньканье на гита-

ре и стенания Ромерито, потом раздался грохот, явно от соприкосновения его тела с землей.

Роча вернулся и направился прямо к своему лежаку, по-прежнему не отдавая себе отчета в происходящем. Прежде чем лечь, он выкрикнул:

— Рехнулся он, что ли? Чудовище! Притащиться сюда с гитарой, да еще в такой час!

V

В половине восьмого нас разбудил солдат, присланный доктором Авилой Гальо. Он сказал, что месса начинается в девять, и замер в дверях. Я раздвинул жалюзи, выглянул на улицу и увидал огромный черный лимузин, начищенный до самых покрышек; к антенне был прикреплен маленький аргентинский флажок, а на номерном знаке — цифр на нем было немного — красовался герб.

Роча принял душ и побрился за пять минут. Я сказал солдату, что предпочитаю прогуляться пешком, вынудив его тем самым куда-то звонить и узнавать, возможно ли такое. Наконец, они вышли. Я опять высунулся в окно и заметил, что Роча устраивается на заднем сиденье, а солдат закрывает за ним дверцу, прежде чем сесть за баранку. Три старухи и два каких-то пенсионного возраста типа аплодировали до тех пор, пока Роча не отбыл. Тогда я оделся и вышел на улицу.

Городишко был приземистый, с широкими улицами, как почти все его собратья в провинции Буэнос-Айрес. Самое высокое здание насчитывало три этажа и, по всей вероятности, служило местным щеголям и щеголихам чем-то вроде модного центра. Публика шествовала посемейно, громкоговорители извергали легкую поп-музыку, которая внезапно оборвалась, и это скорее всего означало, что вот-вот начнется месса. Улицы постепенно опустели, словно церковные колокола возвестили начало утреннего комендантского часа.

На углу я увидел бар и вошел туда. Заказал кофе с молоком и пирожное, но, поскольку день был праздничный, пришлось ограничиться сухариками. Возможно, официант узнал меня, во всяком случае, перед тем как подать мне заказ, он что-то шепнул на ухо хозяину. Над стойкой висела фотография Карлоса Гарделя, некоторое время я разглядывал ее, пока, наконец, не услышал за спиной чей-то любезный голос. Я обернулся.

— Не оплатите ли вы мне кофе с молоком, дон?

Говоривший был в светло-сером габардиновом плаще, на котором темных пятен было больше, чем на небе в грозу.

— Конечно, заказывай,— ответил я.

И сразу ощутил неловкость оттого, что «тыкнул» существу неопределенного возраста.

— Присаживайтесь,— добавил я.

Он был явно удивлен и стоял в нерешительности. Потом покосился на хозяина и переспросил:

— Не шутите?

— Вы, кажется, хотели кофе с молоком, или я ослышался?

— И я могу присесть?

Я кивнул. Он сел осторожно, будто сомневался в прочности стула. Достал из кармана плаща облезший термос, обтер его и поставил на стол. Потом, пока я заказывал для него кофе с молоком и сухарики, довольно долго изучающе осматривался, далеко вытягивал под стол ноги, будто нечто существующее отдельно. Обнаружив справа от себя зеркало, насладился всей мизансценой: он и я. Я предложил ему сигарету; сначала он посмотрел на нее, потянулся было рукой, но прежде потер палец о палец, дабы ничто не помешало ему ощутить сладость прикосновения, и только тогда взял.

— А я ведь знаю вас,— произнес он.

Не спеша он расстегнул плащ, и этот жест показался мне чуть ли не изысканным, хотя элегантность, с которой он это сделал, была, похоже, извлечена из далекого прошлого. Официант принес заказ и, уходя, взглянул на него с пренебрежением.

— Да и как мне вас не знать. По песням, конечно.

Он снова посмотрел в зеркало.

— Боже, как давно я здесь не был... А ведь этот бар — тоже моя работа, не верите?

— Как это?

В моем вопросе ему послышалось то ли недоверие, то ли насмешка, и он резко вскинул на меня недобрые, цвета серой стали глаза, захватив желтыми зубами несколько волосков из бороды.

— Каменщиком работал.

Я промолчал, отпивая медленными глотками кофе.

— Поначалу сюда приходили достойные люди,— он сделал паузу.— Это, правда, было очень давно.

Я откусил сухарик. Улица была по-прежнему пустынна, и в баре мы были одни, не считая какого-то парня, разговаривавшего с официантом.

— Потом все пошло прахом и сюда стали ходить невесть кто. Меня вот не пускают. А я попрошу кофе, налью в термос и сижу пью, пока хозяин не взбеленится. Почти всегда находится кто-то, чтобы заплатить за кофе для сумасшедшего.

Над столом покружилась муха и стала биться в оконное стекло.

— А кто считает вас сумасшедшим?

— Местная публика.

— А вы как считаете, так это или нет?

— Какая разница? В данный момент для хозяина бара сумасшедший вы, поскольку позволили мне присесть. Стоит вам выйти по малой нужде, и он вышвырнет меня отсюда одним пинком.

Несколько минут мы завтракали молча, наши сигареты тлели в пепельнице.

— Вы ведь на праздник приехали? — сказал он наконец.

Я кивнул.

— И раньше никогда не бывали в наших краях?

— Нет.

— Значит, вы не знаете, какие у нас бывали тут праздники в былые времена, когда никто не указывал тебе, что сегодня праздник, а завтра нет. Праздновали сколько влезет, веселились до упаду.

— Ну, и когда это было?

— Уф, давненько. Я был мальчишкой и только что приехал с юга.

— А потом?

Он хохотнул, смахнул муху и жестом попросил еще сигарету.

— Потом времена изменились, я состарился. Все мы постарели. Вы, наверно, заметили — в городе почти не осталось молодежи.

— Это почему?

Он внимательно посмотрел на меня, будто решая, дурак я или прикидываюсь. Потом скрестил на груди руки и с силой выпустил дым.

— Многих убили, другие сами уехали.

Я спросил, не хочет ли он коньяку, и он с готовностью согласился. Я заказал. Послышался колокольный звон. За окном появились люди, выходившие из церкви. Площадь опять ожила. Должно быть, местный храм вмещал не меньше тысячи прихожан — столько вывалило народу. Начал заполняться и бар, причем каждый из посетителей непременно разглядывал нас. Это меня забавляло, и я краем глаза следил за тем, как они вполголоса говорят о нас.

— Жалкие существа,— сказал вдруг мой собеседник.— Они спо-

собны продать душу за пару монет, а потом бегут в церковь замаливать грехи.

— Не все, полагаю.

— Разумеется, и я не настолько глуп, чтобы это утверждать. Но эти, пришедшие с воскресной утренней мессы... да вы поглядите на них. У каждого из них в семье хоть один, да погиб. Как правило, совсем юный, кого они тоже считали сумасшедшим. Они пытаются утешить друг друга, будто бы всему виной эпидемия.

— А сами вы что делали во время той эпидемии?

— Я-то? Да то же самое, что и они. Видел, слышал и помалкивал. Ведь чем старше становится человек, тем сильнее он привязывается к разным пустякам, чаще соглашается, страшится потерять ту, по сути дела, малость, которой ему удалось завладеть.

Он окинул посетителей бара презрительным взглядом и уставился на пепельницу.

— А почему, собственно, все это вы мне говорите? — спросил я.

— Не знаю. Поговорить охота, больше ничего. Был у меня друг, и мы иногда болтали с ним ночи напролет. Философ был, бедолага. Уверял, что полупустой карман хуже пустого, так что лучше вообще ничего не иметь.

— Кто же он?

— Да такой же голодранец, как и я. Никаких особых примет, да и какой вам в этом прок? Разве что лысый был, это точно. И про жизнь знал как никто.

— И что с ним?

— Убили его. Я уложил его останки в мешок, закопал.

— За что?

— Да спутали с каким-то юнцом, которого разыскивали ночью. Тогда, когда военные только нагрянули сюда и чистили без разбору все и вся.

В угловую дверь нерешительно вошла Марта, всем своим видом как бы подтверждая, что ей непривычно появляться перед таким скоплением народа. На нее устремилось слишком много взглядов, и она, не выдержав, уцепилась за руку отца, шедшего чуть сзади и картинно раскланивавшегося со всеми. За ними ввалился Роча в сопровождении каких-то типов, не достававших ему до плеча. Он остановился, осмотрел столик за столиком, наконец, естественно, заметил меня и подошел.

— Что случилось? — спросил он задиристо и зло.

— Вам-то что до этого? — ответил я.

— А мы вас в церкви ждем. Доктор в ярости. Да вы его перед всеми на посмешище выставили.

Тут он заметил моего собеседника. Какое-то мгновение изучал, недоумевая, а затем качнул головой в его сторону:

— А этого мусорщика где вы откопали?

«Мусорщик» опять глянул в зеркало и улыбнулся.

— Сеньор пригласил меня позавтракать,— сказал он.

Роча покосился на него. Видимо, он почти поверил, поэтому продолжал уже менее агрессивно:

— Да вы, похоже, спятили. То ночью к нему приволакивается какой-то тип и в комнате устраивается кошачий концерт, то сидит с каким-то дерьмом. Псих вы, что ли?

— Присаживайтесь. Что выпьете?

Он наклонился к моему уху и доверительно прошептал:

— Доктор вами недоволен.

— Из-за того, что я не явился к мессе?

С мрачным видом он опять качнул головой.

— Спортсменам и артистам тоже надо бы там бывать,— изрек Роча.

Мой гость наблюдал за нами с явным удовольствием. Роча опять наклонился ко мне, локтем опрокинув его чашку.

— Идемте,— зашептал он и подмигнул,— я попытаюсь помирить вас с доктором.

— Мне это ни к чему,— возразил я.— Я приехал работать, а не исповедоваться.

Он, видимо, не понял меня. Потом повернулся и с беспокойством поглядел туда, где Авила Гальо о чем-то весело переговаривался со своими приятелями. Горемыка между тем отряхнул с себя пролитый Рочей кофе, посмотрел в окно и сказал:

— Я, пожалуй, пойду.

Он поднялся, неторопливо застегнул плащ и протянул мне руку:

— Спасибо за приглашение.

Я встал и пожал его руку. На полпути к выходу он остановился и обернулся, оглядывая зал. Длинные пряди волос, косматая борода и выцветшие усы почти скрывали лицо, но глаза его пылали огнем, и взгляд, казалось, пронзал клубившийся над столиками сигаретный дым. Он что-то еще произнес, но я не расслышал из-за шума в зале. Он вышел. Роча схватил меня за руку, разинул пасть и заорал в самое ухо:

— Зайдем в туалет, надо поговорить!

— Выкладывайте здесь. Вообще-то я не горю желанием говорить с вами.

Он нехотя опустился на стул, где только что сидел незнакомец.

— Доктор на вас страшно зол.

— Это вы мне уже сказали. А чего злиться-то?

— Надпись видели?

— Какую надпись?

— На улице, напротив церкви. «Андрес Гальван поет для убийц». Вот так.

— Что? — Я даже подскочил на стуле, поняв, что он не шутит.

— Так и написано. Сейчас солдаты замазывают известкой.

Он поглядел на меня с состраданием. Потом протянул свою длинную ручищу через стол и дружелюбно хлопнул меня по плечу.

— Влип в передрягу, старина?

Я отрицательно помотал головой. Тогда он ухватил пятерней мое плечо и прохрипел:

— Положитесь на меня, э?

Рука его продолжала сжимать мое плечо, и это стало, похоже, забавлять публику.

— И поэтому доктор так взъерепенился, да? — спросил я.

Он убрал руку.

— Доктор поднял шум из-за того, что вы не явились к мессе.

— А потом увидел надпись.

— Да, но в этом-то вашей вины нет, Гальван. Однако кто-то решил вам насолить, лично вам...

— Вы ни черта не поняли. В газеты давно заглядывали?

— При чем тут это? Да только вчера... Мое фото было, а ваше не напечатали, вот вы и...

— Не будьте кретином! — не сдержался я. Роча не шелохнулся, только уставился на меня помутневшими глазками и, как мне показалось, слегка покраснел.

— Никогда, слышите, никогда не смейте говорить мне такое на людях,— прошептал он.

— Выйдем отсюда,— сказал я, стараясь сохранить твердый тон. Глаза его уже метали молнии.

— Сначала возьмите свои слова назад.

Я почувствовал, что в зале воцарилась тишина, и это окончательно убедило меня, что мы здесь главные действующие лица, причем основное внимание почему-то зрители уделили мне.

— Хорошо,— согласился я,— беру.

Он обмяк и вздохнул с облегчением, избавившись от необходимости вытрясти из меня душу. Он даже потянулся было к моим сигаретам, но вовремя вспомнил, что обида еще не улеглась, и принялся вертеть в руках чайную ложечку.

— Мне надо вернуться к доктору,— сказал он.

— Сначала пойдем посмотрим на надпись.

Он заколебался, покосился на столик, за которым сидел Авила Гальо, но все-таки поднялся. Я мягко подтолкнул его к выходу, и он уступил.

Мы пересекли площадь. Было около полудня, и гуляющих стало поменьше. У кинотеатра я заметил зеленый «фалькон». Обливающийся потом толстяк в рубашке с засученными рукавами упирался автоматом в капот машины. Чуть подальше, у стены здания Испанского общества, стоял армейский джип. Двое солдат возились с банками и кистями, а третий поджидал за баранкой. Дюжина зевак глазела на все это с тротуара.

— Вон там,— качнул головой Роча.— Там было написано.

Солдаты уже успели замазать надпись известкой, однако на стене еще можно было разобрать:

АНДРЕС ГАЛЬВАН
ПОЕТ ДЛЯ УБИЙЦ

— Подождем, когда уедут,— сказал я.

Джип сорвался с места, и как только он завернул за угол, мы подошли поближе. Вблизи надпись проступала отчетливей; она была сделана черной краской из пульверизатора, и понадобилось пять размашистых мазков, чтобы ее закрасить. Как я и предполагал, чуть поодаль можно было разобрать и другую надпись. Я взял Рочу за руку и подвел его к ней. Он остолбенел и, чтобы убедиться в реальности увиденного, несколько раз то отходил, то вновь возвращался к стене. Под свежим слоем известки там проглядывали слова:

В КАЖДОМ РОЧЕ —
МАСТЕР ПЫТОК

Он перечитал надпись пять или шесть раз, едва заметно шевеля губами и отчетливо произнося только свое имя. Потом обернулся и посмотрел на меня совершенно убитый.

— Да ведь я в жизни мухи не обидел,— сказал он.— Я ни во что не вмешиваюсь... так почему же они это, за что?

В нескольких шагах от стены он присел на скамейку. Вид у него был такой подавленный, словно кто-то сообщил ему ужасную новость.

Церковный колокол пробил полдень, и площадь совсем опустела. Солнце слепило, во рту у меня пересохло, но не успел я сказать об этом Роче, как «фалькон», стоявший у кинотеатра, медленно тронулся с места и подъехал к нам. Толстяк с автоматом вылез из машины, а вслед за ним появился чернявый тип лет двадцати пяти, в джинсах и такой же куртке навыпуск, в солнцезащитных очках. Он покачивался на высоких каблуках. Из-за пояса торчала рукоять револьвера — словом, он явно подражал Гэри Куперу[1]. Толстяк закинул автомат за спину, давая понять тем самым, что настроен дружественно.

— Андрес Гальван, Золотой Голос танго! — торжественно провозгласил он.

Я промолчал. Тогда толстяк повернулся к Гэри Куперу и сказал:

— Гойенече, Риверо и Гальван! Могу перечислить всех по порядку,— он сделал паузу.— Гардель само собой.

[1] Гэри Купер (1901—1961)— известный американский киноактер.

Чернявый не ответил. На вид он скорее был поклонником «Роллинг Стоунз» [1]. Толстяк перевел взгляд на Рочу.

— Вы, разумеется, не Монсон [2],— съязвил он и хихикнул,— но и с вашим «ананасом» я не хотел бы познакомиться.

Роча взглянул на автомат. Он все еще не пришел в себя. Толстяк опять повернулся к чернявому.

— Ты же любишь бокс, разве нет? Пользуйся моментом — попроси автограф.

Красавчик зашаркал своими котурнами, добрел до машины и вернулся с блокнотом. Передвигался он лениво и до Рочи добрался не сразу. Наконец протянул ему раскрытый блокнот. Толстяк достал авторучку. Верзила расписался и вернул блокнот. Толстяк в свою очередь взял его и стал совать мне.

— Автографов не даю,— сказал я.

Толстяк воззрился на меня и заржал.

— Не бреши,— изумился он,— а Риверо вот мне дал. С посвящением и все такое.

— Риверо дает. Я не привык.

Толстяк снял с плеча автомат и поставил на землю. Он обливался потом и был не намерен вступать в пререкания.

— Я поймаю того, кто это намалевал,— сказал он,— и приведу его вам на веревочке.

Он опять протянул мне блокнот, но я не шелохнулся.

Явно назревал скандал.

— Ну-ка, давайте расписывайтесь, нечего ломаться,— в голосе его звучало нетерпение.

— Не обижайтесь, но я не даю автографов,— пояснил я вежливо.

Какое-то время он молча стоял, а потом сел на скамью рядом с Рочей. Похлопывая себя по колену блокнотом, в котором клинопись Рочи заняла чуть ли не полстраницы, он начал:

— Поет для убийц! Ну и ловко же эти ребята нацарапали! — Он захохотал, но явно без настроения. Вытащив платок, он вытер мокрый лоб. Внезапно перестал смеяться и завопил на меня, как на несчастного новобранца: — Да я в лепешку расшибаюсь, не жалея собственной задницы, чтобы вы тут разгуливали со спокойной душой! Уже неделю сплю по два часа в сутки, как дерьмо последнее, только чтоб для скотов был праздник, а вы не даете мне автограф!

— Видите ли,— пытался я объяснить,— это привычка и...

Тут он взвыл так, что, наверное, было слышно в десяти кварталах от нас:

— В задницу вашу привычку! Слышали? В задницу!

Роча наблюдал за нами и ждал, когда я перейду к решительным действиям,— быть может, еще скину пиджак и приму боксерскую стойку. Но я поступил глупее:

— Возьмите обратно свои слова,— услыхал я собственный голос.

Да, поведешься с таким, как Роча, еще и не то сморозишь. Толстяк оторопел и поглядел на чернявого, словно ища у того подтверждения, что не ослышался.

— Чего-чего? — Он устало подошел ко мне вплотную, волоча по земле автомат, и я с облегчением отметил, что пока он не намерен пустить его в ход. «Скорее извиниться»,— мелькнула у меня спасительная мысль. Но тут Роча твердо и с вызовом выпалил:

— Вам было сказано взять обратно свои слова!

Толстяк пристально оглядел его и криво усмехнулся.

— Спелись, да? — сказал он.— Думаете, если о вас в газетах пишут, можно и на полицию наплевать, так?

---

[1] Популярный рок-ансамбль.

[2] Знаменитый аргентинский боксер, чемпион мира в 1970—1977 гг.

Чернявый подошел поближе и, распахав пятерней лохмы, посоветовал:

— Лучше не здесь, Пузан. Лучше свезем их и там уж...

Находчивый оказался парень. Вытащил револьвер и жестом приказал нам садиться в машину. Вместе с каблуками в нем было примерно метр шестьдесят. Роча презрительно посмотрел на него.

— С пушкой всякий лезет в герои,— заметил он и сплюнул на траву.

Завидев в руках чернявого револьвер, из машины вылез какой-то человек, постарше, худой и изможденный.

— В чем дело? — спросил он и ткнул в нашу сторону дулом короткоствольного карабина, свисавшего у него с плеча и напоминавшего изуродованную руку.

— Выкобениваются,— бросил чернявый тип.

— Да вы что, рехнулись, что ли? Они на праздник прибыли. Поехали, бросьте их.

У меня отлегло от сердца. Но тут чернявый резко повернулся и наотмашь чиркнул дулом револьвера по левой кисти Рочи. Верзила отпрянул, зажав левую руку правой.

— Поглядим теперь на твой коронный...— бодро отрезал чернявый.

Они уселись в автомашину и медленно отъехали. Толстяк, высунув руку и голову из машины, крикнул:

— Не забудь, Золотой Голос, ты мне должен автограф.

Я подошел к Роче. На левой кисти у него проступила кровь. Он то сжимал, то разжимал руку, стиснув зубы и посапывая носом. Потом поглядел на меня, но не ища сострадания и без всякого укора.

— Сигаретку дайте,— только и сказал.

VI

Я завернул несколько кубиков льда в салфетку, и Роча приложил его к ушибленной руке. Он сидел на кровати спиной к стене, вытянув ноги, и попросил меня снять с него башмаки. Сорок шестой был так ему тесен, что пришлось воспользоваться ручкой ложки. Я купил у хозяйки две банки пива и стал убеждать Рочу, что самое разумное вернуться в Буэнос-Айрес вечерним же поездом. Но чем заметнее распухала у него рука, тем больше он кипятился.

— Не в самолюбии тут дело,— настаивал я.— Ведь вы не в состоянии драться, и любой врач вам это подтвердит. А что касается меня, то, когда полиция задевает моего товарища, я не выступаю даже за двойную плату.

— Если вы наложили в штаны — дело ваше. Я буду драться. Еще никому не удавалось меня запугать.

— Послушайте....

— И слушать не хочу, старина. Вы можете уезжать. Заплатите денежки за комнату, и до свидания. Я остаюсь и буду драться тут хоть со всеми, если понадобится. Вы что думаете — я не понимаю? Надписи, головорезы эти — все подстроено только для того, чтобы меня унизить, запугать. В нашем деле так было, есть и будет. Да еще в провинции...

Я собирался продолжить уговоры, но тут в дверь постучали. Не успел я подняться, на пороге уже стоял доктор Авила Гальо и с ним светловолосый усач в черном костюме. Доктор заметно нервничал, а увидев Рочу, изобразил на лице сострадание.

— Вы не представляете, как я сожалею о случившемся, чемпион,— сказал он и, подойдя к Роче, чуть ли не носом ткнулся в распухший кулак верзилы.— Немедленно в больницу. Одна-две пи-

люльки, и завтра будете как огурчик. Поехали, в нашем распоряжении машина комиссара.

— А потом заедем в комиссариат, надо сделать официальное заявление,— вставил усатый.— Уверен, что еще до вашего отъезда мы найдем этих типов.

— Кстати, они назвались полицейскими,— заметил я.

Усач испытующе глянул на меня и скривился.

— Обычная история,— процедил он сквозь зубы,— любой, у кого есть оружие, называет себя полицейским, подрывая тем самым престиж властей. Но мы вот-вот покончим с этим. Уверяю вас, прохвосты будут задержаны не позднее завтрашнего дня. Я бросил на это дело весь личный состав.

— Вот видите? — подхватил Роча.— Меня хотят деморализовать, чтобы у здешнего боксера была фора. Такие штучки мне слишком хорошо известны.

— Вы совершенно правы,— обрадовался доктор.— Тем более вам следует собраться с силами, чтобы подтвердить свою репутацию непобедимого.

— Ну, непобедимый — это уж чересчур,— отозвался Роча.— В Вилье-Марио со мной проделали то же самое и украли у меня победу. Именно этот случай я вспоминаю, когда говорю, что подобные выходки для меня не новость.

И он сплюнул за кровать. Я снова посмотрел на усатого, который стоял как столб.

— Вы и есть комиссар? — спросил я, откинувшись на стуле.

— Так точно, сеньор. Я полицейский комиссар, инспектор Балтьеррес.

— Ну и кто, по-вашему, автор надписей на стенах? — спросил я довольно запальчиво.

Он поглядел на меня точно так же, как толстяк, когда я заявил, что не даю автографов. Потом заявил:

— Ребятня, не то бандиты — мало ли кто, всегда отыщется идиот, которому поперек горла все, что делается для народа. Но будьте спокойны — их остались единицы, и ни на что другое, кроме как пачкать стены, они не способны.— Он улыбнулся и понизил голос:— К тому же, наверное, невесело малевать надписи, порочащие популярнейших кумиров публики, вы согласны?

— Так же, я думаю, невесело, как доверять охрану театра шайке головорезов, требующих автограф под дулом пистолета.

Он засунул руки в карманы и подошел ко мне вплотную. Остановился так близко у стула, на котором я сидел, что пряжка его ремня почти касалась моего носа.

— Да у вас нервы пошаливают, сеньор Гальван,— его голос прозвучал жестко.

— И заметно пошаливают,— поддержал его Авила Гальо, вытирая платком вспотевший лоб.— Но это простительно, комиссар, ведь их так варварски напугали.

Он спрятал платок и обратился к Роче:

— А вы, чемпион, надевайте-ка башмаки, едем в больницу.

— Это лишнее,— запротестовал тот,— переломов нет.

— Не имеет значения,— настаивал Авила Гальо,— пусть вас посмотрит доктор Фурлари, так мне будет спокойнее. Кстати, доктор Фурлари будет официальным медиком на матче.

Он поднял башмаки и протянул их Роче.

— Надевайте-ка, дружище, прошу вас.

Роча поискал меня глазами, и мне вдруг стало жаль его: он напоминал побитого пса. Я встал и надел ему туфли; за это время нетерпеливый комиссар успел дважды взглянуть на часы, а доктор твердым, не допускающим возражений голосом приказал:

— А потом вы поедете ко мне домой, и мы будем заботиться о вас до самого выхода на ринг.

— Да зачем это — мне и тут неплохо, с другом...

— Никаких друзей,— доктор был непреклонен.— На первом месте у нас спорт и обязательства перед публикой. Ничего не случится, если сеньор Гальван одну ночь проведет без вас. После матча делайте что хотите, но до него — уж извините — я беру вас под свою ответственность. Вы должны быть в форме.

Роча покорно следил за тем, как доктор подхватил его сумку. В какой-то момент он пытался было снова возразить, но, взглянув на свою злополучную руку, распухшую чуть не до размеров гитары, окончательно сдался.

— Приходите ко мне. Если вы все же останетесь и надумаете проведать меня перед матчем, то знайте: я простил вам ваши слова, так что...

— О, спасибо,— ответил я.— Завтра загляну. И будьте начеку, говорят, здешний боксер — не прост...

Он правой рукой поправил мне галстук.

— Уложу его в третьем раунде,— затем он вытащил из бумажника крупную купюру и с величавой снисходительностью затолкал ее мне в кармашек пиджака.— Заплатите за номер, а сдачу вернете потом.

Они вышли. В дверях комиссар обернулся и вызывающе спросил:

— Скажите, а вас кто приглашал?

— Капитан Суарес,— ответил я с ударением на слове «капитан».

Он с силой хлопнул дверью.

Я проголодался. Попросил старуху, хозяйку пансиона, принести сандвич и прилег отдохнуть.

Часов примерно в пять раздался громкий стук в дверь, причем, как мне показалось, стучали не рукой. Я подскочил от неожиданности, кое-как натянул брюки и открыл. Если память бывшего солдата меня не обманывала, то на пороге предстал старший сержант, за спиной которого маячил длинный и тощий солдат, небрежно державший винтовку за ствол.

— Вы Андрес Гальван? — осведомился сержант.

— Да.

— Следуйте за мной.

Я надел рубашку и туфли, а сержант с солдатом прошли в комнату и обшарили взглядом углы.

— Куда это мы? — спросил я.

— В комендатуру,— ответил старший.

Мне это не понравилось, но спорить было бесполезно. Минут через пять мы сели в джип. Хозяйка, не говоря ни слова, проводила нас до парадной двери, удостоверившись, что ухожу я без чемодана. По дороге нас трижды задерживали патрули и каждый раз учиняли проверку, как будто мои конвоиры не были здесь известны. Джип останавливался в сотне метрах от поста, сержант, солдат, а за ними я вылезали из машины, затем, пройдя немного, сержант выкрикивал, кто мы и куда направляемся. К нам приближался капрал в сопровождении рядового, изучал документы, осматривал джип и мои карманы. На последнем посту после всей этой процедуры проверявший нас не утерпел и бросил сопровождавшему меня сержанту: «Ну как дела, Каррисо?»

Меня привели в большую комнату, где на деревянных скамьях отдыхали четверо солдат. Стоило мне достать сигарету, как они, словно мухи, окружили меня, напрашиваясь на предложение закурить, хотя вслух об этом не говорили, а окурки прятали в карманах. Так просидел я битый час, пока наконец не явился светловолосый солдат, приказавший мне следовать за ним, и я очутился в кабинете,

стены которого были завешаны портретами чуть ли не всех военных деятелей от Сан-Мартина до наших дней, за исключением Перона [1].

Капитан Суарес был одет без претензий. Только форменные ботинки у него были так начищены, будто он собрался идти в кино. Рукава рубашки закатаны, пуговицы едва выдерживали напор широкой груди. Ему было лет сорок с небольшим, и физиономия вполне соответствовала роду занятий. Рядом с ним суетился хлыщ, которого я сразу узнал по улыбке: он нередко появлялся на телевидении.

— Сеньор Моралес,— представил его капитан.

Я подал руку, и хотя, бывало, мы с ним обращались друг к другу на «ты», Моралес произнес: «Как поживаете, сколько лет...» — как бы подчеркивая давность нашей последней встречи, и снова сел. Для меня стула не было, мне пришлось стоять перед столом. Суарес откинулся в кресле, усталым жестом дал понять, насколько загружен более серьезными делами, и заявил:

— Весьма сожалею, сеньор Гальван, но ваше выступление в Колонии-Веле пришлось отменить.

Давая ему высказаться, я не отвечал, и он добавил:

— Буду откровенен: когда мы договаривались с вами, мы не знали, что вы...— он подыскивал нужное слово,— были отстранены от работы на телевидении сразу после образования военного правительства.

Я взглянул на Моралеса, тот в подтверждение наклонил голову. Он-то продолжал преспокойно пребывать на своем прежнем месте, и за пятнадцать лет его никто не потревожил; кое-кто считал его даже «добропорядочным человеком».

— Могу я узнать причину? — спросил капитан.

— Мне самому хотелось бы знать,— ответил я.— Вероятно, вы, поскольку принадлежите к Вооруженным силам, сможете мне ее объяснить.

Он закурил, а я по-прежнему стоял, словно провинившийся мальчишка.

— Позвольте напомнить вам, что со службы увольнялись только экстремисты и коррумпированные элементы.

— А к какой категории отнесли меня? — спросил я.

— Мы не имеем к вам никаких претензий в плане привлечения к ответственности за преступления экономического характера,— сказал капитан и полистал лежавшую перед ним на столе папку.

Много я отдал бы за то, чтобы заглянуть в нее. А стал смотреть на портрет президента, висевший над головой Суареса за спинкой кресла.

— Иначе говоря, капитан, вы намекаете на то, что я экстремист?

Его явно покоробило, что я не произнес уставное обращение «мой капитан».

— Ни на что я не намекаю,— ответил он раздраженно,— и если говорю, то говорю без обиняков. Вы сами-то были на военной службе?

— Да, сеньор, в Кампо-де-Майо [2].

— Тогда вы должны знать, что такое слово офицера.

Он как на пружине поднялся, с изрядным шумом отодвинув кресло. Наверное, не один раз тренировался, подумал я, ловко у него это вышло.

— Сеньор Гальван,— сказал он,— доктор Авила Гальо выплатит вам ваш гонорар, и хотя мы договаривались устно, мое слово равноценно любой подписанной бумаге. Рекомендую вернуться в Буэнос-Айрес сегодня же вечером.

Снова усевшись, он обронил:

[1] Хуан Доминго Перон (1895—1974)— государственный и политический деятель Аргентины, президент республики в 1946—1955, 1973—1974 гг.

[2] Военный гарнизон близ Буэнос-Айреса, один из крупнейших в стране.

— До свидания.

Моралес даже кивком не попрощался. Я вышел в коридор, где меня поджидал блондинистый солдат.

— Как мне добраться до центра? — спросил я.

— Доложу старшему сержанту,— сказал он и исчез.

Мы миновали в обратном порядке уже знакомые мне посты, и меня высадили у вокзала.

VII

Уже темнело, когда я вернулся в пансион. Меня встретила хозяйка и сообщила, что наведывались какие-то сеньоры. Дверь комнаты была распахнута. Они перерыли мой чемодан, даже не потрудившись затолкать вещи обратно. Постель была также разрыта, матрац свисал до пола. Я позвал старуху.

— Их было трое, вооруженные. Они и раньше приходили; стоит поселиться тут кому-то, кого они не знают, так обязательно приходят. Что делается сейчас, трудно понять, правда?

Я заплатил ей за комнату. Она мне сказала, что поезд на Буэнос-Айрес проходит в 22.35. У меня было в запасе еще часа два, чтобы собрать чемодан, попрощаться с Рочей, получить с доктора причитавшиеся мне деньги и перед отъездом поужинать. Я оставил чемодан в пансионе и в половине девятого вышел. Улицы были безлюдны, и только на площади я увидел рабочих — они сооружали трибуны и устраивали освещение для завтрашнего праздника. На той же самой стене, где утром были намалеваны злополучные надписи, двое солдат укрепляли огромную афишу. Я прочитал:

ТОНИ РОЧА
ПРЕТЕНДЕНТ НА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА СТРАНЫ
против
МАРСИАЛЯ СЕПУЛЬВЕДЫ,
НАШЕГО НЕПОБЕДИМОГО ЗЕМЛЯКА
Воскресенье, в 22.00, клуб «Союз и Прогресс»
НАРОД И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОБЪЕДИНЕНЫ ОБЩЕЙ СУДЬБОЙ
ВО ИМЯ МИРА И ВЕЛИЧИЯ

Метрах в пяти от первого я заметил другое объявление:

БОЛЬШОЙ ЦИРК БРАТЬЕВ КОРРАЛЕС
АКРОБАТЫ — КЛОУНЫ — ДИКИЕ ЗВЕРИ
Понедельник, в 18.00, на площадке
бывшего синдиката строителей.
Ведущий Хорхе Омар Моралес
НАРОД И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОБЪЕДИНЕНЫ ОБЩЕЙ СУДЬБОЙ
ВО ИМЯ МИРА И ВЕЛИЧИЯ

А с витрины театра какой-то человек снимал в это время еще одно объявление:

ЕДИНСТВЕННЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ
АНДРЕС ГАЛЬВАН
ЗОЛОТОЙ ГОЛОС БУЭНОС-АЙРЕСА
Понедельник, в 22.00, театр «Авенида»
НАРОД И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОБЪЕДИНЕНЫ ОБЩЕЙ СУДЬБОЙ
ВО ИМЯ МИРА И ВЕЛИЧИЯ

И наконец, последнее объявление черной краской на желтом фоне старательно выводил парнишка в рабочем халате:

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
КАРЛОСА РОМЕРО
МУЖЕСТВЕННЫЙ ГОЛОС КОЛОНИИ-ВЕЛЫ

Понедельник, в 22.00, театр «Авенида»

НАРОД И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОБЪЕДИНЕНЫ ОБЩЕЙ СУДЬБОЙ ВО ИМЯ МИРА И ВЕЛИЧИЯ

Последняя фраза не умещалась, и после слова «общей» буквы похудели и полезли одна на другую.

Вот и Ромерито получил свой шанс, подумал я, возможно, последний, но для него, несомненно, незабываемый. Не успел я подумать о нем, как увидел его в дверях театра с двумя какими-то типами, повыше ростом, но примерно того же возраста. Вид у троицы был счастливый.

— Друг Гальван! — заорал Ромеро, заметив меня, и сразу же подбежал. Он протянул мне руку и чуть не выдернул мою из плечевого сустава. А затем с напускной озабоченностью проговорил: — Мне только что звонили и сказали, что вы неважно себя чувствуете... Что-нибудь с горлом?

Я утвердительно кивнул.

— Надо беречь себя,— он пальцем уперся мне в грудь,— особенно когда меняется погода. Но не беспокойтесь: я сделаю все, чтобы поддержать престиж нашего танго. Надеюсь, что вы будете в первом ряду, Гальван? — Он панибратски опустил при этом обращение «сеньор».— Я думаю посвятить вам свой «Юг».

— Благодарю вас, но мне придется уехать сегодня же вечером.

— Как обидно! — Похоже, он и в самом деле расстроился.— Очень обидно. Куда в таком случае выслать вам запись концерта? Мы уже устанавливаем магнитофон, так что...

— Доктор Авила Гальо мне перешлет. Еще раз большое спасибо.

Я попрощался и пересек площадь. Напротив муниципалитета рабочие заканчивали возведение бело-голубой ложи для почетных гостей. У подъезда к таверне был припаркован черный «торино» с открытой на тротуар дверцей. Вдруг резко распахнулась дверь заведения, и какой-то тип с пистолетом в левой руке выволок за волосы парнишку лет шестнадцати. Уже на улице он почти приподнял его над землей, ударил рукоятью пистолета в спину и швырнул на заднее сиденье машины. Затем сунул пистолет за пояс и влез в машину вслед за парнем. «Торино» рванулся с места и исчез в темноте. Никто не вышел из таверны, не выглянул в окно. Я вспомнил о еде, но есть почему-то не хотелось. Зашел в бар, чтобы выпить чашку кофе у стойки. Столиков десять в зале были заняты, и когда я отворил дверь, все взгляды сразу устремились на меня. Разговоры смолкли, но только я попросил кофе, монотонный шум снова возобновился. Хозяин назвал меня «сеньором Гальваном» и даже не улыбнулся. Он, разумеется, не забыл, что утром в его заведении я пригласил за столик голодранца. Я спросил его, что тут произошло, он прикинулся рассеянным, тут же отвернулся, взял бокал, бутылку виски «Олд смаглер» и спросил:

— Половинку?

Я отказался, но свой вопрос не повторил. На всякий случай он перестал обращать на меня внимание.

Допив кофе, я положил на прилавок монету, и в эту минуту в баре появился доктор Авила Гальо в сопровождении почти квадратного, толстогубого карапуза в просторной, наглухо застегнутой куртке, под которой запросто можно было спрятать целый арсенал. Доктор притворился, что не заметил меня, помахал рукой кому-то из посетителей и уселся за столик у окна. Его спутник прошел в дальний угол и сел так, чтобы видеть одновременно и входную дверь, и свое-

го хозяина. Я направился к столику, за которым сидел доктор, и губастый ни на мгновение не спускал с меня глаз, даже когда мимо него проплыла широкобедрая блондинка, опередившая меня и усевшаяся за столик Авилы Гальо. Я на секунду заколебался, но возвращаться не стал, подошел к его столику и, извинившись, обратился:

— Доктор, мне необходимо с вами поговорить.

Блондинка зажгла сигарету и сделала вид, что ее внимание привлек дождь за окном. Авила Гальо был, как всегда, при параде: отлично сшитый костюм, жилетка, галстук-бабочка и безукоризненная прическа. Отсутствовала лишь трость.

— Я занят,— отрезал он с нескрываемым раздражением, как бы подчеркивая неуместность моего появления.— Зайдите ко мне завтра в середине дня.

— Но мне приходится уезжать сегодня вечером,— пояснил я.

Он уставился на меня и ухмыльнулся.

— Сегодня? Разве вы не останетесь на праздник?

— Вы ведь знаете, что нет,— ответил я.

— Я? Понятия не имею, друг Гальван. Мне только сообщили, что вы нездоровы, и попросили подыскать вам замену.

Он лгал нагло и открыто, и я понял, что скорее всего он мне не заплатит.

— Капитан Суарес мне сказал, чтобы я повидал вас и затем уехал сегодня же.

Он хохотнул и вытащил сигарету из пачки блондинки.

— Вы же знаете, каковы военные. Они любят отдавать приказы, но одно дело приказать, а другое... Словом, приходите завтра.

Я почувствовал, что закипаю.

— Я уже выехал из пансиона.

— Вернитесь обратно. Всегда есть места.

Тогда я уселся, не спрося разрешения.

— Послушайте,— сказал я, стараясь придать лицу угрожающее выражение,— мне надо кое-что с вами обсудить, наедине или здесь, как вам будет угодно.

Он поглядел на блондинку, которая как бы говорила всем своим видом: «Да гони ты его в шею».

— Идите сюда,— отозвался он и пересел за другой столик.

Я уселся напротив.

— Ведь вы не работали,— он сразу взял быка за рога.

— Но есть договоренность, не я ее нарушил.

— И не я,— сказал он с досадой.— Это исходит сверху.

— От капитана Суареса,— подсказал я.— Я был у него сегодня.

— Сверху, сверху...— доктор понизил голос,— от соответствующих служб...

Он явно рассчитывал меня напугать.

— Вероятно. Но вам-то откуда это известно?

Он улыбнулся вальяжно и снисходительно, словно счастливый обладатель козырного туза.

— Мне известен даже цвет ваших трусов.

Кровь бросилась мне в голову.

— Любите запускать руки в чужие чемоданы?

Он засмеялся, на этот раз презрительно. Потом потрогал свою бабочку и взглянул мне прямо в глаза. Туз пик, мелькнуло у меня в голове.

— Грязная работа не для меня, Гальван.

Я покачал головой. Блондинка посмотрела на часы, потом на нас.

— Мы были бы несказанно счастливы послушать вас,— продолжал он,— но приказ есть приказ, ничего не поделаешь.

— И я всю жизнь мечтал выступить в Колонии-Веле. Короче, вы мне должны...

Он перебил меня:

— Не дурите, Гальван, я вам ничего не должен; ведь с вами договаривались военные, не так ли?

Да, голыми руками такого не возьмешь, подумал я, но решил не сдаваться.

— Видите ли, доктор, меня пригласил некто Суарес, обратившись к моему импресарио в Буэнос-Айресе. Теперь этот же Суарес распорядился, чтобы я получил деньги и сегодня же уехал. Он сказал, что заплатить должны мне именно вы. Понятно?

— Это не так-то просто, мне необходимо письменное распоряжение за подписью капитана.

— Попросите,— я показал ему на телефон. Он осклабился, обнажив неровные зубы и золотую коронку.

— Вы считаете, что туда можно звонить так же запросто, как в кинотеатр?

— Это дело ваше. Но как тогда быть?

— Послушайте, если вы хотите уехать сегодня — уезжайте, а я завтра же вышлю вам чек... неужели вы думаете, что я намерен присвоить чужие деньги?

— Ничего я не думаю, доктор. Ну а если я не уеду?

Он откинулся назад, покосился на блондинку, а затем опустил голову и принялся разглядывать свои маленькие ручки.

— Вы мне нравитесь, нет, я серьезно. На преступника вы не похожи. Ну, допустим, подписывали какие-нибудь декларации, несли какую-то политическую ахинею по радио, ну, по наивности своей пели на каком-нибудь молодежном фестивале. Но ведь беда в том, что эти люди очень живо реагируют на все, что отдает терроризмом, и не склонны вдаваться в подробности. Или, наоборот, бог его знает, слишком влезают в детали. Намерения у них самые что ни на есть добрые — они пытаются вытащить страну из пропасти, но если человек становится на правильный путь, они умеют закрывать глаза на прошлое.

Он еще понизил голос, настроившись на доверительный лад.

— Вот я, скажем,— он ткнул себя в грудь большим пальцем,— в семьдесят первом году, к вашему сведению, я защищал политических заключенных в городке Асуль[1]. Парни тогда погрязли по самые уши, старина, и все же я жив-здоров, нахожусь перед вами.

— Ну, и скольких вам удалось отстоять?

— Это не имеет значения. Тогда я не жалел себя ради того, что считал справедливым. У меня даже есть письмо от Перона, он благодарит меня и поздравляет. Да-да, сеньор, честное слово. Теперь же совсем другое дело. Сам я никогда не был перонистом, но старик был мудр, это правда. Если бы к нему как следует прислушались, то не случилось бы того, что случилось. Но нет, они возомнили себя большими перонистами, чем сам Перон, и вот вам пожалуйста... Революция! — Он усмехнулся по-отечески, покровительственно.— Они сами же и выпустили джинна из бутылки, сами... И тогда пришли эти люди и навели порядок.

На кой черт он все это мне рассказывает, недоумевал я. До отхода поезда остается сорок пять минут, а мы сидим здесь и попусту теряем время.

— О прочих я и не говорю,— разглагольствовал доктор,— все эти наши опереточные большевики, нападавшие на казармы вместе с младенцами, у которых молоко на губах не обсохло... От тех ни одного не осталось...

— Не выношу политических речей в барах,— сказал я.

Авила Гальо вновь сверкнул золотой коронкой, сделал какой-то знак блондинке, ерзавшей в кресле так, будто ее одолевали муравьи, и сухо заметил:

[1] Имеются в виду классовые бои 1971 года в провинции Буэнос-Айрес против военной хунты.

— Вот что, поступайте как хотите. Уезжаете — я высылаю вам чек; остаетесь — могу дать вам билет на бокс.

— Благодарю вас,— сказал я,— уезжаю сегодня же, хватит с меня. Как Роча?

Он поднялся и улыбнулся блондинке.

— Отлично. Доктор говорит, что для восстановления формы достаточно одного укола. Ведь это бык, а не парень.

— Я хотел бы попрощаться с ним.

— Не советую. Когда я уходил, он уже почивал сном праведника. Мартита не отходит от него, так что он в надежных руках, не извольте беспокоиться. Я передам ему от вас привет.

Он вернулся к блондинке, и я почувствовал, что у них речь пошла обо мне — она презрительно поглядела в мою сторону как на последнее отребье. Подошел официант, и я сказал ему, что ухожу. На улице моросил мелкий, противный дождь, едва прибивавший пыль на мостовой, но все же заставивший меня поднять воротник пиджака. Я поторопился в пансион за чемоданом. Дорогой я прижимался к стенам, чтобы не промокнуть, ни души не встретилось мне по пути. Старуха при моем появлении оторвалась от бифштекса с салатом, выдала чемодан и даже улыбнулась на прощание. До отхода поезда оставалось еще двадцать пять минут, дождь по-прежнему не внушал особых опасений. Я направился к вокзалу, как и прежде прижимаясь к стенам, из окон до меня доносились звук телевизоров и невнятные обрывки чьих-то разговоров. На всех без исключения окнах жалюзи были закрыты. Когда я дошел до угла и уже собирался перейти небольшую площадь против здания вокзала, я вдруг услышал, как кто-то окликнул меня, но не разобрал, откуда донесся голос. Я остановился, зажег сигарету и, не поворачивая головы, покосился на пустырь. На всякий случай сделал несколько шагов в сторону, расставшись с пятном света от фонаря на углу. Из темноты послышался знакомый голос, это оказался тот самый горемыка, который утром подсел ко мне в баре, его скрывали деревья и кустарник. С трудом разглядел я его нелепую фигуру в застегнутом плаще и шляпчонке, которая, очевидно, служила ему одновременно и зонтом. В правой руке он что-то держал.

— Не хотите ли зайти? Угощу мате [1],— произнес он вполголоса.

— Не могу, опаздываю на поезд.

Он шагнул вперед, приложился к трубочке, сглотнул и поглядел на полосу света от фонаря.

— Еле моросит, но это надолго.

— Ага.

— Главное, чтобы никто не заметил,— сказал он.— Оставьте свой чемодан, заверните за угол и зайдите с другой стороны.

Я ничего не понял, но чемодан поставил.

— Пошли! — торопил он меня.— Ну, давайте же, а то они заметят!

Я обошел пятно фонарного света, не спеша свернул за угол и невольно прижался к дереву, вдруг заметив зеленый «фалькон», стоявший у входа в здание вокзала. Перед глазами мгновенно возник потный толстяк, требовавший автограф, и Гэри Купер на высоких каблуках. Страх парализовал меня, молниеносный, какой-то детский,— перед тенями и тишиной. Но тут из бурьяна показался мой горемыка.

— Не заметили,— сказал он.— Я уже внес чемодан. Заходите.

Он увлек меня за собой, раздвигая мокрые ветви, и на меня вдруг нахлынули смутные воспоминания о тех временах, когда мы с соседскими сорванцами прятались в густых зарослях, где разговаривали исключительно шепотом, дымили, не затягиваясь, отдавав-

[1] Популярный в Аргентине напиток из высушенных и измельченных листьев дерева жерба-мате. Напиток потягивают через специальную тонкую трубочку — бомбижу.

шими горечью самодельными сигарами из листьев и мечтали о том, как бы позабавиться с женой хозяина велосипедной лавки.

Жилище бывшего каменщика было сооружено из разнообразных строительных отходов и мало чем отличалось от тех, что сооружали мы в те далекие времена. Летом эту конуру практически невозможно было заметить снаружи: буйная зелень скрывала ее целиком; внутри тут было даже уютно, если бы не кислый запах прелой земли, табака и гнилых фруктов. На земляном полу лежал темного цвета матрац, покрывало на нем некогда было коричневым. Тут же стояли два ящика — один изображал стол, а на другой хозяин уселся, прежде чем залить мате кипятком. Вершиной комфорта была небольшая газовая плитка, довольно несуразно выглядевшая в этом странном жилище. В жестянке из-под масла торчали две горящие свечи, а рядом я заметил пакет мате, сахар, нож и еще какие-то хозяйственные предметы, но что именно, я постеснялся рассматривать. Он достал откуда-то хлеб и знаком пригласил меня сесть. Я долго и внимательно следил за его манипуляциями; наконец, он передал мне пенистое и горячее мате, и после первого же глотка я почувствовал себя лучше. Все вновь стало на свои места, даже дождь уже казался мне ласковым, а ветерок наполнил лачугу приятным ароматом, который я не без наслаждения вдыхал.

— Утром я, кажется, не спросил, как вас зовут,— поинтересовался я.

— Об этом меня никто не спрашивает,— рассмеялся он.— В последнее время я редко появляюсь в обществе.

Я улыбнулся в ответ и возвратил ему мате.

— Лусиано,— сказал он.— Лусиано Меленкоф... или Малеанкоф, сам уже не помню. Тысячу лет не называл себя. Кличут меня просто Минго.

— А как вы узнали? — Я кивнул головой в ту сторону, где должен был находиться вокзал.

— Так они приходили, спрашивали, о чем это мы с вами беседовали утром, а потом там и засели.

— А зачем? — спросил я скорее сам себя.

Он опять передал мне мате.

— Да просто у них сейчас поменьше работы. Вот они и шастают, рыщут... Когда поезд тронется и они удостоверятся, что вы не появились,— задергаются. А этот толстяк — зверь.

— Вы хорошо его знаете?

— Тут у стенки на пустыре, неподалеку от меня, хлопнули трех парней. Приволокли их уже всмятку, но прежде чем прикончить, превратили им лица в месиво.

Я пытался скрыть страх, а самому чуть не стало дурно. Большим глотком мате хотел сдержать подкатившую тошноту.

Потом вернул ему мате.

— Знаете, что мы с вами сделаем? Как только они отчалят, мы перейдем железную дорогу и пойдем полем. Если идти всю ночь, к утру можно добраться до Тандиля. Оттуда идет автобус до Буэнос-Айреса.

Мы помолчали. Наконец услышали шум проходящего поезда. Минуты через две все утихло. А вскоре донесся звук мотора, машина, взвизгнув шинами на мокром асфальте, завернула за угол. Но не успел я передохнуть с облегчением, как неожиданно у пустыря притормозила другая, мотор которой работал приглушенно.

VIII

Минго прижал к губам указательный палец, скорее чисто инстинктивно, нежели опасаясь, что я наделаю шума. Хлопнула дверца машины, и кто-то крикнул:

— Эй, Минго!

Похолодев от ужаса, я взглянул на хозяина лачуги. Тот поднялся. Я подумал, что, если он сейчас же не выйдет, кричавший заглянет внутрь; мелькнула и мысль, что Минго выдаст меня. Он же расстегнул свой грязный плащ и снял его. Голос, на этот раз уже ближе, позвал опять:

— Выходи, эй!

Минго сделал мне знак отойти к дальней стене и задул свечу. Затем сунул руку в рукав плаща и, отодвинув дерюгу, прикрывавшую вход, вышел. Я прильнул к щели и увидел, как он продирается сквозь бурьян, натягивая плащ. Фары автомобиля пробили в кромешной тьме два огромных рваных отверстия, в которых, как на экране, отражался моросящий, ленивый дождь.

— Поспать не дают,— довольно громко буркнул Минго, как мне показалось, с вызовом.

— Ты не видел его больше? — спросил толстяк, облаченный на этот раз в темный свитер.

— Кого? — переспросил Минго сердито, остановившись у тротуара.

— Кого-кого! — взвился толстяк.— Столичную штучку!

Минго пожал плечами.

— Нет,— ответил он.

— На площадь ходил?

— Чего? — Это был уже явный вызов. Мне представилось, что толстяк смотрит в мою сторону, и я еще плотней прижался к стене.

— Да проснись ты, наконец! Я спрашиваю тебя: по площади ты не шлялся?

— Когда? — продолжал Минго тем же тоном.

Мне уже казалось, что толстяк заглядывает в лачугу, и я инстинктивно чуть не втиснулся в стену.

— Брось ты разыгрывать из себя идиота!..— Толстяк явно намеревался вступить в заросли.

— Я давно сплю, черт вас всех подери, нечего мешать...— проворчал Минго и, повернувшись, зашагал к лачуге. Толстяк остановился, постоял в нерешительности, потом уже чуть ли не добродушно прокричал:

— Ну погоди, подпалим твой поганый бурьян, по крайней мере спасем тебя от блох!

Минго вошел в свое жилище, а толстяк влез в машину, двинувшуюся по направлению к центру. Горемыка принялся разыскивать спички. Я щелкнул зажигалкой и зажег свечу.

— Который час? — спросил он.

— Без четверти одиннадцать.

— Пора собираться, самое время. Я провожу вас до ихнего борделя, а потом покажу дорогу дальше. Если не собьетесь с пути, к утру будете в Тандиле и сядете там на автобус.

Он натянул шляпчонку и подошел к двери, вернее к холстине, которая ее тут заменяла.

— Возьмите из чемодана самое нужное, а его пока спрячем в кустах. Вернусь — закопаю.

Я открыл чемодан и достал из него черный костюм и книжку, которую не дочитал в поезде. Потом почему-то разгладил загнутую на том месте, где остановился, страницу и положил книгу обратно. Минго посмотрел на меня с уважением.

— Мой отец много читал...— сказал Минго задумчиво.

Он взял чемодан и куда-то понес. Я едва различал его силуэт в кустах, где он прятал чемодан. Потом я с трудом натянул черный пиджак поверх всего. Он был тесен, но от дождя мог спасти. Минго вышел на мостовую, перешел на другую сторону, огляделся, а на углу обернулся и махнул мне рукой, призывая следовать за ним. Мы сделали крюк, обходя вокзал, пересекли железнодорожное по-

лотно и добежали до товарного вагона, навеки спаренного с останками локомотива. Неизвестно зачем протиснулись между колесами, проползли под вагоном, хотя куда проще было обойти кругом. Перед нами открылся довольно мрачный горизонт, а чуть в стороне маячил длинный пакгауз, такой же, как на всех железнодорожных станциях мира. Дождь постепенно пропитывал одежду, случайно я обнаружил, что волосы в беспорядке, от прически ничего не осталось. Мы пролезли через какую-то проволочную ограду и оказались в овсяном поле. Я обернулся и увидел огни городка, подернутые молочно-серым туманом. Страха как не бывало. Чем дальше за спиной оставались огоньки, тем легче мне было дышать, спасительные темнота и тишина восстанавливали силы. Мы шли уже не меньше часа, когда я почувствовал, что ноги у меня замерзают, а во рту появился горький привкус. Я подошел к дереву и, прислонившись плечом к стволу, раскурил сигарету. Минго шагал в нескольких метрах от меня, огонек зажигалки заставил его приостановиться. Он подошел ко мне, и я дал ему сигарету. Из кармана плаща он достал бутылку джина, сделал глоток, показавшийся мне бесконечным, передал бутылку мне, и мы уселись прямо на мокрую землю, привалившись спинами к дереву. Раза три-четыре мы передавали бутылку друг другу. Где-то совсем рядом застрекотала цикада. Минго вытянул руку в сторону, откуда доносился звук.

— Вам повезет, приятель,— сказал он,— есть примета такая.

Он еще раз отхлебнул из бутылки и отдал ее мне.

— Цикада трещит — удачу тащит,— прибавил он для вящей убедительности.

— Да они весь свой век трещат, что им еще делать?

— Сразу видно, что вы столичный житель,— сказал Минго с нескрываемым разочарованием.

На этот раз цикада, видимо польщенная вниманием аудитории, выдала длинную и замысловатую руладу. Минго опустился на колени, приник ухом к земле и ринулся в заросли. Он пошарил руками в кустах, и цикада вдруг смолкла. Минго вернулся, бережно зажав что-то в кулаке. Я щелкнул зажигалкой и увидел, что он аккуратно держит крохотное насекомое двумя пальцами. Цикада судорожно дергала длинными задними лапками. Минго протянул ее мне.

— Только осторожно, ножки у нее слабые.

Подавив брезгливость, я взял насекомое; цикада щекотала мне пальцы, пытаясь выбраться на волю. Тогда я сомкнул ладони обеих рук, дав ей возможность двигаться. Я будто вновь вернулся в детские годы — правда, теперь некому было похвастаться своим приобретением.

— Ну ладно,— сказал Минго,— пошли.

Я выпустил цикаду, и она исчезла, как будто ее и не было. На мгновение мои ладони ощутили пустоту.

Минго шел впереди, я за ним, вполголоса рассказывая о том, что произошло со мной и Рочей за этот день. А по сути рассказывал все это самому себе. Минго шел молча, раздвигая густые заросли, неторопливо преодолевая подъемы и спуски, и заговорил лишь тогда, когда я умолк:

— А почему вы не дали ему автограф?

Я ответил не сразу.

— А вы бы сами дали?

Он остановился, повернулся ко мне и поглядел куда-то в темноту. Потом опустил голову и в раздумье поковырял носком землю. Наконец сказал:

— Не знаю. Каждому свое. Да и разве я похож на человека, раздающего автографы, а?

А дождь не переставал, только ветерок заметно посвежел. Вдалеке я заметил темные, размытые контуры какого-то строения, раз-

глядеть его было невозможно в кромешной тьме. В голове мелькнуло: там мы сможем немного передохнуть и разжечь огонь, чтобы просушить одежду. Мы перелезли еще через одно проволочное заграждение и обогнули кукурузное поле, затем пересекли пустырь и подошли к какому-то бараку или ангару, бог его знает. У входа в него я увидел черный переломленный остов — скорее скелет — авиетки, уткнувшейся носом в землю. Колеса утонули в бурьяне, и длинные плети вьющихся растений неудержимо лезли туда, где была кабина пилота, дверца которой болталась на одной петле, усеянная как минимум двумя десятками внушительных, с палец, дыр. В нескольких метрах поодаль среди ивняка из земли торчали два деревянных креста.

Я почувствовал, что гляжу на все это с каким-то странным любопытством, возникающим обычно на кладбище, потом подошел к крестам и посветил зажигалкой, которая то и дело гасла, несмотря на то, что я прикрывал ее рукой. Наконец мне удалось разобрать коряво написанные буквы. Вернулся к самолету, забрался под изъеденное ржавчиной крыло. Минго раздвинул плети и заглянул в кабину, словно надеясь найти давным-давно забытое. Некоторое время он копался там, а когда, наконец, разогнулся, то зацепился шляпчонкой за верх, и она шлепнулась на траву. Он отряхнул ее, надел и примостился рядом со мной. Жестом попросил сигарету и показал на кресты.

— Военные устали их выдергивать, и всегда кто-то ставил их снова.

Я вспомнил рассказ Ромерито. Минго достал бутылку, поднес к губам и запрокинул голову, оставаясь в таком положении, пока не убедился, что бутылка пуста. Потом резко метнул ее за спину, угодив в стену барака.

— Так и надо.

Мы молча курили. Я вдруг осознал всю абсурдность моего бегства, а потом с ужасом представил себе, как бы я один проделал весь этот путь, шлепая ночь напролет под дождем, насквозь промокший, расхристанный и обессиленный, и все это ради того, чтобы добраться до соседнего городка, сесть там в автобус и вернуться домой, в Буэнос-Айрес, где нет ни треклятого толстяка, ни Гэри Купера,— неужели на этом все кончится? Только вот интересно, где и когда еще доведется мне опять встретиться с той папкой, которую мне показывал капитан Суарес? И тут я вспомнил о Роче. Его расплющенный нос и фигура орангутанга маячили некоторое время в моем воображении. Зачем-то я вытащил из кармана пиджака оставленную им купюру. Это было целое состояние, по всей вероятности, он отдал мне все свои деньги. А сдачу-то я ему не вернул! Я повертел банкноту в руках, сложил ее в несколько раз, как письмо. Голос Минго возвратил меня к действительности:

— Надо идти.

Он сделал последнюю глубокую затяжку, аккуратно погасил сигарету и поднялся.

— А вы, оказывается, богач,— заметил он и показал мне на банкноту.

Я засмеялся. Хохотнул и он, но скорее за компанию. Потом без малейшего ехидства добавил:

— Хорошо военные платят.

Я промолчал. В желудке появилось неприятное ощущение, как будто перекурил.

— Это деньги Рочи. Он оставил их, чтобы я заплатил за пансион.

Минго опять подошел к кабине и заглянул внутрь.

— Парню накостыляют, как пить дать! — вдруг крикнул он, и мне показалось, что его восклицание на какое-то мгновение застряло

в остове самолета. Потом он зачем-то принялся отдирать плети, обмотавшие пропеллер.

— И я так думаю,— пробормотал я в ответ.

Подниматься не хотелось, и я продолжал сидеть, прислонившись спиной к фюзеляжу, слушая шум дождя и хриплое дыхание Минго. Идти дальше не было ни малейшего желания, да и сил не осталось. За полем — пустота. Я спрятал деньги.

— А что, этот самый Сепульведа действительно так силен?

Минго уселся в кабине, свесив ноги. Раскрытая и болтавшаяся на одной петле дверца заслоняла его, и мне была видна одна только шляпа.

— Он ловок и быстр,— ответил Минго,— к тому же тренируется круглые сутки, даже в день праздника они не спустят с него глаз, ведь им нужна только победа. Они давно уже держат его взаперти в своей комендатуре, накачивая и натаскивая, как сторожевого пса.

— В комендатуре?

— А то где же? Из Мендосы приволокли ему партнера для спарринга и нарочно заставляют его шататься по городу, чтобы все видели, какие фонари навешивает ему этот вояка.

— Он что — солдат?

Минго привстал и поглядел на меня поверх дверцы.

— Да вы с луны свалились?

— Почему?

— Вы не знаете, что он старший лейтенант?

— Кто, Сепульведа?

Он снова уселся и сказал уже сам себе:

— Я полагал, вы более сообразительны.

Я молчал, размышляя, пытаясь уловить связь между офицерским чином Сепульведы и тем интересом, который доктор и его дочь проявили к Роче.

— А Роча ничего об этом не знает.

— Не все ли ему равно,— сказал Минго,— он привык рисковать. Ему главное — заработать, а остальное... А коли жив будет, в нужный момент вдарит — и все.

— Да ведь не знает он ничего. Он считает, что победит легко...

Минго посмеялся над наивностью Рочи, встал и попросил у меня еще сигарету.

— Эх, джина бы... Может, двинемся дальше?

— Надо бы предупредить его.

— Предупредить? Завтра сам увидит.

— Значит, вы считаете, они специально повредили ему кисть?

Он развел руками.

— Не знаю. Не думаю, зачем им рисковать, ведь бой мог бы сорваться.

— Эх, если бы у Рочи рука была здоровой...

Минго усмехнулся, на этот раз неохотно.

— Не глупите, Гальван, их парня здесь не побьет никто. Ведь это был бы плевок в рожу всем военным, вместе взятым. Чушь собачья.

У меня затекли ноги. Я поднялся и сделал несколько шагов.

— Давайте вернемся,— сказал я.

— Вы опять хотите сунуться в город?

— Я должен поговорить с Рочей. К тому же мне надо отдать ему эти деньги.

— Что за бред! — сказал он.— До сих пор вам собирались просто набить морду, но если вы раздразните это дерьмо, они выпустят вам кишки, как пить дать, неужели это не ясно? Здесь не церемонятся?

Он внимательно посмотрел на меня и вдруг, как мне представилось, в душе одобрил мое решение. Двинув кулаком по обшивке самолета, он заявил категоричным тоном:

— Ладно, пошли. По дороге зайдем в бордель и купим бутылку. А то мне что-то зябко, а вам?

IX

Подступы к заведению охраняли четверо солдат, и нам пришлось затаиться в кустах. Они стояли, прислонясь к стене и запахнув полиэтиленовые дождевики. Ветер доносил до нас передававшееся в записи выступление Леонарда Фавио.

— Раз тут солдаты,— значит, сегодня нагрянули сержанты и капралы,— пояснил Минго.— Это они, точно. Когда они развлекаются, блокируют все ходы и выходы — здесь их целое войско охраняет.

— А чья вообще это фирма? — спросил я.

— Доктора.

— Авилы Гальо?

Минго снова посмотрел на меня так, что я ощутил себя наивным болваном.

— И он сейчас там?

— Должен быть. Где солдатня, там и он.

— Надо бы узнать поточнее, Минго.

Он опять взглянул на меня. Не сомневаюсь, этих слов он ждал.

— Да, я должен выяснить, здесь ли он. Если здесь,— значит, Роча остался один, и я могу повидаться с ним.

— Ну а если он с собой его приволок...

Я задумался на мгновение:

— Да вряд ли. Это было бы уж слишком.

— Вы так полагаете? — В голосе его сквозила насмешка.

Я волновался. Если Роча здесь, надо каким-то образом вызвать его, обманув бдительность доктора.

— А солдаты знают?

— Кого?

— Вас.

— Ну, не то чтобы я был уж так знаменит, но многие из них меня наверняка видели.

— Послушайте, а вы не могли бы их отвлечь, заговорить?

— А что я им, собственно, скажу? Что дышу здесь свежим воздухом?

— Да что угодно. А я попытаюсь заглянуть...

Минго обвел взглядом ярко освещенный дом, несколько автомобилей, стоявший у обочины джип, солдат, прохаживавшихся вдоль стены туда и обратно с закинутыми за плечи автоматами.

— Я вернусь назад, к роще, а потом зайду с другого конца улицы. Если они меня не признают, то уж никто потом не разберет, где я, а где кучка дерьма.

— Так вы идете или нет?

— А что делать? Придется.

И он пошел вдоль проволочного заграждения, пока не скрылся из виду. Через несколько минут я услышал свист — издалека, со стороны шоссе. Я подкрался к изгороди, снял мокрый пиджак и пролез под проволокой, а потом согнулся в три погибели и затаился в кювете. К счастью, шелест дождя перекрывал звук моих шагов. Я сделал перебежку и спрятался за одной из машин. Часовой крикнул:

— Стой!

Он выскочил на тротуар и скинул с плеча автомат. Другой подбежал прямо к той машине, за которой я спрятался, и тоже приготовился палить. Затаив дыхание, я услышал резкий сухой удар автоматом о багажник автомобиля. Парнишка был слишком сосредоточен, чтобы заметить мое присутствие почти в метре от него. Вдруг мощный поток света разлился по мостовой, мне пришлось изо всех сил прижаться к колесу, иначе мой невольный сосед сразу же заметил бы меня. Оказалось, что кто-то включил у джипа фары. От-

ражаясь в лужах, из темноты возник Минго, картинно размахивая шляпой, будто приветствуя почтеннейшую публику.

— Не стреляйте, черт побери! — заорал он и без видимой причины захохотал. Засевший было рядом со мной солдат расслабился и полез за сигаретой в карман дождевика. На мгновение лицо его осветилось — он зажег спичку,— но я не успел разглядеть солдата, он бросил спичку к моим ногам и вышел навстречу Минго.

Я быстро перебрался на другую сторону улицы, прячась за джип. Четверо солдат окружили Минго. Мне было слышно, как один из них спросил его: «Какого дьявола тебе тут надо?» Поспешно я пересек и ярко освещенный двор перед домом. Пришлось сделать вид, будто я пожаловал сюда за тем же, что и остальные; еще несколько шагов — и вот я уже у настежь распахнутых окон. Внутри танцевали под звуки голоса Д'Арьенсо. На сорок или пятьдесят вдребезги пьяных клиентов насчитывалось не более пятнадцати женщин. Те, кому не досталось пары, развлекались, комментируя неуклюжие ухаживания других. Я окинул взглядом зал, не упуская из виду то, что происходило за моей спиной: меня не покидала мысль, что вот-вот меня обнаружат. За одним из столиков восседал Авила Гальо: он что-то рассказывал, жестикулируя, четверым собеседникам, а те изо всех сил старались не заснуть. Пару за парой я оглядел танцующих — Рочи среди них не было. В числе прочих я узнал блондинку, которую Авила Гальо привел накануне в бар, а также сержанта, приходившего ко мне в пансион. У стойки двое пьянчуг пытались удержать толстяка, порывавшегося с кем-то драться и вопившего, как недорезанный боров. В зале плюнуть было негде, а через заднюю дверь входили и выходили скучающие клиенты, которые не могли решить, что лучше: дышать ли под дождем свежим воздухом или смириться и сидеть в провонявшем табаком и потом помещении. Стараясь, как мог, не вызвать подозрений, я вышел во внутренний двор. Двери четырех комнатушек были плотно закрыты, но сквозь полотняные занавески пробивался свет. На длинной, вдоль всего дома, веранде стоял стол, накрытый персон на пятьдесят, а на нем — множество пустых бутылок и грязных тарелок. За столом полдюжины выпивох гоготали над последними в этот вечер анекдотами. В центре патио стояла огромная жаровня, прикрытая железными листами, из-под которых сочился дым. Дверь одной из комнатушек распахнулась, и из нее вывалился какой-то тип, на ходу натягивавший пиджак и даже в порыве учтивости подавший руку своей партнерше, которая показалась вслед за ним в костюме Евы. Шестерка за столом зааплодировала. Кто-то крикнул: «Ну, доволен, Негр?» — а другой вскочил из-за стола, споткнулся, вычертил ногами безукоризненную полувосьмерку и полез в комнатушку, на ходу теряя уверенность. Женщина лениво поглядела на дождь, потом перевела взгляд на меня и затворила за собой дверь. Вышедший от нее уселся за стол и был награжден одобрительными шлепками по спине. Он казался трезвее остальных.

Держась в тени, я обошел дом. Минго у джипа что-то рассказывал часовым. Трое слушали его, а четвертый забрался в машину и курил. Фары были погашены. Мне показалось, что солдаты увлечены монологом Минго, и я с предельной осторожностью двинулся вдоль дома. Миновал первое окно, но не смог заставить себя повернуть голову и заглянуть в него; потом прошел мимо полуоткрытой входной двери, из-за которой удивительно отчетливо был слышен голос Мигеля Монтеро — он исполнял «Старинные медные часы». Шальная бутылка вдребезги разнесла стекло в последнем окне, осколки градом посыпались к моим ногам. От неожиданности я остолбенел, затем, еле справляясь с разыгравшимися нервами, заглянул внутрь. Трое пьянчуг по-прежнему пытались урезонить того же самого толстяка, которому все же удалось за это время продвинуться на не-

сколько метров к невидимому обидчику. И тут кто-то взял меня за плечо.

— Заварилось, э! — услышал я и медленно повернул голову. Говоривший снял руку с моего плеча и занялся своими мокрыми брюками.— Неплохо началось,— продолжал он как бы про себя. Я попытался уйти, но не успел сделать и двух шагов, как он окликнул меня:— Эй!..— Затем подошел ко мне, пошатываясь. Я разглядел его круглую, опухшую, плохо выбритую морду.— Дай сигарету,— попросил он.

Я дал. Он начал рыться в карманах в поисках спичек, с любопытством разглядывая меня. Я почувствовал, что он силится узнать меня и, как ни странно, узнает.

— У Тумбы был? — спросил он, кивнув в сторону внутреннего двора.

Вместо ответа я поднес ему огонь.

— Не был? — Он обрадовался, что появилась возможность поделиться впечатлениями.— Да ты не знаешь, что потерял! — Он резко покачнулся. Я решил воспользоваться благоприятным моментом и улизнуть. Но он мгновенно проснулся и опять принялся разглядывать меня в упор.

— А ты... ты...

— Мне нужно идти,— ляпнул я опрометчиво.

Он удивился:

— Куда же это? Разве не было сказано, что отваливаем все вместе?

— Сейчас вернусь. Приспичило.

Я шагнул в темноту, однако он попер за мной.

— Вот тут и давай,— посоветовал.—Но будь осторожнее — ветер.

Я нервничал.

— А я тебя видел,— настаивал он,— только вот где?.. Точно видел...

— Может, в лагере, в Асуле? — попытался отвертеться я.

Стоя почти по пояс в бурьяне, в темноте он казался обрубком толстого ствола, только слишком сильно раскачивался под порывами ветра. Какое-то время он молчал, тупо следя за мной. Затянувшись сигаретой, он сказал в раздумье:

— Не... какой Асуль? Я тысячу лет там не был.

Все же надо было как-то отделаться от него.

— Тебя как зовут? — спросил я.

— Старший сержант Хонте. Ты что — не помнишь меня?

Я еще раз забросил удочку:

— Из Тандиля, что ли?

— Наконец-то! — заорал он.— Конечно, из штаба... еще майор Фарина там...

— Вот-вот, майор Фарина,— подхватил я, уцепившись за спасительную соломинку,— помнишь?

— Кого?

— Да Фарину... какой человек!

— А тебя...

— Вега. Вегитой меня обычно называют.

Он почесал в затылке.

— Вегита... что-то...

— Еще Негром меня прозвали...— не терялся я.

— Негром... Ах да, Негром, конечно же... ты — сержант...

— Сержант.

Он вступил на тротуар и заорал:

— Солдат!

Меня прошиб пот. Хоть сквозь землю провалиться, только бы отвязаться от этого кретина, но повода не находилось.

— Солдат! — заорал он опять.

Один из парней, охранявших заведение, подошел и остановился в нескольких шагах, широко расставив ноги и придерживая одной рукой автомат. Другой он поднял и зажег фонарик.

— Кто тут? — спросил он устало.

— Старший сержант Хонте. Принеси-ка мне пива.

Солдат подошел вплотную к нам и посветил в лица.

— Добрый вечер, мой старший сержант,— сказал он.

— Добрый,— буркнул Хонте.— Тащи нам пиво, мальчуган.

— Я не могу покинуть караульный пост, мой старший сержант.

— Чушь не пори — валяй.

— Простите, мой старший сержант...

— Что еще за «простите»! Исполняй, иначе завтра попляшешь у меня!

— Обратитесь к начальнику караула, мой старший сержант, с вашего разрешения, мой старший сержант, я вернусь на пост.

Часовой повернулся кругом и зашагал прочь. Хонте ругнул его пару раз и засунул руки в карманы.

— Хермани там за старшего, замордовал несчастных ребят,— произнес он, пытаясь оправдать проявленное к нему непочтение со стороны солдата. Я сообразил:

— А почему бы тебе самому не сходить за пивом?

Он поглядел на меня обиженно.

— Какого еще черта, сам иди,— сказал он и дотронулся до того места на моем рукаве, где должны были быть нашивки.

— Ты ведь сержант, не так ли?

Тогда я сказал ему на ухо, доверительным тоном:

— Так точно, сержант, но живот у меня схватило.

Он поглядел на меня, крякнул, сдерживая усмешку.

— Пока схожу, ты добудешь два пива.

— Давай,— наконец согласился он. Потом крикнул мне вслед: — Может, тебе и бумажку принести?

— Травкой обойдусь,— ответил я и зашагал к полю.

Убедившись, что он скрылся в доме, я уточнил, где находятся часовые, и пересек улицу. Снова перелез через заграждение, отыскал свой пиджак и присел на корточки, высматривая Минго.

— Куда это вы подевались? — услышал я за спиной знакомый голос.

Я обернулся:

— Прекрасно обвели солдат.

— Начальник нагрянул и дал мне под зад. Роча там?

— Нет. Он, должно быть, у доктора дома.

— Значит, придется идти в город? — спросил Минго.

— Если вы составите мне компанию... Только надо торопиться, пока доктор не вернулся.

Он посмотрел на меня как на рехнувшегося.

— Вы что, в дом к нему сунетесь? Неужели нельзя обождать до утра?

— Вы полагаете, что Авила Гальо позволит мне поговорить с ним? Ерунда, надо воспользоваться его отсутствием.

— Точно рехнулись. Этот дом охраняется тщательней, чем комендатура.

— Рискнем.

Где-то рядом опять затрещала цикада. Минго улыбнулся и похлопал меня по плечу:

— Ладно, так и быть. Вы, я вижу, везучий.

X

Нам опять пришлось пролезать под тем же самым вагоном. Прятавшаяся здесь от дождя птичья мелюзга при нашем появлении в панике билась о колеса и оси, прежде чем разлететься кто куда.

Миновав вокзал, мы направились по пустынной улице к центру. Остановились где-то в полусотне метров от лачуги Минго и оба одновременно поглядели в небо, где едва брезжил рассвет воскресенья.

— Ну что, идем? — спросил я.

— Выходит так.

На часах было четверть шестого. Я скинул черный пиджак, превратившийся в мокрую бесформенную тряпку, и выбросил его. Когда мы поравнялись с пустырем, Минго взглянул туда, где угадывались очертания его жилища.

— Эх, не мешало бы выпить мате,— с тоской сказал он.

Но мы двинулись дальше. После изнурительного перехода по пашне, где ноги вязли в грязи, проваливались в глубокие лужи или в ласочьи норы, шагать по асфальту было настоящим наслаждением, и я согрелся. Как только мы вышли к улице, на которой жил доктор, Минго задержал меня, коснувшись рукой моей груди, а сам подошел к дому и осторожно выглянул из-за угла.

— Дьявольщина, так я и думал,— пробормотал он.

Через его плечо посмотрел и я. У дома Авилы Гальо стоял черный «торино» с раскрытой дверцей. Минуту мы, прижавшись к стене, не сходили с места. Наконец Минго шепнул:

— Эх, была не была!

— А вы знаете, как там и что?

— Патио дома, кажется, выходит одной стороной на пустырь. В прошлом году там что-то рушили.

Он выглянул еще раз.

— Если двинем вместе, могут засечь. Вы идите по тому тротуару, свернете вон там. А я пройду чуть подальше и через квартал сверну. Выходите на пустырь и ждите меня у ограды.

Я одобряюще улыбнулся, достал пачку сигарет и передал ему. Он готов уже был идти, когда я спросил:

— Почему вы решились на это?

Минго выпустил длинную струю дыма и устало махнул рукой:

— Да ведь иначе ему конец, что, не так?

И ушел. Я подождал, пока он не исчезнет за углом, и перешел улицу. Шел медленно, искоса поглядывая на дом доктора. Там было все по-прежнему: черный «торино» и зловещая тишина. Не успел я свернуть в проулок, как дверца машины резко хлопнула. Звук этот, как выстрел стартера, чуть было не заставил меня сорваться с места, но я сдержался. Теперь малейший шорох отдавался у меня в ушах громом: я слышал и щебет каждой птахи вокруг, и свои собственные шаги. Пересчитал их все до единого, пока добрался до пустыря. Земля здесь была покрыта слоем всякого хлама, булыжников и битого кирпича. Я двигался с предельной осторожностью, продираясь сквозь мокрый бурьян, то и дело натыкаясь на какие-то обломки, и наконец подошел к высокой стене, не имея ни малейшего представления о том, что за ней скрывается — двор Авилы Гальо или что-то другое. Дойдя, присел на влажные кирпичи и почувствовал, что дрожу. Побаливала грудь. Дождь кончился, и я наблюдал, как сквозь серые тучи пробивается утренняя заря. Я понятия не имел, как привлечь внимание Рочи, не разбудив при этом Марту, которая тотчас же, конечно, кликнет охрану. Да и Рочу будет не так-то просто расшевелить.

Эти сбивчивые мысли прервал своим появлением Минго, державший в руке шляпу и плащ, но быстро надевший их снова, словно актер, которому они полагались по роли.

— Все в норме? — спросил он и, не дожидаясь ответа, положил один на другой три кирпича, встал на них и заглянул за ограду.— Вроде здесь,— добавил он.

Я последовал его примеру. В мутном утреннем свете мне предстало тщательно ухоженное патио, где несколько розовых кустов окружало зацветавшее абрикосовое дерево. Пока я размышлял, нет

ли там собаки, встреча с которой провалила бы все дело, Минго полез на стену. Эта гимнастика явно была ему не по силам: глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит, а правая рука, которой он цеплялся за верхний камень, была настолько худа, что кожа едва не лопалась от напряжения. Наконец он зацепился локтем за край стены, сопровождая свои усилия хрипом, и попытался закинуть наверх правую ногу. Башмак скользнул по краю, оторвал кусок штукатурки и шлепнулся вниз. Он сам как-то странно дернулся, не сумел удержаться и, перевернувшись в воздухе, ударившись спиной о цоколь стены, очутился на земле. Я протянул было руку, чтобы поддержать его, но опоздал. Он стукнулся головой о камень, на котором я стоял, и затих, раскинув руки и ноги.

Я склонился над ним. Он не двигался, но дышал, как астматик, глаза его были плотно закрыты. Я легонько потряс его. Минго взглянул на меня и скорчил гримасу, как бы говоря, что справится без моей помощи. Тогда я провел рукой по его седым волосам и почувствовал что-то липкое и теплое. Его грудь вздымалась и опускалась так судорожно, будто внутри что-то бурлило. Наконец он пошевелил рукой, потом согнул в колене ногу. Оперся локтем о землю, повернулся на бок, уцепился за выступ стены и перевалился на колени. С минуту он оставался в таком положении, пытаясь отдышаться. Я хотел помочь ему подняться, но он вновь отстранился. По-прежнему цепляясь за стену, встал и потянулся за шляпой, которая откатилась к обломку какой-то балки с торчавшими из нее заржавленными крючьями арматуры.

— Продолжим,— сказал он.

— Но вы поранили голову...

Он ощупал голову, не проявляя никакого беспокойства, даже почти с гордостью, и решительно направился к стене.

— Надо скорее найти парня. Что же вы стоите?

— Выкурим сначала по одной,— предложил я.

Минго был возбужден, и я опасался, что он опять сорвется. Мы покурили, наблюдая, как небо заливает утренний багрянец. Но вот Минго швырнул недокуренную сигарету и придавил ее ногой. Не говоря ни слова, он взобрался на свои кирпичи и полез на стену, повторяя одно за другим все прежние движения. Я внимательно страховал его, пока он не уселся верхом. Мы спрыгнули в патио и осторожно подошли к дому. Слева от него узкая галерея вела на улицу. Я на цыпочках подошел к решетчатой калитке и увидел машину.

Сквозь занавешенные боковые стекла машины просвечивали два пляшущих сигаретных огонька. Я вернулся назад, прижимаясь к стене и осторожно ступая: малейший шорох мог привлечь внимание этих типов. На тропинку выходили два окна, жалюзи на них были опущены. Почему-то я решил, что за одним из этих окон дрыхнет Роча. Я завернул во двор. Минго, держа руку на дверной ручке, глядел на меня вопросительно, знаками призывая следовать за собой.

— В дом лучше всего входить через дверь,— изрек он шепотом и слегка надавил на дверь, она открылась бесшумно.

Тут он опять сделал вопросительный жест, словно говоря: а дальше что? Я шепнул ему на ухо:

— Надо бы разуться.

— Если девка эта проснется, она поднимет такое...— сказал он в ответ.

Где-то в соседнем дворе закричал петух, чуть поодаль другой. Я подхватил туфли одной рукой, а другой посветил зажигалкой. Слева оказалась кухня, дверь в нее была открыта; справа — комната, в которой стоял гладильный столик, стиральная машина, а у дальней стены — громадный бельевой шкаф. Мы прошли дальше по коридору, и каждый раз, когда зажигалка жгла мне пальцы, я задувал ее, и мы на какое-то мгновение останавливались и замирали; казалось, что в

тишине можно различить наше дыхание, и явственно ощущался запах нашей мокрой одежды.

Коридор вывел нас в холл, из него одна дверь вела прямо в кабинет доктора. Еще две двери — одна напротив другой — были плотно закрыты. Я поколебался, а потом, неизвестно почему, выбрал правую. Осветил ручку и медленно повернул. Тихонько приоткрыл дверь и посветил внутрь. Язычок пламени выпрямился, и я различил в глубине комнаты кровать со смятым покрывалом. Она была пуста. На стуле стояла сумка Рочи с расстегнутой молнией.

— Его здесь нет,— сказал я Минго.

— Значит, он был там, в борделе,— прошептал он.

«Наверняка он был там, в одной из комнатушек, с женщиной»,— подумал я с досадой и выругал себя последними словами за то, что не довел дело до конца и не дождался его около заведения, потом дал понять Минго, что теперь придется выбираться отсюда. Я был настолько зол, что не заметил столик с телефоном и с размаху сбил его. Раздался оглушительный грохот, столик повалился, а я обжег пальцы зажигалкой и, пытаясь удержать его, еще больше наделал шума. Но самый жуткий шум произвел пластмассовый телефон, который, казалось, целую вечность катился по полу, рассыпаясь по деталям. Мы остались в полной темноте и тщетно пытались укротить рвавшееся из груди дыхание. В комнате слева послышался шорох, потом как будто что-то упало. Мы ждали дальнейших событий, но все стихло. Я подумал, что Марта открыла окно, чтобы вызвать охранников из машины. Нащупав левую дверь, я открыл ее. В комнате было темно, а кто-то, метнувшись к окну, сдвинул какой-то предмет. Я пошарил по стене, ища выключатель, и зажег свет. Марта, совершенно нагая, стояла в двух шагах от смятой постели. Пытаясь найти в темноте рубашку, она налетела на стул. Ее черные распущенные волосы падали на маленькие девичьи груди. Я не мог не восхититься ее прекрасным, ослепительной белизны телом и мягкой округлостью бедер. Рот ее был раскрыт, но от охватившего ее ужаса она даже кричать не могла. Я поднес палец к губам, умоляя ее не поднимать шум. Минго рядом со мной, казалось, обалдел от неожиданности и восторга. Так мы с ним и стояли какое-то время на пороге, держа в руках туфли, не зная, что сказать.

— Простите,— выжал из себя Минго, не сводя, однако, с нее восхищенных глаз.

Перепуганная, жалкая Марта схватила со стула рубашку, прижала ее к груди и начала тихонько пятиться к кровати.

— Что... что вам здесь нужно?..— прошептала она срывающимся голосом.

Любое объяснение было бы сущим идиотизмом, и у меня вырвались слова правды:

— Мы ищем Рочу...

Широко раскрыв глаза, она смотрела на нас, готовая разрыдаться. Из-за небесно-голубой рубашки, которой она пыталась прикрыться, торчала лишь одна ее головка,— казалось, что Марте не больше двенадцати.

— Уходите отсюда,— пролепетала она.

Я с облегчением подумал, слава богу, что она не кричит, призывая на помощь. Теперь она в полном замешательстве глядела на Минго, у которого ухо и воротник были выпачканы кровью. Вообще вид у горемыки был жутковатый, никому бы не пожелал такого пробуждения.

— Уйдите, прошу вас,— взмолилась Марта.

Я попятился, спиной выталкивая Минго. Взялся за ручку двери и нечаянно выронил ботинок. Сгорая от стыда, нагнулся, чтобы поднять его, и в этот момент увидел на полу знакомую майку с эмблемой «Велосипедного клуба». Ах вот оно что, подумал я и поглядел Марте

прямо в глаза. Она уже была похожа на кошку, которую застали на месте преступления с последним перышком канарейки в зубах.

— Где он? — спросил я.

Марта судорожно сглотнула слюну.

— Кто?

— Не притворяйтесь. Где Роча?

Она закусила нижнюю губу, обхватила руками подушку и разревелась. За моей спиной Минго что-то сочувственно пробормотал.

— Убирайтесь! — закричала Марта.— Вон отсюда!

Тогда я подошел к кровати, схватил ее за хрупкое плечико и встряхнул.

— Не кричите! Вы что, решили весь город всполошить?

В мою правую лодыжку вдруг впились адские клещи.

— А ну, убери руки, мерзавец!

Этого я никак не ожидал.

Роча высунул свою огромную голову из-под кровати, глаза его помутнели от бешенства. Он ухватился за край постели, пытаясь выбраться из западни, но ему препятствовал матрац вместе с Мартой. Верзила рванулся и сдвинул кровать не меньше чем на полметра. Я воспользовался этим, чтобы высвободить ногу и отскочить. Марта взвизгнула и уткнулась лицом в подушку по всем правилам драматического искусства. Ее рыдания были для Рочи лошадиной порцией допинга, и он, упершись руками в пол, выгнул спину и стал вылезать из-под кровати, как пробка из бутылки.

— Сукин ты сын! — заорал он.

Наконец его усилия увенчались успехом, и он выпростал волосатую спину, на которой краснели две длинные царапины.

— Кончайте дурить,— попытался я в последний раз вразумить его.— Разве не понимаете, вы как дурак попались им в лапы!

Марта громко вхлипнула, а Роча издал свирепый рык. Он уже высвободил зад и был почти на воле. Тогда я схватил обеими руками стул и занес у него над головой.

— Только пошевелитесь, размозжу! — пригрозил я.

Марта злобно взглянула на меня и даже намеревалась защитить боксера. Из ее карих глаз текли по щекам два ручейка слез, смывая остатки вечерней косметики. В порыве сострадания Минго подошел к ней и протянул было руку, но роль утешителя ему не далась — Марта ударила его подушкой. От неожиданности он выронил ботинки, отступил и затих в углу. Роча покосился на меня оценивающе, словно размышляя, способен ли я выполнить свою страшную угрозу. Я сделал еще более зверское лицо, наступил ногой на его левое плечо, прижимая верзилу к полу.

— Возьмите свои слова обратно,— прохрипел он, но голос его прозвучал менее уверенно.

— Возьму, но когда вы очухаетесь, поймете, что происходит.

— Да я вам морду раскрою! — хрипел он.— Да я вас...

Он вытягивал шею, вертел головой из стороны в сторону, физиономия его потемнела от злобы, ненависти и отчаяния. Я же продолжал размахивать стулом.

— Выслушайте меня... Доктор — подлый мошенник... все подстроено... в любом случае победит Сепульведа и...

— Ложь! — Марта, как тигрица, спрыгнула с кровати, прикрываясь простыней, она подскочила ко мне и влепила две звонкие пощечины крест-накрест. Потом принялась тузить меня, тыча кулачком в грудь, как в телевизионных потасовках. Руки у меня были заняты, и я не мог защищаться, а Минго не отваживался прийти мне на помощь. Роча улучил момент, наконец выбрался из-под кровати и встал на ноги. Он был гол, как медведь, да и шерсти на нем было не меньше. Своей распухшей лапой он без труда вырвал у меня стул и метнул его в стену, едва не угодив в голову Минго. Тот успел присесть,

и обломки стула посыпались на него сверху. Роча схватил меня за горло, занес правую и уже готов был покончить со мной одним ударом, но Марта бросилась ему на грудь.

— Какой позор! Какой позор! — всхлипывала она.

Роча опешил и на какое-то мгновение расслабил мускулы. В его вытаращенных глазах нашлось вдруг место нежности. Он улыбнулся совершенно незнакомой мне улыбкой, обнял правой рукой Марту за талию и приподнял ее, как ребенка, а левой подхватил нежно под колени и понес, ступая словно по облакам. Я подумал, что самое благоразумное воспользоваться этим обстоятельством и сбежать, но тогда к чему все мои мытарства.

Минго, по-видимому, придерживался иного мнения: он мягко, по-кошачьи подкрадывался к выходу, однако Роча успел пнуть его ногой, и тот отлетел к платяному шкафу. С неподражаемой грациозностью Роча опустил Марту на кровать и нежно поцеловал ее в лоб. Теперь настал мой черед. Он направлялся ко мне, явно прикидывая, куда бить.

— Дайте же мне слово сказать,— попросил я, но он продолжал наступать. Тогда я вспомнил о кодексе боксерской чести: — Боксеру не полагается драться вне ринга.

Вряд ли меня он слышал. Он нацелился слева на печень, правда, чудом я увернулся, и удар пришелся по спине. Я рухнул к ногам Марты, дыхание прервалось. С улицы послышался шум.

— Отец! — воскликнула Марта и онемела. Мы застыли в нелепых позах, изображая скульптурную композицию.

— Я поговорю с ним,— произнес наконец Роча, обращаясь к Марте.— После боя мы поженимся, и дело с концом...

Сейчас подобная перспектива не вызывала умиления. Стоит доктору увидеть нас в таком составе, весь местный гарнизон будет поднят по тревоге. Я встал и поспешил к окну, готовясь к благопристойному отступлению. Авила Гальо в это мгновение отворил входную дверь, зажег в холле свет и тихо кому-то сказал:

— На дворе прохладно. Вы, должно быть, озябли там... Оставьте свое оружие здесь и выпьем по чашечке кофе.

У меня дрогнули колени. Я толкнул дверь, но не закрыл ее до конца, чтобы не шуметь. От страха я не мог сразу найти выключатель, в конце концов все же погасил свет. Поздно — Авила Гальо заметил его отблеск в коридоре и напевно позвал:

— Мартита-а?

Я достал зажигалку, посветил. Поднял рубашку, подал ее Марте.

— Выйдите,— попросил я почти тоном приказа.— Выйдите и скажите что-нибудь...

— Я скажу,— вновь вызвался Роча, но на этот раз без особого энтузиазма. Я шикнул на него и отпустил рычажок зажигалки.

— Мартита? Ты здесь, дорогая? — вновь послышался голос доктора.

Марта вскочила с неожиданной прытью — вмиг натянула рубашку. Я отпрянул от двери и прижался к стене. «Выдаст»,— мелькнуло в голове. Она вышла и тотчас же столкнулась с отцом.

— Мартита, а что это у тебя, доченька, там свет горит? — допытывался доктор.

Должно быть, он уже заметил погром в коридоре и потому недовольно спросил:

— И это? Как могло упасть? Будто слон...

Роча прищелкнул языком, приняв все на свой счет. Судя по звукам, Авила Гальо собирал обломки.

— Это я, папа... Не знаю, как вышло...

— Ладно, ладно... Ну-ка... гудок есть, ничего... поцелуй папочку. Гм, а чем это у тебя пахнут волосы?

— Что?.. Да ничем...

— Ты чем-то мазалась?

«Роча, видимо, запачкал ее мазью, которой помазали ему руку»,— догадался я.

— Это тон для волос,— нашлась Марта и перевела разговор на другую тему: — Ты не один?

— Ребята из охраны у меня в кабинете. Решили выпить кофейку. Иди, я не хочу, чтобы они видели тебя неодетой. Ты уже встаешь?

— Еще полчасика, папочка. Можно?

— Еще поцелуйчик.

Марта чмокнула его.

— Роча рано заснул?

— Наверно. Там было тихо.

Ее голос звучал уверенно и равнодушно.

— Пойду разбужу его. Уже шесть.

— Ты удачно съездил в полк? А он пусть еще немного поспит, бедняга.

— Да, все в порядке, как всегда. Быть может, он захочет выпить с нами кофе...

— Лучше подожди, папочка. Я оденусь, сбегаю в лавку, а потом пригласим его.

— Хорошо, но особенно-то разлеживаться ему не следует. Иди, дорогая.

Марта вернулась в комнату, закрыла дверь и зажгла свет. Она тяжело вздохнула и сокрушенно уставилась в пол. Я подошел к ней, чтобы извиниться, но в дверь опять тихонько постучали. Минго полез за шкаф, Роча спрятался за кроватью, а я встал за дверь. Марта открыла.

— Купи побольше печенья, хорошо? — сказал доктор.

В ответ, похоже, она улыбнулась, но ничего не сказала и закрыла за доктором дверь. Роча поднялся из-за кровати, а Минго покинул свое укрытие. Верзила обнял Марту, поцеловал ее в щеку и погладил по голове.

— Выслушайте меня,— сказал я.

Роча обернулся, а я, не дав ему рта раскрыть, продолжал:

— Извините меня, пожалуйста,— сказал я как можно деликатней.— Я вел себя недостойно и нагло.

Роча пожал плечами. Глаза его смотрели устало, но слова мои ему явно пришлись по душе. К тому же он недурно провел ночь, потому злость его уже улетучилась.

— Чего там,— с гримасой усмехнулся он,— раз вы извиняетесь... Я вас не зашиб?

— Со страху я и не заметил. Вам надо побыстрее проскочить в свою комнату.

— Да, но как?

Он посмотрел на Марту, ожидая подсказки. И не ошибся.

— Я одеваюсь, потом иду на кухню, по пути захожу поздороваться с гостями. Закрываю за собой дверь, а ты в это время возвращаешься к себе.

— А они? — Он мотнул головой в нашу сторону и только теперь, мне показалось, вспомнил о Минго.— А что тут делает эта образина?

— Этот человек вызвался помочь нам.

— О, весьма признателен. С таким помощничком...

— Я говорю совершенно серьезно. За Сепульведой стоят все здешние военные...

— Да я его сидя так разрисую! Слышать об этом больше не желаю.. Чей вы друг в конце-то концов — мой или Сепульведы?

Он опять начал злиться и повысил голос.

— Вы ведь знаете, что в таком состоянии вам драться нельзя. У вас повреждена рука, вы не спали всю ночь...

— Победителю прямая дорожка в финал первенства. Идите и передайте это вашему дружку,— он еще иронизировал, тупица. Потом приказал: — А теперь отвернитесь — Мартита будет одеваться.

— А вы? — подал голос Минго.

Роча скосил на себя глаза и покраснел.

— Моя одежда в той комнате,— пробормотал он извиняющимся тоном.

Мы отвернулись, давая Марте одеться.

— Послушайте, Роча,— не отставал я,— мы всю ночь вас разыскивали, хотели предупредить. Даже забрели в...

Минго пригвоздил меня взглядом, показав в сторону Марты.

— Где нас только не носило...— продолжал я,— вы что, думаете, мы шутить сюда пришли?

— Если я уложу его, меня не смогут обдурить. Заказывайте, в каком раунде?

«Ну, что с него возьмешь»,— подумал я. Марта причесывалась перед зеркалом, стоявшим на комоде. Собрав волосы в длинный хвост, она закинула их за спину. В голубом, наглухо закрытом платье она выглядела еще стройнее и теперь снова превратилась в ту самую скромницу, которую мы встретили вчера в кабинете доктора. Я уже не осмеливался повторить при ней свои обвинения в адрес ее отца, понимая, что для Рочи они обернутся недоверием к нему, да и кому такое может понравиться, когда возлюбленная рядом. Утверждение, что ничтожный Сепульведа выстоит до конца и судьи отдадут ему победу, в такой ситуации и в самом деле звучало кощунственно.

— Не волнуйтесь,— сказал Роча и сжал мою руку,— я свое дело знаю.

Все напрасно — убедить его невозможно. Я посмотрел на Марту и вдруг почувствовал прилив нежности. Хрупкая и беззащитная, она сидела на краешке кровати, надевая туфли. Я принялся внимательнее оглядывать комнату. На тумбочке у постели стоял пузырек с глазными каплями; журнал «Ноктурно» раскрыт на той самой странице, которую она при появлении Рочи не успела перевернуть... На этажерке у стены — с десяток книг из популярной серии «Тор», среди которых я различил переплет «Графа Монте-Кристо». На комоде — шкатулка под фарфор, цветочная ваза с букетом свежих роз и свадебное фото Авилы Гальо. Еще одна фотография, воткнутая в щель между зеркалом и рамой, изображала Марту лет в двенадцать-тринадцать, улыбающуюся, с косичками, в платьице из органди. Над кроватью висело серебряное распятие, которое, должно быть, регулярно чистили. На другой стене — небольшой пейзаж: сосны и снег. Я продолжал инвентаризацию, но Марта вдруг вежливо посоветовала:

— А вы бы могли выбраться через окно.

Минго осторожно раскрыл створки. Свет нового дня наполнил комнату и растворил желтоватую муть электролампочек. Роча, стараясь не привлекать к себе внимания, натянул трусы и майку с символикой «Велосипедного клуба». Марта заправила постель.

— Вы не могли бы оказать мне одну большую услугу? — спросил я у Рочи. Он поглядел на меня недоверчиво.— Приходите, пожалуйста, через два часа к вокзалу.

— А что стряслось?

— Головорезы ищут меня.

Он искренне удивился. Но времени на разъяснения у меня не хватало.

— Обратитесь в полицию,— сказал он.

— Так придете или нет?

— А чего вы хотите? Чтобы я заступился?

— Вот именно.

— А сколько их?

— Я не прошу вас бить им морду. Если вы будете рядом, они не тронут меня.

Попадание в яблочко. Он раздулся от гордости.

— Положитесь на меня.

— Значит, через два часа.— Я подмигнул, и он мигнул мне в ответ.

Минго поднял свои ботинки и выскочил из окна первым, да еще с неожиданным проворством. Уже с веранды я заметил, как Роча в синих трусах и желтой майке обнял Марту и целовал ее в шею. Потом он захлопнул окно перед самым моим носом.

— Господи, это сколько же лет я не видел голой женщины,— вздохнул Минго.

XI

В десятый раз я потягивал мате, а Минго все еще возился в некоем подобии туалета, который он соорудил в дальнем конце пустыря меж двух деревьев: яма, прикрытая доской, да еще деревянный ящик из-под фруктов с дырой, восседать на котором можно было не без удобства, хотя зимой, наверно, это было сомнительное удовольствие. Я достал из своего чемодана другие брюки, а все мокрое развесил на солнце сушиться. Ровно в половине десятого Роча вылез из такси у входа в вокзал и огляделся. Два каких-то мальчугана узнали его и захотели побеседовать со знаменитостью. Верзила погладил по голове меньшего, а потом снизошел и продемонстрировал кое-какие приемы. Я надел еще не просохшие как следует туфли, пиджак, висевший на ветке, и направился к Роче.

— Где это вы были? — спросил он.

— Да тут, напротив, в доме моего приятеля.

Роча поглядел в сторону пустыря, но ничего не увидел и решил, что это розыгрыш.

— У Минго,— добавил я.

— Какого еще Минго?

— У того самого, который ночью был со мной.

Он брезгливо поморщился. Устал он куда больше, чем я, и потому злился.

— Охота была якшаться с таким отребьем. Из-за вас я и угодил в этот идиотский переплет.

Мимо пробежал парнишка с кипой газет. Роча заметил его и, пропустив метров на пять, свистнул. Паренек вернулся, протянул ему номер «Расон». Это был последний, вчерашний выпуск.

— Зайдем на минутку в бар. Мне надо с вами поговорить.

— А где же эти ваши головорезы? У меня руки чешутся.

— Пошли выпьем кофе.

Неподалеку была таверна со стойкой и несколькими столиками. К счастью, мы оказались единственными посетителями, и хозяин, не выходя из-за стойки, спросил, что нам угодно. Я заказал два кофе.

— Значит, вы все же решили драться? — спросил я, когда мы уселись поближе к двери.

— Вы опять за свое?

Я пересказал ему все, что узнал от Минго.

— И вы верите этому мусорщику,— сказал он разочарованно, уставясь на кофейную пенку.

— Даже если все это и не так, согласитесь, что у вас с поврежденной рукой, да еще невыспавшегося, маловато шансов...

— С другим парнем, скажем, как Монсон, я не отважился бы сейчас драться даже по телефону,— он изобразил гримасу, означавшую улыбку,— а этого я уложу в два счета.

— А если нет?

Он пожал плечами, оперся локтями о столик и чуть подался впе-

ред, устремив на меня свои водянистые глазки с фиолетовыми подглазьями.

— Закурить есть?

Я дал ему сигарету и подал знак хозяину принести еще пачку.

— А если нет? — повторил я.

Он помолчал, сделал несколько затяжек.

— Это моя последняя возможность, понимаете?

— Ну, вы еще не старик.

— Тридцать четыре. Порох на исходе.

Я выпил стакан воды. Попристальнее разглядев его, я ужаснулся: все лицо его испещрено следами былых боев.

— Последний шанс. Либо выиграю, либо бросаю все.

— А потом?

Роча закашлялся. Вид у него был жалкий — как у собаки, подавившейся костью. Он с грохотом отъехал на стуле назад и достал смятый платок. Хозяин поглядел в его сторону.

— Курить не надо, спортсменам курить не полагается,— крикнул он из-за стойки, на которую выкладывал бутерброды. Роча то ли не расслышал, то ли просто не обратил на него внимания. Справившись с кашлем, он высморкался и с минуту сидел, тяжело дыша.

— А вы дьявольски настырны,— произнес он наконец.

Хозяин принес сигареты и хотел было вмешаться в разговор, но взгляд Рочи заставил его переменить решение, и тот поспешно ретировался.

— Ладно,— сказал верзила,— ну, так кто же вас так допек?

Я рассказал ему обо всем, что произошло с того момента, когда его увез Авила Гальо.

— И вы решили искать меня в борделе? Да за кого вы меня принимаете?

— Они могли затащить вас, откуда я знаю...

— Вот-вот! То вы считаете, что меня можно обвести вокруг пальца, как последнего болвана, а то сами же просите у меня помощи.

Он поглядел на меня покровительственно и добавил:

— Так что же вам все-таки от меня нужно?

— Чтобы вы повсюду таскали меня с собой. Тогда они не осмелятся меня тронуть.

— Может быть, вы хотите, чтобы я захватил вас с собой на ринг?

— Ага.

Он откинулся назад в явном недоумении.

— Дурака валяете.

— Нет, я серьезно.

— На ринг? Как это?

— В качестве менеджера, секунданта — вам лучше знать. Кто там прыскает вам водой в физиономию после раунда?

— Они мне сами кого-нибудь дадут.

— Откажитесь. Заявите, что я — ваш менеджер.

Ему понадобилось время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Он размышлял, прихлебывая кофе.

— Значит, вы и выбросите полотенце,— вдруг сказал он.

— Ну вот, выходит, вы и сами не слишком уверены.

Он протестующе замотал головой.

— Да это я так, к слову. Вы хоть знаете, сколько у меня было боев?

— Нет.

Сейчас он наверняка начнет считать с первого класса начальной школы.

— Сто восемьдесят четыре. И ни одного полотенца. Как-то раз один идиот собрался было выбросить губку... и вы знаете, что я с ним сделал?

Мне и в самом деле было интересно.

— Я скинул его вниз вместе с ведром, губкой и всем прочим.

Правда, меня дисквалифицировали за поведение, неподобающее спортсмену, но я доказал, что никому не позволю себя учить.

— Даже Марте?

Он пристально поглядел на меня, и я не нашел ничего лучшего, как закурить сигарету.

— Извините,— сказал я наконец,— мне не следовало вмешиваться не в свое дело.

— Как это «не в свое дело»? — Он выпустил дым прямо мне в лицо.— Вы даже явились поглядеть, чем мы занимаемся в постели!..

— Да разве мы нарочно? Откуда было знать...

— По-вашему, только артисты завоевывают сердца женщин?

— Я не об этом. Худышка и впрямь лакомый кусочек...

Он побагровел, отшвырнул сигарету и встал.

— Ну-ка повторите...

Я отпрянул.

— Спокойнее, шучу я. Нечего злиться.

Он с облегчением опустился на стул.

— Это не шутки. Марту не трогайте.

Я не стал спорить. Мы помолчали. Наконец, стараясь не смотреть на меня, Роча сказал:

— После боя я поговорю с доктором. Просто не хочу нервничать перед выходом на ринг.

— Решили оформить ваши отношения?

Я вдруг почувствовал, что мне доставляет какое-то странное удовольствие выводить его из себя.

— Ну... она мне нравится... к тому же до меня она никого не знала... понимаете?

— Все ясно. А вы расторопны, старина.

Он лукаво ухмыльнулся:

— Пойдете в свидетели?

— И менеджер, и свидетель?

Он слегка заколебался, но потом решил не отступать:

— Договорено,— и поднял большой палец левой руки. Опухоль не опала, вокруг подсохшего шрама расплылось лиловое пятно.— Но вы должны пообещать...

— Что именно?

— Что после боя вы исполните за меня серенаду для Марты. Парочку старых добрых танго под окном. А я подпою — почти дуэтом.

— Серенады сейчас не в моде.

Я представил себе, как доктор и парни из охраны воспримут это действо.

— Знаю, так вот как раз поэтому. Не всякий сможет пригласить Андреса Гальвана петь под окном невесты.

— Да не в том дело... просто я не привык...

— Не привык! — передразнил он.— Теперь сами видите, что выходит с привычками... Про автограф, небось, не забыли...

Я улыбнулся, признал себя сраженным и закрыл дискуссию:

— Согласен.

Он остался доволен и размечтался о том прекрасном времени, которое настанет после боя.

— Итак,— сказал я,— приступаю к своим менеджерским обязанностям. Сейчас мы идем в гостиницу и спим. Подъем — за два часа до начала боя. Нам обоим надо быть в форме.

— Но доктор пригласил меня на обед.

— Вы позвоните ему из гостиницы и скажете, что обедаете со мной. Нет, лучше я сам позвоню. Пусть знает, что я ваш менеджер.

— Мне бы не хотелось слишком отдаляться... Все же не забывайте... Словом, мне невыгодно с ним ссориться.

— Не волнуйтесь. Вы ответите любезностью на любезность — пригласите его и Марту отобедать с вами после боя. А когда они отправятся почивать, мы организуем серенаду. Идет?

— Великолепная мысль! — Он выглядел вконец измотанным, как боевой петух после схватки, а я предоставлял ему заветную возможность отдохнуть в постели.— Если бы я встретил вас раньше, наверняка был бы уже чемпионом.

В улыбке заблестели все его зубы.

— Идемте,— Роча встал.— Я заплачу. Берем такси, а?

Старуха, хозяйка пансиона, провела нас в уже знакомую комнату. Я попросил принести телефон, отыскал в справочнике номер Авилы Гальо и набрал, моля судьбу о том, чтобы на другом конце провода откликнулись. Наш разговор явно раздосадовал доктора, и он этого не скрывал. Прежде всего я напомнил ему, что он должен заплатить мне по контракту, причем деньги необходимы мне сегодня же вечером. Еще я сказал, что мы с Рочей уезжаем в понедельник, поездом. А когда я пригласил его на ужин, он попросил передать трубку «сеньору Роче», но я ответил, что тот уже спит.

— Он же спал всю ночь напролет,— сказал доктор,— не может он сутки валяться в постели.

— Он так всегда готовится к бою. Кстати, передайте Сепульведе, чтобы тот не обольщался: перед тем как уснуть, наш Роча правой разнес вдребезги платяной шкаф.

Я категорически запретил хозяйке беспокоить нас, кто бы ни явился, и попросил разбудить ровно в семь, приготовив к этому времени душ. Щедрые чаевые больше походили на взятку.

Когда я вошел в комнату, Роча храпел в той же позе, которую принял пятью минутами раньше. Я разделся, взял газету и лег. На спортивной странице была напечатана небольшая заметка, сообщавшая о бое в Колонии-Веле, и помещена фотография одного лишь Сепульведы: «Не знающий поражений местный тяжеловес Марсиаль Сепульведа выступит в воскресенье против ветерана Тони Рочи. Победитель этого боя выходит претендентом в финал первенства Аргентины и в январе будущего года встретится в решающем матче в Луна-парке с Хорхе Сальдиваром из Кордобы. В последних четырех боях Роча дважды одержал победу, один раз проиграл и один бой свел вничью, а Сепульведа (23 года) одержал 24 победы подряд на профессиональном ринге, причем семь последних боев выиграл нокаутом».

Я спрятал газету. В боксе я разбирался не бог весть как, но боев видел немало, начиная со знаменитого Гатики и кончая нынешними звездами. Но вот своего подопечного я ни разу не видел в деле. Я припомнил, что говорил мне начальник станции в день нашего приезда сюда. Да и сам Роча признался мне накануне в баре, что его боксерская карьера кончена или по меньшей мере приближается к концу. Я подумал, что есть лишь два козыря, которые помогут выиграть: Марта и самолюбие Рочи. Вряд ли она будет в зале, поэтому надо сделать так, чтобы они встретились до начала боя. Я полежал немного, размышляя на эту тему, затем встал, натянул брюки и еще раз попросил хозяйку принести телефон. Моя недавняя щедрость сделала свое дело, и она с готовностью исполнила просьбу. Я не представлял себе, как объяснить доктору причину своего звонка, и попросил старуху позвонить и позвать Марту, назвавшись любым именем. Она поворчала, но все же согласилась. Я сказал Марте, что в восемь мы зайдем за сумкой и что Роча хотел бы с ней повидаться. Она восприняла это известие довольно сухо, но я все же почувствовал в ее голосе скрытую радость. Видимо, доктор был где-то рядом.

Вернувшись в номер, я лег, хотя сон поначалу не шел. Одолевала мысль: способна ли рука, свисавшая с соседней кровати, сокрушить что-либо более твердое, чем подушка.

XII

А в три часа дня дверь слетела с петель. Замок был заперт на два оборота, и эти мерзавцы даже не потрудились попросить у старухи второй ключ. Я мгновенно проснулся, сел на кровати и увидел нацеленные на нас четыре дула. Толстяк и Гэри Купер — впереди, за ними еще двое — смуглые, здоровенные, отнюдь не вызывающие симпатии. Толстяк, не раздумывая, двинул мне по физиономии правой рукой и сбросил с кровати на пол. Роча вскочил, явно не соображая: снится ему все или это правда. Один из незнакомцев ткнул его в грудь дулом автомата, да так, что посадил на постель.

Мне было не слишком больно, но в глазах рябило, и все окружающее рассыпалось на множество точек, как крупнорастровое изображение.

— А ну поднимайся, менеджер! — приказал толстяк.

Я пытался встать.

— А ты, видать, шутник?

Я не отвечал. А он, похоже, здорово психовал и время от времени дергался так, будто его кто-то щекочет то в один, то в другой бок. Положив автомат на стул, где висела одежда Рочи, он подскочил ко мне, толкнул рукой в грудь и прижал к стене.

— Рисковый малый, а?

Мое мнение ему было ни к чему. Он ударил меня еще раз, но я закрылся руками и смягчил удар. Это, видимо, не понравилось, и он левой заехал мне в лоб; я стукнулся затылком о стену и свалился на пол. На пальце у толстяка, похоже, был перстень — я почувствовал, как кровь заливает глаз. Чуть было не потерял сознание, но грохот разлетавшейся в куски мебели привел меня в себя. Парень, державший на мушке Рочу, проломил спиной зеркальную дверцу шкафа и торчал оттуда, как согнувшийся гвоздь. Роча вскочил на мою кровать, почти касаясь головой потолка. Толстяк бросился за своим автоматом, налетел на Гэри Купера с воплем:

— Не стрелять! В него не стрелять!

Роча спрыгнул с кровати и перешел в наступление. Гэри Купер опять вскинул автомат и наставил его на Рочу, но тот не обратил на угрозу ни малейшего внимания. Схватив щеголя за длинные патлы, верзила встряхнул его основательно и выкинул из комнаты, как в свое время сделал с Ромерито. Второй незнакомец, поняв, что теперь его очередь, опередил Рочу: он ударил его прикладом в живот, и боксер согнулся пополам. Тут же расторопный малый огрел его правой коленкой в челюсть. Роча уселся на пол у кровати с разинутым ртом.

— Хватит, хватит,— крикнул толстяк.— Не увлекайтесь — ему еще драться.

Я сидел на полу, привалившись спиной к стене и вытирая кровь краем простыни. Толстяк навис надо мной, легонько пнул ногой в лодыжку и наградил плевком.

— Ме-нед-жер! — презрительно протянул он.— Неплохо придумано! После бокса увидимся.

Ловкий громила извлек из обломков шкафа своего напарника. Тот, казалось, так и не осознал, что с ним произошло. Гэри Купер возник в проеме двери — он успел поправить прическу и рвался в бой, но толстяк остановил его:

— Потом, Бето, потом.

Бето поднял слетевший с ноги во время полета ботинок с высоченным каблуком и надел его, держась за дверной косяк. Смуглорожие близнецы вышли первыми, а щеголь стоял, наставив на Рочу автомат. Толстяк повесил свой автомат на плечо, сунул руку в кар-

ман пиджака и что-то швырнул мне в лицо. Комок распрямился еще в воздухе.

— Ему это больше не понадобится,— сказал он.

Они вышли. Шляпчонка горемыки Минго валялась на полу с оборванной черной ленточкой. Я поднял ее: она была еще мокрой и отвратительно пахла. Я добрался до туалета, промыл ссадину на лбу и выпил воды. Роча по-прежнему сидел у кровати и ощупывал челюсть.

— Вроде на месте,— сказал он, все такой же растерянный.

«Нокдаун»,— подумал я.

— Они убили Минго.

Роча поднял голову и с минуту соображал.

— Откуда вы знаете?

Я подал ему шляпчонку. Он повертел ее в руках, потом положил на кровать.

— Вы уверены? Кому нужен этот голодранец?

— Зачем же тогда они принесли нам эту шляпу? В подарок?

Роча опять взял шляпчонку в руки, уже с большим интересом, и разгладил ее.

— Семья у него была?

— Нет.

— Значит, бдение у гроба — за нами.

Он произнес это мрачно, даже торжественно. Что-то в нем надломилось: он был растроган, потрясен. Стал надевать ботинки, положив шляпчонку рядом.

— К чему,— сказал я,— какой в нем теперь толк?

Он взял свою куртку, нашел и мой пиджак и бросил его мне на кровать.

— Разве он не был вам другом? — ответил он.— А раз так, то кто же тогда зажжет свечу и бросит горсть земли, если выпала ему такая судьба?

Таксист высадил нас в трех кварталах от пустыря — полиция перекрыла все подступы к центру, где должен был состояться парад. Роча шел впереди — я заметил, как он украдкой в чужом саду сорвал две розы. У пустыря он остановился, не зная дороги: могучий бурьян подступал к самому краю тротуара. Я показал ему едва заметную тропинку; он прошел в хижину, держа цветы в вытянутой руке, словно явился в гости. Тело Минго висело на толстом суке, поддерживавшем крышу,— они задушили его ремнем, длинный синий язык горемыки вывалился на всклокоченную бороду. Кожа на лице неестественно белая, открытые глаза скошены вниз, в них застыл испуг.

— Сволочи,— произнес Роча значительным тоном.

Я отпрянул в сторону, чтобы не видеть глаз Минго — мне почудилось, будто мертвец скосился на меня. Я зашел ему за спину. Его серые полосатые брюки были спущены до самых башмаков, а рукава расстегнутого плаща завязаны узлом на спине. Знакомый ящик, в котором он хранил сахар, мате, а также хозяйственные принадлежности, валялся на полу; одна дощечка была проломлена, видно, ногой. Среди разбросанных по полу предметов я обнаружил два свечных огарка. Я пододвинул ящик, влез на него и, попросив Рочу поддержать тело, отвязал ремень. Труп, как бревно, рухнул на плечи верзилы, тот осторожно опустил его на землю. Плащ распахнулся, и я с ужасом увидел чудовищные ожоги на ногах и в паху, где зияла сплошная черная рана. Мы прикрыли его одеялом. Роча нашел половинку свечи, поднял оба огарка, кое-как воткнул их в землю и попросил у меня зажигалку. Стоя на коленях, он не без труда зажег три крохотных огонька и перекрестился. Издалека до нас донеслись звуки оркестра, а вскоре загудели во всю мощь колокола собора — было уже пять пополудни. Свечки догорели, и свет в хижину едва

сочился через дыру в мешковине. Отодвинув самодельную занавесь, я вышел наружу. Глубоко глотнул свежего воздуха, на небе проплывали разорванные белые облачка. По улице мимо пустыря прошествовала супружеская пара с двумя мальчишками, которые, завидев меня, обменялись только им известными шуточками. Победно гремела музыка оркестра. Роча, низко наклонившись, выбрался через узкую дверь наружу и подошел ко мне с опущенной головой. Положил руку мне на плечо.

— Завтра на полученные за участие в бою деньги купим ящик, чтобы все честь по чести...— сказал он.

Мы молча продирались через бурьян на улицу. Я вспомнил цикаду, самолет, голос Минго, туманно его жесты.

Люди шли к центру города — туда, откуда слышалась музыка. Я сделал Роче знак, и мы направились в противоположную сторону. В двух кварталах от пустыря зашли в какой-то захудалый бар с железными столиками и стульями и заказали по бутылке пива. Роча был печален, а я какое-то время просто сидел, разглядывая проходивших мимо людей, мелкими глотками потягивая пиво и пытаясь разобрать его вкус.

— А что за фрукт этот Сепульведа? — прервал я молчание, тяготившее меня.

Роча брезгливо поморщился:

— Сопливый фанфарон.

— Неужто?

— Да все мы прошли через это, когда были сопляками.

Он поигрывал бутылочной пробкой, иногда брал с тарелки орешек. Кроме нас, в баре не было никого. Роча пододвинул стул и положил на него ногу. Потом с наигранным спокойствием заметил:

— Раз вы хотите стать моим менеджером, то почему же не верите в меня? Любопытствуете?

— Корысть. Серия блестящих побед, и мы вместе — на чемпионате мира.

— А если серьезно,— он улыбнулся,— верите в меня?

— Как самочувствие после трепки?

— Какой еще трепки?

— Последней.

— А, ерунда,— он постучал по челюсти,— она у меня стальная, потрогайте, ну-ка...

Щетина на подбородке заметно подросла.

— Сколько раз вас били?

— Меня? — Он присвистнул.— Два раза, да и то, когда я был сосунком. А позже — никогда. Один раз меня сбила машина, а я даже сознания не потерял. Встал и потопал в больницу с двумя сломанными ребрами. Ну как?

— Не все коту...

Он расхохотался, искренне уверенный в себе.

— Хватит прикидываться,— сказал он,— вы-то ведь знаете, что я запросто побью его. Правда, потом нам могут выпустить кишки. Выиграть победу у местного боксера — это то же самое, что попытаться на бегах обскакать кобылу начальника полиции.

— В таком случае?

Он улыбнулся и развел руками:

— Я хотел бы повидать Марту.

— Увидите.

Роча уставился на меня:

— Когда это?

— В восемь. Мы заедем за вашей сумкой к доктору, она об этом знает — утром я с ней разговаривал.

Он так пылко пожал мне руку, что я невольно подумал, в каком состоянии ребра у худышки.

— О-о, вот это друг!

С минуту он любовался мной. Грусть его развеялась мгновенно.

— А у вас...— Он запнулся, но потом все же набрался смелости: — Ну там, кроме песенок танго... кроме записей на пластинки и прочего...— Он сомкнул указательные пальцы рук и подмигнул.

— Да нет, меня никто не ждет, если именно это вы имеете в виду.

Ответ озадачил его.

— Никто, совсем никто?

— Вообще-то есть одна брюнеточка... как только выпьет, так и вспоминает обо мне.

Он, очевидно, хотел запротестовать, но передумал и успокоил меня:

— Бывает...

И залпом осушил стакан. Стал явно торопиться.

— Но семья-то есть?.. Ну там братья и все такое...

Я взглянул на часы. В шесть солнце покидало городишко.

— Обо всем поговорим в поезде. Путь неблизкий.

— Всю дорогу я буду спать. Шум поезда меня усыпляет. Еще по одной?

— Хватит. Вы не голодны?

— Жареного мясца бы... Перед боем я обычно не очень...

Я подозвал мальчишку-официанта, и он предложил пройти внутрь. Мы съели по отбивной с салатом, а после кофе я почувствовал себя лучше. Роча был настроен благодушно и поведал мне, что в честь каждой победы бабушка потчевала его такими пирожками с мясом, какие делают только в Сантьяго-дель-Эстеро. Он даже сказал, размечтавшись, что по возвращении в Буэнос-Айрес закажет ей целых три дюжины и пригласит Марту и меня. Потом посоветовался, стоит ли перед боем просить у публики минуту молчания в память о покойном Минго.

XIII

Без пяти восемь Роча от нетерпения чуть не сломал звонок в доме доктора Авилы Гальо. С балкона свисал тщательно отглаженный бело-голубой аргентинский флаг; на тротуаре, недавно политом, подсыхали лужи. За дверью послышались торопливые шаги. Роча обеими руками одернул свитер и приготовил лучшую из своих улыбок. Черноволосая, достаточно упитанная женщина приоткрыла дверь сантиметров на двадцать и, сверкнув стеклами очков, высунула нос. Это была копия доктора, только в женском варианте. Глаза Рочи разом потухли, как именинные свечки.

— Дома ли сеньорита Марта? — все же выдавил он.

— Она ушла на вечер,— проговорила женщина и почему-то оставила рот открытым, будто еще не все сказала.

Роча проглотил слюну и спросил упавшим голосом:

— Что за вечер?

— Торжественный вечер.

— А-а...— пробормотал Роча и застыл, глядя на женщину. Наконец молчание стало неловким, и женщина потянула на себя дверь, так что нам уже удавалось различить лишь одно стеклышко ее очков.

— Больше мне нечего...— проговорила она.

В отчаянии, понимая, что дверь сейчас захлопнется, Роча выпалил:

— А где это?

— Что «это»? — недовольно переспросила женщина через щель.

— Ну... этот самый вечер.

— В театре. А вы, собственно, от кого?

— Я — Роча.

— Так вы и есть Роча? Почему же вы раньше не сказали?!

Лицо верзилы засветилось надеждой.

— Подождите минутку,— сказала женщина и удалилась, оставив дверь открытой ровно настолько, чтобы мы могли полюбоваться игрой ее бедер, обширных, как стол.

Роча глянул на меня и принялся ломать себе пальцы, пока они не побелели. На мгновение он отвернулся, но тут же смущенно проговорил:

— Вы только не обижайтесь... но не могли бы вы на секундочку отойти... или прогуляться...

Он даже ринулся к тротуару, чтобы скрыть свое смущение и досаду. Я было хотел дойти до угла, но заметил, что копия доктора возвращается.

— Доктор оставил для вас вот это,— с улыбкой объявила она и протянула Роче его сумку. Тот даже не пошевелился, будто все это его не касалось. Я поспешил на помощь, взял у женщины сумку и поставил ее на тротуар.

— А она? — Роча с трудом выговаривал слова.— Марта... хочу сказать...

— Она ушла на вечер вместе с доктором. Значит, вы и есть тот самый боксер?

Роча кивнул.

— В театре, говорите?

— Да. Большого успеха желаю вам сегодня вечером,— сказала женщина, одарив нас на прощание ослепительной улыбкой — зубы у нее сверкали под стать окулярам. Дверь захлопнулась.

Какое-то время Роча тупо смотрел в одну точку, потом попятился, наступил на сумку, поставленную мною на тротуар, и чуть было не потерял равновесие. Он рассвирепел, пнул сумку ногой, выругался, а подняв глаза, на беду поймал мой взгляд.

— Чего глазеете! Ну какого черта, скажите, вы пялитесь, а?

Я промолчал. Тогда он раза три или четыре смачно врезал правым кулаком по левой ладони, изобразил медвежье фуэте и, наконец, уселся на бордюр тротуара, спиной ко мне.

— Это естественно,— сказал я.— Молодая девушка должна была сопровождать своего отца...

Он поднял сухую веточку и принялся чертить ею в пыли, затягивавшей мокрые пятна на мостовой.

— В девять и мы должны быть...— напомнил я.

Он вдруг вскочил с ловкостью боксера наилегчайшего веса, и, как ни странно, эта ловкость, хоть и минутная, заставила меня подумать, что до сих пор я просто не сумел распознать, на что способен верзила. Особенно если затронуть его самолюбие.

— Ждите меня на месте,— сказал он и решительно зашагал через улицу.

Я подхватил сумку и бросился за ним.

— Куда это вы? — крикнул я вдогонку.

— К ней.

— Вы спятили?

Он не ответил. Словно два спринтера, неслись мы по пустынной улице. На углу я что было сил схватил его за руку, он проволок меня несколько метров, но все же остановился.

— Говорила она вам, что будет ждать меня? Так почему же не дождалась?

— Я же объяснил: отец ее увез.

— Я хочу поговорить с ней,— он вновь зашагал размашисто.

— Дичь какая! Как это вы поговорите с ней на каком-то вечере?

— Вызову.

Я снова схватил его за руку, но он оттолкнул меня и обогнал метра на два. Я припустил, поравнялся с ним.

— Ну как это можно, Роча, да вы с ума сошли... После боя...

— Прямо там и попрошу ее руки. Зачем прятаться?.. Скажу этому доктору, что мы — жених и невеста, и привет...

Терпению моему настал конец. Я заорал:

— Да вы совсем рехнулись! Нельзя же делать предложение на вечере!

Молниеносным ударом он отбросил меня к стене. В глазах у меня потемнело, я уронил сигарету, ноги подкосились, и я растянулся вдоль стены. Сумка выпала из рук и откатилась к мостовой. Я ушиб колено, кисть левой руки горела как от ожога. Двое прохожих на другой стороне улицы приостановились, глядя на нас, но тут же ускорили шаг, беспрестанно оглядываясь. Стыд-то какой, подумал я, закипая. А верзила стоял метрах в трех от меня и сурово спрашивал:

— И что за чертовщина — этот торжественный вечер?

Я стал подниматься. Колено ныло, наступать на ногу было больно.

— Отправляйтесь-ка вы к той шлюхе, что вас родила!

Он подошел и воззрился на меня с любопытством, явно недоумевая, как это можно реагировать на подобный пустяк.

— Идемте, ничего серьезного. Я захватил вас врасплох, и все.

Я не унимался и продолжал поносить его на чем свет стоит, а он вдруг опустился на корточки и, дергая меня за штанины, вытянув губы трубочкой, словно успокаивая раскапризничавшегося ребенка, засюсюкал:

— Ну будет, будет, пустяки, царапинка, чепуха...

Потом встал, поднял с земли мою сигарету, раскурил ее и стоял, наблюдая за моими первыми шагами.

— Что такое торжественный вечер? — повторил он свой вопрос.

— Ну там, концерт, может быть, что-то вроде...— ответил я.

Он вздохнул, заботливо воткнул мне в рот сигарету, подобрал сумку и сказал благосклонно:

— Короче, если идете со мной, то идемте.

— Вы, наверное, думаете, что я не отстаю от вас в надежде, что вы снизойдете и возьмете меня с собой. Вы сами-то хоть понимаете, какой вы болван? Я хочу избавить вас от идиотских сцен, от посмешища — ведь вам будут смеяться в лицо!

— Кто это будет смеяться?

— Люди. Все.

— Но ведь я искренне, я люблю ее...

— Какое это имеет значение?..

— Ладно, шагайте, времени нет.

Я неуклюже ковылял за ним с полквартала, но потом размял ногу и боль прошла. Я надеялся еще, что Роча, когда заглянет в зал, изменит свое решение. У входа я заметил деревянные щиты с афишами, извещавшими о концерте Ромерито и его гитаристов. В вестибюле было пусто. Когда мы распахнули стеклянные двери, навстречу вырвались звуки, весьма отдаленно напоминавшие мелодию Вивальди. Музыка, видно, слегка умерила пыл верзилы, и Роча пошел на цыпочках. На мгновение он остановился, но потом сделал знак головой, призывая меня следовать за ним. Он отворил дверь в зал в тот самый момент, когда мелодия скрипки взвилась под потолок в поисках вечного блаженства. Мы остановились на пороге, чтобы глаза привыкли к темноте. Зал был переполнен. Роча, разинув рот, впился взглядом в сцену, на которой расположился оркестр из дюжины музыкантов: лысый дирижер размахивал палочкой, неистово дергаясь. Когда оркестр грянул что есть мочи, Роча вытаращил глаза от восторга, а потом стал продвигаться вниз по проходу. Он сделал шагов пять, и темнота поглотила его целиком. Я только слышал, как пол скрипит под ногами верзилы — доски стенали под коврами. Публика в последних рядах зашевелилась, головы поворачивались к проходу, и я мог угадать возмущенные жесты. Вивальди испустил дух с каким-то шипением вместо экстаза, и оркестранты, расслабившись, сделали

«вольно». Публика бешено зааплодировала, а дирижер повернулся и отбивал поясные поклоны. На сцене возник капитан Суарес в сверкающем парадном мундире; он подошел к дирижеру и пожал ему руку, что-то говоря. Тот с благодарностью склонил голову. Аплодисменты вылились в овацию, в зале зажегся свет.

Внизу, в самом конце прохода, возвышался Роча, обыскивавший взглядом зал, публика стоя продолжала аплодировать. Он, казалось, потерял ориентировку, воровато оглядываясь, возможно опасаясь присвоить себе незаслуженную овацию, потом вдруг задумал вернуться. Вновь устремившись в проход, он вконец запутался: видимо, решив, что музыканты, чего доброго, могут принять его за невежду, не понимающего музыки и не разделяющего всеобщего восторга, он повернулся к сцене и тоже принялся аплодировать, пятясь задом в порядке почетного отступления, и чуть не налетел на меня. Кто-то завопил «браво!», зал подхватил. Рядом со мной какой-то меломан крикнул «бис!», и его соседка взвизгнула, нажимая на «и-и-и». Доктор Эсекиель Авила Гальо поднялся на авансцену, приветствуя дирижера, затем капитана Суареса, и поднял руки, то ли сдаваясь, то ли призывая к тишине. Я подумал, что только из-за одного этого зрелища стоило проделать путь из Буэнос-Айреса: доктор был в смокинге, а черная шелковая бабочка разрослась на этот раз до таких размеров, что казалась гигантским пауком, впившимся в докторову шею.

Воспользовавшись появлением на сцене доктора, Роча сделал еще несколько шагов назад и, наткнувшись на сумку, которую я поставил на пол, как вагонный башмак, понял, наконец, что спасен.

— Момент и в самом деле не больно подходящий,— сказал он, продолжая неистово аплодировать. По просьбе доктора зал смолк, и запоздалые оглушительные хлопки Рочи прозвучали винтовочными выстрелами на фоне напряженной тишины выжидания. Наконец все стихло, и доктор произнес:

— Я счастлив...

Чувства переполнили его, и он вынужден был повторить.

— Я счастлив и горд,— продолжал Авила Гальо почти фальцетом,— что я являюсь ответственным за этот великолепный вечер, которым Вооруженные силы нации одарили сегодня наш родной город Колонию-Велу. Я счастлив и горд, дамы и господа, и не боюсь показаться нескромным, говоря это. Я счастлив потому, что мне удалось открыть в подполковнике Гайнденберге Варгасе не только образцового офицера, но и тонкого, чуткого музыканта. Этот человек, в самые мрачные для отечества дни взявший в руки грозное оружие, сегодня, когда мир и спокойствие в стране восстановлены, проявил высокое искусство в обращении с дирижерской палочкой и услаждает наш слух обворожительными «Временами года», которые сам бессмертный Вивальди с удовольствием слушал бы вместе с нами сегодня в непревзойденном исполнении камерного оркестра пятого авиадесантного полка.

Зал опять взорвался аплодисментами. Я поглядел на часы, и мне вдруг захотелось, чтобы Роча забыл о предстоящем бое. Он аплодировал вместе со всеми, но на этот раз поглядывал по сторонам, чтобы вовремя тормознуть. А на ярко освещенной сцене Авила Гальо снова просил тишины, хотя тщетно, и это ему явно льстило. Наконец ему позволили продолжать:

— Но подлинным организатором и вдохновителем этого торжественного вечера, на который, кстати, приглашены лишь те, кого по праву можно назвать животворными силами нашего города, равно как и других зрелищ, организуемых для скромных и трудолюбивых наших сограждан, является капитан Аугусто Суарес! Да, я повторяю, скромных и трудолюбивых, однако...— Тут он улыбнулся и развел руками: — Находятся еще такие, кто предпочитает крепость кулаков тонкости слуха... Итак, сегодня у нас в Колонии-Веле состоится матч

по боксу, а очень скоро будет и свой собственный чемпион мира, питомец наших замечательных Вооруженных сил, образец твердости боевого и морального духа аргентинской армии, пестующей подлинных рыцарей. Я полагаю, дамы и господа, что, хотя мы и не сможем быть рядом с ним в решающий момент, старший лейтенант Марсиаль Сепульведа, встречающийся сегодня вечером в бою с боксером из столицы, заслуживает аплодисментов, прошу...

Зал вновь зааплодировал. На сцену в полной форме поднялся Сепульведа. Роча был потрясен.

— Это и есть мой противник? А? — повернувшись ко мне, спросил он.

Я жестом подтвердил. Он смотрел на сцену в явном недоумении.

— А меня он и не называет? — спросил он сам себя.

— Похоже, нет.

— Вроде бы принято называть обоих участников, разве не так?

— Это на ринге. Мне сдается, что вам предстоит драться против всей армии, друг мой.

Он поглядел на меня, размышляя. В его глазах-щелочках отразилось удивление, но, как мне показалось, мелькнуло и понимание происходящего. Вероятно, впервые за целый день он начинал осмыслять наше положение. Аплодисменты смолкли. Капитан Суарес протянул старшему лейтенанту руку, а доктор, подчеркивая торжественность минуты, воскликнул:

— Удачи тебе, чемпион!

Ростом Сепульведа был чуть пониже Рочи — примерно метр девяносто,— но куда стройнее и наверняка значительно моложе и проворнее. Его русые волосы были аккуратно причесаны, а мундир сидел как на киноактере. Он выступил вперед и отчеканил:

— Мой капитан, господа офицеры Вооруженных сил, дамы и господа! Гражданское население и армия, к которой я имею честь принадлежать, доверили мне миссию, осуществлявшуюся на таком фронте ранее и всегда, в силу разных причин, штатскими лицами. Я имею в виду фронт спорта. Теперь на этом фронте буду сражаться я и вместе со мною все мои товарищи по оружию. Как вчера — в военных действиях внутри страны — мы побеждали, несмотря на огромные наши потери, так и сегодня мы победим в условиях мира. Вы можете доверять мне, как вы всегда доверяли солдатам отечества. Скоро я завоюю для Колонии-Велы аргентинскую корону, а затем и мировую. Я буду чемпионом, и со мной чемпионами станут все истые сыны нашей нации!

Вновь грянули аплодисменты, но тут Роча крикнул:

— Чемпион! Да только в чем?!

Все было испорчено. Наступила тягостная тишина, и лица разом повернулись к Роче. В первых рядах, где расположились приближенные капитана, тишина была особенно напряженной — там, казалось, ждали приказа, как вести себя дальше. Капитан оставался невозмутимым, надеясь, что Сепульведа не собьется, продолжит свое выступление. Роча продвинулся метров на пять по проходу и остановился. Он оглядел зал — публика возмущенно ерзала,— затем поднял руку, тыча пальцем в старшего лейтенанта.

— Значит, ты, слизняк паршивый, и еще кто-то собираетесь побить меня?

Вот теперь уж точно, выудив из своего привычного словарного запаса хлесткое определение, Роча окончательно завладел вниманием аудитории. Мне показалось, что все сразу забыли о существовании Сепульведы и с нескрываемым интересом уставились на Рочу. За исключением, правда, одного капитана, который по-прежнему стоял на сцене, как оловянный солдатик, отражая своим стоическим видом наглое вторжение. Его голос щелкнул, как бич:

— Продолжайте, лейтенант!

Сепульведа, смотревший, как и все, на Рочу, вздрогнул. Потом приосанился, еще раз взглянул на верзилу и сказал:

— Есть, мой капитан...— Но язык его не слушался, и он начал заикаться: — Армия, которая... которая... стремится...

— Давай, сопляк, давай, чего же ты?..— измывался Роча.— Лизника как следует своему начальнику, ну?..

Унижение, которому подверг Роча капитана Суареса, вызвало взрыв возмущения в зале; кто-то кричал: «Выведите его!», другие требовали позвать полицию, а одна дамочка пискнула: «Да он же пьян!» Капитан Суарес повернул голову и впервые посмотрел на Рочу. Глаз его я при этом не видел, но он с минуту разглядывал верзилу, а потом шепнул что-то музыкантам, и те оставили свои инструменты на полу, чтобы, как я предположил, взяться за более привычное для них дело. И я не ошибся: они извлекли из-под строгих фраков пистолеты.

Доктор Авила Гальо не выдержал.

— Друзья,— сказал он,— все мы хорошо знаем о тех скандалах, которые заранее готовятся и разыгрываются накануне каждого из важнейших боксерских поединков, и все мы, конечно, не раз читали в газетах о безобразных выходках таких боксеров, как Кассиус Клей. Боюсь, что и столичный боксер, который до сих пор вел себя в нашем городе в высшей степени корректно, решил повторить здесь недостойные истинного спортсмена приемы — обрушился с бранью и оскорблениями, совершенно незаслуженными,— чтобы подорвать боевой настрой старшего лейтенанта Сепульведы и тем самым поставить его в невыгодное положение на сегодняшнем матче. Все мы готовы отнестись великодушно, с юмором к его неуместной выходке, однако мы не позволим ни ему и никому другому — никогда! — неуважительно отзываться о том, что для всех нас свято: о Вооруженных силах нации...

— Чихать я хотел на Вооруженные силы и на ваш паскудный городишко! — орал Роча, и вряд ли кто заметил, что хриплый голос его надорвался. Он повернулся на каблуках кругом, оглядел всех: публику в зале, сцену, капитана, меня. Глаза его были влажны, но я готов поспорить, что он не плакал. И впервые мне вдруг захотелось, чтобы он дрался, чтобы вышел на ринг и стер в порошок тщеславного лейтенанта, избил его до полусмерти и следа не оставил бы от капитанской наглости и смехотворных притязаний обитателей Колонии-Велы на мировую корону. Возможно, он почувствовал это и задержал на мне взгляд, но тут я заметил, как по второму проходу к сцене бежит группа вооруженных до зубов солдат. Публика наблюдала за их замысловатыми маневрами: они рассредоточились по залу, заняв боевые позиции меж рядов, с оружием на изготовку. Но всем уже было ясно, что Роча обречен. К нему подошли трое вояк.

Он не сопротивлялся, но и сам не шел. Солдаты тащили его под наведенным на него оружием. Неожиданно он остановился, стряхнул с себя солдат, словно надоедливых ос, и во весь голос протрубил:

— Марта!

И еще раз:

— Ма-а-р-т-а-а!

Все Марты — не знаю, сколько уж их было тут в зале,— наверняка вздрогнули и покраснели, но ни одна не откликнулась на зов Рочи.

— Марта! Я люблю тебя, Мартита!

Дирижер и оркестранты моментально спрятали свои пистолеты и поспешно расхватали инструменты. Доктор Авила Гальо извинился перед почтеннейшей публикой от имени Вооруженных сил. В его голосе прозвучало удивление и, быть может, даже огорчение. Во всяком случае, не по адресу Рочи — доктор нервно поглядывал на первый ряд, откуда послышался женский плач.

XIV

Оркестр грянул на бис «Весну». Авила Гальо, капитан и еще двое каких-то типов вышли в фойе. Зрители перешептывались, обменивались жестами. В проход, где я стоял, проскользнула Марта, и все взгляды устремились к ней. Роча подписал себе приговор — его кружевные с бантиками грезы не оставили и следа. В полутьме я отступил к гардине и преградил девушке путь. Марта в испуге замерла на месте. В руке она сжимала скомканный, мокрый от слез платочек, и ее заплаканное лицо вызвало у меня жалость. В иных обстоятельствах, если бы ничего не произошло, Роча и она, вероятно, могли бы составить одну из счастливых пар.

— За что? — Она спросила меня срывающимся голосом.— За что?

И опять расплакалась. Я притянул ее к себе и ощутил на своей шее холодные слезы. Так мы и стояли под звуки Вивальди, пока она немного не успокоилась.

— Он... он был для меня единственным...— Она перестала всхлипывать и повторяла в недоумении: — Был таким нежным... никогда... Зачем он так поступил?..

Я придумывал, что ответить, но так ничего подходящего не нашел.

— Он понял, что его обманули,— пробормотал я.

Она еще поплакала, прижала к глазам платок и прошептала:

— Что теперь они с ним сделают?

Дверь из фойе распахнулась, и мимо нас прошел капитан Суарес, а вслед за ним проследовали доктор и те двое. Я расслышал, как Авила Гальо сказал: «Теперь все равно, сам виноват...» Он сделал еще несколько шагов, повернулся и взглянул на нас. Неторопливо подошел, в темноте пытаясь, очевидно, рассмотреть, кто тут стоит. Узнав наконец Марту, он взял ее за руку и тихо, но угрожающе сказал:

— Вернись на свое место.

Она выдернула руку.

— Нет, я иду домой. Беру такси — и домой.

— Тебе мало скандала, мало, что поставила меня в дурацкое положение? — У него все кипело внутри, злоба переливалась через край.— Немедленно приведи лицо в порядок и возвращайся на свое место.

Это был приказ.

— Папа, я не хотела...

— Поговорим дома.

Марта колебалась, но, видимо, предпочла подчиниться.

— Это его вина,— сказал я.

Доктор поднял голову, но в темноте я не видел его лица.

— Его вина, говорите? Думаете, мы не знаем, кто его настроил? Да этот идиот не в состоянии самостоятельно зашнуровать ботинки.

— Что вы хотите этим сказать?

— Да то, что это вы надоумили его явиться сюда, вы пытаетесь сорвать матч, внушая ему всякую чушь.

— О чем теперь говорить? Если его посадили, то боя в любом случае не будет.

Он помолчал, а когда заговорил, мне показалось, что ему весело.

— Посадили? Да за что его сажать?

— За оскорбление Вооруженных сил. За это можно и к стенке.

Он рассмеялся, но негромко, проявляя уважение к музыкантам.

— Вы нас за дураков принимаете, Гальван.— Он достал платок и вытер вспотевшее лицо.— Многие принимали нас за дураков и погорели на этом.

— А мне какую судьбу вы готовите?

— Вам-то? Кое-кто хотел бы набить вам морду, вот и все. Не счи-

тайте себя такой уж важной персоной, вы уже погибли так же, как и тот. Гатика[1], Гардель — все это уже в прошлом, друг мой.

И он направился к своему креслу в первом ряду. Покатился шариком недоросток, пузан в черном.

Я взял сумку и вышел на улицу. Несколько армейских джипов были до отказа набиты солдатами. Пересекая площадь, я заметил в мутном свете далекого фонаря тень Рочи, который неподвижно сидел на скамье под акацией, повесив голову. Я остановился и, поглядев на него, вдруг вспомнил старую кинокартину, герой которой, избитый и униженный, черпал силы в любви к девушке и побеждал одного врага за другим, мобилизовав остатки собственного достоинства. Я зажег сигарету и подошел к нему. Роча даже не пошевелился, не посмотрел.

— Что, пора?

Я подтвердил.

— Сумка у вас?

Я поставил сумку на скамейку рядом с ним. Раздался удар грома, и я вздрогнул. Нарушая естественный порядок явлений, сверкнула молния и осветила нас. Роча открыл сумку и достал пару потрепанных боксерских перчаток. С минуту он разглядывал их.

— Купил, когда мне было восемнадцать. Первые перчатки — это святыня.

— У нас мало времени.

Он поднял голову и посмотрел на меня внимательно.

— Верите в меня?

— Эти перчатки наденете?

— Если разрешат...

— Разрешат.

Он не захотел ехать в такси. Я спросил у прохожего, где искать клуб «Союз и Прогресс», и мы перешли площадь, свернув на мощенную булыжником улицу. Несколько парней шли вровень с нами по другой стороне улицы, наверняка туда же, куда и мы. Квартала два мы прошли молча, потом Роча спросил:

— Она была там?

— Да.

— Вы ее видели?

— Даже говорил с ней.

— Говорил с ней? — Он остановился как вкопанный.

— Всего минуты две, пока не появился доктор.

— Она сердита на меня?

— С чего бы это ей сердиться?

— Не знаю... я ее подвел... солдатишка этот меня разозлил...

— Старший лейтенант,— напомнил я.

— Ну да, лейтенант. Что Марта сказала?

— Что хотела бы быть на матче, поближе к вам...

Мне показалось, что Роча покраснел. Он улыбнулся и покачал головой:

— Так и сказала?

— Ага. Она еще сказала, что вы держались как настоящий мужчина и не дали себя в обиду.

— Вот это да! — воскликнул он с восторгом, расплываясь в широкой улыбке.

Когда мы дошли до угла, Роча вдруг развернулся, горделиво принял боксерскую стойку и несильно ударил меня слева в плечо. Я ушел в защиту, и мы закружились по воображаемому рингу. Прохожие наверняка принимали нас за сумасшедших, но было слишком темно, и вряд ли кто узнал нас. Я если и попадал, то только по рукам, зато Роча, приплясывая вокруг меня с презрительным хохотком, пару раз

[1] Лучо Гатика — чилийский популярный певец.

смазал мне по ушам. Я уже стал задыхаться, опустив руки и прислонившись к стене, судорожно хватал ртом воздух.

— Ну и как? — спросил Роча.

В квартале от нас светились огни стадиона.

— Неплохо,— кивнул я,— но вы идете слишком уж напролом, помните о защите.— Я вновь принял стойку и пошел на него, иллюстрируя свой совет.— Вот так, ясно?

Он следил за мной с неподдельным любопытством. Потом от души захохотал.

— Кошмар! В тренерах бы вы с голоду померли!

— Но главное — уверенность,— я продолжал напутствовать его, не обращая внимания на язвительные замечания.— Прочь все сомнения! Как будто...

Я понял, что перестарался, и зашагал дальше.

— Как будто что? — крикнул Роча вдогонку.

— Как будто Марта сидит неподалеку от ринга.

Он не ответил ни слова, и до самого стадиона мы шли молча.

У входа была толчея. Выстроилась длинная очередь. Рочу кое-кто узнал, кто-то свистел, а какой-то толсторожий выкрикнул: «Морду тебе так разукрасят, что и...» С трудом мы протиснулись сквозь толпу, Роча возмущался тем, что нет отдельного входа для боксеров.

Ринг соорудили посредине баскетбольной площадки, под открытым небом. На сколоченных наскоро трибунах, точно таких же, как делают перед парадами, сбилось в кучу народа больше, чем живет в городке.

Наша раздевалка оказалась тесной комнатенкой примерно в три метра на три. Одна из стен была сплошь залеплена фотографиями игроков «Ривер-Плейт» и «Бока Джуниорс» [1]. На другой висело изображение актрисы Сусаны Хименес, выходящей из морских волн, а под ним стоял железный шкаф без ключа. Роча швырнул сумку на массажный стол, на котором мог бы уместиться в лучшем случае боксер среднего веса, но никак не он. Какой-то коротышка, весь в белом, включая туфли, принес полотенца и мыло.

— Давайте ваши перчатки и переодевайтесь,— скомандовал я. Он вытащил из сумки перчатки и отдал мне. «Ну и гири»,— подумал я и спросил: — Вы и в самом деле хотите это надеть? Да в них вы руки не поднимете.

— Они не знают поражений,— отрезал Роча, снимая брюки и бросая их на стул.

Я уже был в дверях, когда он присвистнул. Я обернулся.

— Возьмите деньги и часы. И снимите пиджак. Где это вы видели тренера в пиджаке?

Сначала я подумал, что он шутит. Роча стоял у стола в трусах с видом избалованного чемпиона и сверлил меня неодобрительным взглядом. Я снял пиджак и повесил его на спинку свободного стула, пристроив его так, чтобы он не касался заплеванного пола.

— Галстук тоже,— присовокупил Роча.

Я снял и галстук.

— Теперь приведите в порядок рубашку и засучите рукава: пусть все видят, как вы работаете. Если уж вы хотите быть моим секундантом, сделайте так, чтобы я не краснел за вас.

Он бросил мне полотенце.

— И не курите в раздевалке,— добавил он.

Я повесил полотенце на плечо и вышел в коридор. Найдя комнату рефери, я постучал в дверь. Тот оказался человеком среднего роста, с проседью в густых смоляных волосах и с усиками, подстриженными по моде пятидесятых годов.

---

[1] Популярные в Аргентине спортивные клубы, в которые входят и одноименные футбольные команды.

— Я секундант Рочи,— представился я,— Гальван, мне очень приятно,— и протянул ему руку.

Он улыбнулся и пожал ее.

— Это я рад познакомиться. Кажется, я вас где-то видел. Ну как наш ветеран?

— Капризы, капризы. Привез перчатки, в которых начинал,— я протянул ему перчатки.— Не возражаете?

Рефери повертел перчатки Рочи, недоуменно потряс ими, взвешивая, и вернул назад.

— Да он шутит.

— Пусть. Это его последний бой.

— Последний? — Он удивился.— Почему? Ведь если победит, он будет выступать в финале, в Луна-парке.

— Если победит...

Он серьезно поглядел на меня и стал заводить часы.

— Кто знает...

— Ну так как?

— Могут придраться, и после первого раунда мне придется их заменить. К тому же необходимо согласие Сепульведы.

— А если тот не будет возражать?

Он равнодушно махнул рукой. Я поблагодарил и направился в конец коридора, где, вероятно, была раздевалка Сепульведы. Постучал, но там стоял такой шум, что никто не отозвался на стук. Я приоткрыл дверь и тут же услышал чей-то голос: «Сюда нельзя». Я назвал себя, за дверью посовещались и впустили меня.

Старший лейтенант Марсиаль Сепульведа возлежал на длинном, устланном матами столе, расслабившись и закрыв глаза. Он лишь чуть-чуть приоткрыл их и покосился на меня с полнейшим безразличием. Моя физиономия, очевидно, ему ничего не говорила, и потому он снова закрыл глаза. Недомерок с перебитым носом в спортивной куртке, на которой красовалась фамилия его подопечного, массировал ему голень.

— Вы Гальван? — спросил стоявший рядом солдат и дружелюбно осклабился. Я подошел к Сепульведе и протянул ему перчатки.

— Вы не возражаете, если Роча наденет вот эти?

Он тяжело, как ленивый кот, приподнял веки и, похоже, не понял, что от него хотят. Потом взял перчатки, сел и изобразил удивление.

— Надеть это? Эй, земляк, гляди-ка, чего он придумал, этот Роча.

И бросил тренеру перчатки. Коротышка поймал одну, а другая шлепнулась на пол. Солдат нагнулся, поднял перчатку и вернул ее мне.

— Вот бедняга. Да у нас есть новые,— посочувствовал тренер.

— Не в этом дело. Просто он хочет в этих. Талисман.

— Ну бог с ним.

Он передал мне перчатку, держа ее за шнурок и размахивая ею у самого моего носа.

— Как он — съежился? — спросил Сепульведа.

— Съежился?

— Старая кляча. Он ведь сам по себе рухнет, разве нет?

— Не надейтесь.

— Ладно, не петушитесь. Неужели вам не жаль старика? — Его лицо выражало неподдельное беспокойство.— Не доводите до беды, как только увидите, что он спекся, убирайте...

— Позаботьтесь лучше о себе, иначе нарветесь на сюрприз.

— Считаете, хвастаюсь? Мое дело предупредить.

Я раскланялся и, прежде чем удалиться, стянул со стола банку с кремом для массажа. Коротышка недовольно поглядел на меня, но ничего не сказал. В коридоре я увидел, как два паренька, выступавшие первыми, приветствовали друг друга, потрепав по за-

гривку. Тот, что направлялся к выходу на ринг, был аккуратно причесан и то и дело разминал колени, а у второго, возвращавшегося в раздевалку, надбровья вспухли, нижняя губа оттопырена. Он был весь мокрый: то ли его облили водой, то ли он так вспотел — я не понял. До меня донеслись его слова: «По очкам», — но радости на лице не было.

Когда я открыл дверь в нашу раздевалку, Роча носился по комнате, рассекая ударами воздух. Только что повстречавшимся мне в коридоре ребятам он годился чуть ли не в отцы, и если превосходил их, то только ростом.

— Вы что, в кино ходили? — проворчал он.

— Справлялся насчет перчаток. Все в порядке.

— Серьезно?

Я протянул ему их.

— А вы, оказывается, менеджер что надо! Как мне вас называть? Мастер? Наставник?

Кто-то постучал в дверь и приоткрыл.

— Приготовьтесь, ребята,— услышали мы голос, дверь захлопнулась.

— Забинтуйте мне, пожалуйста,— попросил Роча.— Сумеете?

Кое-как я перебинтовал ему руки. Бинты когда-то были белыми, по краям сохранились две голубые полоски. Левая кисть распухла, но теперь это уже не имело значения. Дверь вновь отворилась, и высунулась голова того же типа, что предупреждал раньше.

— Пора идти, ребята.

— Уже, уже,— рубанул Роча достаточно резко.

— Там только что был нокаут. Публика на взводе... — Тип тряхнул рукой, щелкнув пальцами, как хлыстом. На этот раз он оставил дверь открытой. Роча закинул на шею самое большое из полотенец. Я уже было направился к выходу, но он ухватил меня за руку.

— Послушайте, хочу кое-что вам сказать,— он протянул мне перчатки, связанные в пару шнурками.— Вы не очень-то разбираетесь в нашем деле, так что любой пустяк может вас сбить с толку. Слушайте меня внимательно: пока я сам не скажу, не смейте швырять всякий мусор на ринг. О'кей?

Я сделал вид, что не понял.

— Ну там, полотенце, губку и так далее. О'кей?

— О'кей.

Он подмигнул и зашагал первым.

XV

Не успели мы выйти из раздевалки, как услышали оглушительные свистки. Роча поднял голову и, не придавая значения шуму, трусцой побежал к рингу, вполне элегантно проскользнул под канат, лениво взмахнул рукой и отошел в свой угол. Я поднялся по деревянным ступенькам и огляделся. Зрелище оказалось более впечатляющим, чем можно было себе представить. На моих выступлениях публика вела себя почтительнее и с симпатией.

На ринг не спеша вышел рефери и облокотился на канат с видом искушенного профессионала. Репортер, очевидно из местной газеты, сделал пару снимков со вспышкой и затих в ожидании Сепульведы. Тот самый человечек в белом, что принес нам полотенца и мыло, появился в лучах прожектора с микрофоном в руке. Публика продолжала свистеть, но теперь уже не так агрессивно. Вдруг разразилась овация, и все встали, скандируя: «Се-пуль-ве-да! Се-пуль-ве-да!» Взвыла чья-то сирена, и наверняка ее вой разнесся километров на десять вокруг.

Сепульведа вышел на ринг. Роча ждал его в центре площадки и канаты для него не раздвинул. Старший лейтенант подошел к нему

и протянул руку, но Роча лишь небрежно шлепнул соперника по руке. Аплодисменты стихли, публика начала поудобнее устраиваться на стульях вокруг ринга и на скамьях трибун. В воздухе нарастал какой-то гул. Я поднял голову и увидел, что над стадионом на небольшой высоте завис вертолет, помигивая красными сигнальными огнями. Судья-информатор сделал объявление, выражаясь весьма цветисто, но его выкрики были едва слышны в рокоте мотора вертолета и в восклицаниях зрителей, слившихся в сплошной истерический вопль в тот момент, когда было произнесено имя местного кумира. Рефери бормотал какие-то напутствия боксерам, но те не обращали на него ни малейшего внимания и приплясывали на месте, словно эпилептики. Роча и на этот раз пренебрежительно игнорировал традиционное приветствие Сепульведы, направившись к своему углу. Я помог ему надеть перчатки, с силой затянул шнуровку. Я предложил ему капу, он мотнул головой и сказал:

— Не сейчас, старина. Это вместе с гонгом.

Я нервничал. Беспокойство и тревога, охватившие меня, вытеснили из памяти все, что произошло с нами накануне. Сигнал к началу боя прозвучал отрывисто, сухо. Роча, закусив капу, подошел к центру ринга. Не успел я спуститься по деревянной лесенке, как услышал первую реакцию зала. Я повернулся — Сепульведа был прижат к канатам и отбивался, уйдя в глухую защиту. Первая атака наша; увидев, что Роча держится молодцом, спокойно, я почувствовал себя лучше. Зрители опять принялись скандировать: «Се-пуль-ве-да!» Лейтенант нанес два прямых удара левой, проверяя на прочность защиту. Роча без труда отразил удары, а в конце раунда коротким тычком правой удачно съездил сопернику по печени.

— А он ничего,— сказал Роча, развалившись на табурете, пока я обтирал ему лицо полотенцем.

Он был несколько возбужден, но я решил, что после первого удара это естественно.

Второй раунд Роча выиграл вчистую. Сепульведа почувствовал себя менее уверенно и, хотя легко передвигался по рингу, пропустил три сильных удара в голову, которые словно стерли с его лица выражение прежней невозмутимости и превосходства. Роча шел вперед, не заботясь о защите, но каждый раз, когда соперник готовился нанести прямой удар, великан обрушивал на него такой яростный залп, что Сепульведа был вынужден прикрываться или отступать, даже не пытаясь ответить.

Публика, после первых победных воплей и сирен, постепенно притихла. В третьем раунде Роча отказался от капы и боксировал, дыша широко открытым ртом. Начался дождь. Сначала он еле мо́росил, и зрители на какой-то момент отвлеклись, шурша газетами и раскрывая над головами зонтики. Я внимательно следил за происходящим на ринге, лишь однажды взглянул наверх: огоньки вертолета судорожно перемигивались буквально в нескольких метрах от наших голов. Рокот винта чуть не рвал перепонки, и мне казалось, что волосы у меня встают дыбом. На какое-то мгновение Роча неосмотрительно раскрылся, и Сепульведа нанес ему страшный удар в лицо — его левая на этот раз не встретила на своем пути сопротивления. Роча обхватил противника руками и, навалившись всем телом, затолкал его в мой угол. Я увидел, что из носа у Рочи брызнула кровь. Войдя в клинч, соперники пытались бить друг друга по затылку, и рефери с трудом растащил их, что-то крича, но что именно, я не расслышал из-за рева вертолетного мотора. Отступив назад, Роча чуть было не пропустил еще один удар — теперь в подбородок, но вовремя уклонился, и удар не достиг цели. Публика воодушевилась, какой-то тип в полосатом пиджаке, по виду банковский управляющий, вскочил со стула в первом ряду и, колотя руками по ограждению в двух шагах от меня, завопил:

— Достал! Достал! В рыло ему! Ну, еще разок!

Сепульведа ловко вошел в клинч и, не давая Роче опомниться, наносил удар за ударом. Великан никак не мог увернуться, и Сепульведа провел короткий точный хук, которым можно было бы повалить на землю лошадь, затем он резко отступил назад и правой нанес мощный, сокрушительный удар в лицо. Ноги у Рочи подкосились, и он, зашатавшись, чуть не сел на нижний канат. Лейтенант не спешил, демонстрируя выдержку и понимая, что прочно завладел преимуществом, не рискуя, точно соблюдая дистанцию, он провел еще два удара, изматывая соперника. Очередной удар левой — в ухо,— похоже, оглушил Рочу, но тут раздался гонг, и он, нетвердо ступая, поплелся в угол.

— Почему вы все время пытаетесь идти напролом? Где защита?— недоуменно спросил я.— Работайте левой, держите его на дистанции. Рука болит?

— Идите вы к черту,— сказал он и сплюнул в ведро. Нос у него кровоточил, лицо побагровело. Он сполоснул рот, поднял голову и поглядел на вертолет, удалившийся немного в сторону.

— Что за дерьмовая погода,— сказал он, пока я засовывал ему в нос ватный тампон. Он не сопротивлялся и, направляясь к центру ринга, снова поглядел вверх. Я спустился по лесенке, в надежде раздобыть какое-нибудь лекарство, чтобы остановить кровотечение. Обернувшись, я вдруг поймал удивленный взгляд Сепульведы. Он был повержен, зацепился рукой за нижний канат и силился подняться. Рефери подскочил к нему, и я уже ждал, что он начнет считать, но тот только помог Сепульведе подняться. Оказалось, что лейтенант просто поскользнулся, и судья попросил у меня полотенце протереть ему перчатки. Проделав это, он прошелся по рингу, шаркая ногами, чтобы проверить, можно ли продолжать бой. На лице его застыло озабоченное выражение; всем своим видом он пытался засвидетельствовать, что Роча не имеет никакого отношения к падению Сепульведы. Он даже перегнулся через канат и с кем-то посовещался. Полосатый опять вскочил со своего места и отчаянно жестикулировал, стараясь привлечь к себе внимание лейтенанта.

— Он готов, готов, добей его! — кричал тот. — В морду бей!

— Давай, Марсиаль, кончай, ведь дождь идет,— заорал кто-то у меня за спиной.

Роча, по-видимому, несколько оправился. Перерыв и вода сделали свое дело: он заметно посвежел. Рефери вызвал соперников в центр ринга, и Сепульведа чуть отступил назад, похлопывая перчаткой о перчатку. В этот момент неизвестно каким образом Роча выбросил правую и нанес ему молниеносный удар в солнечное сплетение. Сепульведа рухнул как подрубленный. Я крикнул что-то вроде: «Роча, здорово!» — тогда как рефери толкал Рочу в противоположный угол. Глаза у Сепульведы подернулись пеленой и закатились, как у старика, потерявшего очки. Он пытался уцепиться за канат и привстать, а рефери наконец стал считать, с явным усилием вспоминая цифры, тщетно пытаясь перекричать монотонный гул вертолета. Сепульведа, наконец, поднялся на ноги, но никак не мог усмирить собственные колени и раскачивался как маятник. Рефери досчитал до восьми и обтер ему перчатки о трусы. Роча был тут как тут, он нанес несколько размашистых ударов, и Сепульведа откинулся в изнеможении на канаты. Раунд кончился.

— Готов,— сказал Роча, пыхтя, как скороварка. — Раз ткнуть — и нокаут.

— Спокойно. Бейте точнее, не раскрывайтесь, бейте наверняка.

Двое парней тщательно вытирали ринг тряпками. Он и в самом деле был грязнее, чем загон для свиней. В другом углу тренер Сепульведы, встав на цыпочки, обмахивал его полотенцем, что-то советовал, раздраженно мотая головой.

— Спокойно, только спокойно, по очкам мы впереди,— напутствовал я Рочу, но он уже рвался к противнику, едва поднявшемуся в своем углу.

Неожиданно рокот мотора вертолета перешел в оглушительный вой. Машина сделала круг над стадионом, зависла метрах в двадцати над нашими головами, и ветер, поднявшийся от ее винтов, рвал газеты и зонтики из рук ошалевших зрителей. На трибунах поднялась паника: люди кричали, толкали друг друга, пытаясь бежать, газеты и зонты взвились в воздух, как стая уродливых птиц. На трибуне прямо против меня творилось что-то невообразимое: по крайней мере, в двух местах зрители с верхних рядов посыпались вниз, а господа, сидевшие близ ринга, напрочь забыв о боксе, повалили к выходу. Два ряда стульев были опрокинуты, люди в ужасе бежали, топча друг друга; но тут вертолет резко взмыл вверх, и все застыли, разом подняв головы в небо. Роча, Сепульведа и рефери время от времени косились по сторонам, но бой продолжался, и, естественно, никто из соперников не терял бдительности, боясь расслабиться и пропустить решающий удар. Волосы у обоих разметал прокатившийся по стадиону порыв ветра от вертолетных винтов, боксеры деловито продолжали тузить друг друга. Вертолет между тем набрал высоту и улетел, и в наступившей тишине послышались глухие удары перчаток, хриплое дыхание и оглушительное сопение Рочи, которое наверняка было слышно в самом последнем ряду. Их движения напоминали жутковатый и вместе с тем комичный танец; за правой ногой Сепульведы волочилась газета, невесть откуда прилетевшая на ринг. Я вдруг осознал, что Роче вряд ли удастся довести дело до конца, хотя один-единственный прямой, выверенный и сильный удар мог поставить точку в этом бою. Хорошо, если ничего не произойдет, тогда мы можем победить по очкам, хоть это и не принесет радости судьям, которые станут заполнять свои карточки.

Но вот раунд кончился, Роча направился в угол, подняв голову. Я подставил табуретку, он тяжело опустился на нее.

— Что это за чертовщина была? — поинтересовался он, отсмаркиваясь частично в ведро, а главное, мне на рубашку.

— Вертолет,— ответил я и, вспомнив о машине, провел рукой по волосам, кое-как приглаживая их.

Роча опять поглядел вверх, в темное небо, откуда все еще падали мелкие, противные капли.

— Улетел вроде? — Он сплюнул себе под ноги.— Слава богу, а то этот треклятый шум чуть не оглушил. — Он повернулся ко мне и, словно извиняясь, добавил: — Я никак не мог сосредоточиться, понимаете?

Я был с ним согласен.

— Мы ведем по очкам. Держите его на дистанции, включайте левую и избегайте ближнего боя.

Он снова повернулся ко мне, одобрительно улыбаясь. Я вытер ему лицо и голову, а потом еще раз что-то посоветовал, испугавшись вдруг, не противоречу ли я прежним своим рекомендациям. Раздался гонг, на стадионе вновь наступила тишина. Сепульведа пришел в себя и решительно зашагал к центру ринга. Было ясно, что тренер торопил его, и лейтенант настроился во что бы то ни стало сократить наше преимущество в счете. Это был уже не тот Сепульведа, что несколько минут назад, но он заметно нервничал. Роча отступил назад, а затем провел правой точный прямой удар в голову, несколько охладив пыл противника. Я был приятно удивлен, великан держался уверенно и спокойно, словом, был хозяином положения. Дважды он входил в клинч, сводя на нет усилия Сепульведы, а затем, перейдя в атаку, чуть было не послал его в очередной нокдаун. На мгновение я поверил в то, что Роча учитывает буквально все: и свое преимущество в счете, и нервозность противника, и даже состояние ринга. В

конце раунда Сепульведа ухитрился провести точный удар слева в область печени, и мне представилось, что удар этот принял на себя я, тогда как Роча ловко обхватил противника руками, как податливую партнершу по танцу, а когда прозвучал гонг, отстранился и довольно бодро отошел в свой угол.

— Помассируйте чуть-чуть, вы знаете где, но только не слишком заметно,— попросил он, скосив глаза вправо и вниз.

Я принялся тереть ему сначала поясницу, а затем и то место, куда пришелся последний удар Сепульведы, пока он не остановил меня своим излюбленным присвистом.

— Он у нас в кармане,— сказал Роча, впервые признав мое участие в деле.

Но удача будто отвернулась от него — он поскользнулся, и Сепульведа мощным ударом слева послал его на пол. Роча тут же вскочил, делая вид, что ничего не случилось, однако рефери успел досчитать до восьми и протер ему перчатки. Теперь Роча был так же грязен, как и его противник: трусы и рука у него были заляпаны черной жижей; на одной из перчаток развязался шнурок, выглядевший почему-то особенно мерзко. Роча все время пытался уйти от борьбы, и я в бесплодной попытке вырвать для Рочи передышку, крикнул судье, чтобы тот остановил бой и привел в порядок перчатку; именно в этот момент Сепульведа развил атаку, проведя серию комбинированных ударов. Надежда на победу по очкам таяла. Я подумал, что для местных судей наше преимущество меньше чем в три очка будет означать ничью, а впереди еще целых три раунда.

Низко опустив голову, Роча пытался обхватить лейтенанта за пояс и, наконец, двинул его головой в живот. Сепульведа издал протестующий вопль, апеллируя к судье, но тот сделал ему знак продолжать бой. Тогда он изловчился и ударил Рочу что есть силы по затылку, великан рухнул на колени. Обхватив ноги противника, он продолжал как безумный молотить Сепульведу по бедрам и по заду. По-моему, Роча уже не сознавал, что он не в нормальном клинче, а на коленях, и лупит по ногам в полной уверенности, что это спина. В конце концов он боднул противника в пах, и Сепульведа с размаху шлепнулся на пол, как рояль с четвертого этажа, с ног до головы забрызгав грязью меня и всех, кто находился поблизости. Рефери подскочил к Роче и помог ему подняться.

Разъяренный Сепульведа уже стоял на ногах, осыпая великана проклятиями и размахивая руками, с которых капала зловонная жижа. Роча, казалось, уже ничего не соображал и в изнеможении оперся на канаты. Рефери попросил у тренера Сепульведы полотенце и принялся обтирать обоих, словно заботливая многодетная мать. Коротышка-тренер с видом помешанного вылез на край ринга и что-то вопил; я решил, что мне полагается сделать то же самое — выбежав на ринг, я заорал:

— Ты ударил его по затылку, бандит! — и прибавил парочку непечатных выражений, прозвучавших куда более блекло, чем те, которые изрыгал коротышка, в этом деле куда более опытный и, по всей видимости, обладавший богатейшим репертуаром и самих ругательств, и визгливых интонаций.

Но рефери не обращал на наши усилия ни малейшего внимания. Кое-как почистив боксеров, он приказал нам с коротышкой убираться с ринга, а затем размашистыми профессиональными жестами пригласил соперников продолжать бой. Но тут сигнал возвестил конец раунда, и Роче ничего не оставалось, как поплестись в угол.

«Грогги!» — вспомнил я боксерское словечко. Теперь я знаю, что оно значит — вконец пошатнувшийся. Намочив губку, я обтер Роче лицо, он высунул кончик языка и облизнул губы. Я потянул его за трусы, чтобы усадить на табуретку; присмотревшись к нему повни-

мательней, я понял, что это конец. Я выжал губку над его макушкой, и тут он добродушно улыбнулся.

— Готов,— произнес Роча с наигранным благодушием.

— Как себя чувствуете?

Роча не ответил, а я продолжал выжимать губку ему на затылок. Гонг прозвучал явно раньше времени, и Роча вылез из своего угла, чтобы на этот раз получить самую страшную трепку, какую я когда-либо видел в своей жизни. После четвертого удара в лицо он уронил руки и как в бреду стал пританцовывать вокруг Сепульведы, будто именно он, Роча, был хозяином ринга. Старший лейтенант уверенно держал дистанцию и посылал, как из пушки, один точный удар за другим. При каждом ударе Роча отскакивал, точно тренировочная груша, его ноги скользили по рингу, и он пропускал оплеуху за оплеухой, раскачиваясь, но почему-то не падая. Сепульведа подрабатывал левой, а правой бил наверняка, войдя во вкус, словно на тренировке, и не встречал сопротивления. Коротышка визжал как оглашенный:

— В голову, Марсиаль, в голову! — И Марсиаль бил в голову. — Теперь по печени! — истошно требовал коротышка, и Роча тут же получал соответственно.

Я поглядел на часы. До конца раунда было еще далеко. Я схватил губку, зажал ее в кулаке и приготовился бросить, но вдруг подумал, что она слишком мала, чтобы сдержать яростный напор Сепульведы. Банковская крыса опять вскочила со своего стула в первом ряду и отчаянно жестикулировала, имитируя каждый выпад лейтенанта. Какой-то брюхач в нелепо натянутом на голову пиджаке — от дождя — подскочил ко мне и орал в самое ухо:

— Чего ты ждешь, убийца! Кончай!

Но что-то — не то малодушие, не то теперь уж совсем бессмысленное ожидание чуда — мешало мне выбросить губку. Боковым правой Сепульведа швырнул Рочу на канаты. Великан взглядом искал меня. Лицо его превратилось в багрово-бурую маску; он судорожно хватал ртом воздух, а грудь его ходила ходуном, вздымаясь и опускаясь раз пять в секунду. Колени, будто резиновые, безвольно подгибались, однако ноги были расставлены широко, и он кое-как удерживал равновесие.

Роча смотрел на меня. Теперь лицо его казалось мне желтым, возможно, в слепящем луче прожектора, но он, похоже, не узнавал меня, более того: во мне он видел еще одного врага. Он удивленно мотал головой, и я вновь приготовился выбросить проклятую губку — приготовился выбросить? — но в этот момент рефери поднял руку и повел Сепульведу в угол. Затем он медленно подошел к Роче, который, продолжая серию финтов, неуклюже ворочался, словно слепой бегемот, недоумевая, куда исчез его противник, почему больше не ощущаются удары. Рефери начал считать, а Роча покорно кивал на каждый счет, как бы соглашаясь со всем, что происходит вокруг. Рефери досчитал до восьми и громко спросил, может ли он продолжать бой. Великан встрепенулся и, собрав оставшиеся силы, принял некое подобие стойки. Избиение продолжалось еще секунд двадцать, и негодяй Сепульведа влепил ему еще два удара уже после свистка.

Роча по пути в свой угол в нерешительности было остановился, но, цепляясь за канат, все-таки добрел. Я помог ему сесть и облил водой.

— Надо кончать,— сказал я,— иначе...

Он посмотрел на меня из-под полуопущенных век, поднял руку и кулаком дотронулся до моего подбородка.

— Оставьте меня одного,— пробормотал он. — Вы ни черта не смыслите.

— Я прекращу бой.

Он с трудом дышал, но в голосе его слышалась злость:

— Ведь вы сами меня сюда затащили. Раз боитесь, так убирайтесь.

Он поднялся, подтянул трусы и стоя дождался гонга, а затем довольно уверенно пошел к центру ринга. Сепульведа нанес удар справа, но Роча парировал удар, а когда противник включил левую, пригнулся, и удар пришелся в воздух. Дважды Роча нанес быстрые удары вслепую, но было уже поздно. Лейтенант провел двойной комбинированный в лицо, а потом направил свой коронный левый в область печени. Роча медленно оседал, словно устраиваясь поудобнее, по-актерски, но прежде чем он приземлился, Сепульведа сокрушительным крюком двинул его в челюсть, брызнула кровь с грязью — у меня мелькнула мысль, что великан взорвался. Тело Рочи распрямилось, и он упал, как сорванная с петель дверь. Его открытые глаза смотрели прямо в небо, а правая рука бессильно отвалилась в сторону, будто разорванная в клочья. Рефери не спеша досчитал до «аута» и мог бы, вероятно, считать хоть до двадцати тысяч — Роча все равно бы уже не встал. Сепульведа победно вскинул руки, а коротышка уже висел у него на шее вне себя от счастья. Какие-то прохвосты выскочили на ринг раньше меня. Я намочил губку и бросился к Роче сквозь лавину зевак. Обезумевшие болельщики топтали его ногами, как ненужную тряпку. Всем хотелось хоть пальцем дотронуться до Сепульведы, а тот, бесцеремонно расталкивая поклонников, пробирался в свой угол.

Я выжал губку над лицом Рочи, веки его чуть дрогнули, и он едва заметно шевельнул правой рукой. Какой-то малолеток, тузивший тут же приятеля, наступил Роче на левую руку, пошатнулся и отскочил в сторону, поглядывая на нас, как бы устыдясь.

Я с трудом усадил Рочу, но голова его безвольно упала на мое плечо. Он пошевелил губами и закрыл глаза, запавшие между разбитыми надбровьями и скулами. Я потряс его за плечи, рот его приоткрылся, обнажив багровый язык в кровавой пене. Я прижался щекой к горячему лицу Рочи, пытаясь изо всех сил приподнять его и поставить на ноги. Какой-то тип в прозрачном нейлоновом дождевике толкнул меня, и тело великана, выскользнув из моих рук, вновь рухнуло на пол. Я опустился на колени и приник ухом к его груди. Сердце бешено колотилось.

— Не пугайтесь,— едва слышно прошептал он. Глаза его по-прежнему были закрыты, и я понял, что на большее у него нет сил. Кто-то присел на корточки рядом и потрогал пульс.

— Да, парню совсем плохо,— услышал я.

Поднявшись, я принялся выталкивать с ринга болельщиков. Сепульведа и его шайка шли по проходу. Я отбросил каких-то двух сопляков на канаты и закричал. Кричал до тех пор, пока вдруг не осознал, что кричу в пустыне: все, не двигаясь с места, молчали и смотрели на нас, будто на проводах покойника. А дождь лил и лил.

XVI

Мы уложили его на заднее сиденье чьей-то машины. Нелегко было продираться через густую толпу. Зрители, покидавшие стадион, смешивались с теми, кто ждал результатов боя на улице. Из окон, дверей, с крыш домов молодежь и старики бурно приветствовали караван автомашин, набитых восторженными почитателями Сепульведы. Автомобильные гудки оглушительно ревели, и мои проклятия тонули во всеобщем ликовании. Мелюзга лупила в двери машин как в барабаны, на антеннах и «дворниках» развевались привязанные платки и рубашки. Где-то вдалеке взвыла мощная сирена, в небе над казармой вспыхнули ослепительные бенгальские огни, осветив весь город мертвенно-бледным заревом, медленно таявшим в сумраке но-

чи. Примерно полчаса машина ползла черепашьим шагом, и за это время Роча ни разу не подал признаков жизни. На углу, напротив заправочной станции, водитель свернул и, протиснувшись между бензоколонками, по переулку выехал на сравнительно безлюдную улицу. Здесь он увеличил скорость и, непрерывно сигналя, минуты через две доставил нас к воротам госпиталя. Пройдя через тщательно ухоженный сад, которым, видимо, очень гордились, мы вошли в приемный покой. Рыжеволосый здоровяк в белом халате не спешил и с наслаждением потягивал прохладительное, в руке держа сигарету. Он недовольно оглядел нас, выходивших из машины, и прокричал:

— Сегодня приема нет. Приходите завтра.

Мы вернулись к машине, и когда я открыл заднюю дверцу, ноги Рочи соскользнули с сиденья и вывалились наружу, достав до земли. Шофер ухватился за его лодыжки, потянул и безжалостно выволок на тротуар обмякшее тело, тотчас же сел за баранку и умчался так стремительно, что я даже не успел его поблагодарить. Человек в белом халате подошел к нам и поглядел на Рочу сверху вниз, не нагибаясь.

— Носилки у вас найдутся? — попросил я.

— И давно он в таком состоянии?

— Более получаса.

— Ну и вздули... — сказал рыжий и свистнул.

Он ушел, шаркая ногами, по всей видимости боясь перетрудиться, а затем вернулся с каталкой. Мы подняли Рочу за руки и за ноги и положили на каталку. Рыжий хотел было выкинуть сигарету, но передумал и пристроил ее на краешек каталки между торчавшими ступнями великана. Потом повел в его сторону подбородком:

— В каком раунде он его?

Взявшись за ручки, я стал толкать каталку. Рыжий шел сзади, дыша мне в затылок, а в вестибюле забрал свой окурок.

— Льда ему сунем, и очнется.

— Позовите врача.

Он посмотрел на меня как на марсианина.

— Врача? А где я его возьму?

— Неужели нет дежурного врача?

Он с сожалением развел руками. Я распахнул первую попавшуюся дверь — в кабинете ни души. Когда я обернулся, рыжий разглядывал меня и неодобрительно качал головой.

— А ну, нечего тут, нечего,— сказал он и подошел ко мне, поглядывая исподлобья. — Что? Хотите, чтобы вас послали отсюда? — проворчал он сквозь зубы, но тут же смягчился и спросил более дружественным тоном: — Вы ведь из столицы, да? Я тоже,— он потыкал себя в грудь пальцем. — Призвали. Стал солдатом. Непохож, конечно, но это потому, что давали отсрочку. Шесть лет адвокатской практики, и все псу под хвост, в один прекрасный день зафутболят тебя в эту зловонную дыру подтирать больным задницы. Недурно, а?

— Послушайте,— я повысил голос,— человек может умереть. Надо раздобыть врача.

Он нагнулся над каталкой, поглядел на Рочу внимательно и слегка потрепал по скуле.

— Он ушел бокс смотреть,— с притворной торжественностью объявил адвокат и добавил: — Ничего серьезного.

Рот у верзилы был открыт, из груди прорывались тяжкие, глубокие хрипы.

— Принесите лед,— сказал я.

— Если есть...

Я вытащил несколько смятых банкнот. Он прикинул сумму, и бумажки исчезли в кармане его брюк.

— На сигареты,— буркнул он и ушел за льдом.

Воспользовавшись его отсутствием, я заглянул в остальные кабинеты: всюду пусто. Тогда нашел телефон, снял трубку и набрал номер Авилы Гальо. Ответила Марта.

— Мне необходимо переговорить с доктором,— сказал я.

— Его нет,— ответила она срывающимся голосом. — Он еще не вернулся.

Наступило тягостное молчание. Наконец она спросила:

— Чем кончился бой?

— Победой Сепульведы.

Она вздохнула. Особого желания об этом разговаривать со мной у нее явно не было.

— А Роча? Он с вами?

Я ответил утвердительно, она попросила передать ему трубку. Пришлось соврать, сказав, что он принимает душ и позвонит ей завтра утром. Марта молчала. Девушка, видимо, чувствовала себя покинутой и, прежде чем повесить трубку, она всхлипнула.

Я набрал номер центральной справочной и спросил, как вызвать врача. Телефонистка ответила, что в городе их двое, один должен быть в это время в больнице. Телефон второго не отвечал. Я вернулся к Роче. Рыжий положил ему на голову пластиковый пакет со льдом и куда-то исчез. Я поискал одеяло, но раздобыл лишь простыню, накрыл ею Рочу. Какое-то время я смотрел на него и несколько раз тихонько позвал по имени, слегка похлопал по щекам, приложил ухо к перепачканной грязью груди — сердце еле слышно билось.

А в городке продолжалось веселье. Фейерверк кончился, но по-прежнему ревели автомобильные гудки и рвались петарды. Восторженный голос из репродукторов на все лады склонял имя победителя, возвещая о том, что вскоре будет передано интервью с Сепульведой. Я ходил по вестибюлю из угла в угол, куря сигарету за сигаретой и соображая, что делать дальше. Открытый «ситроен» подкатил к подъезду госпиталя, шурша колесами по гравию, и остановился. Из него вылез парень лет двадцати пяти, по-видимому ночной дежурный. Усталым шагом он прошел в здание, едва кивнув мне головой, и принялся стягивать пиджак. Обнаружив лежавшего на каталке Рочу, он подошел к нему и оглядел, словно это был ящик с капустой.

— Я полагал, что им занялся Фурлари,— сказал он.

— Никто им не занимался. Уже целый час здесь.

Безо всякого интереса парень раздвинул Роче веки, потом взял руку и прощупал пульс, глядя на часы, наконец выслушал сердце.

— Вы родственник? — спросил он.

— Друг. У него нет здесь родственников.

— Ясно. Нужна трахеотомия, чтобы облегчить дыхание.

С минуту мы глядели друг на друга, словно решая, кто из нас этим займется.

— Надо приготовить операционную,— произнес он наконец и протянул мне сигарету. Я взглядом поторопил его, и он отправился будить рыжего и сестру милосердия.

Потом все трое исчезли в конце коридора, прошло не менее получаса, прежде чем рыжий явился за Рочей. На этот раз он был расторопнее и, уходя, даже подмигнул мне.

— Проткнут ему дырку... — И он показал на горло.

Черноволосая сестра милосердия, судя по акценту, не то из Тукумана, не то из Кордобы, посоветовала мне обождать у подъезда или прогуляться.

Я не стал возражать, только решил еще раз позвонить доктору Авиле Гальо. На этот раз к телефону подошел он сам. Я рассказал ему обо всем и добавил, что будет лучше, если он отправит Рочу в Буэнос-Айрес этой же ночью. Доктор не отвечал.

— Его могут доставить в карете «скорой помощи»,— предложил я.

— Доставить... его? — Он не скрывал раздражения. — Послушайте, Гальван, все это должно быть не настолько серьезно. То, что мы можем сделать для парня, сделаем здесь. К тому же надо узнать мнение врача, не так ли? Я уверен, что завтра он будет как новорожденный.

— Если к утру не отдаст богу душу.

— Не будьте пессимистом, дружище. Доставить его в Буэнос-Айрес — да это для нас целая проблема, а толку никакого. Если к утру ему не станет лучше, переведем его в полковой госпиталь... Матч-то вам понравился?

— Хорошо бы вам приехать сюда. Я хочу, чтобы вы его сами увидели и поговорили бы с врачом. Здешний малый не похож на специалиста...

— Кто? Доктор Мансинелли? Да это же светило! Не глупите, завтра утром я заеду.

— Пусть и Марта приедет.

— Марта? А это еще зачем? Подобное зрелище не для нее, бедняжки.

— Если Роча очнется, он, возможно, захочет ее видеть.

Доктор не на шутку встревожился:

— С чего бы такое взбрело ему в голову?

— Он о ней высокого мнения...

— Мы также высоко ценим парня... Замечательный парень.

Я повесил трубку. В дверях появился врач и сказал, что Роча находится в отделении интенсивной терапии. Он добавил, что можно взглянуть на него, а потом ехать спать.

Роча лежал под простыней голый; его массивное тело приняло более определенные очертания. Длинная пластмассовая трубка шла от горла к кислородному аппарату. Он выглядел вполне пристойно, и лишь этот ужасный шланг свидетельствовал о том, что дела очень плохи. Я позвал его, но сестра милосердия приказала мне замолчать. На соседней кровати лежал какой-то старик с воткнутыми в руки и ноги иглами, и было непонятно, спит он или уже мертв. Я постоял немного, пока меня не выпроводили вон. Пришлось напомнить рыжему о деньгах, и он провел меня в крохотную комнатушку, где едва помещалась низенькая грязная кушетка да обшарпанный кремового цвета стол. Я задремал, а когда очнулся, было уже четыре часа утра. У подъезда с визгом затормозил автомобиль, послышалось хлопанье дверцами и отрывистые приказания. Высунувшись в окно, я увидел знакомый зеленый «фалькон» и проклятого толстяка с его неразлучным автоматом. Из машины спускали на землю какого-то человека — истерзанного, громко стонавшего.

— Двигайся, прохвост, двигайся! — орал толстяк, а подоспевший врач помог водрузить несчастного на каталку.

Я плотно закрыл дверь и присел на кушетку, почти в полной темноте. Целый час в коридорах слышался топот, а потом все стихло. Машина уехала только в седьмом часу, когда через слуховое окно уже просачивался свет. Я вышел и осторожно, на цыпочках прошел по коридору. Рыжий спал в приемном покое. Тогда я направился в палату, где помещался Роча. Сестра милосердия тоже спала, растянувшись на каталке, и я прошел мимо нее, боясь, что она проснется и поднимет шум.

Рочи на кровати не было. Вместо него лежал человек, которого привезли только что. Ему тоже сделали трахеотомию; грудь его была забинтована. Он покосился в мою сторону, и я кивнул ему. В ответ он что-то прохрипел и скривился от боли. При еще слабом дневном свете просторная комната походила на мрачный барак, куда более унылый, чем при электрическом освещении. Я подошел к не-

счастному и спросил, не знает ли он, куда перевели лежавшего на этой кровати. Он с огромным усилием приподнял правую руку — при этом на лице его отразилось страдание — и большим пальцем указал куда-то вниз.

Я долго простоял в полутьме палаты, наблюдая, как уличный свет с трудом пробивается сквозь исцарапанные, грязные стекла. Потом взглянул на часы, чтобы хоть чем-то заполнить время, придавая этой минуте хоть какой-то смысл, чтобы запомнить положение стрелок, которые отныне в памяти моей будут возвращать меня сюда. Я стал искать сестру милосердия и, найдя ее по-прежнему спящей, разбудил, встряхнув за плечо. Она тотчас же, даже не протирая глаз, села.

— Где он? — спросил я.

— Напротив, в общей палате.

Пройдя коридором, я раскрыл дверь. Дюжина кроватей стояла здесь в два ряда, их разделял двухметровый проход. На каждой кто-то спал, и лишь на самой дальней, в углу, какая-то древняя старушенция монотонно стонала, повторяя свое «а-й-й» через равные промежутки времени, как надтреснутая пластинка, заведомо зная, что никто к ней не подойдет. Под потолком медленно вращались лопасти вентилятора; прямо под ним лежал Роча, до подбородка укрытый простыней. Лицо его было лиловым, в волосах по-прежнему виднелись комочки засохшей грязи. Рот широко раскрыт, ноздри забиты запекшейся кровавой коркой. Он оброс густой щетиной, отнюдь не улучшавшей его вид. Я приподнял край простыни: на шее, откуда раньше торчала кислородная трубка, обрывком лейкопластыря закреплена марлевая повязка с пятнами крови. Слабое дыхание его сопровождалось чуть слышным свистом. Я приподнял пальцами веко, но в полумраке палаты вместо зрачка увидел мутное пятно. Выйдя в коридор, я снова отправился на поиски сестры милосердия. Она опять спала, на этот раз я подергал ее за руку.

— Где врач?

— Спит.

— Где?

Поняв, что я вот-вот взорвусь, она показала рукой на соседнюю с операционной дверь. Доктор спал на незаправленной кровати, у изголовья на металлическом столике стояла неполная бутылка апельсинового сока и пепельница с едва начатой и тут же смятой сигаретой. Я дотронулся до его ноги, и он дернулся как от удара током, не сразу раскрыв глаза.

— В чем дело?

— Почему вы отменили кислород?

— Кому?

— Боксеру. Кто вам дал право?

Он поднялся и сел, свесив ноги на пол, потянулся к пепельнице за сигаретой и, чиркнув спичкой, раскурил.

— У нас только одна канюля.

— Это что такое?

— Ну, трубка для трахеотомии. Только одна.

— Но ведь она была у него.

— Верно, но тому она сейчас нужнее,— он поежился и зевнул. Я ухватил его за ворот рубашки и начал трясти.

— Сукин ты сын! Ставь обратно, и немедленно!

— Что с вами? — Он с силой отпихнул меня. — Да кто здесь врач, черт возьми?! Вашему типу все одно крышка — ни туда, ни сюда...

— Что это значит?

Он уставился в пол, в одну точку. Сигарета потухла, и он опять потянулся за спичками.

— Ну и день сегодня, не могу больше... Чего вы от меня ждете? Чуда?

— Подключите его к аппарату. Он имеет на это полное право — трубка была у него...

Врач тяжело вздохнул, потер щеку.

— Скажите это охраннику... — В его усталом голосе послышалось раздражение.

— Охраннику?

— Ну да, полицейскому, что там, снаружи. Попробуйте-ка, ну!

Я бросился к двери.

— Эй,— позвал он меня.

Я обернулся. Врач опять лежал на кровати.

— Только осторожнее. Не хватало мне лечить еще вас.

Я подошел к комнате, где спал рыжий. Вдруг за моей спиной скрипнула дверь, и в щель просунулась голова Гэри Купера. Под глазами у него я успел заметить темные мешки.

— Привет! А ты чего тут потерял, Гарделито?

На мгновение я застыл от удивления и неожиданности. Он стоял босиком и ростом теперь был со швабру, но крепко сжимал в руках автомат, а из-за пояса торчала рукоять пистолета.

— Ну и ночка, а? — обратился он ко мне как к старому приятелю.

Я стоял молча посреди коридора.

— Да что это с тобой? Уж не обиделся ли ты на нас, а?

— Что вы здесь делаете?— спросил я наконец.

— Да ты, я вижу, все еще дуешься...

Я не отвечал, но и глаз с него не сводил.

— Я тут дежурю, старина. Все давно в борделе, а я вот должен торчать всю ночь в этом вонючем госпитале. Вот повезло, а?

— Почему именно здесь?

— Приказ толстопузого. Одного нашего поцарапали.

Он распахнул настежь дверь в занятую им комнату, послонялся по ней, как будто искал что-то, приставил автомат к стене. Затем ухватил металлический столик, стряхнул с него на кровать какие-то склянки и установил в центре комнаты.

— Может, сыграем в карты? Я разбужу ребят... будет четверо...

— Мне надо идти.

— А может, все-таки?..

— Роча здесь.

— Знаю.

— Я хочу забрать его. Утром есть поезд?

— Паскудный. Тащится как черепаха. Брось, вечером поедете.

Я отрицательно покачал головой и предпочел вернуться в общую палату.

— Эй!

Я остановился у самой двери и посмотрел на него.

— Не лезь в бутылку. Знаешь ведь: капитан командует — матрос исполняет.

В палате стало светлее. Я подкатил каталку к кровати Рочи. Попытался поднять его, но безуспешно. Не миновать просить Гэри Купера помочь, к тому же он был единственным, кто, возможно, не помешает мне увезти Рочу. Я пошел за ним.

— Совсем рехнулся,— сказал он.

— Если я не увезу его в Буэнос-Айрес, он умрет.

Гэри Купер раздумывал, тупо уставившись на столик посреди комнаты.

— Я не могу покинуть пост.

— Ну, на минутку.

Лицо его вдруг осветила счастливая мысль.

— А автограф дашь? Ты помнишь? Автограф! Пузатый лопнет от зависти!

— Идет.

В комнатушке он поискал на столе, затем в шкафу, нашел какую-то тетрадку и вырвал лист. Подал мне авторучку. Он казался таким счастливым, словно только что выиграл кучу денег в лотерее.

— Давай пиши: дорогому Бето Сайаго с дружеским... нет — с братским объятием и наилучшими пожеланиями. И подпиши разборчиво, чтобы было ясно, что это ты...

Я положил бумажку на столик и написал все слово в слово. Он выхватил у меня листок, сложил его аккуратно и бережно, словно чек, и спрятал в карман форменной рубашки.

— Где этот?..

Минут десять мы потели, натягивая на Рочу брюки, рубашку и перекладывая его на каталку. Бето действовал довольно ловко, даже посочувствовал Роче, а потом посоветовал исчезнуть нам до того, как толстяк увидит автограф.

— Если кто чего спросит, говори, что мы с врачом разрешили.

— Я вызову такси.

— Такси? Да этой ночью даже пожарники не ездят. К двум утра нам пришлось расставить повсюду заграждения, чтобы прекратить заваруху. Рвань чернозадая после бокса просто очумела, городишко превратился в сущий бордель. Поэтому я тебе и предложил поиграть в карты, а вечерком вы бы спокойно отвалили. К тому же,— он поглядел на Рочу,— малыш твой дрыхнет без задних ног.

Я отказался, правда, пришлось протянуть ему на прощание руку. Он еще раз поблагодарил за автограф и проводил меня до дверей. Не без труда, напирая изо всех сил и одновременно следя, чтобы Роча не свалился на землю, я толкал каталку, вилявшую из стороны в сторону по гравию. Его огромное тело свешивалось со всех четырех сторон, а ноги сзади свисали от колен. Я укрыл его простыней и одеялом, которые то и дело сползали, вынуждая меня останавливаться. До поезда оставалось минут пятьдесят, а чтобы добраться до вокзала, мне предстояло пересечь весь город. Особую неприятность доставляли мне обочины тротуаров — приходилось на каждом углу стаскивать и вновь затаскивать каталку на бордюрные камни,— и я решил бросить это изнурительное занятие и двигаться дальше прямо по мостовой. Город будто вымер, лишь пение птиц нарушало тишину. Через два квартала я останавливался, чтобы перевести дух. Было холодно, у меня мелькнула мысль, что Роча, укрытый всего лишь тонким одеялом, может ко всему еще и простудиться. Я дотронулся до его руки: она была твердой и холодной, словно масло, которое только что достали из морозильной камеры. Сняв пиджак, я укрыл ему грудь. Мне уже не было так тоскливо, как в первый момент, когда этот упрямец не захотел признать свое поражение. Быть может, он был прав, ведь и ему улыбалась победа, но, к большому сожалению, не сумел Роча воспользоваться благоприятной возможностью. Одного-единственного точного удара было бы достаточно, чтобы победить, и тогда мы не влипли бы в эту дурацкую историю и мне не пришлось бы сейчас волочить каталку через весь этот чужой для нас город, и теперь уж наверняка никто не откроет нам дверь — не попрощается, не поблагодарит. Может, и я во всем виноват — надо было попросить отменить бой, скажем, из-за дождя или вовремя выкинуть губку, которую я вместо этого комкал в руке, когда Роча с нелепой последней бравадой поглядел на меня. Обуреваемый теперь уже бессмысленными сомнениями, я не заметил, как мы очутились на площади,— я толкал разболтанную каталку, а он возлежал на ней словно манекен, не подозревая о моих размышлениях. Меня занимал вопрос: ощущает ли он страдания.

Бездомный пес, лениво обнюхивавший памятник Сан-Мартину, с лаем бросился ко мне, и тут же откуда-то из-за деревьев появились еще два. Первый — черный щенок с обрубленным хвостом — дважды подпрыгнул и уцепил зубами одеяло за край. Пришлось подбежать и вырвать одеяло, которое он уже успел изрядно повалять в пыли. Два других пса — матерые кобели с грязной шерстью — лаяли как бешеные, подзадоривая меньшого. Мне, наконец, удалось обратить наглеца в бегство, псы бросились за щенком, сердито ворча и покусывая его.

Мы миновали кинотеатр. Кроме щитов с афишами я заметил несколько больших и блестящих фотографий Ромеро с гитаристами в строгих черных костюмах, без шляп. Они были гладко причесаны, а сам Ромеро успел даже закрасить на бачках седину, белевшую в тот вечер, когда он впервые появился в гостинице. Бар на углу был закрыт, но внутри кто-то расставлял столики и стулья.

Я покатил свой груз по той самой улице, на которой Роча впервые подошел ко мне, нагнав меня почти бегом, и спросил, не собираюсь ли я здесь подзаработать. Вконец выбившись из сил, я все чаще останавливался, переводя дыхание и утирая с лица пот. Последние два квартала я с остервенением толкал каталку, наваливаясь на нее всем телом, но она двигалась куда угодно, только не вперед: одно из задних колес окончательно заклинило. Впереди показалось здание вокзала, и, прежде чем пересечь привокзальную площадь, я в последний раз поглядел на лачугу Минго, вспомнив о том, что Роча собирался купить ему гроб на деньги, полученные за победу. Я так никогда и не узнаю, лежит ли тело несчастного бродяги там, где мы его оставили, или кто-то все же удосужился убрать его, прежде чем оно начнет смердить на весь город.

Начальник станции медленно прохаживался по перрону в своем черном костюме, засунув руки в карманы брюк. Волосы его были прилизаны и сверкали от бриолина, неизменный окурок торчал в углу рта. Он, по его словам, тоже был на стадионе и поделился со мной своими впечатлениями: Роча, как он заметил, в первых раундах выглядел хорошо, но потом выдохся, и Сепульведа мог бы уложить его еще раньше. По его мнению, никакого преимущества в очках у Рочи не было и в помине.

— Я все ждал, когда же вы наконец выбросите полотенце,— заключил он тоном знатока.

Немного погодя он подозвал какого-то типа в синей форме, возившегося неподалеку с тюками, и они помогли мне уложить Рочу на скамью в зале ожидания. Начальник глядел на него с любопытством, не теряя при этом горделивой осанки, а потом признался, что в жизни не видывал такого нокаута. Деньги за билеты он взять отказался, вручив мне две голубенькие бумажки, предоставлявшие право на бесплатный проезд во втором классе, он извинился за то, что в вагоне нет купе и поезд прибудет в столицу лишь через восемь часов.

Немалого труда нам стоило втащить Рочу в вагон и уложить на полку у окна. Здесь у него было меньше шансов свалиться на пол от внезапного толчка. Пассажиров было немного, да и те спали. Я попросил какого-то мужчину пересесть и устроился напротив Рочи, прислонил поудобнее к спинке сиденья его валившуюся набок голову и заправил одеяло.

Поезд тронулся, и начальник, помахав нам на прощание рукой, сразу же юркнул в свою контору. Солнце уже стояло высоко и било мне прямо в глаза, пока, наконец, поезд не вписался в поворот, постепенно набирая скорость. Вдали я увидел серое здание знакомого заведения, где развлекались офицеры, одиноко стоявшее посреди поля, и мне представилось, что все случившееся с нами — события далекого прошлого. Перед глазами поплыли какие-то лица, но в этот

момент контролер начал проверять билеты. Я сунул руку в карман пиджака и нащупал бумажник, который доверил мне Роча перед выходом на ринг. Контролер продырявил голубые билеты и удалился.

Я обшарил свои карманы в поисках адреса Рочи. Вытащил часы, бумажник, связку ключей. В бумажнике оказалось несколько купюр, фото какой-то старухи с кошкой на коленях, сезонный автобусный билет и удостоверение личности, замызганное и грязное. Ни адреса, ни телефона. Я завел часы и надел ему на запястье, вдруг заметив, что дата на календаре часов совпадает с указанной в удостоверении. Я снова вытащил его и обнаружил, что это дата рождения; итак, Роче сегодня стукнуло тридцать пять. Я поглядел на него: лейкопластырь, прикрывавший нелепое отверстие в горле, съехал набок. Я нагнулся и поправил, стараясь не слишком нажимать. Человек, уступивший мне свое место, не сводил с нас любопытствующих глаз. Потом он вытащил из сумки банку с пивом и протянул мне. Я отказался, хотя во рту пересохло и пить хотелось ужасно. Заглянув мне в глаза, он спросил:

— Что это с вашим другом?

■

БУДЫЛДИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1921 г.)

Советский журналист-международник, переводчик латиноамериканской и испанской прозы. В его переводах печатались произведения Хавьера Кампоса-Понсе, Густаво Валькарселя, Хуана Мигеля де Моры и др.

ЧЖАН КАНКАН

Северное сияние

ПОВЕСТЬ

Перевод с китайского А. ЖЕЛОХОВЦЕВА под редакцией С. ХОХЛОВОЙ

Спустя четырнадцать лет я опять стою на главной площади Пекина — Тяньаньмэнь у Врат небесного спокойствия. Вечереет, площадь действительно спокойна, иссяк поток велосипедистов. Знакомая картина: в лучах заходящего солнца как будто стремятся взлететь ввысь крылатые колонны, покоящиеся на каменных черепахах.

Ко мне и моему коллеге приближаются два пекинца, одетые на западный манер, здороваются по-английски. «Вы из Штатов?» — звучит скорее не вопрос, а утверждение. «Нет». — «Значит, из Западной Германии».— «Тоже нет».— «Как, из Советского Союза? Активисты Общества советско-китайской дружбы? У вас есть такое общество?» — «Есть, и работает уже более четверти века».

В глазах наших собеседников — дружелюбная любознательность. Запас их английских слов быстро тает, переходим на китайский. Завязывается разговор, свидетельствующий о заинтересованности и не всегда достаточной информированности («А рядовые советские граждане могут приобретать личные автомобили?»). Рассказывают о себе: они инженеры, выпускники пекинских вузов. Говорят о своей зарплате (очень скромной), о жилищных условиях (весьма стесненных), сетуют на очереди, нехватку некоторых товаров, но тут же добавляют, что в целом жить стало лучше. Откровенно говорят о своих планах и надеждах. Сравнивают положение в Китае с тем, что им известно о жизни за рубежом. Выводы часто не в пользу Китая, но собеседники не отчаиваются: «Если будем с умом работать и больше не будет разных экспериментов, мы когда-нибудь догоним развитые страны». Вскоре совсем стемнело, и мы расстались. Передо мной была уже иная китайская молодежь, не похожая на ту, с которой мы общались в 50—60-е годы. Это поколение немало пережило, более трезво разбирается в окружающей действительности, не боится высказывать свои мысли. В этом поколении больше практицизма, меньше энтузиазма и веры. Осознавая сложность стоящих перед страной задач и желая принять участие в их разрешении, эта молодежь хочет видеть результаты своих усилий в близком будущем, а не в отдаленной перспективе.

Об этой встрече у Врат небесного спокойствия я сразу вспомнил, читая повесть писательницы Чжан Канкан «Северное сияние». Ее персонажи — сверстники тех двух молодых инженеров, прошедшие в главных чертах сходный жизненный путь. Как, впрочем, и сама писательница. Она почти ровесница Китайской Народной Республики: в 1981 году, когда публиковалась повесть, ей шел тридцать первый год. Действие повести происходит в заснеженном морозном Харбине, но сама Чжан Канкан родилась и выросла в субтропическом Ханчжоу, согласно старинному изречению, являющемся одним из земных аналогов небесного рая. Однако жизнь будущей писательницы райской не назовешь.

Когда ей шел шестнадцатый год, разразилась «культурная революция». Поддавшись, как и большинство ее сверстников, демагогической пропаганде и психологическому нажиму, она стала одной из активных хунвэйбинок. После того как организаторы «культурной революции» решили, что хунвэйбины сделали свое дело и должны уйти, она «добровольно» поехала на далекий Северо-Восток и восемь лет в тяжелых условиях работала в одном из госхозов. Одновременно она писала роман (как утверждает сейчас критика, он был создан «по рецептам эпохи банды четырех»). Читательское признание она завоевала своими повестями и рассказами, написанными

ЧЖАН КАНКАН (род. в 1950 г.)

Китайская писательница. После окончания средней школы поехала добровольцем на строительство госхозов в провинцию Хэйлунцзян, работала в сельском хозяйстве и на лесозаготовках. Первый ее рассказ был напечатан в 1972 г. в шанхайской газете «Вэньхуэйбао». Затем вышел роман «Линия разграничения» (1975). За повесть «Тонкий утренний туман» на всекитайском конкурсе в 1981 г. Чжан Канкан была награждена премией. Центральное издательство «Чжунго пиннянь» выпустило отдельной книгой «Повести Чжан Канкан», куда вошла и повесть «Северное сияние», впервые опубликованная в журнале «Шуохо» («Шанхай») в 1981 г., № 3.

в конце 70-х и начале 80-х годов, некоторые из них удостоены в Китае литературных премий. Одна из ведущих тем ее творчества — судьба молодого поколения, которое прошло через потрясения и зигзаги последнего периода китайской истории и теперь старается осмыслить происшедшее и происходящее, найти свой путь и свое место в меняющейся жизни.

За последние годы наши читатели познакомились — в частности через журнал «Иностранная литература» и его «Библиотеку» — со многими произведениями китайской литературы наших дней. В их числе — яркие и правдивые повести Ван Мэна и Шэнь Жун, рассказы Лю Синьу и Шао Хуа, стихи Ай Цина, очерки Лю Биньяня... В большинстве из них речь идет о тех испытаниях, которые выпали на долю китайского народа в тот период, который сейчас в печати именуется «десятилетием смут» или «десятью годами бедствий». Нет нужды пояснять, почему писатели уделили этой теме столько внимания и почему переводчики остановили выбор на таких произведениях. Слишком остра была боль, слишком свежи шрамы, слишком глубокий след оставило недавнее прошлое в сердцах десятков и сотен миллионов. Сейчас эта тема, не уйдя совсем со сцены, чаще звучит как увертюра или интермедия в спектакле, основное действие которого происходит уже в наши дни.

В подобных произведениях — а «Северное сияние» принадлежит как раз к их числу — перед нами уже не тот Китай, в котором бедность превозносилась как добродетель, на знания и их носителей смотрели с подозрительностью и опаской, где чуть ли не единственным доступным материалом для чтения была «драгоценная красная книжечка», то есть пресловутый «цитатник». Это уже не тот Китай, в котором старавшиеся во всем походить друг на друга люди маршировали, провозглашали лозунги и обличали друг друга на бесконечных собраниях. Времена изменились. Теперь тяга к знаниям, стремление улучшить свое материальное положение поощряется официальной пропагандой. И вот в моду вошли японские магнитофоны и меховые пальто, виски и «гэвасы» (квас). Люди ходят в вечерние университеты и на танцы, зубрят иностранные языки и спорят на научные темы. Конечно, круг людей, которым все это доступно, даже в крупных городах еще невелик, но еще несколько лет назад такого не было вовсе.

По-разному реагируют на происходящее люди, с которыми писательница сталкивает свою героиню Лу Циньцинь. Одни — как ее жених Фу Юньсян и его дружки — стараются наслаждаться жизнью. Это либо проныры, имеющие доступ к дефицитным благам, либо дети людей с положением, получающих приличную по китайским меркам зарплату. Их не волнуют большие проблемы, по-прежнему стоящие перед страной, они не любят вспоминать о прошлом; им кажется, что они уже дорвались до пирога и нужно лишь постараться отрезать кусок побольше. Фу Юньсян, по-видимому, искренне привязан к невесте, но ему абсолютно чужды ее мечты и устремления, «всякие там умствования». Ее уход для него не только обиден, но и непонятен: чем мог не подойти такой жених, как он,— квалифицированный рабочий с неплохим заработком. А вот человек совсем другого плана. Фэй Юань, в прошлом хунвэйбиновский вожак, испытал крах иллюзий, потерял в тюрьме отца, бывшего дипломата, сам едва не спился в деревне. Теперь он студент, мечтает поехать в аспирантуру в Японию. Он ни во что не верит, проповедует «разумный эгоизм» (по Чернышевскому) и «самоспасение». Фэй Юань готов рассуждать о ценности человеческой личности, но реальные люди вокруг мало его волнуют. Третий герой повести — Цзэн Чу, слесарь-теплотехник и студент-вечерник. Порой застенчивый, порой излишне импульсивный, он многим представляется несовременным чудаком. Хотя он иногда и говорит книжным языком, но он всегда искренен и меньше всего думает о впечатлении, которое производит. Пережитые им неприятности не заставили его осторожничать, ему до всего дело. Его кредо: «Истину, добро и красоту можно найти, если отстаивать правду и справедливость»,— и он ему следует.

На протяжении всей повести героиня старается разобраться в своих чувствах, найти истинные жизненные ценности. Из рассказов своего дяди-геолога она девочкой узнала о самом красивом зрелище на свете — северном сиянии. И ее мечтой стало увидеть его своими глазами, пусть для этого придется поехать на самый крайний север страны, в таежную глухомань. Согласившись на брак с Фу Юньсяном, сговоренный по старинке родителями молодых, она как бы изменила своей мечте, согласилась на будничную, хотя и сравнительно обеспеченную жизнь. Все же в конце концов она находит в себе силы отказаться от завидного, по общему мнению, брака и тянется к Цзэн Чу. Он ведь тоже из тех, кто хочет увидеть свое «северное сияние».

Нужно отметить, что далеко не все читатели одобрили поступок Лу Циньцинь. В их письмах в редакцию, в статьях некоторых критиков прозвучало явное осуждение героини — как же так, ведь она давала обещание, принимала подарки. Иные в запальчивости назвали ее поведение «аморальным». Зато другие поддержали писательницу в ее стремлении утвердить право женщины на свободу выбора, в ее борьбе за человеческое достоинство.

Наши читатели, наверное, найдут в повести и определенные недостатки. Но она представляется честным и взволнованным свидетельством художника о происходящих в древней стране переменах, о новых людях, новых мыслях, новых чувствах. Повесть говорит о том, что тяжкие испытания, выпавшие на долю того поколения, к которому принадлежит Чжан Канкан, не убили в его лучших представителях стремления к свету и счастью.

В. Ф. СОРОКИН

1

Они были когда-то чистыми, как жемчужина, эти капельки, но потом утратили свою чистоту и, чтобы вернуть ее, поднялись на небо. И там, в его холодной вышине, снова стали кристально-чистыми и, легко кружась, спустились на землю, неся в мир что-то новое и удивительное. Беззаботные, будто ангелы, вольные, свободные, они ложились на плоскую крышу четырнадцатиэтажного телецентра, привлекавшего к себе внимание всего города; укутывали большую клумбу перед главным корпусом института, маковку запустевшей православной церкви, голые тополя вдоль шоссе, величественную громаду Дворца Севера и рядом с ним приземистые продувные бараки... Они весело, радостно и самозабвенно кружились в буйном танце, подчиняясь какому-то своему, особому ритму, и казалось, над городом плывет нежная, едва слышная мелодия... Даже ледяной северный ветер вдруг словно бы потеплел и принялся мастерить из снежинок новое убранство для морозного города льдов и снегов.

Лу Циньцинь распахнула тяжелую дверь и вскрикнула от восторга, увидев пляшущие снежинки. В этом городе за долгую зиму снег бывал частым гостем, но она каждый раз по-детски радовалась ему.

Хлопали двери, учащиеся, плотно зажав под мышками папки, расходились с занятий. Никто не окликнул Циньцинь, никто с ней не попрощался. Все спешили, девушки торопливо застегивали теплые пальто, завязывали шарфы; парни опускали уши своих ушанок, лихо сбивая их на затылок; скрипели по снегу кожаные сапожки. На багажниках велосипедов кто вез мешок с мукой, узкий и длинный, кто — скрипку; на руле — коробку с пареным рисом на завтрак; однажды Циньцинь видела, как кто-то вез на багажнике своего маленького сынишку. Просто не верится, что это университет. Какой-то парень в залоснившейся шапке бежит впереди, наверняка грузчик из продмага, торопится, чтобы не опоздать. По воскресеньям многие работают и на занятиях народу совсем мало. А у Циньцинь на заводе в воскресенье выходной. Вечерний университет не похож на обычный: никто там друг с другом — ни слова, будто и незнакомы, хотя несколько месяцев вместе ходят на занятия, у каждого куча дел, вот и разбегаются. А может быть, студенты теперь вообще другими стали, или это только в вечернем университете. Но в обычный университет никогда не попасть... Кружись теперь, как снежинка над землей.

— Циньцинь, ты еще не ушла? — послышался за спиной тоненький голосок.

Циньцинь сняла варежку, смахнула с ресниц снежинки. Ее окликнула толстушка, ровесница, с которой они сидели за одним столом. У толстушки было странное имя — Суна, Циньцинь прочла его на обложке ее тетради. Суна словно знала, что пойдет снег: под желтое пальто с капюшоном надела красный пушистый свитер.

— В снежном краю надо быть начеку,— хохотнула толстушка и, наклонившись к уху, прошептала:— Сегодня воскресенье, пошли на танцы.

Циньцинь мотнула головой.

— Вчера, лунной ночью...— запела Суна и ушла. За воротами мелькнула тень; ее кто-то ждал.

Циньцинь потопала стынущими ногами и подставила лицо снегу. Не пошла на танцы, а почему, кто запретил ей? Что плохого в танцах? Ласковая мелодия успокаивает, под нее отдыхаешь, а потом закружишься, и грусть как рукой снимет. Она любит танцы, но... это же воскресенье, проклятое воскресенье, когда с обеда и до вечера

не принадлежишь себе. Ну зачем она стоит здесь, под снегом? Сейчас он прибежит, пыхтя и отдуваясь, будет ее искать... Лучше самой пойти к нему и вовремя поспеть, все равно долго так продолжаться не может, через два месяца, когда наступит праздник Весны восемьдесят первого года, ей придется переселиться к нему насовсем.

«Насовсем?» — Циньцинь стало страшно. Через два месяца? Так скоро? И насовсем? Свершится обязательное для каждого человека «историческое событие»: свадьба. Да, да, весь смысл свадьбы в том, чтобы раз и навсегда, а если не навсегда, зачем тогда свадьба? Она уже расписалась на официальном бланке — иначе не зарегистрируют в очереди на предметы домашнего обихода. На таком условии он согласился, чтобы она продолжала посещать занятия: подпись в «обмен» на университет.

Циньцинь невольно ускорила шаг. Ее подгоняли невеселые мысли, что-то смутное, на что она не находила ответа. Что с ней творится? Стоит вспомнить о свадьбе — и небо становится тяжелым, серосвинцовым, снег — тусклым, а музыка в транзисторе стонуще-печальной. Но ведь не могила же ее ждет, а новая, веселенькая квартирка. «Неужели я чокнутая, как теперь модно выражаться. Да и какая девушка в двадцать пять лет не хочет замуж? Сказать — никто не поверит».

Погруженная в свои мысли, она едва не упала. Снег мягкий, пушистый, но под ним лед. Зимой город превращается в гигантский каток. В детстве Циньцинь любила ходить на каток, любила с разбега проехаться по льду, но последние два года редко удавалось покататься: то на работу, то на курсы японского языка в университет, то ухажер — как положено, «треп про любовь», а по правде говоря, просто время вместе убивали.

Трамвай подкатил мягко, рельсы отчетливо темнели на снегу. Циньцинь влетела в вагон, стряхнула с себя снег, ей стало жаль снежинок. Они падали на землю такие чистые, такие белые, что весь город от них стал похож на хрустальный дворец. Всю ночь завывал ветер, на снегу появились следы от ног, снежинки почернели, смерзлись в бесформенные комья, стали неразличимы, и теперь надо было ждать свежего снега, чтобы город снова засверкал зимней красой.

Трамвай звякнул, остановился у кинотеатра. Люди посыпались из вагона, словно горох. Циньцинь стала разглядывать выкрашенный голубой краской деревянный павильон. И палисадник, обнесенный изгородью, летом был очень красив, а сейчас толстый снежный полог все укрыл: и осыпавшиеся ноготки, и ромашки, и маттиолу, и широкую крашеную железную крышу, и высокое крыльцо, и каменные скамьи под вишнями. Снег был чистый, всю зиму сюда никто не забредал, и пустой дворик казался таинственным, как в сказках, которые Циньцинь читала в детстве. Лет десять тому назад Циньцинь непременно принялась бы сочинять трогательную сказку о старом камине, в котором трещат дрова, о санях, запряженных одиннадцатью лошадьми, в которых ездит сама Снежная королева. Вот подлетают к дверям сани, и сходит с них красавица королева, а в корзинке у нее свежие цветы — в декабре...

— Что там так воняет в корзине? — раздается хриплый голос. От того, кто спрашивает, сильно тянет чесночным духом.

— А тебе что за дело? Сам весь провонял!

Начинается перебранка, кто-то наступает Циньцинь на ногу тяжелым сапогом, и она вздрагивает от боли.

— Жрешь гнилую рыбу и тухлые креветки?!

— А тебе завидно? Во сне видишь гнилую рыбу и тухлые креветки!

Вот тебе и старинный камин, и королевские сани, и корзина с цветами, и рождественская елка. Куда все подевалось? Трамвай на-

бит пассажирами, как консервная банка сардинами, спертый воздух, ругань и давка. На остановке половина пассажиров вываливается: магазин Чурина. Воскресенье — нужны сани с серебряными колокольцами, которые подкатили бы прямо к подъезду универсального магазина... Оттуда выходят нарядно одетые парочки с узлами и пакетами — покупки к собственной свадьбе или свадебные подарки друзьям. Полумертвые от усталости, стиснутые в длинной очереди, они орут: «Мне! Сюда давай!» Конечно, им нужно все самое новое и самое модное. Не задумываясь, они бросают двухмесячную зарплату — да и чему удивляться? Это вполне естественно. Сколько лет люди сидели взаперти, словно в клетке! Старый камин давно развалился; центральное отопление может обогреть самый высокий дом, горячая вода идет по трубам на любой этаж, и по случаю свадьбы нет нужды в декабре идти в лес за свежими цветами. Вот из магазина вышла молодая женщина с нейлоновыми цветами — наверняка будут «цвести» в доме, пока ее дети не вырастут и не начнут сами «трепаться про любовь».

Вагон опустел. Сквозь окно без стекла Циньцинь видит широкую, большую улицу, по обеим сторонам которой ярко горят красным светом крупные иероглифы «радость». Люди потоком входят и выходят: хлопочут — и радуются, радуются — и опять хлопочут. Рядом с подъездом, над которым самый большой иероглиф, останавливается грузовик, и парни и девушки принимаются загружать его узорчатыми тюками. «Это люди с торгово-финансового фронта»,— думает Циньцинь. В кабине грузовика сидит нарядно одетая девушка, на ней жемчужное ожерелье, серьги и кольца. Вид у нее равнодушный, словно ей безразлично, куда ее повезут и какая судьба ее ждет.

Циньцинь хмыкнула про себя. Свадьба, не иначе как свадьба! Сегодня, наверное, благоприятный день. Может, и лунный и солнечный календари сулят счастье в браке именно сегодня? Люди мечтают о счастье, а те, кто развелся, говорят, что день свадьбы у них случайно пришелся на нечетное число по лунному календарю. Пройдет два месяца, и на собственной свадьбе Циньцинь послушно сядет на кровать и, по обычаю этого города, позволит ему надеть ей туфельки и завязать шнурки, после чего они сядут в такси. В прежние времена туфельки были расшитыми, с цветами, а теперь — обыкновенные, кожаные; раньше невеста садилась в узорчатый, крытый шелком паланкин, а теперь — в такси; материальное благосостояние с каждым днем улучшается, ну, а душа человека, меняется ли она?

Как только такси двинется с места, невесте положено громко заплакать, иначе назовут неблагодарной и тогда от свекрови доброго отношения не жди. Сороковые ли годы или восьмидесятые — не важно, обычай есть обычай. Циньцинь не раз бывала на свадьбах своих подруг по заводу — все громко плакали, жалобно голосили, только вряд ли они искренне горевали. И потом, зачем плакать, если они собираются жить счастливо? Правда, свадьба — это конец свободной жизни, к тому же брак налагает на человека серьезную ответственность. Вся радость — в узорчатом паланкине, в котором тебя принесут в дом мужа, и радость эта исчезнет вместе с паланкином. Глядя на плачущих подруг, Циньцинь искренне страдала, уж наверняка сильнее, чем сама невеста. Она представила себе день собственной свадьбы, когда сама она должна будет плакать, и боялась, что добром это не кончится...

Допустим, она будет плакать всю дорогу, но как только начнется свадебная церемония, надо будет быстро вытереть слезы, изобразить на лице небывалое счастье и со смущенным видом подносить гостям зажигалку... Циньцинь бывала на свадьбах много раз, и все они были похожи одна на другую. Разница заключалась лишь в том, что одних молодых она знала лучше, а других хуже, а прочее —

одежда, поздравления, убранство в доме — все было одинаково. Если прийти туда через год, уже будет ребенок, в коридоре будут висеть пеленки, а молодая мать в шелковом ватном халате с залоснившимися рукавами примется радостно щебетать про своего драгоценного малыша: какой у него нынче цвет стула, что он пролепетал. В таких случаях надо сказать что-то приятное и бежать без оглядки. И так «навеки»? Стоило Циньцинь закрыть глаза — и перед ней с поразительной ясностью вставала картина семейного счастья, до которого оставалось два месяца. Да, он будет образцовым мужем на зависть подружкам. Он сможет обеспечить ее. Закажет ей сапоги из телячьей кожи, из одного чуринского магазина побежит в другой, побывает даже в центральных магазинах... Нет, хватит! Раз он такой, она нарочно в день свадьбы наденет туфельки без шнурков. Она сама спрыгнет с кровати и быстро сунет ноги в туфли; интересно, что он тогда будет делать?

— Постойте, я сойду,— громко крикнула она. Кондуктор что-то недовольно пробурчал, двери открылись, и она выпрыгнула из вагона. На остановке было очень скользко, она едва не упала, но ее поддержали крепкие руки.

— Это ты...— Она обернулась. Он стоял перед ней — меховая шапка и плечи были засыпаны снегом — и ласково глядел на нее большими круглыми глазами. Она знала, что он будет ее ждать на этой остановке, но чуть было не проехала мимо.

— Почему так поздно? — спросил он, все еще поддерживая ее.

— Снег... трамвай,— стала она оправдываться.

— Мать тебя ждет, пельменей накрутила, в начинку положила сельдерея.

— Сельдерея? Откуда в такое время сельдерей?

— Тепличный, его не так просто купить, да и стоит немало, восемь мао за цзинь [1].

— Ну и ну!

— Ко мне приятели пришли, на тебя поглядеть...

— Поглядеть?..

— Люди полезные. Кстати, сегодня купил торшер. Теперь все в ажуре.

Это означало, что надо лишь дождаться счастливого дня, накрыть стол, заказать такси...

— Ты не рада? — растерянно спросил он.

Да и отчего бы не радоваться? Все так делают. Значит, так надо. К тому же его отец — заведующий управлением снабжения и сбыта, а ее — всего лишь начальник отдела пропаганды, так что его отец рангом повыше; у него одна младшая сестра, а у нее — два младших брата; по зарплате он плотник третьего разряда, а она — сборщица второго, так что ей с ним не тягаться; школу он окончил в шестьдесят девятом, а она только в семьдесят третьем; Циньцинь была хороша собой, по красоте ей можно было дать девяносто очков из ста, а Фу Юньсян (так звали жениха) был рослым и плотным, внушительного вида мужчиной, хотя и несколько грубоватым. У него были большие уши, правильной формы нос... В общем, он всем очень нравился. Так почему же не радоваться? Квартира давно приготовлена: в его комнате стоит новенький, девятнадцать суней по диагонали, отечественный черно-белый телевизор. Мама часто говорит: «Не прыгай с одной горы на другую только потому, что другая выше: так недолго и забыть, какую фамилию носишь». У мамы всегда при себе карманный безмен в расшитом футлярчике — покупая продукты, сама их взвешивает, чтобы не обманули. Ее не проведешь. Зятя тоже подобрала безошибочно.

[1] Мао — 0,1 юаня; цзинь — 0,5 кг. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Ну и снег, сколько снегу...— печально говорит Циньцинь, ускоряя шаг.

Впереди, в снежной круговерти, светился белыми и желтыми огнями двухэтажный дом Фу Юньсяна. На втором этаже — узкие, высокие окна; крыша остроконечная, треугольная; наверху — небольшая мансарда; крыльцо украшено резьбой по дереву... Сквозь метель Циньцинь видит сказочные, прекрасные образы детства, но вот она ступила на крыльцо, услышала донесшийся изнутри нестройный шум хмельных голосов, стук костяшек мацзяна, и прекрасные видения мгновенно растаяли.

2

— Девять палок!

— Десять тысяч!

— Моя!

— Эх, сглупил, мать твою, не ту выложил, дурак, назад возьму!

— Отвались от кости, ублюдок! Что положил, то к столу прилипло. Припечатано, не тронь!

— Ходи-и! А-а-а!

Ей стало тошно. Противно было смотреть на лихорадочно мелькавшие над столом руки, на выложенные стенкой костяшки, на груды отброшенных костяшек — все наводило тоску. Эта игра не вызывала у нее ни симпатии, ни даже интереса — она и костей не различала, и Фу Юньсян не раз посмеивался над ней, но она не обращала на это никакого внимания. Может, ей сейчас лучше помочь его матери делать пельмени — во всяком случае, это куда приятнее, чем сидеть здесь за столом и смотреть, как играют в мацзян...

— Сестра Цинь! — вдруг крикнула одна из девушек и, расхохотавшись, бросилась к Цинь. Это была Ямочка, миловидная хохотушка лет двадцати. Она все время смеялась, без всякой причины, при этом на ее пухлых щечках играли ямочки. Все знали, что она с особым уважением относится к Циньцинь за то, что у той ресницы были на полтора миллиметра длиннее.

— Какая ты, в университет ходишь, а нас совсем забыла,— лопотала Ямочка, повиснув у Циньцинь на шее.

— Да разве это университет, вечерний...— усмехнулась Циньцинь.

— Плохой ли, хороший ли — неважно, главное, диплом, с ним удобнее и в техотдел пробиться,— с важностью заявил Фу Юньсян. Он одобрял учебу в университете, хотя понимал, что дело это нелегкое.— Иди сюда, Циньцинь, я тебе представлю моих новых друзей. Вот молодой Чжао, он из НИИ легкой промышленности, мы прозвали его Блохой, его папаша — начальник городского управления по трудоустройству.

У Чжао было бледное, холеное лицо, глаза рассеянно бегали.

— А это агент по сбыту с мясокомбината.

— Меня зовут Гань,— сказал агент, почтительно приподнявшись с места, и как-то фальшиво рассмеялся. Лицо у него было в прыщах и угрях. Циньцинь кивнула им и села в мягкое кресло у стены. На магнитофоне крутилась давно ей знакомая пленка, но слов песни она ни разу не могла разобрать. Она вспомнила, что соседка у нее за стеной тоже купила себе магнитофон, записала иностранные песенки и прокручивает их гостям. Как услышишь знакомый мотив, сразу знаешь: у соседки гости. Но такая музыка почему-то не нравилась Циньцинь.

— Циньцинь! — Девушка обернулась.

— Тюлень, ты тоже пришел?

Это был рабочий с ее завода, он отпустил себе длинные волосы. Парень дружил с Фу Юньсяном, а прозвали его Тюленем, потому что ловко жонглировал мячом, поддавая его головой и носом, и любил демонстрировать свое мастерство.

Они снова принялись играть в мацзян; уйти было неловко, и Циньцинь от нечего делать осматривала комнату, в которой ей предстояло жить. Ничего не скажешь, все прекрасно устроено: в углу стоял книжный шкаф, который она просила Фу Юньсяна купить, и не пустой, а с книгами. Циньцинь с интересом рассматривала толстый том «Избранных сочинений» Маркса и Ленина, который соседствовал с «Блюдами китайской и западной кухни»; ниже лежали «Убийство в Восточном экспрессе» и «Тайна древнегреческой гробницы», а еще ниже — «Практический справочник по медицине» и «Модные выкройки»...

Циньцинь едва удержалась, чтобы не прыснуть. Этот шкаф с книгами навел ее на мысль о том, что в нем такая же неразбериха, как в голове Фу Юньсяна и его приятелей, и что туда ни положи, ничего не поможет. Что ж, живем в век синтетики, да разве сама она не выучилась недавно добавлять в красный чай сливки?..

— В следующий раз возьму реванш,— вдруг сказал Гань и, смеясь своим странным смехом, со стуком смешал кости.

Фу Юньсян выключил магнитофон и включил телевизор: показывали какой-то балет.

— Погляди, как скачет,— красавица!

Ямочка повернулась и уставилась на экран, причмокивая губами.

— Представляю, сколько у этой девочки поклонников!

— Да ей за сорок! — перебил Блоха.— Это же знаменитая артистка!

— А что толку, что знаменитая? Славой сыт не будешь,— сказал Фу Юньсян.

— А то, что ей денежки платят не только за выступление, но и за репетицию! И жалованье у нее огромное, чтобы лучше старалась.— Гань вытащил сверкающую зажигалку.

— Послушай, Блоха, помоги достать подешевле двухдорожечный японский маг «Санъё». Очень надо,— заискивающе проговорила Ямочка.

— «Санъё» уже вышел из моды. За границей теперь самая лучшая марка «Панасоник», с компьютером и двумя дорожками. Красота! — Блоха вильнул своим широким задом.— А купить маг — мне ничего не стоит. Положись на меня. Я вот купил мотоцикл — его везут из Гуанчжоу, через три дня доставят. Была бы валюта, а купить все можно.

Ямочка ахала, таращила глаза и восхищалась Блохой.

— Какие сейчас в моде сигареты? Из импортных — «Мальборо»?

— Я предпочитаю «Сильвер стар».

— Говорят, в Пекине теперь вместо пива подают «гэвасы».

— Подумаешь! Скажи Ганю, он тебе целый яшик достанет.

— Какие звучные иностранные слова! Виски, коньяк, квас. Даже жарко становится. Говорят, американское яблоко стукнешь, а оно все равно три дня не чернеет.

— Циньцинь, ты принесла то, что обещала? — вдруг спросил Фу Юньсян и потянулся к пачке сигарет, брошенной на стол Ганем.

— Принесла.

Циньцинь пошла к вешалке, порылась в кармане пальто. Речь шла о валютных чеках, которые выпросила у знакомых ее мать. Но в кармане ничего не было.

— Кошелек потеряла? — встревожился Фу Юньсян.

Она растерянно кивнула, тут же сообразив, куда делся кошелек...

— Жулье, карманники!.. Знают, у кого красть. Сразу увидели,

что дура! Ну что стоишь как вкопанная? — Он злился, кричал, метался по комнате.— Там еще были деньги?

— Юань с мелочью и продталоны,— неохотно ответила девушка.

Он облегченно вздохнул и пошел к телевизору поправить антенну.

— Хм, карманники!..— лениво проговорил Гань.— Сволочь подлая, мать их! Безработные! Что им прикажете делать, работы-то нет. А ведь они не родились воришками. Годами ждут работы, сколько же можно объедать родителей. Теперь при виде денег сатанеют... У нас на оптовой базе есть лоточники, всей семьей торгуют, как увидят грош, глаза кровью наливаются, весь день бегают, разносят кровяную колбасу да ребрышки, а заработок на всех меньше сотни...

— Да еще тебе дать надо, чтобы отпустил дефицитной свиной печенки. Верно? — язвительно сказала Ямочка.

— А сама не такая? Замуж хочешь только за гонконгца. Девчонки из театра, которые служанок играют, уехали с гонконгским антрепренером, хотя ни слова не знали по-гонконгски и разговаривать с ним не могли. А почему? На денежки польстились! Так что нечего ломаться и строить из себя невесть что! — Гань сдул с сигареты бело-серый пепел.

Ямочка покраснела от обиды и обратилась за поддержкой к Циньцинь.

— Ну и что, если ради денег? Кому я мешаю? Главное — не делать людям зла. Правда, Циньцинь?

Циньцинь рассеянно кивала, она думала о своем и не прислушивалась к разговору.

— Не приставай к ней,— вмешался Фу Юньсян.— Она одна знает своего бога. Ее библию никому не понять, сколько лет твердит, что помогать людям — счастье. Давай лучше я тебе отвечу, я в этом деле разобрался. У меня свой жизненный принцип: клади сахар в рот себе, а не чужому дяде. Человек по натуре своей эгоист. По натуре, поняла? А с натурой ничего не поделаешь...

— Это уж точно,— поддакнул Гань, не в силах унять нервную дрожь в ноге.— Думаешь, на свете есть бескорыстные люди? Брехня, хорошо, если не все себе гребут, сочетают личное с общественным...

— По-твоему, герои, которых загубила «банда четырех», такие как Чжан Чжисинь, тоже эгоисты? — не выдержала Циньцинь. Она взяла со стола конфету, но не стала есть, и то развертывала ее, то снова завертывала.

— Я тоже ненавижу «банду четырех»,— сказал Фу Юньсян, включив телевизор и усаживаясь на софе.— Если б не великая культурная революция, я давно поступил бы в университет. Повезло бы в учебе, глядишь, поехал за границу. А теперь забыл все начисто, даже на вечерний не сдал, чего с меня спрашивать? Не вор и не бродяга, и то хорошо.

— Говорят, в будущем году на образование ассигновано много денег,— вступил в разговор Тюлень.— Пока это только слухи.

— Нас не коснется,— отмахнулся Фу Юньсян.— Вот наш Гань. Отправили его в деревню, женился там на простой бабе, наплодил кучу ребятишек, а получает сорок юаней. Как ему жить без приработка? А не выслали б его — давно стал бы монтером четвертого разряда. Или наша Ямочка — она не знает даже, что такое Европа и где она находится. Ее письмо невозможно прочесть, зато хрустящие купюры она обожает!

— Фу! — обиделась Ямочка.

— А наш Блоха? Когда у него отца в хлеву заперли, сестра спятила и утопилась в Сунгари...

— Все это я знаю,— сказала Циньцинь.— Да, если бы не десятилетие бедствий, разве докатились бы молодые люди до такого? Родились в засуху, выросли — наводнение! Доброту и честность попирали

на глазах, а подлость человеческая цвела чертополохом. Повзрослели, а остались темными. Выжили — а нервы шалят. Да, столько горя и бед выпало на долю этого поколения, но...

— Давайте поговорим о Блохе,— хлопнул Блоху по плечу Фу Юньсян.

— Надоело, бросьте,— вскочил Блоха.— Лучше не надо. Стоит только нам собраться, выпить — и пошло. Десять лет то да се, с души воротит. Озноб и головная боль от этих десяти лет. Если вам хочется — болтайте, а меня не троньте. Мне плевать: четыре каких-то модернизации, накопление ядерного оружия — семь земных шаров уже взорвать можно, ударишь раз — и все на воздух взлетит. Чем больше модернизаций, тем хуже. Я каждый день хожу в контору: ты — мне, я — тебе, махнемся без убытку. Ой, надоело! Зачем живем? Лишь бы жить! Да я бы завтра ушел на пенсию!

— Что ты говоришь? — ахнула Циньцинь.— С какой стати на пенсию?

— Удивляешься? Пенсия — последний ход в человеческой жизни. Что дальше? На работу, с работы, квартира, мебель, женитьба, планирование семьи и, наконец, пенсия. Боюсь, что пока я до пенсии доживу, Сунгари так загрязнят, что единой рыбешки из нее не выудишь. Люблю рыбку ловить! Выйду на пенсию, куплю мотоцикл и поеду на озеро Цзинбоху ловить рыбу...

— Недурно,— рассмеялся Фу Юньсян.— Неплохо придумал, возьмешь и меня с собой!

Гань смеялся и щурился. Ямочка хихикала, и даже Тюлень захохотал, разинув рот.

Циньцинь дернула себя за ухо: ее раздражал их смех. Они просто так болтали или же в самом деле им было интересно? В этом доме всегда хохотали, непонятно почему. Пили пиво, закусывали жареным цыпленком и, повторяя фразы из юмористических передач, шутили. А то вдруг разражались хохотом, хотя было совсем не смешно. Особенно любили смаковать сальности. А если поговорить всерьез? Никто не поймет, да и кому интересно?..

— Ты что, не веришь мне? — удивленно подмигивал ей Блоха, прикидываясь простачком.— Ты не согласна? А что еще, по-твоему, есть в жизни?

— Нет, ты скажи: чего ждешь от жизни? — Фу Юньсян поднес ей чашку горячего кофе.

Она не знала, что ответить, и смотрела на пар, который шел из чашки. В самом деле, о какой жизни она мечтает? Прежде она об этом не задумывалась. Будущее представлялось смутным, оно ускользало, как сигаретный дым. Но и раньше, в деревне, и потом, на заводе, когда пролетали годы и один день походил на другой — монотонные, будничные, безрадостные,— она считала, что все это временно: как переправа, как мост, как паром, на котором плывешь к другому берегу. В спокойных водах ее будней иногда мелькал луч надежды, долгое ожидание томило, но вдруг прерывалось мгновенной нечаянной радостью. Жизнь непременно изменится, не придется больше корчевать мотыгой сорняки, делая одни и те же механические движения, не придется втискиваться в автобус в темноте, ранним утром и поздним вечером, с корзиной в руках выстаивать очереди на рынке... А что будет? Танцы под гитару летом на набережной, ленивое перелистывание иллюстрированных иностранных журналов в просторной квартире? Нет, не такой жизни она хотела, ее желания этим не ограничивались... Так что же тогда? Она молчала — то ли не знала, чего именно ей хочется, то ли не умела высказаться, но она чувствовала, что ей не нужно ни горячего кофе, ни всех этих людей,— она просто устала.

— Не так, не так, не так, как сейчас.— Она вдруг встала и взволнованно заговорила: — Пусть будет все не так!

Она залпом выпила кофе и пошла одеваться.

— Ты куда собралась? — удивился Фу Юньсян.

— Забыла, я забыла блокнот с конспектами, в аудитории забыла,— бормотала она.— Только сейчас вспомнила. Там сейчас школьники занимаются, им сдают помещение; если опоздаю, его могут унести. Я возьму и вернусь... Сразу же...

— Подумаешь, блокнот...— Он недовольно передернул плечами, но, взглянув на нее, сказал мягче:— Ехать так ехать, я тебя провожу, метель...

— Не надо, у тебя же гости.— Она обмотала шею шарфом и выбежала.

— Скорей возвращайся! — крикнула вслед ей Ямочка.— А то моему братцу пельмени в горло не полезут...

На улице было холодно, но чистый, свежий воздух бодрил. Искрящийся снег, укрывший все вокруг, вселял уверенность в будущем. После душной комнаты мысли у Циньцинь прояснились. Блокнот она и вправду забыла в аудитории, и надо было срочно за ним ехать, так что это не был просто предлог. В деревне, куда ее выслали, она провела три года, но, вернувшись в город, по-прежнему не умела лгать, хотя ей было тошно от бессмысленной болтовни в компании Фу Юньсяна и куда приятнее брести по чистому снегу, не останавливаясь, не оглядываясь...

Снег ложился бесшумно, заполняя пространство, разлетаясь под порывами ветра. Иногда снежинки серебристыми звездочками проплывали перед нею и вдруг исчезали; может быть, им не хотелось именно здесь лечь на землю и растаять? И они отчаянно противились судьбе, стремясь куда-то... Циньцинь казалось, что она летит вместе со снежинками, только не знает куда и нет у нее крыльев, а лечь на землю здесь ей не хотелось...

Ей было тоскливо. Снежная пелена, казалось, окутала ее невыразимой печалью. В жарко натопленной комнате, среди суеты и ленивого празднословия Циньцинь устала, разболелась голова. И все же она не знала, какой должна стать ее жизнь. Зачем, к примеру, она поступила на вечерний? Ради моды? Или ради надежды? А какой, собственно, надежды? Кто подскажет ей?

3

Неужели Дед Мороз принес подарки издалека, с самого Северного полюса? Чистота святыни, прозрачность кристалла, блеск хрусталя. Утреннее солнце пробралось сквозь оконные рамы, и в его слабых лучах все стало свежим и каким-то объемным. Возникший мир можно было бы сравнить с подводным царством южных морей, где беззвучно проплывают причудливые тропические рыбы, вздымаются прихотливо изогнутые кораллы, полощутся водоросли и ползут морские звезды... Его можно бы сравнить с облаками над вершиной горы Хуаншань, сквозь белый полог которых островами прорезываются горные вершины, а сами облака проносятся в небесах свободно и вольно. А еще можно сравнить с пышным грушевым цветом, ослепительно белым... Да, морозный узор, ледяная чистота, убранство Снежной королевы — непревзойденные красота и изящество!..

Как в детском калейдоскопе, сменяются бесчисленные комбинации — сколько чудес для игры воображения! Белые грибы на зеленом лугу после летнего дождичка, за ними — стая белых лебедей, пролетающих над осенним болотом... А вот она сама, девочка-снегурочка, сестричка льда и снега. Она является в морозную ночь, ранним утром скупо разворачивает свои узоры — ненадолго, чтобы не успели люди найти свои мечты, и снова исчезает. Что же она сегодня задержалась? Она знала, что поздним вечером приду я? Или же знала, что сегодня воскресенье и в пустой аудитории ее никто не увидит?

Циньцинь долго стояла у окна и как завороженная глядела на белоснежно чистые, как драгоценная яшма, расцветающие на стекле морозные узоры. Поздним вечером топили слабее, в помещении стало холодно, и узоры все росли и росли. Дома у Циньцинь всегда было тепло, даже жарко, никаких узоров на оконном стекле не бывало, но, когда несколько лет назад она работала в деревне и жила в общежитии, там она видела множество узоров. Только никто не обращал на них внимания, потому что все дрожали от холода,— тогда тяжело жилось. Ей и самой в голову не приходило, что узоры на стекле красивы. И вот теперь она снова увидела их на окне университетской аудитории и обрадовалась им, как старым знакомым. Узоры напоминали взметнувшееся кверху застывшее пламя факела или же замершую в броске к небесам пену на гребне морской волны. Там не было никакой преднамеренности; свободной и раскованной мощью веяло от морозной картины...

«Северное сияние,— подумала вдруг Циньцинь.— Таким должно быть и северное сияние». От этой вдруг пришедшей мысли захватило дух. «Если свет будет серебристым, то на небе запылают такие же узоры... Да, да, это именно так, можно считать, что я его увидела...» Она протянула руку и хотела теплом ладони растопить морозную картинку, но вдруг отдернула руку и замерла, только сердце забилось чаще.

— Возьмешь меня с собой? — Она была тогда совсем маленькой, едва доставала до парты.

— Не возьму.— Дядя надевал перед зеркалом свою новую меховую шапку. Серый мех с длинным ворсом был как у медвежонка.

— Вправду не возьмешь?

— Вправду не возьму.

— А я тебя не отпущу.— Она залезла на стол и сдернула с дяди шапку.— И денег не дам.

Она изо всех сил прижала шапку к животу, в кулачке поблескивала серебряная монетка.

— Все равно не возьму,— невозмутимо повторил дядя.

— А я зареву.— Она закрыла лицо руками, искоса поглядывая на него.

— Заревешь? Тогда наверняка не возьму. Только трусишки плачут. А трусишек в экспедицию не берут.

— Что такое экспедиция? — Она всхлипывала, но слез не было.

— На этот раз я пойду на Мохэ, потом на Хума — наблюдать северное сияние, поняла? Это самое красивое сияние. С ним ничто не сравнится. Сияние расцвечивает небо будто цветными карандашами.

— Ты говоришь, оно самое красивое? А польза от него какая?

Дядя, смеясь, погладил ее по голове.

— И польза от него есть. Кто увидит северное сияние, тот найдет свое счастье. Поняла?

Она тогда еще плохо понимала, поэтому многое забыла. Это было на рассвете, на окне сверкали ледяные узоры, словно раскрытые серебряные веера. Она смотрела в окно на удалявшегося дядю, из-под его высоких кожаных сапог летела снежная пыль. Он ушел на крайний север к Мохэ. Ушел, чтобы больше не вернуться. Через несколько месяцев он погиб во время пурги, и домой прислали его меховую шапку с длинным ворсом. Неужели так трудно найти это таинственное северное сияние? Пережитое в детстве запоминается на всю жизнь, и долгие годы ей снилась тайна, о которой поведал дядя...

Восемнадцати лет она вошла в школьную канцелярию по трудоустройству.

— Нет ли строительного полка на Мохэ? — спросила она.
— Нет.
— А госхоз там есть?
— Нету.
— Ну хоть что-нибудь там есть? Звено, бригада, коммуна?
— Ничего нет. Есть на Хулани, есть в Суйхуа. Подойдет? Оттуда не далеко. Ты хочешь на Мохэ, потому что там тяжелее, чем всюду...

Мастер из рабочей агитбригады, видно, решил, что перед ним активистка движения, рвущаяся в деревню.

— Нет, не поэтому.— Она осеклась. А почему? Потому что на Мохэ можно увидеть северное сияние? Как глупо. Теперь главное — классовая борьба, а ты ищешь какое-то северное сияние. Типичные мелкобуржуазные устремления.

Она отправилась в госхоз в Суйхуа. Бескрайние зеленеющие пшеничные нивы, голубые плещущие водохранилища, сверкающие утренние зори, пленительные вечера — все это там было, не было только северного сияния. Она то и дело запрокидывала голову, глядя в небо, с надеждой увидеть хоть один луч таинственного света. Один-единственный — больше ей не нужно. Но она так ничего и не увидела. У кого только она ни спрашивала. Но здешние жители не слышали ничего подобного. Значит, это было редкое небесное явление, но оно было! А то, что существует, можно увидеть, утешала себя Циньцинь. Прошли годы, она вернулась в город с его закопченным темным небом, и надежды увидеть северное сияние почти не осталось. Да и кого может увлечь северное сияние в наш век деловитости и спешки?

— Ты видел северное сияние? Слыхал о нем что-нибудь, когда был в производственной бригаде на Хума? — спрашивала она. Они сидели вдвоем на каменном выступе крутого речного берега. От закатного солнца на воду, прямо у их ног, легла кроваво-красная полоса.

— Опять ты про северное сияние,— с раздражением сказал Фу Юньсян.— Зачем оно тебе, милая? Тогда летом в степи его можно было увидеть, но вставать глубокой ночью и глазеть на какую-то чепуху? Нам же чуть свет на работу надо было!

— Так ты не видел? — От изумления брови у нее поползли кверху.

— Болтовня все это: прекрасное-распрекрасное северное сияние, а что от него толку? Будь оно нимбом святого Будды, тогда стоило бы ему поклониться, попросить, чтоб оно помогло поскорее вернуться из деревни в город и устроиться на хорошую работу...— Он бросал камешки в воду.

Циньцинь вдруг сразу почувствовала, что он ей чужой, совсем чужой, будто она и не знала его никогда, а ведь у них уже год была любовь, его считали ее женихом. Как же она его раньше не узнала? Когда всей семьей сидели и пили вино, хохотали и веселились? Тогда было лето. Но разве не собирается она за него замуж? Два месяца, шестьдесят дней, сегодня день уже не считается, значит, пятьдесят девять. Красная крупная свадебная надпись, такси, обряд с туфельками, потом она будет подносить гостям огонь, чтобы прикурили, потом все разойдутся и в новой квартире смешанного «китайско-западного» стиля зажжется бра с изображением летящей на луну сказочной феи Чан Э. Свет режет глаза, хотя и полумрак. Он приблизится как тень, совсем чужой ей человек. Погаснет бра, тьма поглотит тень, и на нее пахнет табачно-водочным перегаром... На миг мелькнет свет далекой звезды, поманит ее, она взглянет вверх, но звезда исчезнет. И ничего не останется, кроме его голоса и дурацких слов, заглушающих ее рыдания. Она знала, что в новом доме за толстыми занавесками ей никогда не увидеть волшебного света, никогда, никогда... Циньцинь отбросила назад свои блестящие черные волосы, сорвала с шеи шарф и стала утирать бежавшие по щекам слезы. Почему так болит душа? Она же сама согласилась! Теперь все зашло так далеко,

назад не повернешь. Ее сочтут помешанной, а он? Ему будет больно. Надо бы вернуться, а то он прибежит искать ее, будет стоять на остановке, весь обсыпанный снегом. Надо бы вернуться, на окнах те же морозные узоры, что и в далеком детстве, когда дядя уходил в свою экспедицию. Он ушел тогда искать северное сияние, которое еще прекраснее, чем снег и лед. Скоро стемнеет и ничего не будет видно...

Циньцинь утерла слезы, ей почудилось, что здесь кто-то есть. Она пошла на ощупь искать свой блокнот.

Вдруг на пол посыпались карандаши и ластики, и только сейчас девушка разглядела в темноте человека.

— Кто это? — испуганно вскрикнула она.

— Незнакомый вам,— раздался в ответ низкий мужской голос, торжественный, как у судьи, и далекий, словно с неба.

Циньцинь растерялась, не зная, как ей быть.

— Ты что здесь делаешь? — немного придя в себя, спросила Циньцинь.

— Извините, но это общая аудитория. Вы не заметили меня, когда вошли, а я не хотел вам мешать. Я зубрю японский, и если бы не вы...

Он стал подбирать с пола рассыпавшиеся карандаши.

Наконец она догадалась зажечь свет. Если бы не эти карандаши, она незаметно ушла бы. Увы...

От двух сорокаваттных ламп дневного света толстые стекла его очков заблестели. Глаза под ними казались выпуклыми. Они все время мигали, и выражение у них было презрительное. Покатый лоб, вместо бороды — редкие короткие волоски на подбородке, но лицо, слегка удлиненное, оставляло ощущение красоты и изящества; тонкие губы насмешливо улыбались...

Он молча смотрел на Циньцинь. Может, смеялся над ней? А может, ждал, что она сейчас спросит: «Откуда ты? Почему я тебя раньше не видела?» — «Я тоже тебя не видел»,— ответил бы он. «Я знаю, ты учишься на вечернем японском отделении, и решил воспользоваться пустой аудиторией вечерней школы».— «А ты тоже студентка вечернего отделения, я знаю, так что можешь не предъявлять мне свой студбилет... Почему ты плакала?»— «Я не плакала».— «Плакала, я слышал. У тебя горе?» — «Какое горе? Я счастлива, собираюсь замуж. Меня с ним познакомили, я ему нравлюсь и его семье тоже, и мне не на что жаловаться, а откажусь — другого такого не найти, человек он обеспеченный. Я должна выйти за него, вот моя печаль. Нет, нет, не то, ты не знаешь, ничего не знаешь, всего не расскажешь сразу, и ты ни о чем не спрашивай, мы ведь даже незнакомы с тобой...»

Стекла очков блестели при свете ламп, тонкие губы шевелились, но он ни о чем не спросил, словно все на свете было ему безразлично.

— Я... Я кошелек потеряла.— Она сказала это, чтобы объяснить свои слезы, и от этого ей стало смешно.

— Кошелек? — со вздохом произнес он.— У меня никогда не было кошелька, потому что никогда не было денег. Уважаемые воры, выбросьте, пожалуйста, все кошельки в отхожие ямы, ибо в кошельках проживает людская алчность и ютятся черные души.

— Уважаемые? Почему воры уважаемые?— ахнула Циньцинь.

— По-честному,— всплеснул он руками,— воры все крайние индивидуалисты, наживаются на людской беде, из алчности даже готовы человека жизни лишить. Впрочем, не стоит говорить о социальных причинах, порождающих воровство, потому что настоящее зло нашей жизни — не воры, а пираты, примеряющие короны императоров и императриц. Вот кто пожирает плоды народного труда и разгуливает на свободе, неуязвимый для закона. Какой-нибудь бюрократ единым росчерком пера может в одну секунду пустить на ветер миллионы народных денег.

— Разве так бывает? — Циньцинь побледнела. Ее новый знакомый не предложил ей сесть, и она продолжала стоять, вместо того чтобы собрать рассыпанные карандаши и уйти.

— Вот тебе конкретный пример. У нас в университете был преподаватель, очень хороший, безупречный работник, жена его тоже преподавала. Жилплощади у них не было, и им приходилось жить в разных местах, дети у них совсем маленькие, в общем живут трудно. Когда началось упорядочивание заработной платы, руководство факультета заботилось лишь о том, чтобы повысить себе ставки, а их обоих отчислили, как якобы несоответствующих своей должности. И пожаловаться некуда.

Циньцинь стало страшно. Она боялась трагических историй. Зачем он ей об этом рассказывает?

— А вот еще пример.— Он провел перочинным ножом по столу.— В прошлом году в нашем университете при распределении направляли всех в глубинку, но достаточно было записки замминистра, чтобы его будущего зятя отправили на работу в Пекин. Кто же теперь поверит пустой догматической болтовне, когда вопят, что у молодежи нет коммунистической морали! Всем противно видеть пропасть между реальной жизнью и политическим воспитанием. Нет уж, куда лучше позаботиться о собственном благополучии... Именно так реагируют все на лозунг: «Политику на первое место!» Я говорю все это, чтобы ты лучше поняла нынешнюю действительность.

Он оказался очень словоохотливым, причем говорил свободно, непринужденно и очень складно. Циньцинь невольно почувствовала к нему уважение, слушая, как резко и смело он обо всем судит. При этом на губах его играла усмешка, на лице не было и тени гнева, голос звучал спокойно и ровно, будто все, о чем он говорил, его не касалось.

— Эх, не вовремя появилось на свет наше поколение, понапрасну растратило силы и молодость. Сами мы ничего хорошего не видели, а можно ли поверить на слово, что жизнь прекрасна? Если идеал далек, как мираж, можно ли заставить в него поверить? Мне говорят, что это нигилизм, но, по-моему, такой нигилизм куда лучше, чем слепой идеализм молодежи пятидесятых — шестидесятых годов...

Циньцинь только ахала.

— Да зачем я все это тебе говорю? — Он встал и собрал свои книги.— Разве ты сама думаешь иначе? Все так думают, но молчат, каждый день твердят: «Правда, правда!», но правда похожа на любовницу, с которой хорошо встречаться тайком от других. Мы с тобой незнакомы, вот почему я так разоткровенничался. Ты подумала, что я болтун? Но когда другие болтают, я молчу и читаю газету...

— Так ты не со всеми так говоришь? — осторожно спросила она.— И тебе не скучно? Вы же студенты...

— Студенты? А ты не студентка? Ах да, вечерница. Но они отличаются от тебя только институтским значком, еще носят очки. Университет? Сборная солянка, площадка молодняка, градусник для измерения скачущей температуры общества. Считал его раем, да разочаровался во всем. Ребята устраивают вечера знакомств, ищут связи, двери...

— Зачем? — рассмеялась она.

— Все ради распределения. А девушки думают только о завивке, им не до иностранных языков. Эге, а ты сама почему без завивки?— Он повертел пальцем, изображая, как девушки завиваются.

— Я? — растерялась она. Надо было сказать: «Вот через пятьдесят девять дней я уже буду совсем другая, ты меня не узнаешь: на свадьбу завьюсь», но она ничего не сказала.

— Ладно. Что-то я слишком разговорился, надо идти. Тут нигде не найдешь спокойного местечка! А ты продолжай рассматривать

стекло, никто тебе больше не помешает. Люди добры, пока не столкнутся их интересы.— Он взял стопку книг под мышку и вышел, словно ее здесь и не было.

— А!..— Циньцинь испугалась, что он вот так просто, навсегда исчезнет, ей захотелось с ним познакомиться, но что сказать, она не знала.— Ваша специальность — японский?

— Да.

— Я тоже учусь японскому. Не могли бы вы мне помочь?

— Можно.— Он кивнул головой без всякого энтузиазма.— Только у меня мало времени.— Немного помолчав, он спросил: — А ты кем работаешь? Ты такая простодушная...

— Сборщицей на приборостроительном заводе. Мое имя Циньцинь, а вас как зовут?

— Меня зовут Фэй Юань, я студент факультета иностранных языков, набор семьдесят седьмого года, первая группа. Кстати, иероглифы моего имени входят в слова «бесконечные расходы».

Он тряхнул волосами и вышел, слегка наклонив голову набок, высокий, изящный и немного надменный. «Продолжай рассматривать стекло» — его голос все еще звучал здесь, сам он ушел. Но за окном стало темно, а узоры на стекле потеряли свою привлекательность. «Северное сияние... Знает ли он о северном сиянии?..» — вдруг пришло ей в голову, когда, найдя свой блокнот, она спускалась по лестнице.

4

Жизнь идет вперед в привычном темпе, не ускоряя и не замедляя его. Она оставляет разные следы, в зависимости от места, рельефа, почвы. Каждый человек живет в своем маленьком мире, тысячью нитей связанном с большим миром, и эти нити нелегко разорвать. В пронизывающе холодном апреле 1976 года миллионы людей вместе проливали кровь и слезы. Мгновенно растаяли завалы и сровнялись рвы сомнений, самозащиты, подозрительности и предосторожности, которые десять лет разделяли их души. Но сколь недолгим было возникшее единение, разрушенное неумолимым потоком времени, скрытое новыми наносами. В морозную зиму 1980 года на город с реки наползал туман, скрадывая перспективу, и молодежь металась в тоске и поисках еще неистовее, чем четыре года тому назад...

Октябрьские события 1976 года, потрясшие китайскую землю, застали Циньцинь в госхозе. Она даже вообразить не могла, какие серьезные перемены произойдут в Китае. В дальней глухой деревеньке жизнь текла спокойно, как ручеек, без суеты и треволнений. Когда объявили о разгроме «банды четырех», Циньцинь смотрела, как команды высланных в деревню образованных молодых людей Шанхая, Харбина и провинции Чжэцзян от нечего делать гоняли мяч на баскетбольной площадке. Казалось, ничто их не касается, пусть небо рушится! Эти образованные молодые люди с юга были старше ее, уже лет восемь жили в деревне, везде побывали, всего повидали, во всем разобрались и стали совершенно равнодушными. Но работали они с огоньком, умели быстро жать поливной рис, водить грузовики. Любили говорить на местном северо-восточном диалекте, вставляя в него южные слова, так что получалось: «Мы любим кушать сигареты», или: «Бандиты из бухгалтерии блудят с зарплатой». Наибольшим счастьем для них была поездка к родным. После возвращения они не уставали рассказывать о новостях. Первые представления Циньцинь об обществе сложились именно в госхозе, но она пробыла там недолго, а может быть, если бы осталась еще года на два, не была бы такой наивной. Ее биография уместилась бы на половинке листа. Во время культурной революции отца ее постигла участь многих, и она выучилась сама покупать дешевые овощи, готовить их и ухаживать за малым братишкой. Отца скоро выпустили и назначили «спецом»

в пропагандистскую бригаду на заводе. Ее послали в деревню, потом вернули в город, случались и неприятности, но несравнимые с теми, что выпадали на долю других. Ей не приходилось защищать свою жизнь, поэтому она меньше видела зла, чем другие. «Если ты попросишь отпустить тебя из деревни, сославшись на болезнь, то будь ты невинной как сама Линь Дайюй[1], все равно придется отдаться»,— сказала ей подруга по бригаде, которая была постарше. Циньцинь всегда с уважением и завистью относилась к студентам с юга, которых распределили в этот пограничный госхоз.

К ним прислали выпускника строительного института и назначили его заведующим столовой. Он часто ошибался, когда считал деньги, продавая талоны на рис и овощи, потому что в это же время читал. Он не утратил веры в свой идеал, хотя жил в трудных условиях и терпеливо сносил преследования. Ему оставалось только читать и размышлять. Циньцинь украдкой наблюдала за ним, старалась понять, что он за человек, а потом ей стало тревожно за него. У него был больной желудок, и он часто менялся в лице от боли. Однажды он получил от врача разрешение съездить в Харбин на просвечивание. Через три дня он вернулся, привезя с собой много книг.

— Просветили тебя? — спросила его Циньцинь.

— Просвечивали,— небрежно бросил он. Они разгружали уголь, ему стало жарко, и он сбросил пальто. Из кармана вывалился пакет с надписью «Барий», так что и спрашивать было нечего: не ходил он на просвечивание. Циньцинь стало его жаль. Через некоторое время его перевели в провинцию Гуйчжоу. От подруги, которую отправили туда же продавщицей, она узнала, что ему разрешили преподавать физику в средней школе, и он больше не будет продавать талоны. Когда он уезжал, Циньцинь ушла в степь, собрала букет красных саранок и бросила его в реку. А если б он не уехал? А если б у нее не было там подруги? Циньцинь плакала от странных, непривычных мыслей. Если в ней и зарождалось к нему чувство, то оно прошло вместе с брошенным в воду букетом. Таких увлеченных людей ей больше не приходилось встречать. Он был южанин, говорил с присвистом «с» вместо «ш», и она над ним посмеивалась.

— До чего же ты простодушна,— бросил он ей как-то, когда она подобрала на дороге упавший с грузовика сноп и понесла его на ток. Больше он ей никогда ничего не говорил, где он теперь, она не знала,— и вот почему-то он снова пришел ей на память.

Может, Фэй Юань чем-то его напомнил? Фэй Юань тоже говорил с южным акцентом. «Ты такая простодушная»,— сказал он ей. Полчаса не поговорили, с чего же он взял? Как будто сам очень сложный! А ей так хотелось стать сложнее, она слышала, что сложным называют все непонятное и мучительное. В госхозе жизнь была нелегкой, труд тяжелым, ели быстро, давились, спали крепко, но мало, грустить не было времени. Но она верила, что будут зеленеющие нивы и ее мечты о далеких краях когда-нибудь осуществятся. Она вернулась в город, поступила на завод, а жизнь стала еще монотоннее, еще бесцветнее. Она плыла по ней, как лодка в бескрайнем море, нагруженная мечтами. Вокруг — водная гладь, а если и попадется одинокий островок, то он необитаем. Выйдешь на остров и снова ловишь взглядом белый парус, а под парусом все то же одиночество и грусть. Сколько ни зови, никто не откликнется.

На заводе открылась библиотека, и Циньцинь все свободное от занятий время читала романы. И чем больше она читала, тем меньше нравилась ей собственная жизнь. В госхозе никаких книг не было, там жизнь напоминала пруд без воды. Циньцинь не понимала, здоровые у нее сейчас настроения или нет. За последние четыре года в обществе произошло множество перемен, но скоро ли эти перемены

[1] Героиня классического романа Цао Сюэциня «Сон в красном тереме».

коснутся ее лично? Каждое утро она вставала с мыслью, что вот сегодня должно случиться что-нибудь необыкновенное, но дни текли, похожие один на другой. Фу Юньсян мог сменить костюм, но его слова, даже интонации, оставались неизменными. Она надеялась, что завтра все будет не так, но приходило «завтра», и все оставалось по-прежнему...

После истории с блокнотом Циньцинь ходила на занятия с еще большим рвением. Учиться на вечернем отделении было трудно: к концу семестра осталось меньше половины учащихся. Одних не отпускало с работы начальство, они не ходили на занятия и потом не могли нагнать; другие бросили учебу по семейным обстоятельствам. Одна женщина тридцати четырех лет, у которой было двое детей, начала было изучать японский язык, но пришлось бросить, потому что все время болели дети. Циньцинь работала в утреннюю смену, и вечером ничто не мешало ей посещать занятия, правда, Фу Юньсян иногда звал ее в кино. Ей нравился японский, нравилось, как из чужого четкого ритма фраз пробивался неукротимый дух энергичной японской нации. Она прочла книжку «Бурное столетие», в которой рассказывалось о развитии и подъеме японской нации за сто лет со времени реформ Мэйдзи. Казалось, с этого островного государства до нее долетел зов... Слышала она и зов родного китайского народа, то тихий, еле слышный, то громкий и уверенный. Смешные мысли, но они помогали ей учить японский. В ее группе все учились примерно одинаково, но Циньцинь всегда хотелось чьей-то помощи, и она очень обрадовалась знакомству с Фэй Юанем. Фэй Юань любил философствовать и этим напоминал немца прошлого столетия. Разговор с ним приносил пользу. А вот Фу Юньсян больше походил на практичного француза или делового еврея...

Циньцинь теперь нарочно уходила с занятий последней и оглядывалась по сторонам в надежде встретить Фэй Юаня. Она находила всевозможные предлоги, чтобы зайти в главное здание, где в широких полутемных коридорах стояли узкие учебные столы и стулья и собирались группами студенты: кто учил пройденное, кто шептался, кто сидел, уставясь взглядом в стену, кто зубрил монотонным голосом... Циньцинь очень завидовала им, потому что сама не добрала на экзаменах четырнадцати баллов для поступления на дневной. Когда она готовилась к экзаменам, мать постоянно приводила в дом каких-то людей, надеясь, что они помогут при поступлении, они только отрывали ее от дела разговорами, а то бы она сама набрала нужные баллы. И вот появился Фу Юньсян как компенсация за недобранные баллы. Мама любила его гораздо больше, чем сама Циньцинь. Каждое воскресенье он приносил им свиную печенку и живых карпов — не так просто было их купить! Циньцинь подарил отрез экспортного шелка, короткую и широкую модную импортную куртку и очень красивые сапожки на высоком каблуке из белой телячьей кожи — их тоже не купишь в магазине. Он мог достать все, и Циньцинь часто мучила мысль о том, что и она вещь, которую он собирается купить, пустив в ход свою милость и щедрость. Он появлялся с большим свертком или маленькой изящной коробочкой, уговаривал, Циньцинь послушно мерила платья или туфли, которые он принес, а потом прятала их в сундук. Он вечно был чем-то занят, даже газеты не успевал прочесть. Он не возражал против ее занятий японским, но в шутку звал ее ведьмочкой и так уморительно подражал ее произношению и интонациям, что все буквально покатывались со смеху.

Циньцинь очень хотелось поговорить с кем-нибудь по-японски, услышать хоть несколько, пусть простых фраз. В полутемном коридоре университета слышались приглушенные голоса, кто шептал что-то, кто бормотал, и от этого на душе становилось теплее и сердце сильнее билось... Здесь мог быть и он тоже.

С того раза Циньцинь его больше не видела. В университете он так

и не появлялся. Может, поискать в библиотеке? Или подойти к его аудитории? Почему тогда в воскресенье он забрел в среднюю школу? Хотел тишины? Нет, к его аудитории она не подойдет просто так. Причины для этого нет. Однажды после занятий она решила спуститься в подвальный этаж главного здания. Там помещался методический кабинет, который вечером уже не работал. Зачем ее туда понесло? Ведь там так темно, что страх разбирает.

Вдруг до нее донесся низкий, протяжный голос, повторявший японские слова. Сердце забилось сильнее. Она узнала этот голос, хотя слышала его всего один раз. Она не могла его забыть.

— Доната дэска? [1] — окликнула она громко.

— Аната вадэ дзондзи найка мосирэ масэн [2],— последовал ответ.

— Ииэ, ватакуси-ва дзондзитэ имас [3].

— Дэва, Аната-ва дэната дэска [4].

— Ватаси-ва химахима-та...[5] — Она запнулась, не зная, что еще сказать.

— Так это ты, та самая, которая изучала оконные стекла? — Он вышел из темноты и протянул ей руку.

— Тебе здесь не холодно? До чего же ты прилежный,— сказала она с нескрываемым восхищением.

— Прилежный? Да нет, просто хочу получить при распределении местечко получше,— подмигнул он.— Чтобы жить, надо есть.

Циньцинь не ожидала подобного ответа и оторопела.

— Ты учишь урок? — спросила она.

— Урок? Думаешь, одними уроками можно чего-то достичь? Только дураки ограничиваются зубрежкой уроков. А я хочу поступить в аспирантуру при университете Васэда.— И он быстро заговорил по-японски, нараспев, словно читал стихи.

— Понятно? — спросил он, понизив голос так, как спрашивает учитель у ученицы.

— Нет...— Она покраснела.— Я ничего не поняла.

— Это я перевел на японский рубаи персидского поэта: «Мы жалкие шашки на доске, день и ночь нами играют, пойдешь ли на запад, пойдешь ли на восток, все равно запрут или съедят, а после хода все равно всех уберут в ящик одного за другим». Намек поняла? Глубина! Вот человеческая жизнь: люди — пешки, судьба ими играет, а мечты — синоним иллюзий.

Словно холодный ветер пронесся по подвалу, Циньцинь вздрогнула.

— Ты меня искала? — задумчиво спросил он.

— Нет... То есть да. Я хотела спросить, но не важно...

— Прости! — Он сложил руки.— Нету времени, еще надо подготовиться на завтра. А ты не торопишься?

— Не очень.

— Тогда давай встретимся в воскресенье. Я буду либо здесь, либо в общежитии, третий корпус, комната триста тридцать три.

Циньцинь заколебалась, она хотела сказать, что в воскресенье занята, но не успела: он скрылся в темноте.

«Не следует ему мешать,— думала Циньцинь.— У него и так огромная нагрузка. Да, как же мне быть в воскресенье?»

В субботу пошел мягкий крупный снег, и вечером Фу Юньсян пригласил ее покататься на лыжах. Завтра парень из военного городка возьмет у отца джип, можно всей компанией отправиться на машине в Шанчжи и ее прихватить.

---

[1] Кто? *(япон. вежл.)*

[2] Вы не знаете *(япон.)*.

[3] Нет, знаю *(япон.)*.

[4] Кто же вы тогда? *(япон.)*

[5] Я в свободное от работы время... *(япон.)*

— Прихватить? Я не поеду,— раздраженно ответила она.— Тебя прихватят, ты и цепляйся, а я не хочу за ними тянуться.

Тянуться — это что-то новое, наверняка услышала это словечко на своем вечернем. Тянутся — так говорили о тех, кто подражал детям ответственных работников, задавался, напускал на себя развязность, называл автобус «колымагой», а при знакомстве хвастливо заявлял: «Возьми номер моего телефона!» А на деле телефон был коммунальный, один на целый дом, а то и на квартал. Циньцинь не понимала, почему никто не подражает хорошему, откуда у людей столько тщеславия, неужели они думают, что развязность — признак обеспеченной жизни? Отец Фу Юньсяна заведовал где-то небольшим отделом, а сам Фу Юньсян старался дружить с сыновьями работников провинциального комитета.

Неожиданный снегопад был для Циньцинь весьма кстати. Она пошла на занятия и увидела объявление: «Товарищам всех факультетов! В связи с заносами на товарной станции в воскресенье во второй половине дня все как один на расчистку снега!»

Так бывало каждую зиму. Из-за снежных заносов останавливался транспорт, и жители города, красные от мороза, с лопатами и кирками, выходили расчищать снег. Циньцинь всегда активно участвовала в этом мероприятии, но сегодня оно ее и обрадовало и огорчило. Фэй Юань пойдет на расчистку снега, и его не найдешь. И все же Циньцинь пошла к третьему корпусу, втайне надеясь на удачу. Проезжую часть уже расчистили, и показались серые бетонные квадраты. Своей белизной снег слепил глаза, с веток на плечи Циньцинь падали сдуваемые ветром пушистые комки. Девушка нашла комнату с номером триста тридцать три, постучала. Никто не ответил. «Ушел чистить снег»,— подумала она и только собралась уйти, как дверь вдруг тихо отворилась.

— Это ты? — Он стоял на пороге со словарем в руках. Циньцинь удивилась, хотя надеялась застать его.

— Ты не пошел чистить снег? — вырвалось у нее.

— Снег? — изумленно спросил он.— Тратить время на нечто эфемерное, что может за один день растаять? На такое способны только карьеристы, стремящиеся пролезть в партию.

— А ты не такой?

— Не такой. Если собрать весь гемоглобин из еще не растраченных красных кровяных шариков, то всего лишь патриот.

— Ты ни во что не веришь?

— Возможно. А зачем верить? Верят в то, что есть везде, или в то, чего нет нигде. Бог во мне самом, безразлично где: в подземном аду или небесном раю, и я вижу единственный выход — самоспасение! Наше поколение само должно себя спасать!

— В первую очередь себя или государство?

— Конечно же себя! Слова: «Большая река полноводна, значит, и в малых речках много воды» идут вразрез с наукой. Лишь в том случае большая река будет полноводной, если в нее вольется вода множества малых речушек. То же и с людьми. Если миллиард китайцев выдвинет сто тысяч ученых, Китай будет спасен. А какой смысл чистить снег? Да ты что стоишь? Уходить собралась?

Циньцинь так и не переступила порог и стояла в дверях. В этой небольшой комнате были четыре пары двухэтажных нар на восемь человек. Под нарами стояли сундуки, возле окна — стол с двумя ящиками. Чтобы сесть на нары, надо было пригнуться, да и сесть, собственно, было некуда, везде валялись книги. Одна стопка книг была почему-то подмочена водой.

— Не везет, отопление прорвало.— Фэй Юань сгреб с постели книги.— Потекло прямо на сундук с книгами, но что поделаешь, таковы условия жизни в нашем университете, хорошо хоть, что мы заметили. А слесаря нет, наверное ушел снег чистить. Присаживайся!

Циньцинь с напускным равнодушием села на постель, но тут одна из ножек вдруг отвалилась. Оказалось, это была не ножка, а подложенный вместо нее толстый фотоальбом в жестком переплете, очень старый и отсыревший.

— Твой? — спросила она, поднимая альбом.

— Считай, что мой.— Он небрежно полистал альбом и бросил его на стол.— Все, что от меня прежнего осталось. Теперь я уже не тот. Теперь я вот какой.— Он указал на висевшие над постелью в простенькой рамке две фотографии. На одной он был снят анфас с закрытыми глазами, заткнув пальцами уши; на другой, очень неясной, был снят со спины. Рядом с фотографиями на длинной белой полоске бумаги было написано стихотворение:

Я песню спеть хочу, которую не пел,
Но каждый день лишь прикасаюсь к струнам.

— Стихи Тагора? — оживилась Циньцинь; оказывается, он тоже любит Тагора. Фу Юньсян терпеть не мог стихи и называл поэтов «лунатиками». А почему, интересно, Фэй Юаню понравились эти строки? Ей самой нравилось другое стихотворение Тагора:

Скажи мне, плод,— спросил цветок,—
Где ты? Далек ли от меня?—
В твоем я сердце!— Плод ответил.

Она знала наизусть много стихов. Например, такие:

Стать радости огнем моим мечтам возможно,
Желаниям моим стать родником любви...

Она хотела было почитать ему эти стихи, но он принялся листать словарь, тогда Циньцинь снова взялась за фотоальбом.

— Почему ты сказал, что тебя прежнего больше нет?

— Сама посмотри,— ответил он, не отрываясь от словаря.

Циньцинь не нравилась и казалась странной его манера держаться. Он был настолько поглощен своим словарем, что забыл обо всем на свете, и она сочла неудобным обращаться к нему.

Рассматривая альбом, она натолкнулась на интересную фотографию: у самолета стоит какой-то иностранный генерал, и китайский мальчик вручает ему букет. Мальчик очень хорошенький, черноволосый. Глаза наивные, вопрошающие. На лице — выражение безграничного счастья, словно перед ним распахнулся весь мир. Это был Фэй Юань двадцать лет назад, в каком-то большом южном городе. Его блестящие кожаные ботиночки говорили о счастливом детстве, о благополучии семьи. Жизнь могла бы привести его прямехонько в салон самолета, чтобы он взлетел заре навстречу, к облакам, а он почему-то очутился здесь. В тесной комнате на восьмерых было сыро: прорвало отопление...

Другой лист: он уже взрослый, в лице — одержимость. Он стоит на трибуне с мегафоном в руках, на рукаве — хунвэйбиновская повязка, предмет мечтаний самой Циньцинь в детстве. Он что-то провозглашает, взывая ко всему миру. Что именно? Может быть, он клянется: «Умрем, защищая...» или грозится: «Сметем всю нечисть, уродов и чудовищ...» Циньцинь тогда тоже что-то кричала, хотя и не понимала смысла выкрикиваемых слов. Значит, тогда в нем бурлила кровь? А теперь он холоден, равнодушен, совсем другой человек, словно оставшийся в коконе мотылек, так и не вылетевший на волю. Тогда он верил, что защищает истину, и она тоже этому верила. Но что есть истина? Он сошел с трибуны, словно упал на землю с лестницы, которая вела в пустоту, к ложным истинам. Упал и расшибся, душа его — кровоточащая рана, в пустых глазах — тоска...

В альбоме фотография всей его семьи, дата — октябрь 1968 года. Явно снялись на память перед отъездом в деревню. Рядом с ним отец, он очень похож на отца; одет отец просто, лицо у него интеллигентное, вид изможденный, усталый, печальный; сидит он прямо, брови сомкнуты — волевой человек. А вот мать. Она очень хороша собой,

тонкая, изящная, еще изящнее Фэй Юаня. Она сидит с торжественным видом, без улыбки, спокойно, с плотно сомкнутыми губами, в ней чувствуется уверенность в себе, так свойственная интеллигентным женщинам. Можно даже подумать, что она — супруга посла. Была там еще девушка, сестренка Фэй Юаня, она как-то вся сжалась, то ли от яркого света в павильоне, то ли по привычке всегда прятаться за брата. А вот и он сам, лицо открытое, уверенное, беззаботное, словно он собирался ехать в степь навстречу солнцу, в бескрайние просторы, где все цветет и реют красные знамена. На губах его тогда не было кривой усмешки. В глазах горел энтузиазм.

Циньцинь вдруг захотелось увидеть того, прежнего Фэй Юаня.

— Твой отец...— вырвалось у нее.— Где сейчас твои родители?

— Умерли,— отвечал он, не поднимая глаз.

— Кем он был? — вздрогнув, спросила Циньцинь.

— Он был послом в одной из стран Восточной Европы.

— А от чего умер?

— По известным всем причинам, о которых никто не узнает, он умер в тюрьме в семидесятом году.

Было слышно, как из трубы капает вода.

Циньцинь хотелось утешить его, но она боялась, что не найдет нужных слов: ведь он наверняка слышал много слов утешения, и ей не придумать ничего нового. Может, он нашел утешение в своем словаре?

На следующей странице альбома Циньцинь увидела фотографию молодых людей в деревне на уездном слете активистов: у всех были пушистые меховые шапки, на ватных телогрейках — бумажные красные цветы. Она с трудом узнала его среди прочих. Здесь он выглядел простодушным, крепким крестьянским парнем, только улыбка была вымученной. На лбу появились морщины, как на красной бумаге, из которой сделаны цветы. Под фотографией подпись: 1970 год, уезд Тунцзян.

Как раз в 1970 году отец его умер в тюрьме. А он продолжал участвовать в слетах уездных активистов, упоминался в отчетах — трудно поверить. Но так было. Об этом правдиво рассказывали фотографии. Циньцинь вспомнила активисток своего отряда. Однажды она отпросилась на здравпункт, и они тайком пошли за ней; а однажды, когда у командира отряда завелись вши, Циньцинь посоветовала ей получше вымыть голову. «У тебя нет вшей, значит, ты еще не перевоспиталась»,— злобно ответила ей девушка-начальница. Хоть плачь, хоть смейся. Да, вполне можно было представить себе Фэй Юаня сидящим рядом с такими вот людьми, и Циньцинь при этой мысли покраснела. Ей стало за него стыдно. Но разве сама она не рыла землю исступленно, как одержимая, только чтобы попасть на доску почета?

Листать дальше? Осталось всего несколько листов. Вот фотография вся в пятнах. Что на ней, стопки? Нет, эмалированный кувшин, миска, кружка для чистки зубов, бутылка — все свалено в кучу, брошено, словно был вдруг услышан зов о помощи заблудившихся в чужих краях сирот. Стопка, кажется, полная, даже чудится противный запах водки. А где он сам? Его на фотографии нет. Наверное, валяется пьяный в грязи и лохмотьях на голой земляной лежанке-кане, без циновки — пьянство и грязь! Почему так? Разве он не пример для всех высланных в уезд образованных молодых людей? Он пьяница? Циньцинь когда-то понюхала водку и теперь явственно ощущала ее запах, исходивший от фотографии.

Она вытащила снимок из альбома и протерла его платком. На обратной стороне была аккуратная надпись: «День, когда Артур вернулся из тюрьмы. 13 сентября 1971 года».

Циньцинь хорошо помнила: 13 сентября 1971 года Линь Бяо взорвал себя. Какая связь между ним и Артуром? Она читала «Овод»

и помнила, что когда Овод в первый раз вышел из тюрьмы, то был потрясен обманом священника, утратил веру и помышлял о самоубийстве. Может, и Фэй Юань был близок к самоубийству? Циньцинь в детстве тоже хотела однажды покончить с собой, когда отец нарушил свое обещание и вместо нее взял с собой в гости к бабушке в Далянь братишку. Ей и в самом деле хотелось тогда умереть! Ну, а Фэй Юаню не хотелось умирать, и он стал пить...

Циньцинь уже хотела отложить в сторону альбом, но из него выпала фотокарточка: на ней были запечатлены цветы, гора чистых, невинных, белых, как снег, цветов. Она видела их четыре года назад во время телепередачи, посвященной памяти Чжоу Эньлая и реабилитации участников событий 5 апреля 1976 года[1]. Это были цветы для покойного премьера, которые украшали его гроб вместе с вечнозелеными ветвями сосен и кипарисов, расцветшими в суровом, студеном январе.

— Сам снимал? — спросила девушка.

Он не спеша поднял голову, отложил словарь, поправил очки и равнодушно, глядя на фотографию, сказал:

— В январе тысяча девятьсот семьдесят шестого года ездил домой к родным, проездом был в Пекине и все сам видел. Премьер — великий человек и так трагично кончил: ну есть ли справедливость на земле? С того дня я ни во что больше не верю, понятно?

Он опустил голову, низким, хриплым голосом сказал:

— Надо бы сжечь альбом, зачем он мне? Тебе не следовало его смотреть, мала еще, ничего не поймешь.

«Почему не пойму? Почему? Думаешь, я мало пережила? Я же пришла к тебе»,— возмущалась она про себя, как обиженный ребенок. Но зачем она пришла? Чтобы учиться японскому? Она и сама не знала. Обычно она из дома шла в цех, из цеха — на занятия, после занятий ехала к Фу Юньсяну. Но ни к кому еще не влекло ее так, как к Фэй Юаню. Какой же он на самом деле? Этого она не знала, знала только, что он не такой, как Фу Юньсян. Забавно, она собралась за Фу Юньсяна замуж. Зачем же ей было приходить сюда? Неужели только затем, чтобы учить японский? Да, только затем. Японский надо знать, иначе не прочтешь торговые маркировки и инструкции по применению приборов, потому что приборы в основном импортируются из Японии... И все же не за этим пошла она к Фэй Юаню, ей хотелось услышать от него простые китайские слова, которых она так и не дождалась от Фу Юньсяна. Да, китайские, а не японские! Иначе она не смотрела бы так долго альбом, не стерпела бы пренебрежения к себе Фэй Юаня, который демонстративно листал словарь, не вглядывалась бы так пристально в старые, выцветшие фотографии двадцатилетней давности. Что же это с ней творится?

— Ты хочешь меня о чем-нибудь спросить? — со вздохом произнес Фэй Юань, отложив наконец словарь. Он испытующе смотрел на девушку, словно оценивая ее, и взгляд его потеплел.

— Да, по японской грамматике...

За окном раздался хохот, радостные восклицания, лязг железных лопат. Циньцинь подбежала к окну и увидела, что дорожка уже очищена от снега, а под высоким тополем стоит толстый снеговик, ослепительно белый, с черными глазами из кусочков угля и торчащим кверху носом-морковкой. Вокруг снеговика толпился народ, какой-то парнишка в короткой черной куртке, взобравшись на табуретку, прилаживал ему огромное отвислое ухо, кажется из капустного листа.

— Взгляни-ка,— со смехом обратилась девушка к Фэй Юаню. Но тот не шевельнулся, лишь покосился в сторону окна. Снеговик его

[1] 5 апреля 1976 года в день поминовения премьера Чжоу Эньлая в Пекине состоялась многотысячная демонстрация.

не интересовал, зато, увидев парня в черной куртке, Фэй Юань вскочил, распахнул окно и громко крикнул:

— Цзэн Чу, Цзэн Чу!

Уже было прилажено и второе ухо, парень, потирая руки, любовался собственной работой. Он подмигнул Фэй Юаню, сложил ладони рупором и закричал:

— Иди сюда! Хватит корпеть над книгами, а то роботом станешь! Поди посмотри на снеговика!

— Ты мне нужен! — поморщился Фэй Юань.— Труба протекла, иди чинить, а то прорвется!

— Не бойся, за час ничего не случится,— сказал парень.— Посмотри на мою снежную скульптуру и скажи, могу я считаться студентом скульптурного факультета или нет.

— Тебе надо в политехнический на теплотехнику поступать,— сердито ответил Фэй Юань,— некогда мне с тобой шутить, поднимайся!

— Куда спешить? Брось мне свою старую шапку, я снеговику плешь прикрою, а то простудится,— согревая руки за пазухой, отшучивался парень под общий хохот.

— Снег убрали, а они все еще там, не надоело,— проворчал Фэй Юань и сбросил вниз картонную коробку, которую сразу же разодрали и смастерили для снеговика колпак, отчего вид у него стал солиднее.— Нашли чем заниматься,— вздохнул Фэй Юань, поплотнее закрывая окно.

Циньцинь с любопытством разглядывала снеговика, а он словно улыбался ей в ответ. Парень воткнул снеговику в руку обломанную метлу, снял с ветки свою брезентовую сумку с инструментом и пошел к Фэй Юаню.

— Почему они не пошли на товарную станцию? — спросила Циньцинь.

— Наверное, их оставили чистить снег в университете,— ответил Фэй Юань.

— Трубы чиним! — На пороге показалась коренастая фигура парня. Он запыхался, взбегая по лестнице. Увидев Циньцинь, парень невольно подтянулся, с грохотом сбросил на пол инструмент и подошел к окну.

— Сначала доложу тебе приятную новость,— сказал он деловым тоном, с трудом скрывая игривое настроение,— угадай-ка...

— Не знаю.

— Студенты с физфака рассказали: приезжал из США профессор Колумбийского университета Ли Чжэндао и отобрал четырех аспирантов. Все они моложе тридцати, а знания первоклассные. Выходит, китайцы ничуть не уступают иностранцам, а при желании могут их превзойти!

— Я-то думал, что-то необычайное,— холодно оборвал его Фэй Юань.— А ты чего радуешься? Можно подумать, что тебя отобрали...

— Ты...— Цзэн Чу что-то хотел сказать, но раздумал, извлек гаечный ключ и полез проверять трубу.

— Работы много? — спросил Фэй Юань, картинно скрестив на груди руки.

— Где холодная и горячая вода, всегда так. С работой хорошо, за полную нагрузку премия полагается, за дополнительную смену — доплата.

Он постучал ключом по трубе, поднялся и сказал:

— Надо за концами сходить,— и вдруг задел рукавом лежавшую на столе книжку.— Фэй, друг, дай почитать!

— Чего?

— Книгу, эту книгу.

— Пока нет, ее трудно достать. Погоди, через день-другой снова спрошу.

Цзэн Чу кивнул и ушел, напевая романс «Есть в Испании долина, помнит весь о ней народ...».

Голос у него был густой, низкий, но не очень приятный, однако песня показалась Циньцинь простой и трогательной.

5

— Слесарь,— извиняющимся тоном произнес Фэй Юань.— Он еще вернется, но нам не помешает, давай поговорим.

— Слесарь? — удивилась Циньцинь.— А какую книжку он у тебя просил?

Глядя в окно на снеговика и развлекающихся молодых людей, Циньцинь решила, что Цзэн Чу — рабочий парень, из тех, кто любую работу умеет обратить в забаву, любит насмешничать и дразнить, может так зло подшутить, что жизнь не мила станет. Но разве такие ребята интересуются книгами?

— Он просил книгу по теории экономики,— ответил Фэй Юань.— Думаешь, наш слесарь необразован? Наоборот, у нас теперь много таких, их словно выбросили на помойку, как выбрасывает невежда случайно попавшую ему в руки яшму. Сколько произошло подобных трагедий! Цзэн Чу на год моложе меня, студент-неудачник. Недавно попал в группу японского языка на вечернем, кто-то похлопотал за него. Без связей сюда не попадешь!

— Правда? — удивилась Циньцинь, не помня этого студента. Он между тем вернулся, вежливо постучал и, бросив на сундук куртку, принялся работать.

Циньцинь оглядела его с любопытством. Невысокий, но крепкий, руки сильные, внешность самая заурядная, острижен под ежик, лицо квадратное, в общем, обыкновенный рабочий парень, ничего примечательного. Встретив такого на улице, не обратишь внимания. Только глаза живые, умные, добрые. Синяя спецовка чистая, на груди яркий красивый значок с изображением скачущего оленя. Парень выглядел моложе своего возраста, скрытая гордость никак не вязалась с его скромной внешностью, и Циньцинь внимательно приглядывалась к нему, силясь вспомнить, не встречала ли она его прежде. Конечно, не на занятиях.

Наконец ей все же удалось вспомнить, что этого насмешника она действительно видела однажды летом, у буфетной стойки в ресторане на набережной, он тогда тоже всех веселил...

День выдался знойный, ивы на набережной поникли от жары, песок на пляже жег ступни. Циньцинь с Фу Юньсяном проезжали мимо парка имени Сталина, и Фу Юньсян предложил выпить фруктовой воды. Они вошли в ресторанчик на набережной, деревянный дом в русском стиле, украшенный резьбой по дереву, с крестами и большой открытой террасой. Издали он был похож на сказочный домик, а оказался деревянным сараем, заваленным водочными бутылками, где было темно от дыма. Все толкались, шумели, скандалили. Циньцинь встала у стойки и начала потягивать через соломинку фруктовую воду, когда Фу Юньсян подтолкнул ее.

К стойке пробивался парень, держа в охапке пустые бутылки, видно намереваясь их сдать, но буфетчик был занят, и парень принялся расставлять свои бутылки в ящики.

«Полюбуйся на дурака!— подмигнул Фу Юньсян и отпил из стакана.— Смешает в ящике все бутылки, кто тогда разберет, где его, где чужие».

И как раз в этот момент из-за стойки раздался пронзительный крик:

«Ты поставил двенадцать, а кто видел? Ну, кто?»

«Говорю тебе, что поставил их в ящик»,— загудел в ответ парень.

«В ящик? А кто их считал? Двенадцать? А почему не двадцать?»

«Все видели,— побагровев, кричал парень,— двенадцать поставил».

Он огляделся, ища поддержки и, запинаясь, сказал:

«Ты... Тебе... Мне твоих денег не надо, а слова выбирай!»

Официантка в белой косынке подошла к стойке, где уже столпились привлеченные шумом зеваки, любители скандалов. Фу Юньсян допил свою бутылку и, размахивая ею, тоже протиснулся к стойке:

«Не шуми, не шуми, здесь по-честному обслуживают, ни одна бутылка не пропадет — премия обеспечена! Я могу подтвердить, что он поставил ровно двенадцать бутылок, не больше и не меньше. Могу все пересчитать, но тогда премия пополам! — Он тряхнул ящиком, зазвенели бутылки.— Не хватит, отнеси на мой счет или вот возьми деньги, а будет перебор, позвони мне».

С важным видом Фу Юньсян выложил на прилавок два юаня.

«Нечего форсить, иди отсюда»,— засмеялась официантка.

Фу Юньсян взял парня за плечо и вывел из толпы.

«Впредь не будь дураком,— сказал он ему.— Ты хотел ей помочь расставить бутылки, а она тебя же заподозрила в нечестности!»

Фу Юньсяна распирало от гордости, и он подмигнул Циньцинь: вот, мол, я каков!

Парню было неловко, он кивнул Фу Юньсяну и молча ушел. Циньцинь запомнила, что парень был дочерна загорелый, а глаза маленькие, блестящие. На рубашке значок — скачущий олень. Да это он, точно. Что же это он, даже бутылки сдать не сумел? По простоте душевной считал, что все такие же честные, как он? Редко встретишь теперь такого человека.

— Фэй, ты читал статьи по экономической реформе? — спросил слесарь, не прерывая работы.— Их печатали в газетах и журналах.

— Чего тебе? — не расслышав, переспросил Фэй Юань и снова погрузился в словарь.

— Мне очень понравилось, как написано в одной статье: Китай в настоящее время — большая лаборатория, где производят эксперименты. Одни эксперименты удаются, другие — нет. Более того, вместо открытия может произойти взрыв. А общий смысл статьи таков: глухая стена пробита, никакие трудности нас не остановят. Вспомни второй том «Капитала» Маркса...

— Опять «Капитал»! — Фэй Юань захлопнул словарь.— Сколько раз тебе говорил: не болтай глупостей. Система управления предприятиями и реформа хозяйственной структуры тебя совершенно не касаются. Грызешь черствую лепешку, накрываешься невесть чем, а еще рассуждаешь о социальных обследованиях. Кто станет в холод и голод сколачивать общественную группу для экономических обследований, да и вообще до тебя никому нет дела! Чтобы достичь какого-то результата, должно пройти немало лет, а тебе сейчас надо поесть досыта и нужна хорошая служба, а не грязная, тяжелая работа слесаря! Лучше возьмись за японский, через два года переведешь книгу или будешь работать в научно-исследовательском институте, можешь поступить в аспирантуру, и все пути тебе открыты. Без «Капитала» обойдешься. Да и кто в него теперь верит?

Против ожиданий Фэй Юань говорил взволнованно и горячо; значит, не мог промолчать. Однако лицо его оставалось по-прежнему невозмутимым. Ну и слесарь, даже имя у него редкое, надо запомнить. А парень обернулся и засмеялся, да так простодушно, что невольно вспомнился случай с бутылками.

— Ты утверждаешь, что спасение государства в науке. Если бы не черные волосы, я счел бы тебя восьмидесятилетним старцем,— с подкупающей непринужденностью ответил парень.— Наши ответственные работники все постарели, а молодые состарились душевно,

хотя республика наша совсем еще молодая. Экономика у нас подобна больному гипертонией, к тому же страдающему малокровием и несварением желудка. Клубок противоречий! — Сидя спиной к Циньцинь, юноша старательно завертывал гайку.— Я всегда считал, что слишком долго мы не выправляли левацких ошибок в экономическом строительстве, реформы одной лишь хозяйственной структуры недостаточно, чтобы решить все проблемы; нужна реформа структуры политической...

— Не надо, не надо о политике,— прервал его Фэй Юань, с опаской глянув на Циньцинь.— Надоело! Я слышать о ней не могу! Меня тошнит! Нам необходимо совершенно иное миросозерцание, рожденное нашей эпохой, которое явится подлинным открытием в области познаний о месте и ценности человека в обществе. Итальянское Возрождение утверждало естественную сущность человека, гуманисты смело заявили: человек стремится к счастью, потому что так предопределено природой и нельзя идти против собственного естества. Буржуазные просветители восемнадцатого столетия в Европе выдвинули в качестве гарантии человеческого счастья благоприятные социальные условия. Руссо писал, что человек рождается свободным, но общество лишает его этой свободы. Великая французская революция провозгласила лозунг свободы, равенства и братства. Русские революционеры-демократы считали эгоизм единственным принципом человеческого поведения, даже Чернышевский говорил о разумном эгоизме. Полемика вокруг смысла жизни в новейшей истории углубила человеческое самопознание, а мы одним махом отринули все это драгоценное идейное богатство!..

Он говорил и говорил. Да, сегодня нельзя не задумываться о смысле жизни: годами подавлялись самые обычные человеческие чувства и желания.

— Не забывай слова Белинского: социальность... вот девиз мой. Социальность или погибель,— спокойно возразил Цзэн Чу, поднимаясь на ноги.— Индивид не может существовать без общества, марксизм считает человека совокупностью общественных отношений, реализация ценности человека находится в зависимости от социально-экономического развития, важно, в какой степени человек освободился от частнособственнической психологии. Нельзя размышлять о смысле жизни, оставляя в стороне человека и общество. Подай мне тазик!

Циньцинь вытащила из-под нар таз для умывания и передала парню. Их разговор был ей не очень понятен. Но она не столько старалась вникнуть в его сущность, сколько пыталась уяснить себе разницу в их суждениях. Цзэн Чу открыл кран и, когда таз наполнился ржавой водой, пошел ее выливать.

— Все это старые песни,— с иронией произнес Фэй Юань.— Десять лет назад я, как и ты, верил в них. Верил в борьбу против самого понятия «личное». А какой итог? Общество безжалостно выбросило меня за борт. И разве хоть кто-нибудь мне помог? Лишь ценой собственных отчаянных усилий мне удалось чего-то добиться. Эгоизм — широкое философское понятие, свойство всего живого, без эгоизма невозможно развитие общества. Я сознательный, мыслящий эгоист, в моем эгоизме нет изъянов, он никому не приносит вреда. Вред приносит тот, кто старается представить себя возвышенным и благородным.

— Пойми,— сказал Цзэн Чу, надевая куртку,— если бы ничего не изменилось за последние четыре года, ты побоялся бы разглагольствовать о своих теориях. Человек — частичка общества, и если гнаться только за личным счастьем, то счастья в итоге не будет, оно станет недостижимо. Если по-серьезному размышлять о смысле жизни, неизбежно появится желание изменить существующие условия...

— Беда с тобой,— качал головой Фэй Юань.— Разве окружающие условия и социальная атмосфера не определяют именно твою жизненную позицию? Мало ты, видно, пострадал! Поживешь с мое, перестанешь молоть чепуху. Уверен: обожжешься снова — и сменишь символ веры.

— Символ веры, говоришь? — торжественным тоном произнес Цзэн Чу.— Символ веры не так легко сменить.

Он говорил, осторожно подбирая слова, чтобы не упустить бесконечно важный и дорогой ему смысл.

— Я уже наговорился на эту тему досыта. Душа спокойна, как лунная поверхность, ни ветра, ни волн,— пожал плечами Фэй Юань.

Цзэн Чу поднял пуговицу, которая оторвалась от куртки и упала на пол.

— Ну, для пустого сердца все вокруг бесцветно. Важно другое: что именно опустошает душу?

— Давай пришью,— сказала Циньцинь,— а то потеряешь.

Молодые люди вели разговор, совершенно забыв о ней. Оно и понятно. Что могла она сказать о самопознании или о социальной сущности? Ей захотелось сделать им что-нибудь приятное.

— Иголка есть? — спросила она у Фэй Юаня.

— Не надо, я сам пришью,— стал отказываться Цзэн Чу.— Я могу даже сшить пальто с отложным воротником, брюки дудочкой, европейскую юбку, детские слюнявчики. Честное слово, не хвастаюсь. Не веришь?

Он рассмеялся по-детски простодушно, будто и не было серьезного разговора, и на прощанье сказал Фэй Юаню:

— Знаешь, в парке Чжаолинь сделали фигуры из льда с подсветкой, там даже и лебедь есть...

Фэй Юань усмехнулся, но Циньцинь казалось, что он не слушает Цзэн Чу, настолько был он равнодушен и холоден. Словно мерцающий свет далекой звезды.

Цзэн Чу шел по коридору, напевая свою любимую песню «Есть в Испании долина...». По мере того как он удалялся, голос его становился все тише, и в комнате снова воцарилась тоскливая тишина, в которой слышно было, как тикают на руке у Циньцинь часы.

— Пережил бы он то, что мне довелось пережить, не стал бы так разглагольствовать,— со вздохом произнес Фэй Юань, устремив взгляд на висевшие над кроватью фотографии.— Циньцинь,— вдруг окликнул он ее едва слышно, с дрожью в голосе, и волнение его передалось девушке.— Ты такая чистая, такая наивная... А знаешь, она уехала...

Циньцинь чувствовала на себе его пристальный взгляд, хотя за стеклами очков глаз не было видно.

— Кто она? — спросила Циньцинь, хотя отлично знала, о ком идет речь.

— Весной семьдесят седьмого года она уехала на юг, бросила меня.— Он понурил голову.— Тогда я понял, до чего лицемерными и подлыми бывают люди, понял, что свое, личное — это то, на чем держится мир. Ты совсем еще ребенок, чистый, наивный, в тебе сохранилась природная доброта, это удивительно!

— Нет, нет,— смущенно возразила она, теребя свой шарф. Она вовсе не наивная. Собирается замуж, а сама пришла к парню, с которым едва знакома. Хороша наивность! Нет, Фэй Юань должен считать ее подлой и скверной. Циньцинь покраснела, слезы навернулись на глаза, она готова была от стыда спрятаться под нары.— Нет!

— Не спорь,— безапелляционно заявил Фэй Юань.—В первый же вечер, как я тебя увидел, я понял, что ты не занимаешься исследованием стекла, просто тебя очаровали узоры, которые мороз нарисовал на стекле. Кого может привлечь в нашем мире, мире растленных душ,

святая чистота и эфемерность морозных узоров? А ты ими любовалась и в то же время грустила в одиночестве...

Голос его звучал ровно, нежно и мягко, как свежий снег. Циньцинь дрожала. Ей хотелось прижаться к нему и плакать. Одиночество? Он единственный понял, как она одинока, как ей тоскливо. Рядом люди, и кажется, ты неотделима от них, а сердце одиноко. Живешь, как стекло в воде, как асбест в огне!.. И вот встретился человек, который понял ее, понял ее тоску. Но почему в его голосе нет теплоты, почему он так скован, его холодность причиняет ей боль, ранит душу. Циньцинь стало не по себе. Она взглянула на окно. Мороз уже стал рисовать на стекле свои узоры. Эти узоры, наверное, частые гости в холодном студенческом общежитии. Узоры великолепны, в них чудятся отблески зорь, сказочные феи в белоснежных шелковых платьях, порхающие по серебристой обители. А может быть, такие же узоры были на дядиной меховой шапке, заиндевевшей от мороза.

— Ты видел северное сияние?— быстро спросила Циньцинь и сама смутилась от заданного невпопад вопроса.

Он молчал. Сердце у Циньцинь готово было выскочить из груди. Неужели он ответит так, как ей хотелось бы?

— Ты знаешь про северное сияние? — повторила она.

Он кивнул.

Вопрос был несколько странный. Девушка и сама это почувствовала. Сама-то она не видела северного сияния, но ей хотелось знать совсем другое. Может, он, как Фу Юньсян, захочет вымаливать дары у святого Будды? Нет, он не такой...

— Северное сияние — это цветные световые столбы и полосы, часто наблюдаемые на небе в высоких широтах,— заговорил Фэй Юань тоном учителя.— Испускаемые солнцем микрочастицы улавливаются магнитными полюсами земли, воздействуют на молекулы газов в верхних слоях атмосферы и вызывают свечение. Понятно? Это частое явление для высоких широт, которое в северном полушарии можно назвать северным сиянием.

— Нет! — горячо возразила Циньцинь.— На Северо-Востоке Китая и в Синьцзяне оно бывает в периоды обилия солнечных пятен. Дядя...

А зачем она ему это говорит? Какое отношение он имеет к дяде?

— Если и бывает, то очень редко, как случайное явление.— Он вынул щипчики и принялся стричь ногти.— Почему тебя интересует северное сияние? Конечно, это очень красиво, но кто из нас его видел? Да если бы даже оно засияло у нас над головой, из труб все равно валил бы дым и копоть, а крестьяне по-прежнему рылись бы в желтой грязи... Так стоит ли верить, что над землей воссияет идеальный божественный свет? Я ни во что не верю... Что это ты?

Циньцинь закрыла руками глаза, они болели, их жгло; она боялась взглянуть на Фэй Юаня, словно перед ней предстал совсем другой человек, а прежний, созданный ее воображением, никогда больше не возродится. Сердце у нее упало, и ей казалось, будто она летит в бездну, в страшное подземелье из слышанной в детстве сказки «Дюймовочка», толстый черный крот хочет взять ее замуж. Откуда это отчаяние? Ведь северное сияние — и в самом деле редкое явление, редкое и случайное, никак не связанное с их жизнью. Есть оно или нет его — не все ли равно? Фэй Юань говорил правду, знал он больше, чем Фу Юньсян, почему же на нее нахлынула такая тоска? Пришла заниматься японским, а завела речь о северном сиянии.

— Напрасно отняла у тебя время,— произнесла Циньцинь тоном провинившейся школьницы, достала конспекты и принялась торопливо их пролистывать.

Из стопки книг Фэй Юань вынул одну небольшую, в изящном дорогом переплете:

— Возьми почитай... Если будет время, приходи почаще, ладно? Я ведь тоже страдаю от одиночества...

Холодное закатное солнце сверкало на разрисованных морозом окнах. Циньцинь бездумно смотрела на стихи, висевшие над постелью Фэй Юаня, напрасно силясь понять, что особенного он в них увидал.

Я песню спеть хочу, которую не пел,
Но каждый день лишь прикасаюсь к струнам.

6

Дни бежали, и когда по утрам она срывала календарный листок, ей казалось, будто стена отчуждения, которую она сама воздвигла, становится все выше, все плотнее. День свадьбы неумолимо приближался, и с его приближением росло отчаянье в душе Циньцинь. Раньше Новый год был ее любимым праздником, теперь же ей хотелось, чтобы время остановилось. Недавно выпал обильный снег, но пешеходы уже протоптали тропинки, а мостовые сделались черными, блестящими и скользкими; велосипедисты часто падали, причем велосипед летел в одну сторону, а велосипедист — в другую. Грузовики проезжали в облаках снежной пыли, похожей издали на цементную; только на крышах снег оставался нетронутым и сверкал белизной. Раньше Циньцинь с нетерпением ждала весну, когда снег растает и завком устроит для молодых рабочих поездку за город, где можно расположиться на свежей траве Солнечного острова, под деревьями выпить пива, закусить пирожками с мясом, а потом петь песни под аккордеон. Это был один из самых веселых дней в году, но теперь девушке хотелось, чтобы все время шел снег и зима не кончалась, чтобы никогда не настал тот страшный день.

«Еще неделя прошла,— подумала она с тоской, глядя на хризантемы в горшке, стоявшие на подоконнике.— Осталось сорок семь дней, всего сорок семь...»

— Сегодня воскресенье,— донесся из кухни мамин голос.— Надень шубку, которую тебе подарил Фу Юньсян.

Что же, надо примерить и надеть, ведь рано или поздно придется ее носить. Что-то упало на пол, разбилось. Оказалось, что это термостакан, сохраняющий тепло, который Фу Юньсян подарил ей ко дню рождения в прошлом году. Ей не было жалко стакана, разве только это дурной знак.

— Что с тобой? Ходишь будто потерянная,— удивилась мать.— Сглазили тебя, что ли? Или обидел кто? Ну, чем тебе не пара Фу Юньсян? И в институте учишься, а людей избегаешь...

— Помолчи, мамочка, ладно? — Циньцинь хлопнула дверью. Разве поймет ее мать? А могла бы понять, Циньцинь все выложила бы ей начистоту. Больше тридцати лет прошло с того дня, как ее отнесли в узорчатом паланкине в дом мужа, и она спокойно провела там всю жизнь, родила и вырастила детей. Даже тайцы в джунглях признают право на любовь, а мать никогда не знала любви. Вот и хочет, чтобы дети так же прожили жизнь. Есть достаток, чего же еще желать? Отец тоже возмущался: «Чего ты терзаешься?!» Родители твердо усвоили жизненные принципы своего поколения и всячески стремились навязать их детям, забывая о трагедиях, случавшихся в прошлом. Им была чужда неудовлетворенность собственной судьбой. Она вызывала в них гнев. Их не радовал весенний ветер, от которого в горах и долинах лопаются почки и зеленеют ивы. Во многих семьях теперь не было согласия между поколениями. И дело тут было не только в образовании, но и в отсутствии взаимопонимания. Циньцинь не считала, что все родители неправы, к тому же старшие чаще молодых оказывались и веселыми и жизнерадостными, вполне довольными своей судьбой. Ее же родители были совсем другими, да и семьи, с

которыми она общалась, тоже. Будь у Циньцинь старшая сестра, девушка не страдала бы от одиночества. Заводские подруги с нетерпением ждали свадьбы Циньцинь, мечтая повеселиться, а ей не о чем было с ними говорить. У заводских ворот на доске постоянно появлялись объявления то о соревнованиях по пинг-понгу, то о наборе учащихся в театральную труппу или художественную студию, то о художественной выставке, организованной профкомом, о лекции по литературе или о вечере поэзии. Однажды пригласили из провинции выступить молодого отличника производства. Но вечера заполняли у молодежи лишь половину досуга, а куда девать остальное свободное время? Циньцинь не покидало чувство безотчетной тоски, о которой она не могла бы никому рассказать. Все эти мероприятия были для нее чем-то далеким, как свет на другом берегу реки или красавец водопад на противоположной стороне горного ущелья.

Она читала книги о молодежи пятидесятых годов, честной, бескорыстной, готовой к самопожертвованию, смело глядящей в будущее. Какими же счастливыми были эти люди! А что стало с ними потом? Счастье постепенно уплывало от них и к концу шестидесятых годов сменилось страданьем. Циньцинь не разделяла их взглядов, их отношения к жизни. Чего-то в них не было, самого важного, и подражать им Циньцинь совсем не хотелось. Но прошедшие годы по-прежнему алели для нее пламенем энтузиазма. Давно канули в прошлое тридцатые годы. Осталось ли от прошлого хоть что-нибудь в нынешнем обществе? Циньцинь верила, что осталось. Но друзья ее не верили. А Фу Юньсян вообще не хотел думать о подобных вещах. «Нашла из-за чего терзаться»,— говорил он, и Циньцинь, натолкнувшись на глухую стену непонимания, перестала с ним спорить. Ее тоскующая душа жаждала стимула, именуемого чувством времени. Но каково оно, это чувство времени восьмидесятых годов? Хоть бы встретить человека, который вместе с ней стал бы доискиваться до смысла человеческого существования...

Была у Циньцинь в деревне подруга, старше ее, родом из Пекина, которая потом вернулась туда. Она говорила: «Жизнь человека без любви неполноценна. Полюбишь — и найдешь в любимом самое себя, будешь тогда к себе требовательнее, станешь лучше, сбудутся мечты, найдешь свое место в жизни. Выйти замуж и народить детей — дело немудреное, а вот полюбить трудно, любовь — ей предела нет».

Ее слова запали в душу Циньцинь. Да, полюбить и в самом деле нелегко. Ни разу не увидела Циньцинь в своем женихе самое себя и потому не могла понять, что это значит. Ей не о чем было говорить с Фу Юньсяном, а он вовсе не желал, чтобы она стала требовательнее к себе, стала лучше. И все же через сорок дней она «найдет свое место в жизни», бок о бок с ним. Мелькали листки календаря, ночи становились короче, время не остановишь, чего же она, глупая, ждет, ведь теперь ничего не изменишь. Фу Юньсян уже несколько раз звал ее сняться на свадебной фотографии, откладывать больше нельзя. Ей двадцать пять, а она еще никого не любила: то ли не встретился тот, кто по сердцу, то ли нет такого на свете?

На этой неделе она не пошла к Фэй Юаню, хотя вопросов по-японскому накопилось уйма; ей почему-то не хотелось спускаться в темный подвал. В глубине души она уважала Фэй Юаня за остроту мысли и аналитический склад ума. Тоскуя, она мечтала о том, кто сможет ее понять, неважно, кто бы он ни был, с кем можно говорить не только о японском языке, но и о жизни. Может ли она раскрыть душу Фэй Юаню? А если раскроет, что подумает он о ней? Северное сияние — для него просто явление природы, и разговор о нем он счел болтовней, на которую не стоит тратить время. О себе он чересчур высокого мнения, считает себя осью, вокруг которой вращается общество. Как же можно с ним быть откровенной? Можно снова попросить его

позаниматься японским, но если узнает Фу Юньсян, то устроит скандал...

Быстро позавтракав, она стала собирать сумку, чтобы идти в университет.

— Впору тебе шуба или нет? — спрашивала мать.— Юньсян сказал, что, если не годится, надо отдать портному, пусть перешьет.

— Не годится! Не подходит! — крикнула Циньцинь уже с лестницы, хотя совсем забыла ее примерить.

В воскресенье было большое движение, и Циньцинь едва не опоздала, уже прозвенел звонок, когда, запыхавшись, она побежала ко второму корпусу, чуть не сбив с ног какого-то человека. Это был Цзэн Чу, тот самый слесарь, которого она видела у Фэй Юаня. Он явился в своей неизменно промасленной куртке с застиранной, выцветшей холщовой сумкой для книг на плече, словно школьник. Теперь Циньцинь вспомнила его, он всегда закидывал лямку через голову и торопливо шел в последний ряд. Сейчас он разговаривал с каким-то велосипедистом, вытаращив глаза и побагровев от возмущения — даже уши у него покраснели.

— Сколько раз вам надо говорить? На четвертом этаже плохо работает отопление, к утру полотенца замерзают и встают колом!

— Знаю, знаю, непременно скажу в котельной, чтобы увеличили давление,— неохотно ответил тот, поигрывая педалью велосипеда.

— Бесполезно! Дело не в котле, все упирается в циркуляцию. Еще до начала отопительного сезона я предлагал проверить сеть...

— Технические вопросы потом, мне сейчас некогда. А ты не болтай лишнего,— с пренебрежением опытного и старшего по возрасту человека отвечал ему собеседник, усаживаясь на велосипед.

— Ты так не уедешь! — закричал Цзэн Чу и вцепился в багажник — велосипед упал.

— Чертенок,— засмеялся велосипедист, поднявшись и отряхиваясь от снега.— Усердие не по разуму! Ты же слесарь, куда суешься? Сеть планируем проверить в будущем году, спешки нет.

Циньцинь уже была далеко, но все еще слышала, как кричал Цзэн Чу:

— Знаю я вас! А в будущем году перенесете на следующую пятилетку. Все студенты перемерзнут! Вас бы поселить на четвертом этаже, и хоть раз вам бы там заночевать!

Циньцинь невольно замедлила шаг. Этот парень ко всему относился с душой. Когда лепил снежного человека, радовался, как ребенок, а сейчас был по-настоящему зол. Он обогнал ее и, когда она вошла в аудиторию, уже сидел с блокнотом как обычно в заднем ряду.

«Что со мной сегодня?» Она не знала и не была расположена заниматься. У него лямка перекинута через плечо, на спецовке значок с оленем, волосы коротко острижены... А почему олень? Почему после занятий он первым выбегает и его нигде не найдешь? Целую неделю Циньцинь искала случай поговорить с ним, но он вел себя так, словно не был с ней знаком. Набивает себе цену или просто застенчив? Простой рабочий паренек, чего воображать? Но почему ей так хочется с ним поговорить? Правда, он читал «Капитал», учит японский, знает иностранные слова, например «девиз», и произносит их с таким серьезным видом. Что же он за человек? Почему Фэй Юань назвал его неудачником? На разочарованного он не похож. Глаза ясные, блестят. Не болтун, и слушать его интересно, может насмешить, с ним не скучно... Да я ведь видела его из автобуса как-то утром: он ждал, когда откроется библиотека, и пританцовывал, чтобы не замерзли ноги.

— Пойдем? — затормошила ее Суна, сидевшая рядом, когда урок кончился. Она была сегодня нарядно одета, в светло-коричневом пальто с ворсом, под пальто — куртка из терилена с хлопком, на воротнике блестящая застежка в форме лютни.

— Мы собираемся в гости к актрисе оперного театра,— хвастаясь, сказала она, поправляя прическу.— Пойдешь с нами? Она знаменитость, весь город о ней говорит, скоро за границу поедет. Знаешь, сколько желающих к ней пробиться, но она не всех принимает.

Циньцинь отрицательно мотнула головой.

— Ну, даешь! — фыркнула Суна, сморщив при этом нос.— Не умеешь ты жить! Ведь теперь перед нами все двери открыты, каждый может найти себе дело по душе. Я вот люблю знаменитостей, хочешь, с кем-нибудь познакомлю?

Циньцинь лишь усмехнулась в ответ. Познакомиться ей хотелось, уж очень скучно она живет. Но вовсе не со знаменитостью... А с кем же тогда?

— Бай, бай.— Суна помахала рукой.

— Постой!— Циньцинь догнала ее и, запинаясь, спросила:— Ты его знаешь?

— Кого?

— Здешнего слесаря, Цзэн Чу, он ходит с сумкой через плечо.

— Ах, этого.— Суна удивилась, а потом с видом человека, который все знает, презрительно спросила: — А тебе он зачем?

— Да так, просто спросила...

— Лучше не спрашивала бы.— И Суна зашептала ей на ухо, обдавая приторным ароматом духов: — Он отсидел в палицзы[1] год и три месяца, только в позапрошлом году выпустили. Я все узнала! Сначала думала, он герой и отец большой человек,— брехня! Матери нет. У мачехи рос, а сейчас один живет, в халупе, еду сварить негде! Заводские ребята говорили: дурак, мозги как у ящерицы, на начальство замахнулся. Была у него прекрасная работа, выгодная, кладовщиком служил в большом складе, а теперь вот выгнали, в слесари подался...

— Что ты говоришь? Неужели правда? — Циньцинь побледнела и схватилась за перила, в груди у нее защемило.

— Все правда, до единого слова, ручаюсь, я про всех все знаю, никогда не совру,— с жаром клялась Суна, все больше распаляясь.— Ты пойми, его взяли в январе тысяча девятьсот семьдесят седьмого.— Тут она жестом показала, как защелкиваются наручники.— Это уже после «банды четырех», значит, дело не пустячное, с политикой связано, с инцидентом на пекинской Тяньаньмэнь и борьбой с современными суевериями, в общем настоящее преступление. Его посадили, но он не утихомирился, что-то записывал, тогда ему заломили руки за спину, надели наручники и продержали так две недели!..

Циньцинь стало страшно, она даже зажмурилась.

— Еще говорят, он псих. Сорвал где-то простую травку и поставил в бутылку с водой, а когда травка засохла, рыдал как ненормальный и вопил на всю камеру, что нельзя было ее срывать, потом налил в бутылку воду для полоскания рта. Смешно! И так просидел он год и три месяца. За политику. Заводское начальство тут ни при чем. А когда был кладовщиком, донес, что начальство списывает новые машины на металлолом, а прибыль между собой делит; у них там все замешаны, сверху донизу, общая игра идет. Два года бился этот дурак головой о стену и добился, выгнали вон, едва не остался безработным. В прошлом году его реабилитировали, но директор завода в воде не тонет, в огне не горит, по-прежнему ловит рыбку, в общем все как было. Один псих не унимается. С виду он добрый, а в голове дурь, но это не сразу разглядишь...

— Откуда же ты?..— Циньцинь удивилась, как это Суна так подробно все разузнала про Цзэн Чу.

— Откуда я знаю? — живо откликнулась словоохотливая Суна.— Мой сосед, паренек, тоже сидел за пустяк: барашка увел. Цзэн Чу

[1] Искаженное русское слово «полиция», которое вошло в диалект Северо-Востока Китая.

раньше выпустили, он приходил к его матери, бедная прикована к постели, не встает, так он ей, чужой женщине, деньги давал, она его до сих пор вспоминает. А паренек вышел из заключения и исправился. Ой, уже двенадцать, я побежала!

— Погоди! — остановила ее Циньцинь.

— Чего? Говори!

— Почему у него нет никого из близких?

— Близких? — вытаращила глаза Суна и засмеялась.— Как нету? Человеку уже тридцать! Матери нет, так подружка есть.

Циньцинь прикусила губу и внимательно разглядывала до блеска отполированные каменные ступени, даже не заметив, как соскользнула с плеча на пол ее черная сумочка.

— Дуреха ты,— хлопнула ее по плечу Суна.— Когда его посадили, девица его слиняла. Он на нее убухал зарплату за пять лет, все для дома купил, жениться собрался, бац — и сцапали! Увели в наручниках, а когда вышел — у нее уже ребенок от другого, и ничего она ему не вернула, вот какие бывают люди! Любит, не любит — я давно поняла, лови момент, при чем тут любовь? Муж — это муж, а любовник — любовник! Разница! Ну, ты меня извини, я побежала! Вот такая любовь!

Она тряхнула головой, как бы отгоняя все, что мешает жить, и звонко застучала высокими каблучками, сбегая с лестницы. Потом, словно о чем-то вспомнив, вернулась.

— Ай,— крикнула она,— ты что, влюбилась?

У Циньцинь на глаза навернулись слезы, и она, утирая их, качала головой.

— Не знаю, есть ли на свете любовь, но, по-моему, лучше всего себя любить. Вот скажу тебе для примера: я работаю нянечкой в детском саду. Знаешь, что наша мелюзга говорит? Одна девочка: «В кино говорят про любовь! Любить — значит стать мамой». Другая ей отвечает: «Нет, любовь — это папа и мама вместе». Третья: «Нет, любовь — это когда разводятся!» Подумай, в пять лет знают все про любовь, а главное, правильно говорят; может, у тебя что-нибудь случилось, так ты не горюй, пойдем со мной, развеешься.

Она ласково привлекла к себе Циньцинь. Но та отстранилась. Ей почему-то хотелось плакать. И не только сейчас. Даже на танцах она едва сдерживала слезы. Сколько раз на нее накатывала тоска! Развеселиться нетрудно, даже самого грустного человека можно рассмешить. А потом что? Что остается от веселья? Оно исчезает бесследно, а вот слезы горя, муки, страдания, свои и чужие, оставляют в душе горечь. Суна такая откровенная и такая легкомысленная. Она мещанка, и красота у нее пошлая...

Суна скорчила гримаску и убежала.

Циньцинь так и осталась стоять в растерянности; история Цзэн Чу ее поразила, как было бы хорошо, окажись все, что сказала Суна, выдумкой, но, увы, Циньцинь знала, что это правда. Вот, значит, какой он, этот Цзэн Чу. Манеры у него, конечно, не ахти какие, зато он правдив. А в глазах, хоть они и блестят, затаилась скорбь от пережитого. Да, ни она, ни Фэй Юань не представляют себе, до чего этот парень несчастлив.

Она закинула шарф за плечо и спустилась по лестнице.

А почему же он всегда поет, с беззаботным видом проверяет отопление, интересуется экономической структурой и ледяными фигурами в парке, подсвеченным лебедем, на которого даже она не ходила смотреть?

Как все это увязать?

Интересно, каким он был в тюрьме? На окно поставил бутылку с травой, чтобы можно было узнать его камеру, чтобы изредка птичка подлетала к окну. О, если бы Циньцинь тогда его знала, она непременно принесла бы ему передачу...

— Здравствуй, Циньцинь!

Услышав свое имя, Циньцинь невольно остановилась, протирая глаза. Как ей хотелось сейчас увидеть значок с оленем и перекинутую через плечо холщовую сумку... Но перед ней стоял Фэй Юань в сверкающих очках. Воротник темно-серого суконного пальто был поднят, наполовину скрывая красивое лицо молодого человека.

— Здравствуй,— смущенно ответила Циньцинь, все еще находясь под впечатлением рассказа Суны.

— Ко мне не заходила? — прошептал он с напускным равнодушием, но она сразу поняла: Фэй Юань здесь не случайно.

— Нет,— простодушно ответила она.

— Что-нибудь трудное задавали на этой неделе?

— Нет.

— А книжку прочла?

— Прочла, очень полезная. Она, наверное, тебе нужна?

— Нет, не нужна, оставь себе, пригодится.— Он вытащил из кармана ослепительно белый продолговатый конверт с мелкой японской надписью и разноцветными иностранными марками.— Хочу с тобой посоветоваться.

— Со мной? Посоветоваться?

— Слушай, мой дядя профессор, преподает в одном из японских университетов, он согласен платить за мое обучение, и я могу поехать учиться за границу за собственный счет. Оформить это будет несложно.

— Правда? — обрадовалась Циньцинь, она всегда радовалась за других.

— Вот я и подумал,— он ходил взад и вперед, заложив руки за спину, потом повернулся и, пристально глядя на Циньцинь, произнес: — Ехать мне или не ехать? Вернусь я непременно. Я хоть и не коммунист, но патриот.

— Конечно, вернешься,— сказала девушка.— Что тебе там делать?

— А может, подождать, поехать года через два, после окончания университета? — Он в упор глядел на Циньцинь.— Не с кем посоветоваться... Что ты скажешь?

— Я? — смущенно произнесла Циньцинь, теребя конец шарфа. Она вдруг заметила на нем красивую этикетку, на которой был изображен скачущий олень. Заметила впервые и подумала: интересное совпадение. Олень весело скачет по лесам и полянам, прыгает через свалившиеся сухие деревья, кучи хвороста, колючий кустарник, через кристально чистые таежные ручьи. Ей тоже хотелось бы так прыгать, но не в маленьком островном государстве на Тихом океане, а в раздольных степях по берегам Сунгари, где она побывала...

— Что же ты скажешь? — нетерпеливо повторил Фэй Юань.

— Не знаю, правда не знаю,— выдавив из себя улыбку, ответила Циньцинь.

Зачем он у нее спрашивает? Окончить университет и поехать учиться дальше? Зачем? Она этого не понимала и потому не могла ответить. Но ведь надо что-то сказать, а то он плохо о ней подумает. И вдруг ни с того ни с сего она спросила:

— А как у тебя с отоплением?

— Ты еще помнишь про отопление? — Взгляд его помрачнел.

Ну, что ей за дело до его отопления? Она хотела спросить о другом: «Где живет слесарь? Говорят, в халупе?» Фэй Юань наверняка знает; если бы сказал, она непременно пошла бы туда. Ради любопытства, от скуки, от страха? Ей просто хочется знать, как парень живет, и сравнить его жизнь со своей. Вот и все. Но Фэй Юань этому не поверит. А зачем, в самом деле, она пойдет? Она и сама не знает, но ей нужно знать, где он живет...

— Пойдешь смотреть ледяные фигуры? — спросила Циньцинь.— Мы непременно пойдем!

— Кто это мы? — удивился Фэй Юань, слегка прищурившись.

Может, сказать: я и Фу Юньсян? Нет, тогда он подумает, что я нарочно так говорю, чтобы с ним не идти. Циньцинь покраснела:

— Я с подругами.

Фэй Юань нахмурился.

— Не хочу видеть ничего ледяного, я уже достаточно промерз в нашем холодном мире. Стоит ли строить ледяные дворцы для того лишь, чтобы доказать, что вода прозрачна и чиста? Ведь это значит обманывать и себя и других. В самой прозрачной ледяной глыбе все равно есть грязь, как и в воде; есть в ее прозрачности что-то фальшивое; она светится только ночью, в темноте. Лед красив, но ведь он растает весной. Умрет. Я могу изменить условия собственной жизни, но для объективной действительности лекарства не существует.

Он сунул конверт в карман, пробормотал: «Прости!»— и заспешил к выходу. Колыхнулись тяжелые портьеры, и внутрь ворвалось облако морозного воздуха.

«Да, это он верно сказал: лекарства не существует»,— вздыхая, думала Циньцинь, глядя, как мелькает высокая фигура Фэй Юаня среди редких берез в роще перед корпусом.

7

Откладывать больше было нельзя. Если идти прямо по большому проспекту, то выйдешь к известной в Харбине фотографии «Сунгари». Войдешь в павильон, секунда — и готово, все кончено: «счастье навеки», свадебная фотография. Выдолбишь из дерева лодку, на прежнее место его не посадишь. Циньцинь все понимала, но шла рядом с женихом, как привязанная, будто ее насильно ведут в тюрьму.

Фу Юньсян желал сняться в этой фотографии потому, что здесь можно было взять напрокат самое дорогое платье и роскошный костюм, к тому же здесь у него служил приятель.

— Мастер Ван обещал: он потом увеличит фото до одного чи и двух цуней[1] и выставит в витрине, а через три месяца отдаст нам бесплатно,— сказал очень довольный Фу Юньсян.— По-моему, фотографии надо сделать непременно цветные. Ты надень зелененькие сережки, их не отличишь от настоящей бирюзы. И к твоему цвету лица они очень идут. Вообще-то они поддельные, в магазине «Дружба» стоят четыре пятьдесят, а фотография берет за разовое пользование целых два юаня. Обдираловка! Надо будет поторговаться. Как-никак приятель...

Говорил он громко, как разносчик, рекламирующий свой товар, и Циньцинь оборвала его:

— Тише!

— Подумаешь,— огрызнулся он, но голос понизил.— Угадай, о чем я думал сегодня утром?

— О фотографии.

— Так, да не так! Я думал, что нам повезло, свадьба весьма кстати. Представь, что мы поженились бы на несколько лет раньше, когда были одеты в рабочую одежду, с огромными значками — из-за этих бандитских ублюдков! А теперь на тебе длинное платье, в волосах — цветы, прелестно! Это же один раз в жизни бывает, люди должны жить по-людски, а не как скоты, верно? Очень хорошо, что скинули эту «банду четырех»... Давай побродим по рынку? Мать просила захватить для нее два цзиня батата, а то все распродадут к вечеру...

Она кивнула, и Фу Юньсян удивился, потому что обычно она не любила ходить на рынок из-за толкотни.

Теперь, по крайней мере, они придут в фотографию на полчаса

[1] Один чи и два цуня — 40 см.

позже. Хоть на десять минут, хоть на минуту позже, и то хорошо. Циньцинь ждала чуда,— например, пожара в фотографии. Увы, пожар не поможет: сгорит одна фотография, найдется другая; лучше пусть пленка кончится, четыре года назад пленка была дефицитом, а теперь ее сколько угодно; или пусть у Фу Юньсяна вскочит чирей и распухнет лицо, но за неделю чирей заживет, и опять придется идти в фотографию; единственное, что ее может спасти,— это землетрясение: провалится весь город под землю, все люди, в том числе и она, Фу Юньсян и фотограф... Нет, это слишком жестоко. Но что же делать? Неужели фотографироваться? Нет, надо ждать чуда. В средние века мог бы появиться, например, рыцарь с длинным мечом, посадил бы ее на седло и увез; даже в мрачном подземелье, где жила Дюймовочка, нашлась милая ласточка и за день до свадьбы унесла ее в дальние теплые края... Циньцинь погрузилась в мечты о чуде, которое избавило бы ее от «счастья навеки»...

— Почему два мао за палочку? Позавчера стоило полтора!— крикнул Фу Юньсян, бросив обратно в деревянный ящик засахаренные мороженые яблочки на палочке, которые хотел купить у разносчика.

— Опять все подорожало, даже засахаренные фрукты,— проворчал Фу Юньсян и потащил Циньцинь к тележке, торгующей от магазина.

— Почем пара термосов? Красивые, мне нравятся.

— Баллонов к ним нет.

— А без баллонов много не продашь,— сказал Фу Юньсян.

— В лавке напротив есть баллон.

— У частников всегда все есть, от кожаных ботинок до копченой колбасы,— проговорил Фу Юньсян.— Пойдем купим колбасы.

— Она же твердая, не разжуешь,— робко возразила Циньцинь.

— А ты жуй как следует.

— Она жесткая, невкусная.

— Ты просто не чувствуешь вкуса.

Пожалуй, Фу Юньсян прав. Она перестала ощущать вкус. В деревне Циньцинь все с аппетитом ела.

— Апельсины сладкие? — спросил Фу Юньсян, шаря в корзине, накрытой войлоком.

— Кисло-сладкие,— пропел в ответ молодой человек в толстом ватнике.

Фу Юньсян вдруг развеселился.

«С чего это он?» — подумала Циньцинь, с безучастным видом стоявшая рядом.

Кисло-сладкие? Вся жизнь кисло-сладкая. Правда, бывает еще горькая, жжет, как перец или как гнилая проросшая картошка. Кто чувствует горечь жизни, тот не совсем еще омертвел. Раньше все казалось Циньцинь вкусным, на самом же деле она именно тогда не ощущала вкуса.

— Заведем свой дом,— Фу Юньсян подтолкнул ее.— Купим аквариум с золотыми рыбками.

Он залюбовался золотыми рыбками в тазу, вокруг которого толпился народ: на улице мороз, а рыбки спокойно плавают.

«Хорошо им,— подумала Циньцинь, могут поплакать, если захотят, потому что вокруг вода и ничего не видно». Но вдруг ей стало жаль рыбок до боли. Ведь их выловили из родных рек и озер, привезли сюда и пустили в тесный аквариум; рыбы наверняка плачут, только беззвучно, потому и глаза у них выпучены, от слез...

— Дайте два цзиня печеного батата,— сказал Фу Юньсян старухе, возле которой стояла закутанная в тряпье жаровня, и стал выбирать.

— У меня весь батат хороший,— проворчала старуха в рваном ватнике, из которого торчала клочьями вата.

— Вежливости тут не понимают, им деньги подавай,— проворчал Фу Юньсян и пошел дальше, уже основательно набив сумку.

Циньцинь оглянулась. На холодном ветру старуха хрипло кричала, зазывая покупателей, и девушка вспомнила, как однажды их грузовик увяз в грязи и они укрылись от дождя в ближайшей деревне. Тогда одна старуха в лохмотьях сунула ей в руку горячий, только что сваренный початок молодой кукурузы...

— Опять ты задумалась? — повернулся к ней Фу Юньсян. — Взгляни-ка, мама говорит, что тебе надо купить такую кофту.

Он показал на лоток, где лежали яркие шерстяные кофты, очень дорогие.

— Не нужно мне.

— А что тебе нужно?

— Ничего.

— Ты говорила, что хочешь импортную куклу за десять юаней и восемь мао.

— Да я пошутила. А если захочу, сама куплю.

Куклу? Ей, женщине двадцати пяти лет? В деревне как-то ей пришлось несколько дней поработать в детском саду, она тогда спросила ребятишек: «Какие у вас дома игрушки?» — «А что такое игрушки?» — зашумели дети. Они в глаза их не видели, играли со стекляшками и спичечными коробками. Все по-разному живут. Взять хоть эту толкучку. Одни продают кукурузные початки, другие — дорогую кожаную обувь.

Конечно, рынок не сравнить с государственными магазинами, где несколько лет назад на прилавках ничего не было. Жизнь непрерывно меняется. Надежды и разочарования переплетаются с реформами и беспорядками, к радости примешивается тревога; но можно ли было верить, что после смутного десятилетия за одну ночь исчезнут нищета и отсталость? Что за спадом непременно последует скачок? Даже в обществе высокого материального уровня неизвестно, как будет развиваться духовная культура. Исчезнут ли тоска и одиночество, обман и предательство? Несколько лет назад все жили без надежды, по раз навсегда установленному порядку, лишь в глубине, в молчаливой тишине зрели гнев и возмущение несправедливостью. И вдруг пробудилась вся страна, словно произошло извержение вулкана. И люди стали жить по-человечески, подводные течения забурлили на поверхности, брызгая пеной, снося старые дамбы; из бури рождались цветы нового... Поток перемен захлестывал все, и на глазах менялось вокруг даже то, на что прежде вовсе не обращалось внимания. Когда перемены захватили Циньцинь, она и сама не смогла бы сказать; но бегущий поток заливал любые берега, а с плывущей лодки можно было непрерывно сравнивать позавчерашнее со вчерашним, вчерашнее с сегодняшним, сегодняшнее с завтрашним.

Коснулись они и Циньцинь, хотя она и не знала, когда именно это случилось. Ее сверстники и сверстницы, добрые и злые, все рвались в желанную гавань. И какое счастье отвечает главному течению времени, а не брызгам выплеснутой мутной пены?..

Обычно все познается в сравнении, а тут Циньцинь зашла в тупик. Конечно, Фу Юньсян был лучше заводских ребят во всех отношениях. Семья, зарплата, внешность, характер... Она тоже, по меркам 1980 года, вполне подходящая невеста. До 1976 года она не котировалась бы, но, к счастью, тогда она была еще мала. Сейчас все по-другому — белый поварской халат ценится выше, чем зеленая армейская форма. Соседка-официантка просмотрела тридцать девять фотографий и выбрала учителя средней школы с высшим образованием, которого в прошлом году отвергла. «Наша Циньцинь должна непременно найти себе техника»,— говорила мама, и скоро действительно кто-то привел в дом парня-техника: брови тонкие, как у девушки, глаза-щелочки, голос высокий, тон капризный, как у барышни. Как он был

ей противен! Он пригласил ее в кино, а потом повел в ресторан «Бэйцзин» ужинать и заказал суп с ушками хуньдунь. Доев суп, он вдруг вскочил и заорал: «Одного не хватает!» — «С чего ты взял, что не хватает?» — удивилась Циньцинь. «Я же считал!» — ответил он и, размахивая чашкой, помчался к официанту. Вернулся он, конечно, с победой — на дне чашке одиноко плавало ушко, но Циньцинь уже убежала.

Затем появился Фу Юньсян и тоже повел ее в кино; когда на обратном пути они проходили мимо ресторана «Бэйцзин», Циньцинь предложила:

— Зайдем, поедим суп с ушками хуньдунь.

Платить она решила сама: ведь она угощает. Когда подали суп, она даже не почувствовала вкуса, в ушах до сих пор звучало: «Одного не хватает!» Она поклялась, что, если и Фу Юньсян заорет, никакой любви в ее жизни больше не будет. Но, к счастью, этого не случилось. Фу Юньсян с аппетитом проглотил свой суп и даже оставил немного на донышке. У нее отлегло от сердца, она стала улыбаться, он выдержал экзамен. Насколько он лучше техника, которому «одного не хватает»,— вспомнишь, и волосы на голове шевелятся. Фу Юньсян — плотник третьего разряда, владеет профессией, мастер своего дела, по характеру добрый. Да разве встретишь в жизни человека, во всех отношениях идеального? У Фу Юньсяна много достоинств, успокаивала себя Циньцинь.

— Чем я тебе понравилась? — спросила она Фу Юньсяна.

— Чем? — Он засмеялся, долго думал, потом сказал: — Ты добрая. Я это сразу понял, когда мы первый раз в кино пошли. Разве девушки угощают? Я как-то пошел с одной поужинать, и пришлось выложить десять юаней...

Она была уязвлена. А, собственно, чем? Она сравнивает, и он тоже. По крайней мере, понял, что добрая — значит, умнее других. Она знала на заводе молодежного активиста, который из кожи лез вон, чтобы взять жену из высокопоставленной семьи, и женился на дочке начальника управления, уродине. Карьерист. А вот Фу Юньсян не карьерист. Люди жить хотят. Он не заорал: «Одного не хватает!» — но то и дело спрашивал: «Почем такая капуста?» Ну и что в этом дурного? Вон какая на ней красивая шерстяная кофточка!

— Пойдем быстрей!— торопил Фу Юньсян.— А то еле плетемся. Опоздаем.

Плетись не плетись, делу не поможешь. Сейчас они пройдут каток, свернут за угол, там и фотография. Щелк! — и готово; конец всему, больше никаких сравнений.

Как красиво катается на коньках девочка! На ней вязаная шапочка из красных с золотом ниток, такой же свитер — девочка порхает, кружится на сверкающем льду, как искорка. Легко ей и весело, она словно снежинка, слетевшая с небес. Ее душа поет, она чертит на льду картину своего счастливого будущего. Циньцинь в детстве тоже любила кататься на коньках. Конечно, у нее не было таких нейлоновых брюк небесно-голубого цвета, она носила шерстяные рейтузы, связанные матерью. Она заняла по танцам на льду второе место в городе и в качестве приза получила коньки. А когда уезжала в деревню, отдала коньки дядиным детишкам. А девочка молодец, на одном дыхании делает столько поворотов, так ловко держит равновесие. Она предвкушает победу на соревнованиях, видит, как ее засыпают цветами.

У каждого в детстве есть своя мечта о счастье. И жизнь кажется ровной, как каток. Циньцинь редко падала на льду, в жизни тоже не оступалась. Ей везло, ее всегда окружали вниманием и заботой. Почему же ей так тоскливо? С тех пор как она отдала коньки, ни разу от души не веселилась. Да, ни соревнований, ни букетов, вместо этого — свадебное платье и украшения для невест. «Дай-ка я еще разок

гляну на тебя, девочка. И я была такой же, как ты. Я снова почувствовала себя маленькой. Все это кончилось. Детство, юность, мечты — все ушло и никогда не вернется. Мне так хочется поцеловать твои румяные от мороза щеки. Попрощаться, как Дюймовочка прощалась с красным цветочком, перед тем как сойти в подземелье. Дюймовочку в последний момент спасла ласточка, но такое бывает лишь в сказке. Прощай, девочка, когда вырастешь, пусть тебе встретится человек по сердцу, которого ты будешь любить».

— Быстрее! — говорил Фу Юньсян.— Захочешь посмотреть танцы на льду, я тебе достану билет.

И вот она перед большим зеркалом в фотографии. Со всех стен на нее глядят лица; в самых разнообразных ракурсах. Фу Юньсян оставил ее, а сам пошел договариваться. Конечно, чуда не будет, как все невесты, она наденет свадебное платье, накинет прозрачную фату, накрасит губы, подведет брови и будет улыбаться, но в меру, чтобы не было морщин. Рот приоткрыт, но чуть-чуть, чтобы вид был неглупый; если не улыбаться, подумают, что ты несчастлива. Еще одна пара для свадебной фотографии...

Циньцинь вдруг вспомнила репродукцию картины русского художника Журавлева «Перед венцом», которую видела в журнале. На картине плачущая девушка в свадебном наряде на коленях перед купцом, ее женихом, рядом ее отец, позарившийся на купеческое богатство, ради которого пожертвовал счастьем дочери.

Почему она вдруг вспомнила эту картину? Быть может, потому, что фотография дает напрокат свадебный наряд, очень похожий на тот, в котором изображена на картине невеста? Она тоже будет несчастной женой, только не сможет стать на колени и заплакать. Слезами горю не поможешь, и потом, ее ведь никто не принуждает, она все делает добровольно и выходит замуж не ради денег или какой-нибудь выгоды, а потому, что они «подходят» друг другу. Но сколько семей несчастливы потому, что супруги не подходят друг другу? Если она выбросится из окна, пожалеют ее или нет? Скорее заподозрят в преступлении. Она будет в сто раз несчастнее, чем невеста на картине, потому что ей некого винить и ненавидеть, во всем виновата она сама.

Фу Юньсян протиснулся к ней сквозь очередь и, сияя улыбкой, помахал квитанцией:

— Договорился, прокат платья за полцены, пойдем наряжаться.

Надо идти. Чуда не произойдет. Все это глупость. Наденешь свадебный наряд — и все.

— Народу много, придется обождать,— досадовал Фу Юньсян у входа в примерочную.

Жди не жди, все равно рано или поздно придется наряжаться. И тогда не мечтай ни о рыцарях, ни о ласточках.

— Когда будут снимать, гляди повеселее,— шептал Фу Юньсян ей на ухо, уговаривая как малого ребенка.— Ты у меня всегда грустная, но улыбка тебе идет, наденешь венок и будешь похожа на японскую кинозвезду Нацукэ.

Циньцинь фыркнула. А почему бы ей не улыбаться? Надо улыбаться. В детстве она тайком доставала у матери из шкафа старый, засохший венок и примеряла его перед зеркалом. У каждой девочки есть свои секреты, и разве она не мечтала о замужестве? Разве три года назад не вышила две нейлоновые наволочки?

Фу Юньсян с восхищением разглядывал снимки, развешанные вокруг зеркал, и то и дело оборачивался к ней.

Не пройдет и получаса, щелкнет фотоаппарат, и он станет ее мужем. Мужем? Циньцинь охватило отчаяние. Разве она его любит? Она хотела выйти замуж, но не за него. Ей даже в голову не могло прийти, что они станут мужем и женой. Ведь она никогда его не лю-

била. Она вообще не встречала человека, которого смогла бы полюбить.

— Теперь наша очередь,— радостно произнес Фу Юньсян и взял Циньцинь под руку.

Войти туда все равно что войти в дом мужа. Отказаться? Заплакать? Слезы не помогут, чуда не случится, но ведь не на плаху же ее ведут, не в могилу...

— Ты причешись, а я возьму платье.— Фу Юньсян заботливо воткнул ей гребень в волосы и прошел внутрь.

Циньцинь распустила волосы, черные и блестящие, причесала их на пробор, затем собрала в узел, точь-в-точь как у невесты на одном из снимков.

В зеркале что-то блеснуло.

На ручке гребня был изображен бегущий олень. Он сам не знает, куда бежит, но не останавливается. Жизнь не стоит на месте, она меняется. Какой же она будет, ее жизнь? Она не знает, только не такой...

В зеркале снова сверкнуло.

Циньцинь обомлела. Она не успела ничего толком разглядеть, но ясно видела свет.

— Северное сияние,— прошептала она.— Неужели правда?

Она зажмурилась, а когда открыла глаза, в зеркале было только ее отражение.

Нет, нет, она видела. Это был свет ее жизни, только она знала о нем, только она его видела. Она должна искать его, пока не найдет. Не нужен ей Фу Юньсян, не нужен белый рабочий халат на приборостроительном заводе, не нужна новая квартира с комфортом, а вот свет ей необходим. Жизнь без него все равно что тело без души. Без этого света нет надежды. Она не любит Фу Юньсяна, не потому что он грубый, практичный и недалекий. Совсем не поэтому. Но почему же тогда? Не потому ли, что существует северное сияние и она увидела его в решающий момент своей жизни? Уж лучше испытывать неудовлетворенность, чем жить так, как Фу Юньсян и его компания, барахтаясь в житейском море без всякого смысла, без всякой цели...

Циньцинь торопливо утерла слезы, схватила шарф и выбежала из фотографии.

8

— Все выложила? — Фэй Юань стоял в коридоре, прислонившись к наглухо запертой стеклянной двери, с лицом сумрачным, как небо перед снегопадом.

— Да,— ответила Циньцинь, опустив голову. Больше часа рассказывала она Фэй Юаню, в сущности малознакомому ей человеку, о том, что произошло. Говорила горячо, сбивчиво, обливаясь от волнения потом, словно кающаяся школьница, не столько от сознания собственной вины, сколько под строгим взглядом Фэй Юаня. Он слушал ее молча, равнодушно и так же равнодушно, как всегда, смотрел на нее. С первых же слов Циньцинь ощутила неловкость. У нее было такое чувство, словно она изливает душу не человеку, а пню. Ей то и дело хотелось прервать свой рассказ, и вся история уже показалась ей пошлой и ненужной. Циньцинь рассказывала не очень связно, была чересчур многословна, и под конец ей самой надоело говорить, а Фэй Юаню — слушать. Не возникло у них того взаимопонимания, которое бывает между сверстниками. Фэй Юань словно бы все предвидел: и то, что существует такой Фу Юньсян, и то, что она убежит из фотографии, и только когда она сказала: «Снимайся не снимайся, все равно ничего не изменишь.— И чуть слышно добавила:— Потому что... давно записалась в очередь на вступление в брак», у Фэй Юаня вырвался вздох.

Циньцинь вздрогнула, будто ее обдало ледяным ветром. Почему он вздохнул? Удивился? Рассердился? Или просто не ожидал, что она способна с таким человеком записаться в очередь на вступление в брак? Молчал он долго, так долго, что за это время можно было рассказать еще по крайней мере два забавных случая, например, про влюбленных, которые легли на рельсы, чтобы покончить с собой, или о том, как недавние враги неожиданно влюбились друг в друга...

— Все выложила? — разочарованно повторил Фэй Юань, прервав наконец молчание. Вот как он ответил на ее откровенность! А ведь она мчалась по скользким обледенелым улицам и прибежала, сама не отдавая себе в том отчета, именно сюда, к нему. Нет, не то хотела она от него услышать.

— Так все и было,— закончила она свой рассказ.— Приготовила себе горькое вино, поднесла к губам, а выпить его нет ни сил, ни желания.

— Если не пить, так что делать? — сиплым голосом произнес он, подойдя к ней вплотную.

— Сама не знаю. Вот и пришла к тебе за советом. Ты лучше меня знаешь жизнь. Хотелось бы с ним порвать. Совсем.— Она решительно тряхнула головой, в глазах стояли слезы.

— Порвать? — удивленно спросил он, поправив очки.

— Да, порвать. Пойти наперекор судьбе. Раньше я ничего не понимала, готова была добровольно надеть кандалы — многие так поступают, звон цепей принимают за музыку, сами себя обманывают! Теперь я знаю, что все можно изменить. Почему бы не сбросить ошейник в последний момент, пока его еще не защелкнули, и не убежать? Я думаю, что еще не поздно.— Циньцинь отвернулась.

— Жаль, но уже поздно, слишком поздно.— Он снова вздохнул.— Записались в очередь на вступление в брак... Ты понимаешь, что это значит? Я и сам раньше не представлял. Скажи ты мне вовремя, ничего подобного не случилось бы.— Он стал протирать очки, словно это могло помочь ему вычеркнуть из памяти неприятные воспоминания.

— Я и прежде страдала, очень страдала, но не хотела никому об этом говорить. Раз уж так случилось, думала, пусть все идет своим чередом.— Циньцинь говорила, а из глаз у нее лились слезы.— А молчала я потому, что некому было сказать, ведь не всякий поймет.

Голос у нее дрогнул, она почувствовала, что сейчас зарыдает, и закусила губу.

— Я не то хотел сказать, я думал, ты простая, наивная, я не знал тебя.

Видно было, что Фэй Юань страдает глубоко. Лицо у него стало злым, даже жестоким, в нем не осталось ни теплоты, ни участия. Такое лицо способно было остудить даже вулканическую лаву. Почему же так получается? Разве сам он не говорил?..

— Ты говорил, что цель жизни — добиться счастья в реальном мире. Говорил, что счастье — в любви. Что каждый должен ценить свою жизнь, не сковывать себя предрассудками.— В голосе Циньцинь звучала решимость.— До сих пор я жила не так, как надо. Я хочу настоящей любви! И я найду достойного человека... Посоветуй же, как мне быть...

Из-за слез она не видела выражения лица Фэй Юаня, только блеск очков.

— Ты должен посоветовать, ты знаешь, ты можешь! — Циньцинь цеплялась за последнюю надежду.

— Нет, ничего я не знаю.— Он смотрел на нее в упор, скрестив на груди руки.— Я правда не знаю. Извини, но ты сама мне все рассказала. Жизнь сложна, наше существование — иллюзия и безнадежность... Что мы можем изменить? Если даже ты его бросишь, станет ли твоя жизнь осмысленнее?.. Представь себе, что подумают

люди, если узнают, что я одобряю твой разрыв с женихом, ты только вообрази...

В полумрак коридора проник лунный свет и озарил бледное с тонкими чертами лицо Фэй Юаня. Снаружи, нагоняя тоску, закаркала ворона, тяжелые портьеры колыхались от порывов холодного ветра.

— Спасибо, до свидания! — Циньцинь вежливо протянула руку. Почему бы его не поблагодарить? Слезы у нее уже высохли.

— Так и уйдешь? — Он пожал ей руку своей холодной, словно из бронзы, рукой.— Может, возьмешь что-нибудь почитать?

Она покачала головой, улыбнулась и, замотавшись шарфом, пошла к двери. Уже выходя, услыхала:

— Циньцинь...— Он окликнул ее едва слышно — и так и остался стоять в темной глубине коридора, зов его был скорее похож на робкий вздох.

Вздохи... Всюду вздохи! Столько критиканов на свете! Они ничего не делают, только критикуют. Но ведь не для того человек рожден, чтобы пользоваться готовеньким. Фу Юньсян — такой же, хотя он деловой и напористый, и Фэй Юань, который ее так привлекал вначале. Его хватило лишь на то, чтобы взмахнуть волшебным рыцарским мечом, показать ей дальние просторы, а когда у нее случилась беда, отвернуться. Как умно рассуждал он, а помочь не сумел. Он только и знает, что размышлять о жизненном пути, а сам не сделал еще и шагу. Он любит только себя, до остальных ему дела нет: любит жизнь, но себя еще больше. Суровая действительность надломила его. От него, от прежнего, осталась лишь тень, она приняла ее за идеал.

«Могу ли я полюбить такого?» — спросила себя Циньцинь и содрогнулась при одной мысли об этом. Еще недавно она так надеялась на него, бежала к нему. Может быть, в ней зарождалась любовь, или это было стремление понять смысл жизни. Разочарование, одно лишь разочарование. О Фу Юньсяне она не могла так сказать: на него она никогда не надеялась, но Фэй Юань...

А если и в самом деле не существует на свете такого человека и все именно так, как он говорит, одни лишь иллюзии и отчаяние. Что же ей в конце концов нужно? Профессия, положение, внешность, влечение... Да, такой человек еще не родился. Во всяком случае, ей ни разу не встретился. Просто она не знает, кого смогла бы полюбить. А если и встретит такого в людском море, они не узнают друг друга и каждый пойдет своей дорогой. Она вспомнила наставления своей старшей подруги: «Не то что наивная девочка, даже женщина, познавшая многих мужчин, не знает, кого полюбит на всю жизнь. Здесь таинство души, гармония, когда один позовет, а другой тоже откликнется». Теперь эти слова казались Циньцинь еще загадочнее, чем прежде.

«Нет такого человека,— утешала себя Циньцинь,— если я до того дошла, что должна прибегать к посторонней помощи, то стоит ли дальше жить? Фэй Юаня я полюбить не смогу. Это точно. Пропади пропадом всякая любовь. Никто мне не нужен. Я работаю на заводе — разве этого мало? Можно и без любви прожить. Все равно солнце всходит и заходит. Что это со мной? Почему я стала такой бесчувственной? Разве я не убежала от зеркала потому, что бегущий олень так легко и быстро скачет? Разве не потекли у меня по щекам слезы? Сердце мое дрожит и плачет, но кто его услышит? Неужели в этом холодном краю нет хоть одной нежной души? Нет, нет...»

Раздались оглушительные, восторженные возгласы, аплодисменты, топот ног, словно лед тронулся на реке. Она не заметила, как забрела на каток. Раньше, чуть выдавалась свободная минута, бегала смотреть хоккей. Там кипела жизнь — яростная, радостная, отважная, жизнь сильных и сметливых людей. Вот и сегодня ноги сами понесли

ее на каток. Снег опушил ресницы, от ходьбы ей стало жарко, она раскраснелась.

Спортсмены в разноцветных костюмах носились по льду, словно огненные звезды. Казалось, прыгают яркие пятна. Когда спортсмены оказывались близко от Циньцинь, она видела их возбужденные, блестящие глаза. Клюшки гребли по льду, как весла. Шайбы почти не было видно, она кружилась, взлетала, уносясь от охотников в шлемах, как волшебная птица. Ребята боролись отчаянно, они бегали с такой быстротой, что у зрителей дух захватывало и в глазах мелькало. Яростная баталия на льду делала все житейское будничным, незначительным, скучным.

Коньки свободно скользили по льду, как шасси у взлетающего самолета. Это и есть настоящее счастье! Кто умеет скользить по льду, тот рано или поздно оторвется от земли и взлетит...

Коньки — давно позабытые друзья! Ваши тонкие лезвия выдерживают вес человека — и справляются. Чтобы быстро скользить на узеньких полосках стали, нужно соблюдать равновесие. Чем отличается каток от подмостков, на которых проходит человеческая жизнь? Неведомо, когда ты споткнешься и упадешь, далеко ли тебя забросит судьба, а подымешься — скользи снова. Ты же всегда мечтала, чтобы люди смело вставали и выпрямлялись...

Ты бежишь, ты летишь, ты стремительно бороздишь лед, словно ты родилась на свет для того, чтобы чертить по льду борозды. Так разве же не вышли вновь на лед звезды фигурного катания и чемпионы хоккея? Впрочем, это неважно; совсем неважно, потому что залитый водой лед за одну ночь стирает с себя все накопившиеся борозды и шрамы. Они остаются только в истории спорта, а катку страшны безлюдье и пустота, а не свистящий звук разрезаемого льда...

Рядом с ней схватились двое — в красном и в голубом, и не успели зрители опомниться, как один из них вылетел за зеленый бортик и бухнулся в снег под большим тополем; парень катился прямо к ней. Зрители закричали в тревоге; Циньцинь бросилась поднимать пострадавшего.

— Ушибся? Больно? — взволнованно спрашивала она, стоя в снегу на коленях. Парень был очень бледный.

— Ничего,— с трудом проговорил он. На лбу у него пульсировала жилка. Он напрягся всем телом, уперся руками в снег и поднялся, как раненый боец. Он стоял в глубоком снегу, и пар шел у него изо рта. А к нему уже со всех сторон бежали: зрители, игроки, тренеры.

— Здорово ушибся?

— Озверели, бесстыжие, сталкиваются лбами, думают таким образом счет изменить,— возмущенно кричал кто-то.

— Ну и ну! — вдруг крикнул пострадавший.— Я и не знал, что у меня такие крепкие кости! Потрещали — и ничего!

Он зашагал к бортику и ловким движением перемахнул через него.

До чего же знакомый голос! И лицо тоже. Облокотясь о бортик, парень смотрел на нее с благодарной улыбкой.

Она едва сдержала готовый вырваться крик. Как он попал сюда? Несчастный, замученный, он еще может шайбу гонять? В хоккейных доспехах его не узнать, закован, как средневековый рыцарь. Неужели это он, скромный и молчаливый, а здесь сильный и дерзкий. Она ни за что не поверила бы, если бы не увидела собственными глазами. Сколько энергии и силы! «Я не знаю тебя, но хорошо помню. Ты — сирота, рос без матери».

Он смешался с толпой спортсменов — игроков одной команды не различишь, разве что по номеру. Бывает, что два человека похожи друг на друга как две капли воды, но стоит им заговорить — и каждый самим собой становится. Простой слесарь, а шайбу гоняет. Когда же он успел выучиться? Еще в школе. Рос без матери, кто же ему

купил коньки? Где же он? Теперь не узнаешь. Наверное, тот, кто быстрее всех бегает, как олень...

— Цзэн Чу! — крикнула Циньцинь. Но голос ее потонул в общем шуме, и она смутилась, покраснела.

Олень поскакал по льду, и шайба застучала звонко, как бронзовый колокольчик на его рогах.

— Циньцинь! — раздался отчаянный голос, и вместо бегущего оленя появился Фу Юньсян.— Циньцинь!

Он кричал так, словно произошло землетрясение. Ей в голову не могло прийти, что он найдет ее здесь; видно, обежал весь город. Вид у него был жалкий: без шапки, уши красные от мороза, на редких усах сосульки...

— Ты...— Он не мог говорить, задыхался, губы дрожали.

Она смутилась и невольно опустила глаза, ей стало стыдно. Он никогда не сделал ей ничего дурного, почему же она с ним так поступила? Ведь все равно конец будет один, зачем же она убежала из фотографии? Зачем заставила его метаться по городу, мерзнуть, искать ее, волноваться?

— Пойдем! — зарычал он, словно разъяренный медведь.

Она огляделась, отошла от бортика. Ей не хотелось, чтобы их видели. В это время снова раздался восторженный рев: матч кончился. Кто выиграл: красные или голубые? Конечно, голубые. Ведь он голубой.

— Пойдем! — Он грубо схватил ее за руку. Мимо пробегали возбужденные болельщики, и Циньцинь все время оглядывалась, опасаясь, как бы Цзэн Чу ее не заметил.

— Ну почему ты так сделала, скажи? — Фу Юньсян стучал зубами от холода.

Он не может выйти так быстро, ему еще надо переодеться, надеть свою черную промасленную куртку.

— Скажи — почему?..

Стоять здесь нельзя, никак нельзя. Черная куртка...

— Пойдешь или нет? — заорал Фу Юньсян, грубо, с угрозой в голосе, и своей громадной кистью так стиснул ей руку, что она пальцем повешельнуть не могла. Циньцинь еще раз огляделась по сторонам и послушно пошла за Фу Юньсяном.

На трамвайной остановке было полно народу: как раз кончилась смена.

— Отпусти, я сама пойду.— Циньцинь вырвала руку.

Фу Юньсян прислонился к стволу облетелого вяза и молчал в изнеможении. Ей вдруг стало его жаль. Сейчас он скажет: «Я тебя люблю, ты же знаешь». Он ее любит, а она его нет. Надо было давно ему об этом сказать, а она зачем-то тянула. Неожиданно для нее Фу Юньсян зло произнес:

— Ты обманула меня! — И губы у него задрожали.

Он сказал «обманула», а не «я люблю тебя». Если бы он сказал: «Я люблю», она расплакалась бы и, кто знает, может быть, смирилась бы со своей участью. Нет, не смирилась бы...

— Скажи мне, наконец, почему, ну почему? — без конца повторял он. Было темно, свистел ветер, он прикрыл руками красные от мороза уши.

Подошел трамвай, и толпа ринулась на штурм. Он тоже подался вперед, но не стал садиться в вагон, а вернулся и уже более мягко спросил:

— Скажи откровенно: ты убежала потому, что живот схватило?

— Нет.

— Тогда... знакомого встретила?

— Нет.

— Или... опять забыла блокнот на занятиях?

— Нет! — сердито выкрикнула она.— Нет!

Она кричала так громко, что на них стали оглядываться. Кто-то, темной тенью маячивший под фонарем, направился было к ним, хотел подойти, но, видно, раздумал и вернулся.

— Так почему же? — Фу Юньсян тяжело дышал, не переставая тереть уши.— Что я скажу родителям? Друзьям?

— Почему, почему? Ты что, до сих пор ничего не понял? — Циньцинь с трудом сдерживала ярость.— Потому что ничего не будет, вот почему. Я с самого начала не хотела идти в фотографию. Я вообще ничего не хочу!

— Не хочешь надевать фату и фотографироваться, так бы и сказала. Это вовсе не обязательно, но зачем издеваться над человеком?..

— Я замуж за тебя не хочу! — резко оборвала его Циньцинь и вздохнула: — И никогда не хотела!

— Чего ты раскапризничалась? Шутить вздумала? — мрачно спросил Фу Юньсян.— Наконец-то высказалась! Не иначе как у тебя нервное расстройство!

— Пусти меня! Оставь! — Циньцинь заплакала, закрыв лицо руками.— Я не хочу тебя видеть, лучше умру, чем выйду за тебя!..

Фу Юньсян обомлел, даже рот разинул, а потом закричал:

— Бесстыжая! Паучиха! Знаю я тебя! С каждым крутишь, чтобы в паутине своей запутать.

Паутина? Почему паутина? Впрочем, не только паук вьет паутину, человек тоже. Только паук вьет ее, чтобы раздобыть себе пропитание, а человек — чтобы устроить гнездышко. А Циньцинь родом из тайги и вьет паутину для кокона, чтобы скрыл ее сердце, пока из него не вылетит прекрасная бабочка. Но Фу Юньсяну этого никогда не понять, никогда!

— Паутина? — насмехалась над ним она.— Да, мне нужна паутина, много паутины, я свяжу из нее шестнадцать одеял, себе в приданое!

— Психопатка!

Подошел трамвай. Человек под фонарем продолжал неподвижно стоять.

— Поехали? — Он легонько подтолкнул ее.

— А еще я свяжу из паутины тридцать наволочек!

— Поехали! Не поедешь, так я...

Циньцинь ошеломленно на него посмотрела. Что он?.. Под трамвай бросится? Если бы у него хватило на это храбрости, она из жалости, возможно, изменила бы свое решение. «Нет, он ни за что этого не сделает. А то и я вслед за ним бросилась бы...»

— Не поедешь, так я уши себе отморожу! — крикнул он в отчаянии.

— Поезжай один! — твердо произнесла Циньцинь. В ее душе оборвалась последняя ниточка привязанности к нему.

— Ну, дождешься! — Стуча зубами, он влез в трамвай, и дверь за ним с шумом захлопнулась. Окна вагона заиндевели, из-под колес взметнулись облака снежной пыли.

«Кончено»,— подумала Циньцинь, прислонившись к вязу. Слезинки замерзли у нее на щеках, и крохотные сосульки скатились за воротник под шарф. Девушка дрожала от холода. Чтобы не упасть от усталости, она обхватила руками дерево и тихонько заплакала.

Все кончилось, так и не начавшись. Он сказал: «Дождешься» — и, разъяренный, уехал. Заварится каша: родители будут ругать, родственники, знакомые расспрашивать, подруги любопытствовать, соседи коситься, за ее спиной будут шептаться, пойдут слухи и пересуды... На заводе — сенсация. История начнет обрастать вымышленными подробностями. Обрушится гора, прорвутся шлюзы — ее раздавит, захлестнет; сил отбиваться нет. Оправдываться ей нечем. У нее совсем не такой отец, какой изображен на картине Журавлева, а у Фу Юньсяна нет ничего общего с женихом-кротом из сказки о Дюймовочке...

Никто ее не принуждал, никто не обманывал, она все делала сама, добровольно — но вопреки собственному желанию! Теперь ее ославят. В этой трагедии ей отведена роль злодейки. Ее ждет позор... Все кончилось, так и не начавшись. Уважение, добрая слава... Всему конец! Всему! Как бы отец не выгнал ее из дома...

Но какое же преступление она совершила? Неужели никто не может ее понять? Она принялась в исступлении колотить кулаками по вязу, но не в силах была пробудить его от зимнего сна. А может быть, вяз мертв? В нем не было никаких признаков жизни. Вот выход: смерть! — мелькнуло в голове. Разве не читала она про влюбленных, лишивших себя жизни? Но ведь она еще не нашла свою любовь. А если бы и нашла...

— Можно мне проводить вас домой? — неожиданно раздался приглушенный голос, словно долетевший до нее из ствола вяза.

Она испуганно обернулась — уж не приснилось ли ей? Перед ней стоял Цзэн Чу.

— Простите, я слышал весь разговор.— Он переминался с ноги на ногу.— Я вышел с катка и увидел вас. Испугался, как бы он вас не ударил... Вот...

Он широко улыбался, показывая белоснежные зубы.

— Вы не обиделись? Такой уж я человек. Вечно вмешиваюсь в чужие дела. Холодно. Вы можете простудиться. Это нам, закаленным, мороз нипочем.

Циньцинь давно заметила человека, стоящего у фонаря, только не знала, кто он.

— Вы все слышали? — Она равнодушно посмотрела на него.

— Нет, не все, издали плохо слышно. Я только понял, что вам плохо.

Она ничего не ответила.

— Вы думаете о смерти? — Он простодушно засмеялся, без малейших признаков мировой скорби, которую любили напускать на себя иные молодые люди. Постукивая по дереву, он заговорил бодрым голосом: — Возьмите, к примеру, дерево. Ничто не может помешать ему вырасти: ни метели, ни ураганы, ни молния, ни гром, ни гусеницы. А вырастет, люди его непременно срубят, сделают столы и табуретки или сожгут. Такова судьба дерева, в ней оно себя исчерпывает, реализует свою ценность. Так же и человек. Он рожден для страданий и радостей; только надо, чтобы и радости его, и страдания имели смысл, какое-то значение... Хотите, я провожу вас домой?

Дерево? Погруженный в зимнюю спячку вяз для него послужил примером философии жизни: комментарий к смерти, иллюстрация существования. Как его осенило такое удачное сравнение? Что я, нарочно остановилась здесь?.. Кто ты? Белая береза или красноствольный кедр? Или искалеченное ударом грома дерево на вершине сопки? На вид ты прост и обычен, но суть дерева ты понял. Да, ты сам, наверное, редкостный фрукт, как тот желтый ананас, который существует, но которого никто не опознает...

— Хотите, я провожу вас домой? — повторил он, глядя в сторону, словно принимая важное решение.

Провожать меня?

Боится, как бы не побили. А может, думает, что она в обморок упадет. Нет уж, спасибо. Нечего ее жалеть. Ей не жалость нужна, а уважение, понимание, любовь. Помочь хочет. Можно подумать, будто он сильная личность. Ну, расскажет она ему про свои беды, а он кому про свои расскажет? Слесарь, а какой самонадеянный! Уж не думает ли он, что она может в него влюбиться? Красивые слова, приятный голос — нет, этим ее не удивишь. Ей нужны поступки, дела.

— Вы хотите?..— нерешительно спросил он, запахивая куртку.

— Нет! Нет! — отказалась она.

Он молча повернулся и ушел, неслышно ступая в своих черных, залатанных матерчатых туфлях на резиновой подошве.

Так бежит олененок по снежной равнине, легконогий, стремительный, естественный, бесшумный. На снегу он оставляет свой след, но никто не знает, куда он приведет.

Ей хотелось крикнуть: «Цзэн Чу!» — она рвалась к нему всей душой и неподвижно стояла с закрытыми глазами, а когда открыла их — его уже не было. Над снежными крышами поплыл, сгущаясь, ночной зимний туман. На западной стороне небосвода засветилась розовая заря.

Она с трудом поборола в себе желание броситься вдогонку, бежать сломя голову туда, за угол сказочной покосившейся сараюшки, где скрылась его плотная, коренастая фигура...

9

Узоры, которые мороз нарисовал на стекле, от тепла исчезли бесследно. Занятия вошли в свою колею, отопление работало, в аудитории было тепло, и не осталось почвы для глупых и праздных фантазий...

— Ай, о чем преподаватель сейчас говорил? — Циньцинь толкнула сидевшую рядом Суна. Он обычно сидел в последнем ряду, и она сразу заметила, что его место пустует. Может быть, опоздает? Но он вообще не пришел. Он давно перестал ходить, может быть что-нибудь случилось?..

Она не слушала преподавателя, и ей снова пришлось обратиться к Суна.

Прошла неделя, Фу Юньсян не подавал о себе никаких вестей. Но так просто он ее не оставит. Наверное, советуется с родителями: попугать ее самоубийством или пригрозить силой? Надо как-то его убедить. Что бы такое придумать? Дома узнают, разразится буря. Кто может ей помочь? Один сказал, что слишком поздно. Другой пожалел, но она из гордости его отвергла...

— Пойдем, урок кончился. Чего сидеть? Что это с тобой творится? — тормошила ее Суна.— Улыбаться разучилась, подбородок заострился. Вставай же! Восьми еще нет, пойдем со мной к костюмерше в театр — у нее есть очень хороший крем для лица.

Циньцинь покачала головой. Всего два дня не виделись, а у Суна опять новая прическа: волосы начесаны и уложены. Она очень привлекательна, девочки ей завидуют, но чересчур навязчивая. Он и сегодня не пришел. Вдруг ее осенило.

— У меня к тебе просьба,— набравшись духу, произнесла она.

— Знаю какая,— подмигнула заговорщически Суна.— Ты не сказала, а я уже знаю!

— Что знаешь? — Циньцинь смутилась, словно выдала свою тайну.

— Он не ходит на занятия, а ты соскучилась.

— Кто?

— Цзэн Чу, тот слесарь.

Циньцинь потупилась.

— Я только что все узнала. Его избили хулиганы. Им тоже досталось, но трое на одного...

— Да ты что? — вскрикнула Циньцинь.

— Говорят, это начальство ему так отомстило, подговорило хулиганов. К ним на завод комиссия из города прибыла, безобразия там у них, вот и решили башку ему проломить, чтоб не вылезал... История эта долгая, потом как-нибудь расскажу, я пошла...

— Постой,— Циньцинь отчаянно вцепилась ей в руку, обтянутую перчаткой.— Не знаешь, где он живет?

— Ну...— Суна загадочно рассмеялась, передернув плечами.

— Суна, милая, ты же знаешь,— умоляла Циньцинь.

— Сама пойдешь.— Суна вздохнула с досадой.— Отсюда недалеко. На Мацзягоу, напротив русской церкви, где служил раньше длинноволосый поп.

— Спасибо тебе, Суна! Спасибо! Ах ты моя дорогая... Ну, потом поговорим! — Циньцинь выскочила из аудитории и побежала к воротам.

Несмотря на позднее время, от снега было светло, как днем, только тени стали длиннее. Ветер свистел в электрических проводах. Но молодости ночь не страшна. Циньцинь решила найти Цзэн Чу, чего бы ей это ни стоило.

Купол старой церкви величественно и строго возвышался во мраке ночи. Тяжелые чугунные ворота были заперты, тусклый фонарик едва освещал занесенный снегом двор, в котором не было ни тропинки, ни следов. Старый, разбитый колокол стонал под порывами ветра. Циньцинь обошла вокруг церковь. В детстве ей случалось бывать здесь, и она смутно помнила, как угнетающе действовали на нее протяжные песнопения верующих. Неужели стоять на коленях, плакать и каяться — это жизнь? Нет, жизнь скорее похожа на голубей, которые живут под куполом церкви; по утрам они взмывают в небо и кружатся, как снежинки... Недалеко от церкви каток. Там тоже все кружится, вертится, мчится...

«Вера». Он произнес это слово, когда она впервые его увидела, произнес торжественно, словно на молитве. А живет он напротив церкви, в покосившейся халупе. Она вытащила из сумки фонарик, но снег перед хижиной аккуратно подметен, в окошке светится огонек. Циньцинь постучала, и сердце у нее замерло.

Что она ему скажет? «Пришла к вам»? — «Зачем пришли?» — «Не знаю».—«Зачем приходить, раз не знаете? Можно, я вас провожу?»— «Не надо».—«Зачем же вы пришли? Вы страдаете? Я вижу...»—«Нет... Да. Мне больно. Говорят, вы больны, ранены... Я пришла вас проведать»...

На стук никто не откликнулся. Циньцинь постояла в нерешительности и вдруг услышала за окошком хохот и громкие голоса.

— Выиграл?!

— Выиграл, это точно. В молодежном клубе, я сам видел, от доски не отрывался. Сначала робел: японец несколько лет завоевывал звание чемпиона, мощно играет: фишки зажмет в ладони и мечет на доску, словно кости. А наш молодой лохматый парнишка, по прозвищу Индюк, еще зеленый совсем, вынудил...

— Я его знаю, решительный парень, в прошлом году стал чемпионом трех северо-восточных провинций по облавным шашкам вэйци.

— Он, именно он. Я и не ожидал. Это наш китайский длинный меч! Сел за стол, сидит не шелохнется, моргнет — и ход, не успеешь разглядеть — окружение; противник растерялся, начался разгром...

— Здорово!

— Молодец! Постоял за наших!

— У китайцев тоже есть воля!

— Сегодня наш праздник!

— «Чистое небо в ясный летний день. Солнечный остров манит к себе людей...» — запел кто-то, отбивая такт ногой. Смех, пение, топот, стук палочек для еды по умывальному тазу. И еще звуки какого-то неизвестного инструмента...

Циньцинь встала на цыпочки, заглянула в окошко: в комнате было полно молодых людей. Двое из них пели и танцевали в обнимку с табуреткой. Цзэн Чу лежал в углу на отапливаемой лежанке-кане с забинтованной головой. В руке он держал губную гармонику. Поднес ее к губам, но поморщился, видно от боли, и принялся отбивать такт гармоникой по лежанке.

— «Охотник, охотник, с любимым ружьем за плечами...» — запел кто-то.

— Мы победили! — орал другой.

— Наш день, наш праздник!

— Слава Индюку!

— Впереди еще соревнования по баскетболу, футболу, волейболу и хоккею! — крикнул Цзэн Чу, подбросив вверх подушку.— Победу китайской команде!..

Кто-то подкинул термос, но не поймал, и тот грохнулся на пол, разбившись под общий хохот вдребезги.

— Теперь Цзэн Чу остался без кипятка!

— Если в будущем году мы выиграем на соревнованиях по волейболу, я куплю ему новый!

— Сначала прихвати пива, чтобы обмыть...

Снова взрыв хохота. Они беззаботно смеялись, весело и чистосердечно; крохотная комнатушка ходуном ходила от безудержного веселья. Циньцинь показалось, что она заглянула в мартен с бушующей огненной лавой. Здесь совсем другая жизнь. Зависть закралась в сердце Циньцинь. Как ей хотелось быть там, вместе с ними! Вот о чем она всегда мечтала! Из дома в прихожую вел коридорчик. Она постучалась, но стука никто не услышал. Поколебавшись, она нерешительно толкнула дверь, и незапертая дверь со скрипом отворилась. Она проскользнула внутрь, прикрыла дверь, сняла с головы платок и перевела дух. Вдруг с потолка что-то обрушилось, чуть ли не прямо ей на голову. Она поглядела вверх на черный, неразличимый в темноте потолок — не иначе как обвалилась штукатурка. Под ногами шаткий пол ходуном ходил при каждом ее шаге, заставляя всякий раз вздрагивать. Халупа — вот ее первое впечатление.

Собравшиеся внутри не обратили никакого внимания на скрип двери. Они жарко и увлеченно спорили. Она не знала, что ей теперь делать. Эта одноэтажная постройка скорее походила на сарай или на чулан, чем на жилище. Стены в прихожей покосились, щели между кирпичами напоминали разинутые рты. В доме было сыро и по нему гулял ветер; в углах проступал иней, даже сверкали две сосульки. На пылающей печке кипел чайник и стоял закопченный до черноты алюминиевый котелок. На столе лежала кухонная доска и секач; на подоконнике — несколько картофелин и промороженный вилок капусты.

Веселье неожиданно прекратилось, и Циньцинь услышала чей-то низкий гнусавый голос:

— По-моему, даже самый выдающийся человек все равно эгоист. Вы спросите почему? Да потому, что он должен осуществить свой идеал, выполнить свою миссию, какое бы бремя он на себя ни взвалил и кому бы ни посвятил свою жизнь, иначе душа его не сможет найти утешения. На дискуссии о смысле человеческой жизни в городском молодежном клубе я говорил то же самое.

— Я отрицаю подобный вздор,— возразил кто-то тонким, визгливым голосом.— По-твоему, делать что-то ради пользы других — это средство, а ради собственной пользы — цель. Значит, альтруизм — только мотивировка, а эгоизм — движущая сила? Типичное мещанство, вот это что! Настоящая социалистическая мораль должна основываться на альтруизме; совершать поступки следует, исходя из альтруистических мотивов; порождая альтруистический эффект, поступок объективно достигает определенной степени удовлетворения эгоистического чувства. Маркс, Бруно, Цю Цзинь — все великие исторические личности, по-твоему, спасали собственные души? Но для успокоения собственной души существуют тысячи способов, в том числе благотворительность, пожертвования. И в этом случае не грозит виселица. Да разве способен человек с мелкой душонкой пойти на подвиг ради всеобщего блага? Спроси Цзэн Чу, он тебе скажет!

— Я в судьи не гожусь,— услышала она хорошо знакомый голос.— По-моему, в Китае слишком увлекаются теорией. Идут бесконечные споры: «Во имя чего?» — и всегда абстрактно, догматично, в отрыве от практики. А надо, наоборот, сосредоточить все мысли на том, как жить, то есть на методах и средствах достижения цели. Возьмем дерево: главное, как его вырастить, сделать пригодным к употреблению. Возьмем, к примеру, дом: его надо строить прочным, долговечным. Вот практическая позиция! И дом и дерево должны приносить пользу; не важно «во имя чего», важно, что для пользы людей. Неужели это так трудно понять? Вот почему меня прежде всего интересует отношение человека к жизни. Человек должен стремиться к разумному общественному устройству; если же придерживаться курса прошлых лет, наше государство не станет ни богатым, ни сильным...

— Почему же я все время испытываю чувство одиночества и опустошенности? — возразил гнусавый голос.— Почему так часто говорят о знакомой мне самому дисгармонии с окружающим миром? Может, это «болезнь века»? Кто способен ответить на вопрос о смысле человеческой жизни? Даже великий человек, по-моему, не сможет...

Все рассмеялись.

— А по-моему, ответить на этот вопрос нетрудно, труднее научиться правильно воспринимать жизнь,— ответил Цзэн Чу.— Это не поучение, не суесловие, а самая что ни на есть банальная история. Почему при одинаковых обстоятельствах люди по-разному воспринимают жизнь? Скука жизни, видимо, чаще всего определяется субъективностью восприятия. Я уверен, что истину, добро и красоту можно найти, если глубже заглянуть в жизнь, если бороться за правду, справедливость.

— Прекрасно, благородно! — снова раздался визгливый голос, после чего зазвенели чайные чашки.

— Опять уклонились от темы,— недовольно сказал женский голос.— Экономические вопросы вы всегда сводите к идеологии, а то и к политике. Как будто не можете жить без болтовни о смысле жизни...

— Само собой,— произнес кто-то.— Сократ сказал, что неосмысленной жизнью жить не стоит.

— Вернемся к теме. У меня есть новая идея для экономики,— зачастил кто-то звонким голосом, будто щелкая на счетах костяшками.— По-моему, лучший способ — повсюду сажать арбузы! Весной посадил, осенью съел! Это тебе не грецкие орехи или цитрусовые: сколько лет надо ждать, чтобы съесть плод. Если же слишком высоки отчисления на накопления, а прибыль низка, то возникает разрыв между спросом и предложением...

— Разве можно сажать одни арбузы? — возразил Цзэн Чу.— Тогда не будет ни грецких орехов, ни цитрусовых. Конечно, хотелось бы, чтобы грецкие орехи начинали плодоносить пораньше, пока я жив и могу их съесть, но не страшно, если на первый год...

— Ты хорошо написал реферат «Предложения по развитию экономики нашего государства» о модернизации Китая, о наших недостатках и преимуществах. Но о преимуществах хотелось бы услышать подробнее, расскажи,— попросил кто-то.

— Если вкратце, то я считаю, что наше государство, как и другие государства Востока, отдает предпочтение развитию коллективистских форм, а в идеологии — морально-этических принципов. Мы обязаны сохранить это богатство восточной цивилизации. Западная цивилизация, напротив, предпочитает индивидуалистическое развитие, а в идеологии — гедонизм. Сочетание Востока и Запада лучше всего реализовано в Японии. Там рыночная экономика и свободная конкуренция, но в то же время сохранены формы коллективистского развития, традиционные для восточных государств, что и дало успех. Китай огромная, но бедная страна с высокой плотностью населения, и в ко-

роткий срок нам не достичь ни богатства, ни процветания. В прошлом мы делали упор на коллективистские формы общественного бытия, пренебрегая моментом конкуренции между коллективами. Это неверно. Если исходить из государственных интересов, боюсь, нам придется в политике и системе нравственных, социальных ценностей придерживаться коллективистских форм, конкуренции между коллективами и обогащения коллективов, пока мы не найдем более совершенный в структурном отношении путь. В то же время переходное состояние сельского хозяйства...— уверенно говорил Цзэн Чу.

— Значит, экономическая реформа должна исходить из комплексного принципа — учитывать любые преимущества,— перебили его.— И очень важные и малозначительные. А любых недостатков, и крупных и мелких, избегать.

— Совершенно верно.

— Время позднее. Остановимся пока на этом,— раздался женский голос.— Давайте разберем темы. Если нет возражений, через три недели обменяемся рефератами и проведем обсуждение.

— Что проку в наших занятиях? — вздохнул кто-то.— У меня ни в чем нет уверенности. Сестренка насмехается надо мной, говорит, мы изведем себя спорами и не доживем до модернизации. Может, лучше нам самим сначала модернизироваться?

Наступило молчание.

— Да, нам пока трудно,— произнес Цзэн Чу.— Сил мало, никто нас не понимает, но для меня лично это не важно. Гораздо важнее мое собственное отношение к жизни, моя позиция...

Покосившиеся стены, сквозящее окно, сосульки, иней в углах, мерзлая картошка — все говорило о том, что для Цзэн Чу действительно главное — его собственное восприятие жизни. Чужое мнение его не интересовало.

— Ай, чайник выкипел,— крикнул кто-то тонким голосом, по полу застучали шаги, из комнаты выскочил человек и наткнулся прямо на Циньцинь.

— Ты? — удивленно вскричал он.

Циньцинь никак не могла понять, откуда здесь взялся Тюлень.

— Ты знаешь Цзэн Чу? — спросил парень.

— Да, а ты?

— Вот пришел послушать. У Фу Юньсяна, конечно, весело, но здесь интересно. Заходи, чего стоишь?

— Кто там? — донесся голос Цзэн Чу.

— Входи же! — Тюлень втолкнул ее в комнату.

Она вошла и смущенно взглянула на Цзэн Чу. Тот лежал под тонким войлочным одеялом, на бинте, обмотанном вокруг головы, темнели пятна крови. В комнате было полно народу.

— Вы? — удивился Цзэн Чу.

Постепенно все начали расходиться. Кто со студенческим значком, кто в рабочей спецовке, кто с сумкой, кто с портфелем.

— Не беспокойся,— шепнул какой-то парень на ухо Цзэн Чу.— Твои материалы я вручил лично главному редактору газеты. К тебе придут из горкома, может быть даже завтра.

— Ничего,— Цзэн Чу помахал кулаками.— Не так-то легко со мной расправиться. Весной найду тренера, займусь боксом, чтобы защищать людей от подонков.

Он еще собирается драться? Циньцинь только сейчас заметила, какие у него сильные руки. Видно, занимался китайской гимнастикой. Такого не сломишь, он смелый, отчаянный, даст отпор любому хулигану. Циньцинь всегда нравились смелые... Когда все разошлись, в комнате стало тихо, только чайник уютно посапывал. Циньцинь подсыпала в печку угля, закрыла конфорку и стала искать стакан, но на столе стояла чашка, перевернутая вверх дном.

Цзэн Чу рассмеялся, пошарил рукой по лежанке и вытащил круж-

ку, видавшую виды, с отбитой во многих местах эмалью. Циньцинь налила в нее кипятку.

— А у вас такая есть? — спросил он, не зная, что сказать.

— Нет.

Когда ее послали в деревню, то дали не кружку, а шесть «драгоценных» красных книжечек.

— Надо иметь такую кружку,— сказал Цзэн Чу.— С ней не пропадешь. Из нее и есть можно, и пить. И хранить в ней что необходимо.

Циньцинь пила чай и с любопытством осматривала комнату. Маленькая, не больше десяти квадратных метров, с аккуратно застеленным узким каном-лежаком, каких в городах уже не бывает. Покрытый полиэтиленовой пленкой квадратный стол, две табуретки, этажерка необычной конструкции, не покрытая лаком. На этажерке — чемодан из зеленой парусины. Вот и все. Потолок оклеен бумагой, на стенах ни картин, ни надписей, только висят карта мира и потертый футляр для скрипки. В углу — гантели и ракетка для бадминтона. Окошко затянуто куском голубой материи, чтобы напоминало небо. На подоконнике и под окном, прямо на полу в глиняных плошках росли кактусы и опунции.

— Почему у вас нет цветов? — спросила Циньцинь.

— А кактусы? Ведь они тоже цветут. Редко, правда, но это еще интереснее: приходится долго ждать, зато еще больше их бережешь. Я их люблю за выносливость и неприхотливость.— Цзэн Чу вдруг резко отвернулся к стене.

— Голова заболела? — встревожилась Циньцинь. Ей хотелось что-нибудь для него сделать, ну, хоть пуговицу пришить, как тогда.— Рана серьезная?

— Нет, не очень.— Он через силу улыбнулся.

— Могу я вам чем-нибудь помочь? — смущенно спросила она, думая о белой чашке, перевернутой кверху дном.

— Ничего не надо, мне сварили лапшу...

Циньцинь легонько смахнула пыль с чашки. Чашка старая, очень старая, с трещинками, дно сверху грязное. Почему она перевернута кверху дном? Она же не антикварная и не жертвенный сосуд. Странно. Почему он вдруг замолчал? Устал, наверное. «Напрасно я тогда не позволила ему проводить меня».

Вдруг сиденье под Циньцинь жалобно заскрипело, она испугалась и неловким движением сбросила чашку, которая покатилась под стол.

— Вы...— Глаза у него сделались круглыми, он покраснел.— Чуть не разбили...

Сбросив одеяло, он полез под стол, достал чашку, посмотрел ее на свет и, облегченно вздохнув, водворил на прежнее место, после чего снова лег. Видимо, чашкой он очень дорожил.

Циньцинь была удивлена: неужели он до такой степени мелочный? Будь это резной нефрит, она, конечно, извинилась бы за неловкость; но так разволноваться из-за простой чашки. Ведь ее можно купить в любой лавке. И Циньцинь с обиженным видом принялась разглядывать кактусы.

— Извините,— сказал он, смущенно ероша волосы.— Я немного погорячился... Не сердитесь...

— Не буду,— примирительно сказала Циньцинь.

— Сам не пойму, как это я не сдержался. Но если бы вы знали историю этой чашки, не удивлялись бы. Сейчас я вам все объясню. Всякий человек может ошибиться.— Последние слова он произнес совсем тихо.

Значит, у этой чашки есть своя история, и Циньцинь никогда не узнала бы ее, если бы ненароком не уронила на пол. Пусть теперь

Цзэн Чу сердится на нее сколько угодно, она не станет на него обижаться.

А Цзэн Чу мечтательно смотрел на кактусы, вспоминая, как он мальчишкой бегал по лесам и горам.

— Вы ведь не знаете, что я не уроженец Северо-Востока. До шестнадцати лет я рос в маленькой деревеньке на севере провинции Цзянсу. Мать умерла, когда мне еще не было трех лет. Мачеха меня терпеть не могла. За столом самые лучшие куски отдавала родным детям, заставляя их есть побыстрее, чтобы мне меньше досталось. А то возьмет да припрячет для них что-нибудь вкусненькое. Они сами мне об этом рассказывали. До чего же мне стало обидно! Я работал с утра до вечера, резал траву, кормил гусей, ходил в горы за хворостом, рубил его, таскал. До двенадцати лет у меня не было новых ботинок. Учился я прилежно. В четырнадцать лет сдал экзамен в уездную среднюю школу и переехал в школьное общежитие. В то время тем, кто успешно сдал экзамен, полагалась стипендия, и я из стипендии платил за обучение. В каникулы и зимой и летом подрабатывал: бурлачил, толкал шестом лодки, нанимался грузчиком, дробил камень... Не гнушался никакой работой! Учителя хорошо ко мне относились, на еду мне хватало стипендии. Пожалуй, я утомил вас своими рассказами? Однажды, это было первого мая, все разъехались по домам, только мне некуда было деваться. Одному из товарищей я отдал последние семь мао, у него не хватало денег на билет. К тому же будто нарочно у меня украли талоны на продовольствие. В общем, я остался и без еды, и без денег, а занять было не у кого, да я и не хотел. Сидел в классе один, голодный, вдруг — о, радость! — из тетради выпала бумажка в пять фэней. Я тотчас же побежал в лавку, купил два ляна пареного риса и стал на ходу его есть. Потом вспомнил, что в лавке стоит бадья с отваром от соленых овощей, за который денег не берут, и вернулся. Но бадью не увидел. Спрашиваю у служанки: «Где бадья с отваром?» А она рукой на задний двор показывает. Пошел я туда, но в бадье увидел не отвар, а помои. И так мне стало обидно. Сироте всегда бывает обиднее, чем другим. Потом жизнь меня научила сносить унижения, а тогда я, хоть и был голоден, подошел к моей обидчице, вывалил на стол рис и вышел с гордо поднятой головой. Вышел и тут же упал в обморок от голода. Очнулся — лежу на обочине дороги, и какой-то старик кормит меня из чашки супом с ушками хуньдунь. Ногти у старика длинные, тело прикрыто лохмотьями. Оказалось потом, что он нищий, его выгнала из дому невестка. Ел я этот суп, а у самого по щекам текли слезы и капали в чашку. Порция одна стоит один мао. Поклонился я старику в ноги, сунул чашку за пазуху и убежал. С того дня я с этой чашкой не расстаюсь. Бывают люди хорошие, бывают плохие. Так и жизнь. Раньше мы думали, что она неизменно прекрасна. Потом впали в отчаяние, встретившись с несправедливостью. С тех пор как существует человечество, не прекращается борьба добра и зла. Того старика я никогда не забуду: он научил меня понимать жизнь...

«Оказывается, и простая чашка может быть полна глубокого смысла. А будь на месте Цзэн Чу другой? Весь мир показался бы ему бадьей с помоями. Пять фэней за чашку пареного риса, надо же! Таких дней я не знала, значит, могу считать себя счастливой. Впрочем, нет, он счастливее. Ведь он мог совсем опуститься... Пойти по дурной дорожке... Как жил он потом? Почему он смотрит в сторону? Боится, что наскучил? Я готова слушать его хоть до утра...»

— А что потом? — взволнованно спросила Циньцинь. У нее было такое чувство, будто она была вместе с ним в далекой и бедной северной Цзянсу.

— Ничего. Ничего интересного.

Цзэн Чу, видимо, не хотел рассказывать все до конца.

— Как ты попал на Северо-Восток?

— Очень просто. Учился во втором классе средней школы, когда обо мне узнал дядя, брат моей матери, и забрал к себе. После окончания вуза его распределили на Северо-Восток, куда он приехал с семьей и служил техником. Он научил меня бегать на коньках, покупал книги. Два года, проведенных в его семье, были самыми счастливыми в моей жизни. А потом началась «великая культурная революция». Меня услали в деревню, а через год дядин завод перевели из Харбина в глубь страны. Я проработал в госхозе несколько лет. Рабочим или крестьянином я не был и потому не мог поступить в институт. В город вернуться я тоже не мог до тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Собрался было изучать систему административно-хозяйственного управления госхозом, но заведующий отделением всячески мне препятствовал. Он даже подыскал для меня работу в городе, только бы я уехал! Была у меня тогда подруга, так и она уговаривала меня переводиться в город. Вот и вся моя жизнь. Ее за три минуты рассказать можно.

Он говорил о десяти годах невзгод и лишений спокойно, уверенно, даже с усмешкой.

— Значит... вы не поступали в университет? — спросила она. Это больше всего ее удручало.

— Я родился неудачником,— смеясь, ответил Цзэн Чу.— В семьдесят седьмом и семьдесят восьмом годах я еще был сосланным, а оттуда не подашь заявление в университет. Прошлый год был последний, когда я мог поступить, учитывая мой возраст. Два экзамена сдал благополучно, а на третий поехал на велосипеде, задумался и сбил с ног старуху. Пришлось везти ее в больницу. А когда приехал в университет, экзамены закончились...

Циньцинь долго молчала. Впервые встретила она такого человека. Вот Фу Юньсян везучий, а этот — неудачник. От подобной несправедливости хотелось громко кричать. Судьба вручала ключи от успеха не тому, кому следовало, нарушая тем самым гармонию в обществе. Но неудачи не ожесточили Цзэн Чу, не выбили у него из-под ног почву. Если бы ей рассказали о таком человеке, она не поверила бы, заявив, что о таких пишут только в книгах, а в жизни их не бывает.

Ночь тиха, слышны дальние свистки паровоза. Очень поздно, тебе надо бы уйти. Почему не хочется уходить? Может, многое хочется сказать ему? Он ведь так настрадался, ему теперь посильно любое бремя. Расскажи ему — и он научит тебя, как дальше жить...

Он взял со стола будильник и со скрипом завел его. Это он напоминает, что тебе пора уходить. Он утомился, на повязке сквозь бинты проступает кровь. А в живых черных глазах нет печали. В этих глазах, в их широком взгляде на мир растворяются и отступают далеко-далеко все заботы, которые так щедро сыплет на него жизнь...

— Простите, что не смогу проводить вас.— Он завел будильник.— Вас интересуют экономические вопросы?

Она поднялась и едва не крикнула: «Нет! Меня интересуешь ты сам! И ничего больше! Ты загадка, и я хочу тебя разгадать. Ты рассказал мне про дерево и его ценность, про суп с ушками хуньдунь и про рынок. А я могу рассказать тебе о фотографии и прочих моих бедах, но все они, вместе взятые, не идут в сравнение с одной твоей чашкой. Каждый человек думает, что несчастнее его нет на свете, причитает и жалуется... Но по-настоящему несчастны лишь те, кому пожаловаться некому. Они и не жалуются, а терпят молча, несут в себе свое горе...»

— До свидания,— прошептала она дрогнувшим голосом и посмотрела на свои новенькие сапожки. Ей хотелось сказать: «Если я нужна тебе...» — но она не решилась, губы у нее дрожали.

Дверь за Циньцинь захлопнулась. Во всем переулке светилось узкой полоской только одно окошко — его окошко. В темном небе величественно возвышалась церковь, торжественная и строгая.

«Вера, вера...— думала она.— Но жизнь не может сводиться лишь к молитвам и стоянию на коленях».

10

Ей приснилось, будто она едет по бескрайней снежной равнине верхом на молодом олене. Спина у него блестящая, теплая. На снегу растут кактусы. Они тянутся к ней своими колючими лапами. Олень увит золотистыми цветами весенней сливы, лепестки падают, кружатся в воздухе, превращаются в снежинки...

Она проснулась, едва рассвело. В призрачном зимнем свете все вокруг дрожало и расплывалось. Падал снег.

Снегопад был густой, за окном все белым-бело, и даже высокие березы во дворе скрылись за белой пеленой. Мутное, серое небо угнетало, как цинковый лист, мешая свободно дышать. Снежные хлопья тяжело, грузно ложились на землю, чтобы больше никогда не подняться. Она сама тоже...

Кто сказал, что снег легкий? В Сибири, например, целая деревня может оказаться погребенной под снегом до самых крыш; с Тянь-Шаня сходят грозные снежные лавины; в Харбине трамвай пробирается между снежными валами... Снег ложится пластами, все толще и толще... как наслаивается в сердце отчаяние, чтобы больше никогда не растаять...

Все в доме спали, одна Циньцинь бодрствовала. Она никак не могла забыть разыгравшийся накануне скандал.

В комнату к Циньцинь ворвалась обезумевшая мать, она хватала все, что ей попадало под руку, швыряла на пол и орала:

— Бесстыжая! Плюнула человеку в лицо, ну а я тебе плюну. Вырастила тебя на свою голову!

Мать буйствовала до полуночи. Отец, который давно бросил курить, курил сигарету за сигаретой и вздыхал:

— Вот беда, вот несчастье, как же так случилось? Как я людям в глаза смотреть буду?

Затем в полном составе явилась семья Фу Юньсяна, торжественно, официально, «для переговоров на уровне чрезвычайных послов». Мать Фу Юньсяна зачитала тридцать два пункта, из которых явствовало, что ее сын подло обманут, что Лу Циньцинь опозорила и его, и всю его семью, за что несет полную ответственность. Старшая сестра жениха вела себя словно сваха, которую обвели вокруг пальца.

— Поищи другого,— кричала она.— Посмотрим, кого ты выберешь. Студент не подойдет, техник тоже; инженера обзовешь дураком! Профессора тебе надо? Да у профессоров куча детей! Высоко летаешь, а где сядешь? Судьба, как бумага, рвется. Смотри, как бы в девках не остаться...

Циньцинь решила молчать. Они допоздна шумели, но она слова не вымолвила. Сидела с безучастным видом, а мать с отцом, виновато улыбаясь, без конца извинялись. Циньцинь их жалела, наверное не избежать им людского осуждения, и когда семья Фу Юньсяна наконец покинула дом, долго плакала, забившись в угол. Уже ночью Циньцинь пришлось выдержать двухчасовую атаку тетки, сестры отца. Наговорила она много, но все сводилось к одному: «Замуж надо выйти непременно. А выйдешь, хороший ли муж, плохой ли — терпи. Сама выбрала. Не понимаю, чем плох Фу Юньсян». «Не хочу за него замуж! Лучше всю жизнь одна проживу,— в отчаянии думала Циньцинь.— Никто меня не понимает!» И она снова заплакала. Последнее время глаза у нее были на мокром месте.

Тетка ушла, ворча и негодуя. Циньцинь вместе с ней спустилась по лестнице и проводила до дверей. Ей было совестно, что из-за нее пожилая женщина, под шестьдесят, прибежала среди ночи. У входа

стоял человек; судя по его виду, он сильно продрог на холодном ветру. Только тетка отошла, как он направился к Циньцинь и крикнул:

— Постой-ка!

Это был Фу Юньсян. Видимо, он пришел вместе со своими родными, но наверх не поднялся и до сих пор стоял на улице. Одну руку он держал в кармане пальто, а другую — за спиной, дышал хрипло и часто.

— Порвать со мной хочешь? Почему же раньше молчала? В чем я перед тобой виноват?

— Знаешь,— тихо произнесла Циньцинь,— бывает, человек не сразу может разобраться в своих чувствах. Для этого нужно время... Ты не виноват, я одна во всем виновата — и перед тобой, и перед самой собой...

Он упал на колени, обхватил ее ноги, что-то звякнуло и покатилось в снег.

— Циньцинь!.. Вернись, одумайся... Все будет хорошо... Я не могу...

Она едва не упала, ощутив запах бриолина, исходивший от его волос. Она не помнила, как вернулась в дом; шла, спотыкаясь, под ногами скрипел снег. Из окна увидела, что он все еще стоит под фонарем.

Ночью шел снег и засыпал следы Фу Юньсяна. Лишь в душе следы пережитого остаются на всю жизнь. Удачи и неудачи, взлет и падение, несправедливость — они оставляют след на всю жизнь. Можно оступиться, потом исправить свою ошибку, но в душе сохранится след. Стоит ли мучиться, суетиться? Разве не могут загубить жизнь сплетни и пересуды, хула? Снежинки, когда их множество, способны свалить огромное дерево, а человек не дерево, он травинка, ее может вырвать с корнем порыв ветра.

Циньцинь вскочила, быстро оделась и выбежала вон. От ветра и снега нельзя было открыть глаза. У Циньцинь они со вчерашнего дня были красные и опухли, потому что она не переставала плакать. Было скользко, и девушка шла с трудом, снег падал на шарф. Вот и стеклянная теплица, такая, как на дачах в России, за зеленым забором, вся занесенная снегом.

Дом у Фу Юньсяна двухэтажный, с узкими окнами и деревянным крылечком с резьбой. Прямо как в сказке. А войдешь — и нет сказки.

«Я вернулась,— она шла как потерянная, шепча эти слова.— Что бы там ни было, ты хороший человек. Я тебя не виню, сама виновата. Я знаю, что брак — общая судьба до конца дней,— не совпадает с той целью, которую Цзэн Чу поставил перед собой в жизни, что ему не нужен брак. Я пропаду. Идеал далек, как облако, а я — в трясине. Из халупы я ушла, но теперь сил у меня больше нет. Я понимаю, такой брак сведет меня в могилу. Прости меня, но я так думаю и не могу отогнать эту мрачную мысль. Нам с тобой не будет весело, я никогда не испытывала сладостей любви. Факт! Я тебя не люблю. Я не уверена, что ты меня по-настоящему любишь. Может, ты и не способен любить по-настоящему. Я долго обманывалась сама, не верила самой себе, тебя тоже обманула. Я никого не хотела обманывать! И все же чувство к Цзэн Чу овладевало мною все сильнее. Да, как бы ни приходилось страдать, нельзя обманывать ни себя, ни других...

Зачем человек живет? В чем смысл жизни? Я думала об этом до головной боли, до обморока, до безумия. Но не нашла ответа. Может быть, не стоит размышлять о смысле жизни? И все же я хочу жить по-другому, не так, как прежде, более осмысленно. Впереди страданье, нелегкий труд и никакой гарантии на успех, я это поняла, а ты нет. Еще я поняла, что нельзя думать только о себе! Ты бы тоже засомневался, тебе бы тоже стало стыдно, понял бы, что жизнь не должна быть такой. Даже в тяжелое десятилетие находились люди, искавшие выход к свету, и на сером пепле, оставленном бедствием, на

черной выжженной земле прорастает молодая зелень; взлетит из-под пепла прекрасный феникс... Нет, увы, ты так не думаешь, ты не будешь думать обо мне, вот почему мы пришли к такому печальному концу. Прости, прости меня! Я помню, как ты обо мне заботился, но я не люблю тебя... Ах, если бы о нас так заботились раньше и вместо поучений и назиданий пустили бы нас в большой мир, мы были бы сейчас более зрелыми, более богатыми духовно, я поняла бы, как надо жить и со мной не случилось бы ничего подобного. Нравственность и доброта! Я готова нести тяжкое бремя, нет, не смогу, не вынесу, пропаду, поэтому я и возвращаюсь к тебе... Сможешь ли ты меня простить?.. Я наделала много глупостей и должна за это расплачиваться».

Она сняла варежку, хотела нажать кнопку звонка, но кнопка была очень высоко. Циньцинь поскользнулась, выронила варежку. Зеленую варежку, которую она сама сшила, толстую и теплую. Она подняла и стала стряхивать варежку — и вдруг ей почудилось, что у нее в руках не варежка, а колючий кактус. Сердце взволнованно забилось, она сунула варежку за пазуху.

Из дома доносились звуки радио — передавали программу на день, значит, все уже встали.

Можно нажать на кнопку звонка.

А на крыльце везде — кактусы, кактусы...

Слышны шаги, кто-то подошел к двери. Скрипнула задвижка.

Она спрыгнула с крыльца прямо в снег и, прижимая к груди варежку, со всех ног побежала прочь, скользя по снегу.

— Циньцинь! — донесся ей вслед отчаянный крик.

...Снег все идет. Может, снежинки сначала взлетели ввысь с бескрайних равнин, снедаемые жаждой очищения, чтобы освободиться от грязи людской, и лишь потом, в морозной вышине выкристаллизовавшись для новой жизни, возродиться в первозданной чистоте и затем опуститься на землю? Расскажут ли они нашему сегодняшнему миру что-нибудь интересное?..

Кактусы, вы растете не у заснеженных дорог, вы растете на подоконнике в маленькой, убогой комнатушке, в плошках и блюдцах, зеленые и сильные, похожие то на ладонь, то на кулак, то на палец, то на локоть... Вы похожи на руки простых людей, созидателей жизни: вы словно мозолями покрыты колючками, вы способны изменить все вокруг, только свою судьбу не можете изменить!

Она ворвалась в комнату без стука. Дверь не была заперта.

— Я пришла! Если я нужна тебе...— крикнула она. Нет, это он ей нужен. Она поняла это, когда тянулась к звонку, там, в другом доме. В комнате никого не было, и она казалась осиротевшей и унылой.

На постели аккуратно сложено тоненькое одеяло. А человека нет. Только кактусы ее приветствовали, а может быть, прощались с ней?

Циньцинь в изнеможении опустилась на табуретку.

На столе — раскрытая книга, рядом в беспорядке стопки книг с закладками — литература по экономическим вопросам. Под книгами — исписанные мелким аккуратным почерком листы бумаги, самой дешевой, которую продают на вес. Среди книг и рукописей — та самая чашка с голубым ободком и блокнот. Громко тикает будильник. Он очень старый, но работает исправно.

Цзэн Чу, видимо, ушел завтракать, подумала Циньцинь и, поколебавшись, раскрыла блокнот. Оттуда выпал пожелтевший от времени белый лоскут. На нем столбцы написанных кровью знаков, местами почерневших, местами выцветших: «Клянусь до самой смерти стоять за... Цзэн Чу, 1966 год».

Письмо, написанное кровью. Значит, и он писал клятву кровью? Прокусывал палец или перочинным ножиком укалывал кожу, по кап-

ле выдавливая кровь. Значит, и он в порыве бурного энтузиазма, во власти суеверий был обманут, был...

Письма кровью — это часть нашей истории: роковая ошибка, которую мог совершить каждый молодой человек, честный и чистый, впав в заблуждение. Но почему он не отринул это позорное прошлое? Почему не сжег, не бросил в реку, не выкинул вот этот кусочек материи?

Рядом с этим письмом другое, судя по смыслу — завещание. На нем кисточкой начертаны красивые знаки: «Прощай, жизнь! Цзэн Чу. 1970». Видимо, позднее слово «жизнь» было взято в кружок, внизу авторучкой дописано «1971», а к слову «прощай» проведена стрелка.

Циньцинь была в недоумении. Написал завещание, а сам жив, да еще такой бодрый и жизнерадостный. Он, словно кактус, вынослив, тверд и упрям. Как он выжил? Какое несчастье внушило ему мысль о смерти? Его не поймешь, не разгадаешь...

Дверь приоткрылась, и в нее просунулась голова:

— Цзэн дома? — спросил круглолицый мальчик лет девяти.

— Заходи,— сказала Циньцинь.— Он тебе нужен?

— Да,— захныкал мальчик.— Старший брат разбил мячом стекло у соседки, а сказал на меня, и мама ему поверила, хочу попросить Цзэна, чтобы заступился. Когда мама подралась со старухой, Цзэн их помирил...

— Он у вас что, народный депутат? — пошутила Циньцинь.

— Нет, не депутат,— помолчав, возразил мальчик.— Но во все встревает.

— Встревает на мою голову! Поглядел бы он мне в глаза! Я хоть и старая, да от меня так просто не отмахнешься,— зачастил под окном женский голос.— Мои помои, куда хочу, туда и лью, не твое это дело! Нажрался досыта, теперь начал в чужие дела встревать.

Легко было себе представить старуху, которая орет, подбоченившись.

Из соседнего дома вышла на крик седая женщина:

— Вы неправы, помои и мусор надо выносить куда положено. Цзэн за вами и убирал. Чем скандалить, вы бы лучше постарались понять, что к чему.

— Он убирал?! Да кто его просил!

— Постой, постой! — раздался наконец знакомый, такой долгожданный голос.— Если будешь бросать мусор перед дверью, мы выльем на него помои со всей улицы и у тебя перед входом намерзнет целая гора. Весной растает и пойдет зловоние. Ну как вот с ней быть? — продолжал он, уже обращаясь к соседке, и вместе с ней вошел в дом. Лицо его раскраснелось от мороза, брови заиндевели, в руке он держал лепешку, из кармана куртки торчал надорванный конверт. Соседка положила на плиту пирожки.

— Ешь, пока горячие! Мне из деревни прислали,— ласково приговаривала она.— Рана еще не зажила, а ты уже бегаешь?

— Вкусно пахнут! — сказал Цзэн Чу.— Очень вкусно! Вы обо мне заботитесь, тетушка Ван. Ну а у вас как с квартирой?

Они не видели стоявшую за дверью Циньцинь.

— Ходила в домоуправление, ничего нового,— вздохнула соседка.— Напрасно время у вас отнимаю, пишем заявления, а ответа никакого. Камень в воду бросишь, и то круги пойдут. А здесь семь человек живут на девяти квадратных метрах, и все равно не ставят на очередь. До смерти обидно!

— Не сердитесь и не волнуйтесь. Этим делу не поможешь. Напишем и восемь и десять, хоть сто раз напишем, а не поможет, пойдем в район жаловаться.

— Ешь, милый, ешь. Простые пирожки с горохом — не бог весть что. Я и сама знаю, говори не говори — толку никакого, а вот побеседую с тобой — и на душе легче.

— Вы проходите,— засуетился Цзэн Чу.— Садитесь.

Вдруг он заметил Циньцинь и ахнул от удивления, в глазах у него вспыхнула искорка радости.

Соседка рассмеялась и вышла, уведя с собой мальчика.

Циньцинь теребила шарф потными от волнения руками. Почему она так нервничает? Надо бы улыбнуться...

— Я пришла...— запинаясь, проговорила она,— чтобы рассказать...

Он посмотрел на нее серьезно и в то же время ласково.

— Я уже знаю, все знаю — мне рассказал Тюлень. Если вам будет тяжело, в любое время...

В любое время? Нет, хочу сегодня, сейчас, сию минуту!..

Он выскочил в прихожую, чтобы добавить уголь в печку, и пламя сразу загудело, словно паровоз.

— Не волнуйтесь, вам помогут,— крикнул он из прихожей.— Без горя не бывает. Но кто способен испытывать угрызение совести, еще душой не очерствел и у него все впереди. А в жизни столько хорошего! Чем острее переживаешь, тем больше жизненной энергии.

Он вошел в комнату с вымазанным сажей носом.

— Верно я говорю?

Циньцинь лишь кивала головой, и, как ни сдерживала слезы, они капали прямо на его завещание, которое она держала в руках.

— Ах, вы прочитали.— Он растерялся.

— Почему, ну почему ты не сжег? — Она помахала листком бумаги.— Десять лет бережешь.

Он рассмеялся:

— А почему не сберечь? Еще Конфуций говорил: повторяй старое, чтобы узнать новое.

— Перестань! Зачем было это писать? Ведь ничего дурного ты не сделал?

— Все с отчаяния. С каждым может случиться, особенно с человеком нашего поколения. Вот только не припомню, из-за чего мне пришло в голову расстаться с жизнью. Из-за унижения, оскорбления, обмана или из-за случайно оброненной кем-то фразы... Но, как видишь, я ничего не сделал с собой. Почему? Тоже не помню. Может быть, увидел в лесу оленя или девочку, собирающую цветы на речном берегу... В жизни много хорошего. А иначе не стоило бы жить.

— Слово «жизнь» ты обвел кружком, а к «прошай» провел стрелку, это уже в тысяча девятьсот семьдесят первом году. И все же ты не расстался с жизнью.

— Это как сказать,— уже серьезнее отвечал он.— «Прощай» я сказал своему прошлому. В семьдесят первом я стал по-другому мыслить, изменил свой жизненный путь. Как бы тебе это объяснить... Например, когда Артур тайком сел на корабль, началась вторая часть его жизни...

— Как ты выстоял? Ведь тебя преследовали несчастья.

— Выстоял? — усмехнулся он.— Я оступался, заглядывал в пропасть, но не упал. Вышел из тюрьмы и узнаю, что она... Моя прежняя подруга... Замуж вышла. Я чуть с ума не сошел от горя. Побежал к ней, злоба во мне кипела, все что угодно мог натворить... Но как я увидел через окно, что она качает колыбель с младенцем, и оба они такие умиротворенные, такие спокойные! Сердце дрогнуло, и я тихонько ушел. У каждого свое понятие о счастье, и каждый вправе к нему стремиться. Если же что-то препятствует счастью, например общество или объективные условия, не следует в этом винить какого-то конкретного человека. Я должен был ненавидеть, но не ее, мстить, но не ей, а десятилетию смуты, крайнему левачеству, невежеству и другому реальному злу...

— Что ты знаешь о северном сиянии? — вдруг совершенно не к месту спросила Циньцинь.

— Северном сиянии?

— Да, северном сиянии. Это великолепное небесное явление, крайне редко наблюдаемое в низких широтах; но оно случалось в районах Хума и Мохэ; оно похоже сразу на все — на молнию, на факелы, на гигантскую комету, на серебряные волны, на радугу, на зарю,— Циньцинь говорила, не переводя дыхания.— Ты видел или, может быть, слышал, да? Как я мечтаю увидеть это сияние! Когда я была маленькой, дядя говорил мне, что тот, кто увидит северное сияние, непременно будет счастливым...

— Ты совсем еще маленькая, наивная девочка,— прищурившись, ласково сказал Цзэн Чу, рассмеялся и отвернул на окне занавески; убогую комнатушку залил яркий солнечный свет, отраженный снегом.— Лет десять назад я тоже увлекался северным сиянием. Я люблю астрономию и в первый же день, когда мы приехали в деревню, совсем один ушел в степь полюбоваться этим небесным явлением. И конечно, я ничего не увидел. Я расспрашивал местных жителей, и они говорили, что никогда не видели никакого сияния и ничего о нем не знают. Я был огорчен и разочарован. И все же ученые утверждают, что такое явление наблюдается. Я даже видел фотографии. Очень красиво! Просто великолепно! Видела ты его или не видела, признаешь или нет, объективно оно существует. За нашу жизнь мы, может быть, его увидим, а может, и не увидим, но оно все-таки может появиться...

Он посмотрел на кактусы и добавил:

— Теперь я уже не жажду, как в детстве, увидеть это сияние. Я ремонтирую трубы центрального отопления. Их надо проверять и чинить по одной. Плохо починенные чиню снова. Словом, занимаюсь конкретным и полезным делом. Трубы мои не сияют волшебным светом, но дают тепло.

Солнечный зайчик заиграл сквозь заросшее льдом окошко и запрыгал по неровной стене. Похожи ли морозные узоры на стекле на северное сияние? Мелькающие, как в калейдоскопе, снопы, пятна, дуги, полосы, занавеси света... Нет, нет, северное сияние должно быть неизмеримо прекраснее, хоть и никто здесь не видел его, но оно все-таки существует. Может быть, здесь нам придется долго ждать, пройдет много времени, и все же оно явится и нам.

— Спасибо...— Она пристально глядела на маленького оленя у него на груди.— Спасибо.

У нее перехватило дыхание, ей хотелось пожать его горячие и сильные руки.

— Пойдем погуляем? Снег перестал,— робко проговорил он.— Я давно не был на набережной... Мне опять возвратили рукопись, вот и письмо из Академии общественных наук с отказом в публикации. Ничего, я все равно буду писать, потому что уверен, что идея моя верна, только я не умею ее изложить как следует и развить.— Он протянул ей конверт.

— Будешь еще писать?

— Непременно,— ответил он решительно.

— Твоя рана зажила?

— Чепуха,— он мотнул головой,— царапина. Стоит ли обращать внимание? Тебя интересуют экономические вопросы? Приходи к нам на обсуждения, буду рад. Мир велик. Говорят, в Шанхае на швейной фабрике группа молодежи занялась исследованием модернизации системы управления производством и написала книгу о гибкой организации труда, профессиональном наставничестве и прочем.

«Опять он об экономических вопросах»,— подумала про себя Циньцинь, слегка поморщившись.

...Река Сунгари очень широкая и зимой превращается в снежную равнину.

Вдали звенел колокольчик запряженной лошади — видно было лишь черную точку, ползущую по снегу,— а в детской сказке стре-

мительно проносились санки с одиннадцатью впряженными лошадьми...

Маленький мальчик в ярко-желтом, золотистом свитере распластался на своих новеньких деревянных санках и ласточкой понесся с высокого речного берега на лед; на самолетной скорости его вынесло далеко, аж на середину реки. Следующие же санки, попав на речной лед, вдруг завертелись на одном месте, и в морозном воздухе раздался звонкий детский смех.

Цзэн Чу сгреб горсть снега и бросил снежок с обрыва, но рассыпавшийся под ветром снег запорошил ему лицо и голову. Он попробовал увернуться и поскользнулся, нелепо качнулся, теряя равновесие, и шлепнулся с веселым хохотом.

— Ты всегда такой? Тебе не бывает грустно? — Она опустилась на корточки.

Она внимательно всматривалась в полосы чистого льда, оставшиеся после санок. Лед был прозрачный, с зеленоватым отливом, под ним чувствовалась речная вода, и, наверное, можно было сквозь него разглядеть даже плавающих у дна рыб...

Он набрал пригоршню снега и стал растирать его в руках.

— Зачем грустить, чтобы тебя жалели? Не хочу. Наверное, потому, что мне не везло. Я никогда ничего не имел, так что терять мне было нечего. Я не сетую на судьбу, как другие, не люблю. Надо бороться с обстоятельствами, иначе ничего не добьешься. К тому же человек должен жить не только для себя, но и для других. Я не пощажу себя ради своих идеалов и никогда от них не отрекусь.— Погляди, буера! — Он показал на реку.

Она увидела скользящие по льду лодки с туго надутыми парусами. Лодки были приземистыми, паруса треугольными; грубо сколоченная из досок платформа опиралась на пару треугольных железных полозьев; белые паруса бились на ветру. В лодках сидели ребятишки в ярких вязаных шапочках. Они кричали, шумели. Циньцинь и Цзэн Чу побежали к буерам.

«Скорее бы наступала весна»,— вдруг подумала девушка. Она раскраснелась, шарф размотался, и его трепал ветер.

— Когда сойдет лед, покатаемся на лодке? Ты умеешь грести? — Она посмотрела ему прямо в глаза, черные, с огоньком.

— Умею.— Изо рта у него шел пар.— Но, знаешь, с той поры, когда сойдет лед и до настоящей весны пройдет много времени, будет грязь и распутица, появятся ямы-ловушки, зато все оживет. И хотя нелегко будет пройти по оттаявшей дороге, уверен, что мы сможем пройти.

— Я грести не умею,— призналась она.— Раньше боялась...

— Я тебя научу. И плавать надо научиться. Чего бояться? Тебе же не нужно переплыть через Сунгари. Камни не растворяются в воде, только соль. Это я давно понял...

Маленькая девочка в красной шубке, похожая на красный шерстяной мячик, вдруг вылетела на санках с берега на самую середину Сунгари. И Циньцинь вспомнила себя в вязаной шапочке, когда, совсем еще маленькая, она бегала на коньках... Как далеко ушла та пора! Дальше таинственного северного сияния, которое не разглядишь и не потрогаешь в бескрайней небесной высоте, где оно озаряет крошечный уголок вселенной.

Циньцинь зажмурилась, ослепительное сияние исчезло, и перед ней возник олень, нет, целое стадо скачущих по снежной равнине оленей... Нет, не олени, а четверка гнедых коней, скачущих с того берега, впряженных в тяжелые сани: Циньцинь и Цзэн Чу, когда были в деревне, часто ездили на таких грубых и прочных санях, тяжело груженных, покрытых ослепительно сверкавшим на солнце снегом...

■

СИМОН КАРМИГГЕЛТ

Рассказы

■

С нидерландского

Сегодня хорошая погода?

Самое замечательное в писательском ремесле то, что ему невозможно научиться.

Можно научиться самым мастерским образом очистить селедку или обстругать доску.

Но не родился еще писатель, который, довольно потирая руки, встанет из-за рабочего стола и скажет жене: «Полный порядок, Мари, я только что добил специальную литературу, теперь я умею писать».

Но если, вопреки ожиданиям, он все-таки родился, то я не рискну совать руку в полымя его прозы.

Нет, научиться писать невозможно.

Это вечная проба пера — может, сегодня получится?— вечная надежда на удачу. И сколько блаженства в этих муках. Только представить себе, что в один прекрасный день вдруг сядешь и начнешь писать так же легко и просто, как чистят селедку или стругают доску. Вот был бы ужас. Ведь тогда тебе уготована пустыня иссушающей душу тоски. Ты навсегда распростишься с той полной опасности, прекрасно-отвратительной и отвратительно-прекрасной формой жизни, какой является писательство. В совершенстве владея профессией, ты будешь пописывать одной левой и уныло влачить это тяжкое бремя до конца дней своих.

Такого я не хочу.

Нет, чудо писательской профессии — в невозможности достичь совершенства, ибо лишь тогда обеспечена тебе необозримая череда светлых, сумрачных и черных дней, пресечь которую дано лишь смерти.

Проба пера: может, получится?

А иногда, когда тебе кажется, что вот наконец получилось, испытываешь ни с чем не сравнимое счастье. Но зачастую — как выясняется впоследствии — ты радовался напрасно, не получилось у тебя ровным счетом ничего. А значит, запущенная тобою красавица ракета в цель не попала, и все твои восторги были преждевременны.

Но и в этом есть свой смысл.

На этом держится ветер.

СИМОН КАРМИГГЕЛТ — SIMON CARMIGGELT (род. в 1913 г.)

Нидерландский писатель, мастер короткого рассказа. Автор многочисленных сборников, среди них «Сплошная чушь» («Allemaal onzin», 1948), «Между двух стульев» («Tussen twee stoelen», 1951), «Прогульщики» («Spijbelen», 1956), «Тоном ниже» («Een toontje lager», 1959), «Сегодня хорошая погода?» («Mooi weer vandaag?», 1965).

Вечный ветер сладко-горького сомнения.

Один пожилой коллега как-то говорил мне:

— Иногда среди ночи я просыпаюсь и с ужасом думаю: завтра утром я позабуду все слова. И больше их не вспомню. При этой мысли меня прошибает холодный пот.

Таково отчаяние, темная сторона счастья.

И тем не менее стоит попробовать еще раз.

Бывают дни, когда перо не желает сдвинуться с места. Что хочешь, то и делай: не желает, и все. Но если ты, невзирая ни на что, упрямо продолжаешь свои отчаянные попытки, перо внезапно возвращается к жизни и заводит хоровод слов, на который ты смотришь с восторгом, как ребенок на ветряную мельницу.

Видишь? Все опять пошло на лад.

Здесь нет ни капли той уверенности, с какой очищают селедку или стругают доску. Ни капли. Выкинь это из головы. Здесь тебя всегда подстерегают тернии или розы.

И это тоже прекрасно.

Это наполняет твои дни страхом, радостью, надеждой, бессилием и вдохновением.

Спокойствие обманчиво.

Взрыв может произойти в любую минуту. Но не исключено, что это будет трубный глас. Есть и такая вероятность. Единственное, что от тебя требуется, когда ты пишешь,— максимум усилий и минимум посторонних мыслей. Честно дари сомнению его толику огня. И согревай рукой перо. И не слишком отчаивайся, читая книги, которые написаны столь нечеловечески прекрасно, что тебе остается лишь сказать: «Дайте мне лечь. Я хочу умереть».

Дай бог памяти, кто же из художников сказал: «Когда я вижу Рубенса, мне хочется взяться за кисть, а когда вижу Рембрандта, мне хочется бросить живопись навсегда».

Поэтому дни, когда идешь смотреть Рембрандта, нужно строго отделять от других. Сделай это в отпуске, когда твое перо отдыхает. Вернее, должно отдыхать. Хотя уже спустя четыре дня жена говорит мне: «Ради всего святого, садись писать. Ты же вконец извелся».

И я сажусь. Чтобы проверить, захочет ли писать мое перо. Ведь кто его разберет.

И в этом чудо моей профессии. Каждое утро я берусь за перо, чтобы найти ответ на вопрос: «Сегодня хорошая погода?»

Проклятие

Только я сегодня поутру открыл глаза, как стакан апельсинового сока, протянутый женой, без всякой видимой причины вылился мне за пазуху. В ванной, опять же без видимой причины, я задел лезвием ухо; кровь так и хлынула по щеке, и унять ее оказалось весьма непросто. Моя неверная еще рука не удержала флакон лосьона, и он тут же разлетелся вдребезги от соприкосновения с раковиной, затем меня подвело не вполне проснувшееся сознание: я перепутал тюбики — ведь они так похожи — и попробовал чистить зубы жениным кремом для рук.

Поэтому во время завтрака во рту у меня был совершенно омерзительный вкус, как если бы я сжевал дохлую мышь. Наконец, когда я с грехом пополам оделся и умылся, опять же без всякой видимой причины лопнул шнурок на ботинке. Потом я выпил прописанное врачом лекарство, а коробочка, разумеется, выскользнула у меня из рук, так что минут десять я ползал по комнате на четвереньках, собирая рассыпанные таблетки. Когда коробочка была наполнена и благополучно водворена в ящик, я опять разделся и лег в постель.

Ибо продолжать день, который начался подобным образом, я не рискую. Я знаю точно, что произойдет, если я выйду на улицу. Я отправлюсь на остановку шестнадцатого трамвая и увижу, что он только отъехал. Пока я буду ждать следующего, какой-нибудь прохожий углом своего чемодана изо всех сил двинет меня по щиколотке, и, сколько бы он ни извинялся, весь оставшийся день нога будет жутким образом ныть и саднить. Потом хлынет дождь, а плаща у меня, естественно, не окажется, поэтому я понесусь галопом домой, надену плащ и снова на остановку. Дождь по этому случаю моментально прекратится, и станет душно, я сниму плащ и повешу его на руку.

Не пройдет и часа, как я на шестнадцатом трамвае доберусь до тихой кофейни, где собирался поработать, и только тут обнаружу, что не взял с собой ни ручки, ни блокнота. Тем же шестнадцатым трамваем я отправлюсь в обратный путь, причем мысль о злополучной закономерности событий уже начнет меня тревожить. По дороге до меня дойдет, что в тихой кофейне я забыл свой плащ.

Потом я поднимусь по лестнице, положу в карман ручку и полистаю блокнот, надев при этом очки, так как без них абсолютно не в состоянии прочесть ни слова.

И тут раздастся звонок.

Я приоткрою окно и выгляну — на всякий случай, поскольку меня без конца донимают совершенно неизвестные мне алкоголики, которым негде убить вечер, дамочки, жаждущие обратить меня во что-то, и субъекты, у которых почему-то плохо с чтением дверных табличек, и они трезвонят куда ни попадя.

Я выгляну в окно, и внизу непременно окажется некто из этих трех категорий, а мои очки соскользнут с носа и шваркнутся о булыжники мостовой, после чего по крайней мере неделю я буду не способен ни читать, ни писать.

Все это обязательно произойдет, если для собственной же безопасности я не останусь в постели.

И я остаюсь.

У меня такая работа, что ее можно делать и лежа в постели.

В этом она сродни древнейшей в мире профессии.

И потом...

Позвольте мне, прежде чем вы уляжетесь спать, ознакомить вас с мыслью одного немецкого философа. Он жил в восемнадцатом веке, а посему вы не рассердитесь, ибо с Гитлером у него нет ничего общего.

Запись в его дневнике: «Иногда по восемь суток я не покидаю своего дома и с большим наслаждением читаю. Но если я подвергнусь домашнему аресту на такой же срок, то, вероятно, заболею».

И может быть, именно в этих строках и заключена глубинная сущность понятия «свобода».

Перевод Е. ЛЮБАРОВОЙ

Прогулка

В центре города ко мне подбежал серый шпиц с грязным хвостом и, затрусив рядом со мной, спросил:

— Вы Клагеса [1] не читали?

— Нет,— ответил я.

— Очень интересно,— сказал шпиц.— Только немного заумно и к тому же по-немецки. Вам непременно понравится.

Некоторое время мы молча шагали рядом. Внезапно меня осенило, что говорящие собаки попадаются нечасто.

— Ты умеешь разговаривать?— спросил я.

— Да,— кивнул он.— Я граф Лестер, перевоплощенный, конеч-

[1] Клагес Людвиг (1872—1956)— немецкий психолог и философ-иррационалист.

но. Жил с 1532 по 1588 год. Замок имел в Дирене. Тоже ужасное было время.

— Тоже?— спросил я.

— Да, как и теперь. Вот ведь гнусность — заставить человека перевоплотиться в собаку. Сплошные интриги и произвол. Мой последний повар стал кассовым аппаратом в одном лондонском кафе и втихомолку прикарманивает достаточно, чтобы каждый вечер ходить куда-нибудь развлекаться. А мне только и остается что углы обнюхивать.

— Все в руце божией,— заметил я философски.— А что, кассовые аппараты действительно развлекаются?

— О, Лондон велик!— беспечно сказал он.

Мы все брели, брели. Стал накрапывать дождь.

— А с какой стати ты, собственно, вспомнил Клагеса?— спросил я.

Он залаял, обнажив зубы.

— Пардон,— сказал я,— но ведь ты только что разговаривал.

— Спятил ты, что ли!— возразил он.— Собаки не умеют говорить.

— Не обижайся,— сказал я.— Похоже, тут какое-то недоразумение.

Я приподнял шляпу, свернул в переулок и по рассеянности налетел на полицейского. Извинившись, я пошел дальше, но он разочарованно воскликнул:

— В нем ничего нет!

— Где?— спросил я, обернувшись.

— В вашем бумажнике,— сказал он.— Я его только что подобрал, но он совершенно пустой.

Он действительно с обескураженным видом протянул мне бумажник.

— Не обижайтесь,— сказал я скромно.— Я зарабатываю очень мало. Все сразу спускаю.

Он сделал равнодушный жест, и мы вместе пошли дальше.

— Вы часто воруете?— спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Только в свободное от службы время,— ответил он.— Раньше я еще убивал, но теперь уже годы не те.

— «Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr»[1], — процитировал я.

— Вы немец?— деловито осведомился он.

— Нет,— объяснил я.— Это из Рильке. Есть такой поэт.

— А при чем же тут строительство?— спросил он.

— Да так, к слову пришлось,— сказал я.— Дети у вас есть? Вы их бьете?

Он вдруг остановился.

— Рильке!— воскликнул он.— Ну конечно! Это был мой отец. Вам знаком его рифмованный справочник столичных адресов? Штука любопытная и абсолютно бесполезная.

Он сорвал с меня шляпу и вскочил на подножку трамвая. Странный тип.

Я вошел в кафе, чтоб на досуге поразмыслить о случившемся. Кельнер был голый.

— Кофе или ничего?— спросил он.

— Ничего,— сказал я.

— Вон!— рявкнул кельнер.— Мы тут в игрушки не играем.

Это был веский аргумент: люди вроде него святым духом питаться не могут. Я опять вышел на улицу. Дождь не прекращался. Было хмуро и слякотно.

---

[1] «Бездомному не выстроить приюта» *(нем.)*— из стихотворения Р. М. Рильке (1875—1926) «Осенний день».

В подворотне стояли два старика. В ту самую минуту, когда я проходил мимо, тот, что повыше, двинул другого в ухо.

— Вам больно?— спросил я пострадавшего.

— Нисколько,— бодро ответил он.— Мы спорим о жизни, а у моего друга воинственная натура.

— Вот вам и философский камень, господа,— учтиво сказал я.

— Не бросайтесь камнями!— испуганно закричали оба и побежали прочь. Несмотря на свой преклонный возраст, они не поняли, что я выразился фигурально и имел в виду просто-напросто начало всех зол. Этот неудачный опыт убедил меня в бесполезности жизни. Я вынул из уха затычку и исчез.

Перевод И. ВОЛЕВИЧ

Утро профессора

Как всегда, профессор проснулся в это утро незадолго до того, как затрещал будильник. Судя по всему, подсознание тоже обзавелось ручными часами, подумал он сонно и сел на край кровати, наблюдая за неугомонным движением секундной стрелки, которая с муравьиным усердием отсчитывала новую минуту вечности. Когда будильник со стоном вздохнул, приготовившись поднять тревогу, профессор в зародыше подавил его намерение, коротко и не без злорадства щелкнув по кнопке. Это доставило ему странное удовлетворение. Что это: жажда власти, садизм или инфантильная потребность в игре? Он принялся, ощущая блаженную беззаботность, размышлять на эту тему, пока не сказал сам себе:

— Пора, наконец, вставать.

С отвращением поднявшись на ноги, он очутился прямо перед зеркалом. «Он родился в сорочке». Типичная идиома. «Он родился в сорочке, но сорочка, в которой он родился, истлела еще сорок лет назад». С легким раздражением он отвернулся от зеркала. Большинство идиоматических выражений не соответствует действительности. Вот, к примеру, он живет, как птица. Это что же, на птичьих правах? Или как вольная птица, птица высокого полета? А *ты сам* что за птица? Уж конечно, не вольная.

Стоп, я опять зарапортовался, подумал профессор. Надо одеваться.

Он протяжно зевнул. Одеваться!

«Завязывание галстука предполагает известную уверенность в будущем». Кто это сказал? Ницше? Нет, какой-то поэт отечественного производства. Он порылся в памяти, но не вспомнил ничего. Многое стало забываться. Все забывается. «Люди спят хорошо потому, что у них плохая память». Это сказал какой-то кардинал, француз, в этакой треуголке.

Книги, с которыми он работал вчера вечером, лежали открытыми на письменном столе рядом с почти завершенной статьей, предназначенной для специального журнала. Он прочитал последнюю фразу и вычеркнул три слова, которые теперь при свете дня показались ему слишком категоричными. Ночь — слишком опасное время для научной работы: луна располагает к безрассудству. Собаки это хорошо понимают. Как только появляется луна, они начинают на нее выть. Или, может быть, им просто хочется отгрызть от нее кусочек? Впрочем, это глупо.

В дверь громко постучали.

— Профессор!— позвала экономка.— Вы встали?

— Еще нет,— ответил он.

— Вас ждет внизу студент. Он пришел сдавать зачет.— Голос экономки звучал укоризненно.— Вы сами ему назначили время.

И тут профессор вспомнил все.

— Я сейчас!— крикнул он.

— Студент дожидается в прихожей уже двадцать минут,— ядовито добавила экономка и удалилась от двери.

Бездушная кочерыжка, подумал он, на миг восхитившись придуманным словосочетанием.

В легкой панике он поспешил в ванную комнату и стал торопливо готовиться к выполнению своего общественного долга. Опять я без толку потратил столько времени, подумал он недовольно. Почему я не пользуюсь записной книжкой? Она же для того и предназначена. Только мне, собственно, нужно бы завести еще одну, где бы каждый день было записано: загляни в записную книжку. Он торопливо вытерся полотенцем. От бритья сегодня придется отказаться. Когда он, одевшись, взялся за часы, то увидел, что молодой человек уже полчаса напрасно спускает пар из своего зачетного парового котла.

В высшей степени непорядочно с моей стороны, подумал укоризненно профессор, спускаясь по лестнице. Вешалка в коридоре натолкнула его на блестящую мысль. А что, если сделать вид, будто он только что вернулся домой? Так все же приличнее. Он торопливо надел пальто, нахлобучил шляпу и быстро вошел в прихожую, не без мастерства произнося обычное в таких случаях:

— Извините меня, ради бога! Сначала меня задержали в городе, а потом, представьте, из-под носа ушел трамвай...

Он запнулся. Молодой человек, одетый в строгий черный костюм, смотрел на него как на призрак.

— Что-нибудь случилось?— спросил профессор.

— Да-да, видите ли, профессор,— заколебался студент.— На вас мое пальто. И моя шляпа.

Перевод Ю. СИДОРИНА

Вот это да!

Поздно вечером, катаясь на новых роликах по Лейдсестраат, я наткнулся на Виллебранда, который как вкопанный стоял перед магазином Де Грёйтера.

— Что-нибудь случилось?— полюбопытствовал я, потому что вид у него был крайне озабоченный.

— Да вот, занял очередь,— ответил он,— утром буду первым.

— За чем очередь-то?— спросил я.

— Да за комбижиром,— спокойно объяснил он.— Прошлый раз он кончился прямо перед моим носом. Но уж теперь я буду умнее.

— Слушай, Виллебранд,— начал я самым что ни на есть ласковым тоном больничной сиделки.— На твоем месте я бы сейчас пошел домой и лег спать. Какой комбижир, что ты? Война-то давно кончилась! Теперь, если верить радио, у нас мирное время.

— Тогда зачем же я здесь стою?— изумленно спросил он.

— Понятия не имею,— сказал я.— Вспомни-ка, что ты делал в начале вечера.

— Сперва в кино ходил,— припомнил он,— потом поел. А потом лег в постель...

— В постель?..

— Теперь мне все ясно!— воскликнул он с облегчением.— То, что я здесь стою, мне просто снится. Ну-ка встряхни меня хорошенько.

Чего не сделаешь для друга! Я схватил его за плечи и что есть сил встряхнул.

— Ой-ой, ты что это?! — испуганно воскликнул он и с опаской посмотрел на меня.

— Ну вот, ты и проснулся,— радостно сказал я.

— И я тоже,— раздался чей-то ехидный голос. Это была мефрау Виллебранд, лежавшая под одеялом рядом с мужем. К своему удив-

лению, я обнаружил, что сижу в зимнем пальто на краю супружеской кровати, а моя рука все еще покоится на голубом пижамном плече Виллебранда.

— Ты как сюда попал? — зевая, спросил он и окинул меня критическим взглядом.

— Да я увидел тебя на Лейдсестраат,— сказал я.— Ты занял очередь за комбижиром.

— Что за бред!— воскликнул он.— Война ведь давно кончилась.

— Вот это самое я тебе и сказал,— ответил я,— а ты попросил тебя разбудить.

Виллебранд с женой обменялись многозначительным взглядом.

— Может, пойдешь домой...— предложил он.

— Ну знаешь,— обиделся я,— мне ведь только хотелось помочь тебе, и все.

Я вышел из комнаты. Когда я открывал наружную дверь, Виллебранд неуверенно бросил мне вдогонку:

— Во всяком случае, большое тебе спасибо.

Дома меня ожидало еще одно потрясение: войдя в спальню, я увидел себя в постели рядом с женой. Читатель может себе представить, какой у меня был вид, когда я разбудил самого себя. Думается, только жена считала, что все не так уж плохо.

— Только бы вы оба,— сказала она,— не торчали целыми днями дома, ведь нет ничего хуже, когда муж все время мозолит жене глаза, да при этом еще и бездельничает.

И мы уговорились, что отныне будем работать по очереди, через день. Сегодня рассказ пишу *я*, а завтра я.

Этот рассказ мой.

Вы заметили?

Перевод И ВОЛЕВИЧ

Лиловая косынка

Мне нужно было купить жене лиловую косынку. Я зашел в большой магазин и сказал об этом продавцу, начальственного вида мужчине лет сорока, коротко стриженному, с нелепыми усами цвета шкуры жирафа. Он серьезно выслушал мою просьбу, принес длинную лестницу, взобрался по ней куда-то под самый потолок и, достав большой пыльный ящик, с опасностью для жизни спустил его вниз. Ящик оказался доверху набит коробками самого различного вида и размеров. Продавец начал их открывать одну за другой и только в последней обнаружил, наконец, косынку тусклого похоронно-лилового цвета, способного вызвать у нервного человека экзему.

— Вот что нам нужно!— воскликнул он и настороженно посмотрел на меня.

Когда он еще стоял на лестнице и потом, во время вскрытия коробок, я тихонько молился про себя, чтобы попалось что-нибудь приличное, потому что, если такого вида человек, не щадя своих сил, пытается тебе угодить, невольно чувствуешь себя обязанным ему. Но когда стало ясно, что моя жена без разговоров отвергнет это страшилище, я все-таки подумал: «Может быть, косыночка стоит гроши. Тогда я ее куплю и на улице повяжу на шею какой-нибудь собаке».

— И сколько она стоит?— спросил я.

— Это обойдется вам в пять семьдесят пять,— сказал продавец.

При этом он ни на миг не отводил от меня напряженного взгляда и, казалось, был готов перейти к рукоприкладству, осмелься я только сказать «нет». Из предосторожности я избрал более гибкую тактику и принялся всячески изворачиваться.

— Извините, у меня нет с собой таких денег,— с ходу придумал я, пытаясь создать впечатление, будто зайду еще раз, и надеясь под прикрытием этой дымовой завесы унести отсюда ноги. Но он сразу раскусил мою уловку и поднажал сильнее:

— Тогда давайте те деньги, что у вас есть, я отложу для вас косыночку, а вы сходите домой за недостающей суммой.

— Нет, это невозможно,— сказал я.— Я живу далеко.

— Где же это?— прорычал он.

— На Дёйнстраат,— соврал я, потому что соврать про улицу мне раз плюнуть.

— Вот как? Представьте, я тоже!— воскликнул продавец, зловеще рассмеявшись.— Номер дома!

Я переступил с ноги на ногу. В магазине стало непереносимо жарко.

— Тр-вадцать,— пролепетал я.

— Ка-а-к?

Деваться некуда. Надо было что-то придумывать. Потея от напряжения, я наугад брякнул:

— Двадцать пять.

Магазин поплыл у меня перед глазами. Когда я немного очухался, то увидел, что стою за прилавком, испытывая невыносимое раздражение на верхней губе. У меня появились усы! Я стал вдруг меньше ростом, толще и старше. Я превратился в продавца.

«Номер двадцать пять,— подумал я.— Надо же мне было, дураку, угадать именно *его* номер».

Но делать нечего. В шесть часов я, совершенно упав духом, отправился трамваем на Дёйнстраат и открыл своим ключом дверь. Навстречу мне вышла худая некрасивая женщина и сказала:

— Здравствуй, Пит.

С этой женщиной мне приходится теперь коротать все свое время, потому что мы с ней на самом деле женаты — об этом свидетельствует фотография шесть на девять, стоящая на буфете. Чаще всего она пилит меня по пустякам. Тогда я время от времени даю ей затрещину, на что она не обижается. И каждое утро я отправляюсь в этот проклятый магазин. Я, конечно, ничего не знаю — ни цен, ни что где стоит, и выговоры хозяина сыплются на меня, как из дырявого мешка. А это не поднимает моего настроения. Когда приходят покупатели, я не знаю, что с ними делать, а когда никого нет, думаю об этой дуре, которая ждет меня дома. И в довершение всего эти усы, которые постоянно чешутся.

А сегодня, представляете, кто входит в магазин? Я! И спрашивает лиловую косынку. На этот раз я знал, где она находится. По лестнице вверх, по лестнице вниз, открываю коробку и:

— Это вам обойдется в пять семьдесят пять.

И тут я начал выкручиваться:

— Извините, у меня нет с собой таких денег.

Тут уж я не выдержал.

— Подлый лжец!— закричал я.— У тебя же в кармане десятка!

Я вышвырнул себя самого на улицу.

Перевод Ю. СИДОРИНА

Мясо

С тех пор как разразился последний (уже который по счету!) правительственный кризис, телевизор стал для меня источником величайшего наслаждения. Всякий раз с напряжением наблюдаешь за тем, как в программе новостей репортеры протягивают микрофон политическим деятелям, которые с профессиональным умением стараются дать на ясные вопросы туманные, многословные ответы в виде грамматически законченных предложений, не содержащих ничего и уводящих от всего.

Почему меня так занимает языковая акробатика этих припертых к стене людей, которые на самом деле ничего не хотят сказать, но должны издавать какие-то звуки, я вероятно, смогу наилучшим обра-

зом проиллюстрировать, изменив тему интервью. Предположим, что речь идет не о столь важном событии, как новое правительство, а о простом вопросе: «Какое мясо вы предполагаете есть завтра?» На вашем голубом экране останавливается автомобиль. Из него выходит важный, несколько усталый господин, которого сразу же окружают фотографы и репортеры. Один из них протягивает микрофон и говорит:

«Разрешите задать вам вопрос. В некоторых кругах считают вероятным, что вы завтра намерены съесть бифштекс; однако вместе с тем ходят упорные слухи, будто некоторые склоняются к свиной вырезке и считают вариант с бифштексом абсолютно исключенным. Не могли бы вы сказать, каково ваше мнение об этом?»

И политический деятель отвечает:

«Я очень хорошо понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Я бы даже сказал так: я рад, что подобный вопрос задан, потому что наш народ, полагаю, имеет право знать правду. Однако в данный момент мне довольно трудно, если не сказать — невозможно, ответить «да» или «нет», поскольку обсуждение именно этой стороны вопроса еще продолжается, и лучше подождать, пока будет принято решение о том, какой именно сорт мяса получит наибольший шанс в недалеком будущем быть поданным к столу».

«Не считаете ли вы бифштекс наиболее вероятным?»

«Этого бы я на данном этапе не сказал...»

«Вы лично отдаете предпочтение бифштексу?»

«Предпочтение в подобных делах имеет лишь относительное значение. Опять же, мы находимся в стадии поисков, и нам нужно в своем кругу провести еще несколько консультаций, прежде чем выяснится, остановимся ли мы на бифштексе».

«С отварным картофелем?»

«Это, безусловно, второстепенная проблема. Я бы сказал так: главное — убить медведя, а о шкуре подумаем потом. Падет выбор на бифштекс — чего я не могу предсказать,— тогда отварной картофель, конечно, довольно очевиден, однако...»

«Вы много говорите о бифштексе. Можно ли из этого заключить, что свиную вырезку вы, по сути дела, больше не рассматриваете как приемлемую возможность?»

«Нет, нет! Вы не должны вкладывать подобное в мои уста. Я не имею ничего против свиной вырезки. Я бы не хотел, чтобы по этому вопросу меня неправильно поняли. Однако опять же, в этом деле превалирует не мой личный вкус. Нельзя забывать, что кроме названных вами двух разновидностей мяса существуют еще и другие.

А почему бы и нет? Приличная отбивная очень питательна. Все аспекты проблемы тщательно рассматриваются, и если для равновесия всего обеда будет целесообразно остановиться на отбивной, то такая возможность должна быть безусловно принята во внимание. Я бы...»

«А рулет из телятины?»

«Для меня, априори, не такое уж немыслимое предложение. Сам по себе рулет из телятины весьма вкусен. Однако я считаю, что было бы слишком преждевременно уже сейчас говорить о нем с какой-то определенностью. Хотя я рад, что вы задали и этот вопрос, потому что, я повторяю, наш народ должен знать правду».

Лед

Светает. Дождь стучит в окно. Унылый день.

В книжке одного англичанина, который знает все, что замышляется в научных лабораториях всего мира для блага человечества, я прочитал, что в обозримом будущем можно будет заживо заморозиться. Тебя поместят в специальный холодильник и в назначенное тобой

самим время вновь оттают. В такое серое утро очень хочется снять телефонную трубку и сказать: «Доктор, я хочу в лед».

— Хорошо, уважаемый, заходите сегодня днем.

Прежде чем заморозить, он спрашивает:

— А когда вы желаете снова вернуться к жизни?

— Ну, лет через двадцать.

Я подписываю квитанцию, на которой обозначен срок замораживания, потягиваюсь, успеваю подумать: «Однако как здесь дует» — и отчаливаю. В следующую минуту я думаю: «Как здесь мокро». Дело в том, что меня оттаивают. Я открываю глаза и вижу, как дождь стучит в окно. Унылый день 1989 года. Еще нетвердо держась на ногах, я вхожу в комнату, где полно народу. Женщину, которая первой приветствует меня, я узнаю. Моя дочь. Ей можно дать под пятьдесят.

— Вот, деточка, я снова здесь,— говорю я.— А где же твоя мать?

— Приняла пилюлю. Уже четыре года, как она в зимней спячке на чердаке.

— Ах да,— отвечаю я, вспомнив, что о такой возможности тоже говорилось в книге англичанина.— А твой муж и брат, они, конечно, на работе?

— Нет, мы работаем только два часа в неделю,— отвечает она.— Зато мы должны заниматься отдыхом и развлечениями. Для взрослых — по десять часов в день обязательно. Если пропустишь, строго наказывают. Нам не позволяют скучать.

— Понимаю,— замечаю я.— А теперь представь-ка меня тем четырем господам и молодой даме.

— Это твои внуки,— восклицает она.

Они подходят по очереди поздороваться со мной за руку.

— Поцелуи уже одиннадцать лет как запрещены,— говорит моя дочь.— Выяснилось, что через них можно подцепить желтуху.

Я откидываюсь в кресле.

Мой старший внук с окладистой бородой произносит:

— Дед, не трогай эти кнопки. Ты сидишь в кресле-катапульте для уик-эндов. Если нажмешь на верхнюю кнопку, улетишь в Париж. На вторую — в Нью-Йорк. На третью — в Москву. На четвертую...

— Ладно,— говорю я,— не буду трогать. А скажи, тот господин, который стоит в углу и поет, не переставая, это что, ваш знакомый?

— Нет, его транслируют из Бюссюма по трехмерному телевидению. Он стоит сейчас в шести миллионах гостиных, потому что чрезвычайно популярен. Тебе мешает?

— Да, я чувствую себя скованно с этим незнакомым парнем в комнате.

Мой внук нажимает кнопку, и певец изчезает.

Входит девушка с подносом, уставленным напитками. Красивая девушка, правда выглядит как-то стерильно. Все получают по стакану, а я нет.

— Девушка!— кричу я.

Но она выходит из комнаты.

— Что случилось, дед?— спрашивает моя внучка.

— Я тоже хотел глотнуть, но она мне не дала.

— Она не знает, что ты есть,— отвечает она.— Это наш робот, запрограммированный на день и ночь. А тебя нет на его перфоленте. Нужно вызвать монтера. Но я могу принести тебе. Хочешь есть?

— Да. Я двадцать лет ничего не держал во рту.

Она открывает коробочку и дает мне голубую таблетку.

— Это очень вкусный обед, хорошо сдобренный чесноком.

Я глотаю таблетку, и голод проходит.

—А телефон еще существует?— спрашиваю я.— Я хочу позвонить доктору.

Она нажимает на что-то, и я сразу же оказываюсь в его кабинете.

— Заморозьте меня снова. Навечно.

Перевод И. БРАТУСЯ

ШРИКАНТ ВАРМА

С хинди

Из цикла, посвященного памяти Индиры Ганди

Третий путь

Возмущенье в Магадхе —
не осталось в Магадхе правителей.
Те, кто были,
настолько погрязли в пороке, пьянстве и лени,
что они уже
недостойны
править
народом Магадхи.
И такое же возмущенье
в Аванти.
И в Кошале [1]
такое же возмущенье —
власть,
утратив достойный облик,
так погрязла в пороке, пьянстве и лени,
что ее мы
уже не можем считать
настоящей
властью.

Ну и что же нам делать?
Ведь не будет правителей —
не будет закона,
а не будет закона —
не будет порядка,
а не будет порядка —
не станет порядочности,

© Shrikant Varma,. 1984.

[1] Магадха, Аванти, Кошала — государства Северной Индии, располагавшиеся во второй половине 1-го тысячелетия до н. э. в бассейнах Ганги и Джамны. *(Здесь и далее прим. М. Салганик.)*

О жизни и творчестве Шриканта Вармы см. статью Е. Челышева «Шрикант Варма. Поэт. Политик. Гражданин», с. 168—171.

а не станет порядочности —
развалится общество,
а развалится общество —
не будет личности,
значит,
не будет нас!
Ну и что же нам делать?

Порвать законы?
Растоптать мораль?
Взорвать порядок?

Друзья,
пред нами есть два пути:
быть безнравственными,
при этом болтая
о нравственности,
совершать преступления,
прикрываясь фразами
о справедливости,
лгать в словах,
лгать в поступках,
лгать в жизни самой
или
во имя некоей высшей истины,
сохраняя достойный вид,
не обращать ни на что внимания,
да и зачем?—
ведь в конце концов
все мы
умрем...
Но можем ли мы
впустую
прожить
свои жизни,
друзья?

Нам только до Чампы [1]

Эта дорога только до Чампы.
И если вам нужно в другое место,
то туда ведет другая дорога.
А лично мы, отправляясь в Чампу,
не задаем никому вопросов:
до Чампы, нет ли эта дорога?

Тому, кто знает дорогу в Чампу,
нет никакой нужды узнавать
ни о том, где находится эта Чампа,
ни о том, как доехать до этой Чампы,
ни о том, а что она, Чампа, такое,
и, конечно же, не о том, что, по слухам,
Чампа теперь уже вроде не Чампа.

Эта дорога только до Чампы.

[1] Чампа — столица государства Анга (VI в. до н. э.), располагавшегося на территории современного Бихара.

Всадник

Всадник,
который скачет в Калингу [1],
разве он не из Калинги скачет?

Что говорят о всаднике люди?
Повезло ему
или нет?
Ждут его жены
домой с победой?
Или же
он потерпел пораженье?
Что происходит,
ответьте!

Всадник,
ты на каком пути?

Каннаудж [2]

Братья и сестры, куда вы, куда?
Мы все
на пути в Каннаудж.
Мы все туда,
потому что нам всем
необходимо в Каннаудж.

Кто никуда не едет,
тот на пути в Каннаудж.
Тот, кто едет куда-нибудь,
тоже едет в Каннаудж.

Кому Каннаудж нравится,
тот на пути в Каннаудж.
Кому Каннаудж не нравится,
все-таки едет в Каннаудж.

Кто о Каннаудже знает все,
тот на пути в Каннаудж...
Но позвольте:
а кто не слыхал о Каннаудже,
он тоже
едет в Каннаудж?!

Так кто же не на пути в Каннаудж?

---

[1] Калинга — древнее государство в Восточной Индии. Около 260 г. до н. э. Калинга была завоевана императором Ашокой.

[2] Каннаудж — государство и город в долине Ганги, возвысившиеся в VII в. н. э.

Город Капилавасту [1]

Капилавасту днем слепит глаза,
а ночью
во дворцах безмолвно тонет.

И путник,
замерев от удивленья,
глядит с восторгом
на Капилавасту.

И женщины,
которым снится вечность,
вдруг вздрагивают,
обрывая сон.

В Капилавасту нету стариков,
а есть лишь страх пред старостью.
И только.

И все,
в ком этот страх холодный тлеет,
пытаются остаться молодыми.

Прошло в Капилавасту столько дней!
Нисколько
не прошло.

Республика Кошала

Кошала — республика, которую я придумал.
В Кошале живут несчастливые люди,
ибо не может быть счастлив народ
в выдуманной республике.

Граждане этой республики
целыми днями играют в разные игры.
А кто не играет,
тот дремлет.

Граждане этой республики
целыми днями о чем-то мечтают.
А кто не мечтает,
тот дремлет.

Граждане этой республики
целыми днями в плохом настроении.
А у кого настроенье хорошее,
тот дремлет.

Граждане этой республики
не устают восторгаться прошлым Кошала.
А тот, кто уже устал восторгаться,
дремлет.

Кошала — республика, которую я придумал.

[1] Город, в котором родился Будда (623—544 гг. до н. э.).

■ ■ ■

Захотел бы — смог уберечься.
Впрочем, как бы я смог уберечься?
Кто бережется —
не пишет.

Сначала я в гневе все отрицал,
потом голосил истошно.
Захотел бы — и застонал.
Впрочем, как бы я смог застонать?
Кто стонет —
не ищет выхода.

Самобичеваньем не было это,
не было мученичеством
или карой.
Так что ж это было тогда?

Захотел бы — свалил вину на других.
Впрочем, как бы я смог это сделать?
Ведь тот, кто валит вину на других,
не пишет.

Тень

Только теперь я понял:
то,
что тогда находилось рядом со мною,
не было тенью.

Я затопал —
она застонала.
Я позвал —
она огрызнулась.
Я ударил —
отпрянула
в страхе.
Приказал:
— отстань! —
замерла.

Я занял место
в высоком собрании —
тихо
рядом села она.

Собрание,
закончив дела,
расходилось степенно...
Но то,
что осталось рядом со мною,
не было тенью!

Перевод РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Как все

Как я себя вел,
когда все
кричали
в победном раже?
Я с ними кричал —
боялся,
как все.

Как я себя вел,
когда
отовсюду неслось:
«Мусульманин Азиз — это враг!»
В многоголосье
был слышен истошный мой крик:
«Мусульманин Азиз — это враг!»

Как я себя вел,
когда все говорили с оглядкой:
«Не лучше ль молчать?»
И я повторял:
«Говори, что все говорят.
Об остальном —
молчи!»

Откричались.
Убили Азиза.
Прикусили язык.

А теперь, удивляясь,
все говорят друг другу:
«Как это случилось?»
И я повторяю за всеми
те же слова.

Бабур[1] и Самарканд

Бабур на пути в Самарканд,
Самарканд на пути Бабура.

Взглянув на воинов хмуро,
он спросил раз десять подряд:
«Далеко ли еще Самарканд?»
Но никто не ответил Бабуру.

Солнце жгучее над го́ловой.
Разрастается облако пыли.
К Самарканду дорогу забыли.
И Бабур оттого сам не свой —
разозлен, раздосадован крайне.
Слышно громкое конское ржанье.
Остановка в пути. Водопой.

[1] Бабур Захиреддин Мухаммед (1483—1530) — полководец, поэт, основатель государства Великих Моголов (1526 г.). Родился в Фергане, неоднократно завоевывал Самарканд, свое родовое владение, и всякий раз терял его. *(Прим. А. Сенкевича.)*

Вдруг толпа. В ней тревожно галдят,
слух прошел о бабуровом войске.
Но спросил император по-свойски:
«Где, друзья, наш родной Самарканд?»
Из толпы на него не глядят,
все уставились в землю понуро,
без ответа оставив Бабура,
и Бабур этой встрече не рад.

Вот спадает полуденный зной,
«Эй, смотрите! Смотрите! Что это?—
закричал вдруг Бабур.— Минареты!
Самарканд наконец предо мной!»
Но был возглас его невпопад.
И к словам он прислушался мудрым:
«Самарканд вы проехали утром,
а теперь возвращайтесь назад!»

Самарканд на пути Бабура,
Бабур на пути в Самарканд.

Заря

Смотрит вдаль новобрачная,
разбросав по туманным плечам золотистые пряди.
Вот так же ранним утром
появляется, словно очнувшись от сна,
стихотворение.

Перевод АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

От составителя

Нам, воспитанным в иной культурной традиции, необходимо сделать умственное усилие, чтобы понять историческое мышление такой страны, как Индия. И потому, что история ее так долго длится — развитие индийской культуры не прерывалось ни разу за пять тысячелетий,— и еще потому, что в индийской традиции отсутствует «глубь веков»: прошлое в Индии как бы проецируется на плоский экран. Оно видится таким же четким, что и настоящее, оно лишь оттеснено из центра, смещено к периферии. Вот почему в народном сознании так живы и активны герои прошлого, все равно — подлинные ли исторические личности или мифологические персонажи.

В языке не бывает случайного: на хинди — и на многих других индийских языках — одно и то же слово означает «вчера» и «завтра». А соединяет их нынешний день: «вчера-сегодня-завтра» в дословном переводе с хинди.

В «Открытии Индии» Неру писал: «Корни настоящего уходят в прошлое, поэтому я и отправился открывать прошлое, постоянно в нем ища ключ к пониманию сегодняшнего дня...»

Шрикант Варма, поэт остросовременного мышления, очень часто превращает свои стихи «в машину времени», совершая путешествия в различные исторические эпохи: то в Самарканд, не дающийся в руки Бабуру, то в места, связанные с жизнью Будды, то в древние государства времен, когда создавались Веды.

Магадха, Аванти, Кошала — в VI веке до нашей эры это были могущественные государства, с которыми индийская традиция связывает множество преданий и легенд. Особенно популярна Кошала и ее блистательная столица Айодхья, они известны в Индии и детям — Кошалой правил легендарный герой прославленной «Рамаяны» —Рама, чье имя и сегодня символизирует справедливое общественное устройство. Когда Махатме Ганди нужно было объяснить темной деревенской Индии, что такое демократия,

принципами которой будет жить страна после освобождения, он пользовался выражением «рамраджья» — правление Рамы.

В Индии сегодня отношение к прошлому выявляет политическую позицию. Безудержное восхваление прошлого, попытки доказать превосходство индусской традиции надо всем, что создало человечество, претензии на некую особую, провиденциальную роль Индии в судьбах мира — идейная платформа правых сил, откровенно шовинистического толка. В последнее время индусский шовинизм получил дополнительный стимул, когда западная мода на «быстрорастворимую нирвану» привела к появлению самых невообразимых «гуру», занявшихся экспортом индийской духовности в предельно упрощенном, готовом к употреблению виде.

Для Шриканта Вармы прошлое его страны — это часть генетического кода Индии, а значит, и часть его собственной наследственности. Исторические реалии, мифологические метафоры свободно и естественно — как в индийском быту — соседствуют в стихах Шриканта Вармы с образами, выхваченными из сегодняшней круговерти, подсказанными последними известиями: Шрикант Варма из профессиональной журналистики ушел, но вкуса к ней не потерял.

Обращаясь к истории, Шрикант Варма — особенно в стихах последних лет — откровенно и страстно полемизирует с апологетикой прошлого, с противопоставлениями опоэтизированной древности прозе сегодняшнего дня. «Кошала,— утверждает Варма,— республика, которую я придумал», и «не может быть счастлив народ в выдуманной республике».

Шрикант Варма категорически отказывается путешествовать «только до Чампы», идти путем, который все время ведет вспять. Он отказывается верить, будто был когда-то в Индии «золотой век» всеобщего благоденствия и мира, будто существовали в истории идеальные социальные системы. «В пороках, пьянстве и лени» погрязли правители Магадхи, Аванти и Кошалы — и в те времена мучился человек вопросом: способен ли он противостоять злу, или ему лучше смириться, уйти от борьбы.

Истолковывать смысл стихов — занятие неблагодарное, особенно хороших стихов, которые все равно каждому читателю говорят свое. Но что поделаешь, если у Шриканта Вармы много стихов, которые нам непонятны без исторического, без культурного фона?

«Каннаудж», например.

В VII веке Каннауджем правил Харша — поэт и драматург, меценат и покровитель искусств, который превратил свою столицу в прославленный культурный центр. А для Шриканта Вармы культурная традиция Индии есть основа единства его многоязыкой, многоликой страны, поэтому и становится в его стихах Каннаудж метафорой этой неумирающей традиции. И как едина — в своем ошеломляющем многообразии — современная Индия, так же неделима для Шриканта Вармы ее великая культура. Вся она целиком, его владение — от Ашоки, распространившего по Азии буддизм, до Бабура, основавшего мусульманскую династию Великих Моголов.

...Император Ашока в кровопролитной битве нанес поражение войску соседней Калинги, но, ужаснувшись содеянному, дал клятву никогда не прибегать к насилию. Один из эдиктов Ашоки гласит: «Это писано затем, чтобы и сыновья мои, и внуки не думали, будто долг правителя есть завоевание. Если же придется им взяться за оружие, да не забудут они, что побеждает только правда...»

И вот скачет всадник в стихотворении Шриканта Вармы — в Калингу ли? Или из Калинги? Не обращается ли победа поражением?

Шрикант Варма не просто размышляет вслух над проблемами общего и особенного в культуре Индии, над связью культур и связью времен. Поставленные им вопросы касаются жизни миллионов людей, которые и призваны найти на них ответы. Поэт же видит смысл своих стихов в том, чтобы заставить читателя серьезно задуматься.

М. САЛГАНИК

Критика

ИШТВАН КИРАЙ

ЛИТЕРАТУРА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Десять лет тому назад, к 30-й годовщине освобождения нашей родины, вышел первый номер «Советской литературы» на венгерском языке. И каким бы коротким ни был десятилетний срок, все же он дает повод оглянуться и оценить, как сумел журнал решить свою двуединую задачу: способствовать углублению венгеро-советской дружбы и дальнейшему расцвету социалистической культуры Венгрии. Подробно остановлюсь лишь на публикации художественной прозы как важнейшей части нашей работы.

При отборе произведений редакция, конечно, исходила из принципа новизны книги, присущего всем журналам. Но не только. Еще важнее была для нас оценка ее художественного качества. Ведь когда идет речь о литературном произведении, события в котором происходят в незнакомой среде, воздействие его на читательское воображение лишено весьма важного фактора узнаваемости. И в этом случае — более чем в любом другом — по-настоящему тронуть душу и разум читателя может лишь книга истинно талантливая, только такая книга преодолеет водораздел незнакомых имен и иных проблем. Мы стремились к тому, чтобы ни одно новое, живое, интересное творение советской литературы не прошло мимо внимания журнала и чтобы — отдаем себе отчет в невероятной сложности подобной задачи — будущие историки литературы имели как можно меньше поводов упрекнуть нас за серьезные упущения. Лелеем надежду, что благодаря тщательной, вдумчивой работе московской редакции и будапештской редакционной коллегии нам удалось в какой-то мере осуществить эту задачу. Список публикаций нашего журнала, как нам кажется, соответствует каталогу лучших произведений советской литературы последнего десятилетия, если бы он кем-нибудь был составлен.

Наряду с авторами современной прозы и поэзии мы уделяли большое внимание и классикам русской и советской литературы. Многим из них — Гоголю, Тургеневу, Достоевскому, Льву Толстому, Чехову, Алексею Толстому, Маяковскому, Блоку, Шолохову — посвящены специальные номера. Это не только дань уважения памяти мастеров. Специальные выпуски журнала рассказывали о том, как в современной советской литературе живут и питают ее классические традиции.

Еще одним существенным принципом, которым мы руководствовались, было стремление к разнообразию. Желая представить как можно более полно картину создаваемой почти на восьмидесяти языках народов СССР советской литературы, мы подготовили отдельные номера, посвященные некоторым национальным

ИШТВАН КИРАЙ — KIRÁLY ISTVÁN (род. в 1921 г.)

Венгерский литературовед, академик, лауреат Государственной премии и премии имени Кошута, профессор Будапештского университета имени Лоранда Этвеша. Автор монографий о классиках венгерской литературы Кальмане Миксате и Эндре Ади. В СССР печатались его научные работы и публицистические статьи. С 1975 г. является главным редактором венгерского издания журнала «Советская литература».

Публикуемая статья получена в рукописи.

литературам СССР: белорусской, дагестанской, финно-угорской, грузинской, латвийской, литовской, узбекской и другим. Демонстрируя этнически языковое богатство советской литературы, эти номера явились также зеркалом национальной политики Советского Союза: такими потрясающими художественными признаниями, как «Мой Дагестан» Гамзатова или «Семь песен об Армении» Эмина, они подтверждали, как тесно сплавились в литературах народов СССР любовь к отчему краю с любовью ко всей необъятной, многонациональной родине, насколько равно близки для советских людей понятия патриотизм и интернационализм.

И наконец, но не в последнюю очередь, важным для нас принципом являлось внимательное отношение к интересам читателей. Ведь фактом отечественной культуры переводное произведение может стать лишь в том случае, если оно помогает найти ответы на вопросы, волнующие их и их страну. Публикуя советскую литературу, мы, несомненно, содействовали и дальнейшему формированию венгерской социалистической культуры. Первая в мире и поныне самая зрелая социалистическая литература — советская — развивается под знаком неувядающих идейно-эстетических ценностей: реализма, партийности и народности. И знакомство с лучшими ее достижениями не может не влиять самым благотворным образом на аналогичные писательские устремления, которые выкристаллизовались на протяжении нескольких десятилетий существования нашей собственной социалистической литературы.

Советская литература реалистична, поскольку прослеживает человеческую жизнь не только в координатах личной судьбы, не только в пределах от рождения до смерти, но и сквозь призму социальности. Она представляет судьбу человека и в конкретных жизненных взаимосвязях, и в историческом ракурсе. Показывая человека — сына природы, она изучает его и как продукт общества.

Другим важнейшим признаком этой литературы является ее народный характер. Ей свойствен демократизм выбора героев и в то же время — взгляд в будущее с высоты коммунистической партийности. Именно она по-прежнему несет людям прометеев огонь «солнечной мысли», показывает идеал самоотверженного народного героя, для которого главное дело — труд, преобразующий жизнь. Советская литература неизменно следует завету Горького: Человек — это звучит гордо. Это литература, которая всегда была оптимистической в основе своей, всегда призывала к активной жизненной позиции.

Сегодня эта литература, помимо всего сказанного, помогает разобраться и в нынешнем сложном периоде социалистического развития, в наших буднях.

Поскольку восприятие художественного произведения всегда эмоционально окрашено и, следовательно, в значительной мере субъективно, то и мои рассуждения — волей-неволей — выльются в форму личного признания.

Во второй половине 60-х годов — с наступлением периода консолидации, последовавшего за разгромом контрреволюции,— время поставило перед венгерским обществом новые вопросы. Стало очевидным, что, если исповедовать историко-философский оптимизм слепо и бездумно, его не так просто соотнести с реальным продвижением общества вперед, как то казалось многим из нас в молодости. Что развитие всегда диалектично, то есть сопряжено с перепадами, порой тяжелыми, с противоречиями, изломами, что оно происходит не автоматически, само по себе, а через необходимость выбора позиции и принятия решений в каждом конкретном случае, и, следовательно, путь его может быть долог и утомителен, это исторический закон. Но для большинства из нас личным убеждением это по-настоящему стало лишь тогда, во второй половине 60-х.

Политическое руководство нашей страны искало решения вставших в ту пору проблем на пути экономических реформ и развития социалистической демократии. Но было совершенно очевидно: успеха здесь можно добиться только при условии, что параллельно с этим будет вестись большая идеологическая работа, которая должна способствовать сознательному усвоению людьми новых форм поведения. Конечно, для осуществления экономической реформы и развития социалистической демократии нужен соответствующий научно-технический потенциал и институты управления. Но в первую очередь для этого нужны подготовленные люди: дерзновенные мыслью, деятельные социалистические личности, неотъемлемой особенностью поведения которых являются духовная независимость и верность избранной позиции. В поисках образцов я обратился к литературе и искусству. И наряду с книгами венгерских писателей и кинофильмами 60-х годов помощь обрел прежде всего в новых произведениях советской литературы.

Во-первых, в поэзии — в стихах Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Е. Винокурова и других поэтов. А затем и в прозе. Всю литературу того периода пронизывала глубокая мысль, сформулированная где-то Ф. Абрамовым, мысль о том, что наиболее ненавистный образ мышления — это «мы ничего не можем, мы тут ни при чем». И я понял сам, что важнейшей общественной задачей в наши дни является активизация каждого, кто погрузился в мир апатии, равнодушия, маловерия.

Я чувствовал, что эта же задача актуальна и у нас на родине: усилить в людях ощущение того, что «это зависит и от меня», что «это зависит и от нас», повысить чувство ответственности, пробудить каждого осознать себя как личность. Не в последнюю очередь чтобы содействовать решению этой задачи, с радостью взялся я за редактирование венгерского издания «Советской литературы». Я надеялся, что

этот журнал поможет формированию человека новой эпохи, личности нового типа — социалистической личности. И произведения, опубликованные в «Советской литературе» за десять лет существования журнала, оправдали, мне кажется, эту надежду.

Если даже ограничить себя рассмотрением прозы, очевидно, что в опубликованных произведениях на переднем плане — проблемы личности, решаемые с привлечением огромного разнообразия художественных средств,— в жанре философского романа и в утонченно-психологической прозе, в современной стилистике письма с использованием мифологических параллелей и в традиционной повествовательной манере. Похоже, что на смену склонным более к действию, нежели к размышлению героям ранних периодов развития советской литературы сейчас приходит персонаж, одержимый раздумьями. Бондарев, к примеру, подчеркивал, что ему симпатичны такие герои, для которых основа жизни — мышление. Как и у нас, в советской литературе личность ищет ответа на кардинальный вопрос бытия: «Как же следует жить?» И наш журнал опубликованными в нем произведениями способствовал, надеюсь, тому, чтобы, решая его, венгры не попадали в плен буржуазных философских концепций личности и в поисках ответа исходили бы не из изолированного «я» изолированного человека, а из позиции человека, живущего в обществе и неизбежно связанного с ним тысячью нитей, «общественного человека».

Из произведений, опубликованных в нашем журнале, встает идеал личности, в котором великие традиции русской классической литературы оплодотворены гуманистическим смыслом социалистической революции. Его суть определяют не выдуманные Хейдеггером онтологические категории Страха, заброшенности, границы смерти, но (в соответствии с общественной природой этого идеала) активная общественная позиция и сознательный труд. Главный герой советской литературы — трудящийся человек, народ. В этой литературе народны не только стилистика и идейное содержание, но и этика (точно так же, как и в лучших произведениях венгерской литературы недавнего прошлого — достаточно назвать имена Дюлы Ийеша, Ласло Немета, Петера Вереша, Йожефа Дарваша, Ласло Надя, Иштвана Шимона, Михая Ваци). Это существенный момент в формировании идеала человека в искусстве.

Фактор народности, созвучный образу мыслей венгров, живущих в социалистическом обществе, сыграл немаловажную роль в пробуждении интереса нашего читателя к тому направлению, которое советская критика условно именует «деревенской прозой». Мы считаем заслугой своего журнала то, что венгерской читающей публике впервые стали знакомы имена таких писателей, как Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, Е. Носов, В. Распутин, В. Шукшин, а также имена Ч. Айтматова, М. Алексеева, Г. Троепольского, С. Залыгина, «родственных» им не столько тематикой, сколько пафосом своих произведений. Эти разные писательские индивидуальности с их неповторимыми творческими манерами объединяет подход к изображению личности, общая мораль, этическая задача. Для всех этих писателей характерно стремление создать образ человека, который наследует и аккумулирует в себе лучшие нравственные традиции народа, передаваемые из поколения в поколение: трудолюбие, моральную чистоту, порядочность.

Именно поэтому никого не вводит в заблуждение термин «деревенская проза». В процессе современного социально-экономического развития число людей, занятых сельскохозяйственным трудом, сокращается. Деревня приобретает признаки города. И это в порядке вещей. Однако не могут исчезнуть непреходящие моральные ценности, носителем которых является народ. Трудовое крестьянство (говоря словами Жигмонда Морица, «честная беднота») утверждало их на протяжении веков и передавало в наследство другим трудящимся классам в качестве живых, подлинных, обязывающих нравственных традиций. Не может исчезнуть нравственность народа, рожденная в глубинах истории. Незадолго до смерти В. Шукшин (венгерское издание «Советской литературы») опубликовало его новеллы в первом номере) писал, что народ на протяжении своей истории впитал в себя, сберег и поднял до ранга высокого уважения такие человеческие качества, которые навечно сохранят свою ценность: честность, трудолюбие, доброту, совестливость.

Органической частью нашей коммунистической морали является это вековое наследие, внутренне поддерживающее личность: нравственный опыт народа.

Требование гуманности, основанной на твердом и конкретном нравственном содержании, дает жизнь и «городской прозе» (определение тоже условное) Ю. Трифонова, Д. Гранина или И. Грековой, военным романам В. Быкова, произведениям Ю. Бондарева, сибирской семейной эпопее Г. Маркова, «производственным драмам» А. Гельмана и И. Дворецкого, в которых производство — дело чести и нравственности.

Эта особенность современной советской литературы — стремление к формулированию концепции социалистической личности на основе многовекового национального и общечеловеческого нравственного опыта — может, вероятно, объяснить ту большую роль, какую играют в поэтике современной прозы воспоминания. Иногда на них основывается вся образная система произведения («И дольше века длится день» Ч. Айтматова, «Прощание с Матёрой» В. Распутина или «Старик» Ю. Трифонова). Иногда они выступают как жанрообразующий фактор (политико-публицистический роман А. Чаковского, документальная драма типа шатровской или такое произведение, как «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина).

Это не воспоминания ради воспоминаний, это форма общественного бытия: прошлое — нравственная основа жизни. Оно заставляет нас помнить, что мы живем не в одиночестве, что мы ответственны перед теми, кто шел раньше нас. Забвение нами своего прошлого свело бы на нет их жизнь, их труд. Потому что, как писал Ю. Трифонов, каждый индивид — это нить, связывающая поколения. Прошлое обязывает. Именно поэтому личность, сохраняющая человеческое достоинство, никогда не живет только сегодняшним днем, никогда не забывает о своем предназначении. Обращаясь к запоминающемуся народному, мифологическому образу из романа Ч. Айтматова, человек не должен, не может быть манкуртом. Ибо, как сказано в другом произведении советской литературы, в романе Е. Евтушенко, то, что не имеет под собой корней, легко гниет. Поэтому «гниет», превращаясь в животное, например, герой «Живи и помни» В. Распутина — Гуськов. И не случайно оборваны все связи с прошлым у персонажей «Карателей» А. Адамовича: забвение и преступление. Настоящий человек всегда живет нравственной памятью. Только тогда он может быть личностью, способной при любых обстоятельствах сохранить собственное достоинство.

Показ такой личности составляет, по моему мнению, одно из величайших завоеваний сегодняшней советской литературы. И важнейшую функцию нашего журнала я вижу в том, чтобы внедрять этот идеал в сознание и венгерской общественности.

В произведениях, опубликованных в нашем журнале, появились и герои, которые — эта мысль определила название одного из романов Ю. Бондарева — знают, что жизнь есть выбор. И человек ответствен за свой выбор, поскольку у него, как сказано у В. Быкова в «Его батальоне», есть то, над чем не властна случайность: это его человечность.

Может быть, именно поэтому обостренные ситуации, понуждающие к принятию решения, занимают во многих произведениях современной прозы столь большое место. Вспомним хотя бы роман Н. Думбадзе «Закон вечности». Думаю, не в последнюю очередь поэтому в советской литературе постоянно присутствует тема войны. Как писал В. Быков, там нужно было решать вопросы жизни и смерти. И в принятии решения раскрывалась вся нравственная сущность человека.

Но иногда перед героем встает выбор, за который, он знает, с него никогда не спросят ни общество, ни закон. Однако подобно учителю из повести В. Тендрякова «Расплата», он знает и то, что сохранить человеческое достоинство сможет, лишь сделав этот выбор в пользу судьи гораздо более строгого, чем даже долг и обязанность,— в пользу совести. Это становится нравственным законом, который несет в себе такой герой и который сообщает ему два важнейших качества: нравственный максимализм по отношению к себе и отзывчивость, понимание, терпимость по отношению к окружающим. Нравственный максимализм свойствен большинству героев новых произведений советской литературы. Как для «странных людей» В. Шукшина, для них характерно стремление вырваться из повседневности будней, тоска по идеалу, вечная жажда праздника. Им противна бесцельная, бессмысленная жизнь, чисто потребительское существование. Как Майя из «Затмения» Тендрякова, они не чувствуют себя уютно в хорошо обставленной, комфортабельной квартире, если в ней отсутствуют наполненная содержанием жизнь, осмысленная человечность. Им чуждо душное, заглатывающее, лишенное нравственного воздуха пространство. Они отвергают не завоевания цивилизации, а пустое потребительское отношение к ним, закоснелое существование на уровне примитивных потребностей. Они стремятся к вершинам духа и мысли. (Быть может, именно поэтому, словно символический мотив, так часто появляются в таких произведениях птицы и горы.) Как делал это в венгерской литературе Ласло Немет, многие советские писатели стараются вынести на поверхность таящуюся в каждом сокровенную суть человеческой природы.

Однако современный герой советской литературы — отнюдь не отрешенный, абстрактно мыслящий, идеализированный образ. Он живет в настоящем, он чувствует ответственность за сегодняшний и завтрашний день. Это определяет его отношение к окружающей среде, к живущим рядом людям. Кстати, именно поэтому в советской литературе так существенна тема подхода к природе: не борьба с ней, а защита, заботливое сосуществование. Не только название романа Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» звучит как образный наказ. У В. Астафьева в «Царь-рыбе», у С. Залыгина в «Комиссии», у других советских писателей взаимосвязь человека с природой рассматривается как вопрос морали. Отношением к природе проверяются нравственность, чувство ответственности перед потомками и, с другой стороны,— безнравственность (отсутствие этого чувства, ни с чем не считающийся эгоизм).

Однако авторы таких книг стремятся не только к защите окружающей среды, с такой же силой они ратуют за доброжелательство по отношению к человеческой среде, нас окружающей, за внимание и заботу к людям. Вспомним повесть В. Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы»: не только цель должна быть важной для человека, но и то, *как* ее достичь. Необходимо, чтобы в сердце жили как «закон вечности» любовь и понимание. Без души, конечно, легче, укоризненно говорит Дарья из «Матёры» Распутина. Но без души человек — не человек. Поэтому нужно, чтобы всегда доставало времени на эту «работу»: на сочувственное внимание к человеку, на «роскошь» доброты.

Идеал личности, воплощенный не только в герое-борце, но и в подвижнике человеколюбия,— потребность сегодняшнего дня. Он соответствует эпохе, в которой мир — не просто юридически-правовое сос-

тояние, но насущный моральный вопрос. Ведь вышедшее в космос человечество, если оно не несет в себе нравственной ответственности, может себя уничтожить.

Образ личности, осознающей свою персональную ответственность перед обществом, наделенной высокой нравственной требовательностью и пониманием,— социалистической личности — составляет, по моему мнению, один из важнейших опознавательных признаков современной советской литературы. Она провозглашает мерилом человеческого прогресса не технико-экономическое продвижение вперед само по себе, а технический прогресс, идущий параллельно с формированием нового, духовно более совершенного человека. Как сказал Ч. Айтматов, повзрослевшее человечество XX века должно и в моральном отношении идти в ногу с тем, что создается его разумом и руками.

Нравственная зрелость, являющаяся великой традицией классической русской литературы, высокие этические критерии, стремление к гуманизму делают, по моему мнению, современную советскую литературу подлинно социалистической — литературой общечеловеческого воздействия, а потому по-настоящему жизнеспособной и у нас на родине. Она помогает тем, кто, и захлестнутый равнодушием будней, не хотел бы забывать заветные ценности социализма, тем, кто желает смотреть ввысь. Она проповедует единственно достойную человека идею мира, ответственности за жизнь на Земле. И если опубликованные в нашем журнале произведения смогли вселить эти благородные стремления хотя бы в несколько сердец, работа минувших десяти лет не была напрасной. Мы публиковали произведения советских авторов, но всецело служили продвижению вперед социализма в Венгрии.

Перевод с венгерского О. ГРОМОВА

◆

Е. ЧЕЛЫШЕВ

ШРИКАНТ ВАРМА. ТРАДИЦИИ И ПОИСКИ

Извилисты и противоречивы пути развития литературы в современной Индии. Подъемы и спады, приобретения и потери, зарождающееся и умирающее, архаичное и ультрасовременное — все это сплетается в сложной динамике общественно-политической, культурной, духовной жизни страны. Подобно разноцветной радуге с плавно переходящими одна в другую красками в индийской литературе сосуществуют в постоянном противоборстве и взаимопроникновении различные течения и направления, между которыми порой бывает весьма трудно провести водораздел, так как они сливаются даже в творчестве одного и того же писателя. Постоянные поиски новых форм художественного изображения действительности, на наш взгляд, дают основания ожидать от писателей достижения новых высот. «Мы с удовлетворением должны отметить,— пишет Намвар Сингх,— что литература хинди в независимой Индии, как и вся индийская литература, развивается в соответствии с нашими великими традициями. Нет сомнений, она добьется успехов в наведении пока еще не очень крепких мостов, соединяющих ее с мировой литературой».

Как бы продолжая эту мысль, мы хотели бы обратиться к творчеству Шриканта Вармы. Это интересное явление в современной литературе хинди.

Шрикант Варма родился 18 сентября 1931 года в Биласпуре — небольшом провинциальном городе штата Мадхья-Прадеш, в семье, связанной с традиционной культурой. Большую роль в его воспитании сыграла бабушка, которая, подобно пушкинской няне или горьковской бабушке, раскрыла перед будущим поэтом волшебный мир созданных народной фантазией легенд, преданий и мифов, привила ему любовь и уважение к народным культурным традициям. С детства Шриканта привлекали героические характеры, он восхищался деятельностью казненного англичанами Бхагата Сингха, бывшего в свое время кумиром революционно настроенной молодежи. В то же время воображение Вармы захватывает красота природы родного края. В общении с нею пробуждается его поэтическое дарование. Он учится в биласпурской английской школе, затем — в христианском колледже в Аллахабаде. Однако больше чем к школьным товарищам — благовоспитанным детям из англизированных семей — его влечет к компании мальчишек с улицы, где он, как правило, верховодит.

С раннего детства он приобщается к чтению, любимыми писателями его становятся великие индийские реалисты Премчанд и Шоротчондро Чоттопаддхай. По окончании колледжа Шрикант едет в Нагпур, работает школьным учителем, занимается журналистикой, перебивается случайными заработками, убеждаясь на собственном опыте, как трудно юноше из малообеспеченной семьи найти место в капиталистическом мире, равнодушном к судьбе человека. Он не может привыкнуть к жизни в большом городе, испытывает чувство одиночества, все время вспоминает милый его сердцу провинциальный городок, тоскует по деревенской природе. Видимо, эти чувства и пробуждают в нем интерес к ранней поэзии выдающихся поэтов хинди Сурьяканта Трипатхи Ниралы и Сумитранандана Панта — родоначальников лирико-романтической школы «чхаваяда». В значительной степени под их влиянием в конце 40-х годов Шрикант начинает писать и создает цикл стихотворений, составивших позднее сборник «Блуждающее облако» (1955).

Однако его занятия литературой не были положительно оценены индийской критикой, главным образом потому, что после первых лирико-романтических стихотворе-

ний Шрикант Варма обращается к стилю так называемой «новой поэзии», которая, несмотря на всю свою пестроту, в целом выражала мир чувств и переживаний человека, явившегося жертвой современного буржуазного общества. Острое разочарование, утраченные иллюзии, рухнувшие надежды, невыносимые муки человека в жестоком, равнодушном мире нашли свое отражение в его программном стихотворении «Лихорадочная поэма» (1963), которое привлекло к поэту внимание читателей и критики. Исчезает вера в какие бы то ни было духовные ценности и идеалы, в возможность изменения окружающей действительности, в силу и действенность поэтического слова. «Пробил час. Я банкрот. Я избавлен теперь от потерь... Я банкир пустоты... Что еще мне терять?.. А народ, как табун, сбился в кучу и внемлет поэту. Что скажу я ему со своих опустевших небес» [1].

Поэтическая подборка 1971 года в «ИЛ» открывалась стихами Саччидананда Хирананда Ватсайяна, известного под псевдонимом Агьея — основоположника так называемого «экспериментализма» — авангардистского течения в поэзии хинди, основанного на субъективистской эстетике. Этому известному индийскому литератору удалось увлечь многих молодых, талантливых, весьма разных по творческому почерку поэтов, резко протестующих против недостатков окружающей их социальной жизни, ищущих новых путей в литературе, выдвинутой им широковещательной программой, призывавшей к обновлению литературы, к эксперименту, к поискам новых форм и средств художественной выразительности. Однако субъективистская эстетика «экспериментализма» не могла удовлетворить Шриканта Варму. Он пишет: «Нельзя молчать о своих личных переживаниях и страданиях, подавлять их в себе, но нельзя и только лишь им уделять все внимание. Красота отдельной розы может быть по-настоящему оценена лишь в общем цветнике».

Чутко прислушивается поэт к голосу времени, улавливает в нем ноты, созвучные его собственным настроениям, ищет собственные новые пути в литературе. Его уже не устраивает ни выспренность лирико-романтической поэзии «чхаявада», ни риторичность лозунговых стихов ряда так называемых поэтов-«прогрессистов», ни элитарность и экзистенциализм поэзии «экспериментализтов». «В произведениях, основанных либо на прославлении свободы и ответственности, либо на увлечении субъективистскими идеями, невозможно отразить существующую в жизни красоту, любви и веры,— пишет он.— Сколько повсюду грубости, ненависти, глупости, пошлости, безверия, анархии... Все это лишь реальность, но не правда жизни. Взгляд писателя должен быть достаточно зорким для того, чтобы, преодолев эту «реальность», открыть в окружающем мире истинные ценности и воплотить их в литературе, утверждающей гуманистические идеалы. Если писатель не может этого добиться, то лишаются всякого смысла разговоры о «поисках путей», «поисках ценностей», «поисках личности».

Важное значение в жизни и поэтической судьбе Шриканта Вармы имело его знакомство в 1953 году с Гаджананом Мадхавом Муктибодхом, выросшее в большую дружбу. «Сначала меня привлекла поэзия Муктибодха,— пишет Ш. Варма,— а после того как я близко познакомился с ним, меня покорила его личность, в душу проник ослепительный свет, который так щедро излучал этот удивительный человек». Он помог Ш. Варме, как и многим другим индийским писателям, найти свое место в литературе, был первым, кто прочел его стихотворения и поддержал смелые эксперименты.

Уроки этого замечательного поэта-новатора, умершего в 1964 году в возрасте 47 лет в нищете, становятся особенно важными для тех литераторов, кому действительность кажется беспросветным мраком, кто подлинно художественной считает лишь литературу, изображающую жизнь в одних черных красках, а человека — как жертву, обреченную на постоянные страдания в жестоком, несправедливом мире. Попытки же найти выход из тупика, преодолеть настроения безнадежности, безысходности такие литераторы объявляют несостоятельными, изменой жизненной правде, беспочвенной фантазией. В трагических произведениях Муктибодха, в предельно обнаженной форме изображающих страдания человека — жертвы социальной несправедливости, звучит тем не менее голос надежды

Неудовлетворенность результатами достигнутой независимости, все более сказывающиеся в жизни Индии капиталистические противоречия, увеличивающийся разрыв между богатством и бедностью, обострение борьбы демократических сил общества против реакции и неоколониализма — все это становится содержанием творчества Ш. Вармы. Однако в отличие от поэтов, которые изображают действительность лишь в мрачных тонах, Ш. Варма стремится обнаружить в ней ростки нового, увидеть силы, способные проложить дорогу к лучшей жизни.

Особенность поэзии Ш. Вармы заключается в том, что, не стремясь, казалось бы, к обобщениям, не делая определенных выводов, рассматривая окружающий мир сквозь призму сугубо личного восприятия событий, он добивается особой достоверности изображения и остроты переживания. Его стихотворениям свойственна лаконичность, емкость формы, бережное расходование поэтических средств. Он далек от какой бы то ни было дидактики, не стремится ни поучать, ни наставлять, ни тем более навязывать свою точку зрения. Цель его — привлечь внимание читателя к тому или иному вопросу и дать ему возможность самому сделать соответствующие выводы и заключения. Несколькими словами, иногда полунамеком, ему, как правило, удается не только обратить внимание на важные проблемы истории, политики, морали, литературы, но и помочь читателю осмыслить их.

[1] Читатели журнала «Иностранная литература» имели возможность познакомиться с этим стихотворением в переводе И. Кашежевой, опубликованным в № 12 за 1971 год в подборке «Новая поэзия хинди» со вступительной статьей М. Салганик.

Так, например, проблема религиозно-общинной розни, чрезвычайно острая для современной Индии, ставится в стихотворении «Как все». В предельно сжатой форме рассказывая о гибели мусульманина Азиза и об отношении к этому событию окружающих, в том числе и своем собственном, поэт добивается большой выразительности, глубокого социального звучания. В другом стихотворении переживания и разочарования, поиски и открытия, сопровождавшие его нелегкий путь в литературе, умещаются всего в нескольких строках. «Сначала отрицал, потом пылал от гнева, потом начал орать». В стихотворении «Тень» ощущаются свойственные поэтическому миру Ш. Вармы 60-х годов настроения внутренней раздвоенности, потери своего «я». Тень, постоянная его спутница, ассоциируется здесь то ли с совестью, то ли с поэтической душой. Заметим, что и у Муктибодха также нередко поэтическое общение со своим двойником, с лирическим «я».

В цикле стихотворений 80-х годов Ш. Варма обращается к далекому прошлому Индии, размышляет о некогда могущественных и процветавших, но постепенно пришедших в упадок государствах и городах. Причем он не ограничивается упоминанием о великом прошлом, а связывает его с настоящим, и это дает ему пищу для размышлений о будущем. Таковы, например, его поэтические «воспоминания» о том, как легендарный Ашока отказался от насилия и объединил Индию на основе мира и согласия между всеми народами, населявшими ее более двух тысяч лет назад.

В поэзии Ш. Вармы, особенно в стихах на историческую тему, смелое новаторство органически сочетается с традициями. Широко используя необычную для традиционной индийской поэзии лексику, удачно экспериментируя с различными элементами формы, вводя новые ритмические рисунки и системы рифмовки, он в то же время охотно — и к месту — использует один из важных приемов традиционной индийской поэтики — *дхвани*, согласно которому лишь такая поэзия является совершенной, доставляет истинное художественное наслаждение, которая основывается не на буквальном, прямом значении слов, а на иносказании, на скрытом подтексте, ассоциациях, вызываемых поэтическими образами. Так, например, образ Ашоки как исторической личности у Ш. Вармы не только олицетворяет традиционное индийское миролюбие, но и символизирует извечную мечту человека, страдающего от рабства и угнетения, о мире, счастье и справедливости.

Обращение к прошлому, к истокам индийской культуры, на наш взгляд, частично можно объяснить также разочарованием Шриканта Вармы в современной буржуазной цивилизации. В середине 60-х годов молодой поэт получил возможность поработать в США. С большим интересом отправился он за океан в надежде увидеть своими глазами страну любимых поэтов от Уитмена до Гинзберга. Однако вскоре наступило прозрение. То, что он увидел в «капиталистическом раю», глубоко его разочаровало, вызвало отвращение к технократии, к механической цивилизации, превращающей человека в робота. Его уязвили широко распространенное в этой стране расистское высокомерие, погоня любой ценой за успехом в обществе, построенном на власти денег. Шрикант возвращается на родину еще большим патриотом, чем до своей поездки за границу.

В начале 60-х годов Ш. Варма переезжает в Дели, где уходит с головой в атмосферу литературной жизни столицы. Занимается журналистикой, издает журналы, участвует в литературных дискуссиях, работает на радио, сближается с миром кино, много пишет. Произведения его привлекают внимание читателей. Большую известность принес ему поэтический сборник «Дом собраний» (1973). Ш. Варма завоевывает авторитет в литературных кругах Индии. Его называют иногда последним из поэтов «новой поэзии».

В эти годы усиливается процесс «политизации» литературы, процесс сложный и неоднозначный. Субъективистски настроенные писатели, пытающиеся уклониться от политики, не удовлетворяют интересам растущей читательской аудитории, ищущей в литературе ответов на жизненно важные вопросы. Литература все больше наполняется общественно-политическим содержанием. Многие писатели все глубже задумываются над действительностью, обращаются к острым конфликтам современности. Среди этих писателей видное место принадлежит Шриканту Варме. Он пишет: «Я не думал, что политика окажет столь большое влияние на мой язык, что она станет столь близкой для меня, для моего творчества. Я твердо убежден в том, что политика оказывает влияние на литературу». Всем своим творчеством и деятельностью он полностью на стороне демократических сил страны в их борьбе с политиканством, коррупцией, выступает против утраты определенными слоями интеллигенции боевого духа. Выступая против аполитичности литературы, он задумывается над тем, что может и должен делать каждый обладающий чувством гражданской ответственности человек в интересах укрепления национальной независимости страны.

В 1976 году Ш. Варма становится членом парламента Республики Индии, решительно поддерживает усилия Индиры Ганди в ее борьбе за демократию, мир и прогресс. Он принимает активное участие в работе правящей партии Индии — Индийского национального конгресса, столетие со дня создания которого отмечается в этом году. С детских лет имел он возможность наблюдать за деятельностью этой партии, так как в доме его отца часто собирались ее члены. Под руководством М. К. Ганди и Дж. Неру Индийский национальный конгресс внес большой вклад в национально-освободительную борьбу индийского народа. Недавно мы узнали о том, что Шрикант Варма избран одним из генеральных секретарей этой партии.

Мне посчастливилось узнать Шриканта Варму в конце 60-х годов — тогда он работал в журнале «Динман»,— видеть его творческий рост, превращение из талантливого молодого поэта в маститого художника, одного из ведущих писателей современной

Индии, в крупного политического деятеля страны. Он всегда привлекал организованностью, обязательностью, уважительным отношением к людям. Помню, какую важную роль играл он в организации Международного конгресса хинди в Дели в ноябре 1983 года, в работе которого приняли участие многие индийские и иностранные ученые.

Думается, не без инициативы Ш. Вармы одной из главных тем обсуждения на этом конгрессе стала роль языка и литературы хинди в культурной интеграции Индии, являющейся важной предпосылкой укрепления политического единства страны. Именно этой проблеме была посвящена и беседа с ним по итогам конгресса, транслировавшаяся по индийскому телевидению.

Ш. Варма — большой знаток книг, обладатель обширной и интересной библиотеки. Прекрасно разбираясь в индийской литературе, он хорошо знает и литературу зарубежную, любит и умеет переводить поэзию. Он внимательно следит за современной советской литературой, переводил Маяковского и Пастернака, Ахматову и Вознесенского.

Буквально за несколько дней до последних выборов в индийский парламент, в декабре 1984 года, автору этих строк довелось встречаться с Ш. Вармой в Дели, у него дома, для обсуждения совместного советско-индийского труда «Хрестоматия дружбы», которая должна одновременно выйти в Индии и Советском Союзе.

В эти дни неутомимая энергия Ш. Вармы проявилась в его деятельности в качестве одного из руководителей предвыборной кампании партии Индийский национальный конгресс (И).

Блестящие организаторские способности и неиссякаемое трудолюбие этого не очень сильного физически человека, к тому же перенесшего незадолго до того сложную операцию на сердце, не могли не вызывать восхищение.

Шрикант Варма на первый взгляд несколько замкнут, не очень разговорчив, однако нетрудно заметить, что в людях, с которыми ему доводится общаться, он вызывает большое уважение и искреннюю симпатию.

◆

Критика

АЛЕК БРОК

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КАТАЛОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Вступление и перевод Н. МАТЯШ

Каталония... Как мало мы пока знаем об этой области на северо-востоке Испании, ее истории, обычаях, богатейших культурных традициях. Впрочем, тому есть немало объективных причин — ведь в период франкизма долгое время каталонская культура находилась под фактическим запретом.

Прогрессивные силы стремились сохранить национальную самобытность Каталонии, и все же годы франкизма не прошли даром,— они оставили глубокий след в душах людей, обусловили формирование некоторых специфических черт современной каталонской литературы. Одной из таких особенностей стало ее двуязычие. Практически запретив публикацию журналов, газет и книг на каталонском, режим поставил литераторов перед сложной дилеммой: писать на родном языке и хранить рукописи в ящике письменного стола или писать по-кастильски (так по традиции нередко называют свой язык сами испанцы) и получить возможность выхода к широкому читателю. Это был трудный выбор не только литературной, но прежде всего гражданской позиции. Заметим лишь, что старшее поколение, те, кто сложились как художники слова еще до гражданской войны, продолжали писать на родном языке. Благодаря им не только сохранялась и продолжалась культурная традиция, живыми носителями которой они являлись,— благодаря им национальная литература Испании обладает сегодня такими сокровищами, как поэзия Салвадора Эсприу, проза Пере Калдерса и Мерсе Родореды.

Представители более молодого поколения, вступившего в самостоятельную жизнь в 40-е годы, формировались в совершенно иной духовной атмосфере. Поэтому их боль и горечь за каталонскую культуру выливались в другие формы: они в первую очередь стремились не сохранить каталонский язык, который, кстати, подчас и знали гораздо хуже своих старших коллег, а рассказать (и что особенно важно — быть услышанными как можно большим числом людей!) о трагедии своего народа. Для этого надо было писать по-испански — и большинство молодых писателей выбрали этот путь. Многие из них составляют гордость испанской литературы последних десятилетий. Их имена известны не только в стране, но и за ее пределами. Наш читатель прекрасно знает Хуана и Луиса Гойтисоло, книги которых, хотя и написаны по-испански, рассказывают чаще всего о Каталонии.

После смерти Франко в стране произошло немало перемен. Одной из самых значительных стало принятие в 1978 году новой демократической конституции, утверждавшей равенство всех народов. Вскоре получили автономию Галисия, Каталония, Страна Басков — крупнейшие исторические области Испании,— что повлекло за собой

АЛЕК БРОК — ALEX BROCH (род. в 1947 г.)

Каталонский литературовед и критик Главный редактор издательства «Маграна». Автор работ «Каталонская литература 70-х годов» («Literatura catalana dels anys setanta», 1980), «Антология послевоенной каталонской прозы» («Antologia de narradores catalanes de post-guerra», 1981). «Каталонская поэзия 1939—1968 гг.» («Poesia catalana 1939—1968», 1984), «Каталонская литература: взгляд в будущее» («Literatura catalana: Balance de Futuro», 1984), многих предисловий и послесловий к произведениям каталонских писателей.

Предлагаемая статья получена редакцией в рукописи.

кардинальные перемены в духовной жизни. В Каталонии некоторые из литераторов, ранее предпочитавшие кастильский язык, отказались от него и стали писать по-каталонски (например, поэт и прозаик Пере Жимферре [1], критик Жозеп Мариа Кастельет [2]); другие остались верны сделанному ранее выбору. Вполне естественно, что новое поколение обратилось к родному языку, читательская аудитория которого все ширится.

Молодых каталонских писателей связывают непростые отношения со старшим поколением и с испаноязычной литературой. Вопросы выбора литературного языка воспринимаются новым поколением болезненно, нередко разгорается полемика, в ходе которой неизбежны резкие обобщения. Однако это, безусловно, явление временное. Каталонская литература сегодня — неотъемлемая часть общего литературного процесса Испании; единство исторической судьбы двух народов, уходящее корнями в далекое прошлое,— основа этой общности.

Одно из ее проявлений — наличие сегодня схожих тенденций в испаноязычной и каталонской литературах. Так, после резкого взлета в 50—60-е годы социальной прозы и поэзии в литературе страны все чаще стало ощущаться стремление к художественному эксперименту, отражающее внутренний творческий протест писателей против вполне конкретного явления — испанского объективного романа 50—60-х годов. Объективная проза (иногда ее называют «социальным реализмом»), о которой неоднократно писала советская критика[3], сыграла большую роль в развитии прогрессивной испанской послевоенной литературы; она предлагала своему читателю бесстрастное свидетельство, причем авторская оценка сказывалась лишь в самом подборе фактов, в ракурсе художнического взгляда на действительность — только такая, непрямая, критика удушающей атмосферы франкистской Испании была возможна в ту пору. Со временем эта исторически обусловленнная художественная форма перестала соответствовать меняющейся и усложняющейся испанской действительности — литература «переросла» объективный роман, все чаще становившийся предметом критики. Неудовлетворенность писателей отсутствием быстрых и действенных результатов от социальной критики, содержавшейся в их произведениях, заставила их искать иные пути. И когда сегодня испанские критики говорят о «кризисе реализма» в своей литературе, в большинстве случаев они имеют в виду кризис объективной прозы.

Нельзя также сбрасывать со счетов и влияние западноевропейской литературы, в первую очередь французского «нового романа». Особенно заметно это у каталонских писателей, которые, полемически отталкиваясь от испаноязычной литературы своей страны, тяготеют к литературным моделям соседней Франции, связанной с Каталонией давними узами.

Все это в какой-то мере помогает понять и правильно оценить новые явления в литературе Испании и те излишне запальчивые высказывания, которые подчас встречаются у каталонских критиков по поводу реализма, чаще всего понимаемого ими как синоним натурализма. Для современной литературы и критики Каталонии это своего рода «болезнь роста», порождение долгого и тяжелого периода, который не мог пройти бесследно. Хочется надеяться, что болезнь эта не будет затяжной.

Статья, предлагаемая вниманию наших читателей, написана по просьбе журнала «Иностранная литература» Алеком Броком, представителем молодого поколения каталонской критики. Все его работы отмечены умением почувствовать «связь времен», благодаря чему литературный процесс в Каталонии XX века предстает как единое целое. Справедливо это и по отношению к данной публикации, где послевоенная каталонская литература рассматривается как развитие культурных традиций первой трети века. Так, например, молодежь 70-х в восприятии А. Брока — прямые наследники поэзии 20—30-х годов, а конкретнее, ноусентизма, одного из наиболее значительных явлений каталонской литературы нашего столетия. В ноусентизме некоторые западноевропейские модернистские тенденции плодотворно сопрягались с национальной традицией, что выразилось в отрицании предыдущего этапа развития поэзии, ориентировавшегося на идейно-эстетические ценности романтизма, и в возрождении интереса и внимания к классицизму, с его строгостью формы.

Влияние ноусентизма на послевоенную литературу осуществлялось посредством открытия для себя и усвоения новым поколением таких писателей, как Карлес Риба, Жозеп Карне, Жозеп Висенс Фош, Жоан Салват-Папасейт [4]; каждый из них был не только прекрасным самобытным поэтом, но и яркой, богатой в духовном отношении личностью. Известный испанский литературовед, член Испанской Королевской академии литературы и языка, Гильермо Диас-Плаха[5] вспоминал о Карлесе Рибе как о человеке, пользовавшемся непререкаемым авторитетом в каталонских культурных кругах и после возвращения из эмиграции в 1943 году приложившем немало усилий для диалога между деятелями испано- и каталоноязычной культур. Он писал о нем: «Личность Карлеса Рибы делала его лидером интеллектуальной поэзии тех лет: он был одновременно нашим Полем Валери и нашим Хорхе Гильеном, а его слово воспринималось как слово старейшины». Другой поэт этого поколения, Жозеп Карне, после гражданской

---

[1] Его стихи печатались в «ИЛ», 1981, № 4. *(Здесь и далее прим. автора вступления и перевода.)*

[2] Статья Ж. М. Кастельета о поэзии Х. А. Гойтисоло опубликована в «ИЛ», 1975, № 11.

[3] И. Тертерян. Современный испанский роман (1939—1969). М., «Художественная литература», 1972; Испанский роман сегодня, «ИЛ», № 8, 1964.

[4] Стихи трех последних «ИЛ» опубликовала в № 4, 1981.

[5] Его эссе о Х. Р. Хименесе и стихи «ИЛ» печатала соответственно в № 9, 1977; № 11, 1977; № 9,1980.

войны входил в состав автономного правительства Каталонии (Женералитат) в эмиграции и умер в 1970 году, так и не вернувшись на родину. И уж совсем легендарной была личность Жоана Салват-Папасейта, который промелькнул на литературном небосводе Каталонии как яркая комета. Он умер в возрасте тридцати лет, однако успел опубликовать немало поэтических сборников. Этот рано осиротевший сын кочегара, чья жизнь была полна лишений и нужды, писал стихи, в которых изысканность формы сочеталась с авангардистской горячностью. Ярко выраженный антибуржуазный пафос его жизненной позиции (он активно сотрудничал в левой прессе под псевдонимом «Ученик Горького») выливался в эстетический нонконформизм.

Со стихами вышеназванных поэтов и многих из тех, кого упоминает А. Брок, советский читатель уже знаком[6]. Когда сегодня говорят о влиянии ноусентизма, имеют в виду не только эстетический аспект, но и влияние личностное, духовное — то, что и обеспечивает преемственность в литературе. О том, как и почему это происходило, мы узнаем подробнее из публикуемой ниже статьи.

Историзм, четкость социально-политических оценок выделяют А. Брока среди многих его зарубежных коллег. Именно поэтому нам представляются интересными его размышления, вводящие широкого советского читателя в новый для него мир каталонской литературы.

[6] Они публиковались в сборнике «Огонь и розы» (Современная каталонская поэзия)», вышедшем в 1981 году в издательстве «Прогресс», и в антологии «Из каталонской поэзии» (Л., «Художественная литература», 1984).

Знакомство советского читателя с каталонской литературой только начинается, поэтому я хотел бы рассказать об основных этапах, через которые она прошла в последние десятилетия, о сложностях, встретившихся на этом пути, о ее специфике, обусловленной особенностями исторического развития Испании,— ведь литературный процесс невозможно рассматривать в отрыве от исторической реальности.

1939-й — не только год окончания гражданской войны, но и начало трудного этапа в жизни Каталонии и всей Испании в целом. Без понимания этого невозможно понять и особенности развития каталонского общества, культуры и литературы. Следует также учитывать давно сложившийся многонациональный характер испанского государства. Между народами, населяющими страну — испанцами, басками, каталонцами, галисийцами,— существуют большие национальные отличия. В Испании говорят на четырех языках: кастильском, каталонском, галисийском и баскском. Франкизм последовательно и настойчиво отрицал многонациональный характер испанского государства, различия между населяющими его народами, признававшиеся ранее даже монархической конституцией. Более того, одной из причин фашистского мятежа против II Республики было ее намерение юридически закрепить многонациональный характер страны.

II Республика признала за Каталонией право на автономию, утвердила в 1932 году каталонский статут, а в 1936 году, когда был подготовлен баскский статут, разразилась гражданская война. Она носила четко выраженный классовый характер, но большую роль играло также неодинаковое отношение к религии и проблеме испанской государственности. Сторонники единства и централизма, выступавшие за приоритет одной культуры и одного языка — испанского — над другими, противостояли сторонникам децентрализации и автономии, исходившим из реально существующего национального многообразия и выступавшим за официальное признание всех языков и культур Испании, за предоставление им равных прав. И хотя в 1939 году демократические силы страны потерпели поражение, почти сорок лет спустя, в 1978 году, в новой, демократической конституции страны были зафиксированы, правда с некоторыми ограничениями, равные права всех народов, языков и культур Испании. Впервые за последние десятилетия было признано, что галисийская, баскская и каталонская национальности реально существуют и взаимосвязаны в системе государства, даже если они по традиции определяются географическим понятием «области».

Я убежден: чтобы понять сегодняшний день страны, надо прочувствовать ее историю. Долго еще после окончания гражданской войны продолжались расстрелы и царила атмосфера психологического террора. Нам трудно забыть, что Льюис Компанис, президент автономного правительства Каталонии, эмигрировавший после гражданской войны во Францию, был схвачен там гестапо и передан испанским властям, а в 1941 году расстрелян в Барселоне. В Испании начинается настоящий геноцид по отношению к баскскому, галисийскому и каталонскому языкам, но это оставляет безучастной буржуазную Европу XX века, «свободные» и «демократические» народы. Франко намеревался уничтожить в Испании все языки, кроме кастильского, и тем самым упразднить проблему национальной самобытности. Запрещалось употребление каталонского языка в общественных местах, но запретить говорить на каталонском в частном, семейном кругу режим не мог.

Действия властей явно преследовали определенные цели: изъять каталонский язык из школьных программ, отказать ему в лингвистической законности, превратив в диалект, уничтожить его как язык культуры. Культуры с большой буквы, богатой традициями, а значит, и уничтожить саму эту культуру. Все это я видел своими глазами, пережил и перестрадал.

В течение длительного времени опубликовать книгу на каталонском языке было

невозможно. Первые издания появились только в 1944-м, через пять лет после окончания гражданской войны. Их было пять, этих книжек. Все они носили подчеркнуто религиозный характер и — что немаловажно — не соответствовали литературной норме, разработанной Помпеу Фабра[1]. Для сравнения хочу привести одну цифру: 865— такое количество названий было издано на каталонском в 1936 году, причем это были книги разного профиля. В 1944-м, подчеркиваю,— всего 5, в 1950-м — 43, в 1960-м — 183, в 1970-м — 450, то есть даже через тридцать лет после окончания гражданской войны предвоенный уровень еще не был достигнут. И лишь в 1976 году, уже после смерти Франко, число это возросло до 872 названий. Затем кривая выпуска книг на каталонском резко пошла вверх: в 1981 году было издано 2000 названий, а в 1983-м — 2500. Учитывая демографический рост в Каталонии и то, что нынешние дети уже учат в школе родной язык, думаю, что в будущем эта цифра удвоится.

Литература изгнания

Итак, от нулевого уровня изданий в 1940 году к 2500 названий в 1983-м — таков путь, пройденный за сорок лет. Но нельзя забывать, что для каталонской литературы приход к власти франкизма означал массовую политическую эмиграцию, в том числе и деятелей культуры, а для писателей, оставшихся на родине,— долгое вынужденное молчание. Франкистскую Испанию покинули многие писатели; их приютили Франция и Латинская Америка, прежде всего — Мексика, Аргентина и Чили. Из 450 названий на каталонском языке, опубликованных в 1939—1976 годах за пределами страны, 160 увидели свет во Франции и 150 — в Мексике, остальные распределились между другими странами Латинской Америки. Литература республиканской эмиграции составляет важную часть каталонского литературного процесса XX века,— ведь в течение длительного времени она была единственной реально существовавшей.

У каталонских писателей, очутившихся в изгнании, было только три возможности: интеграция в стране, в которую забросила их судьба, гибель или же возвращение на родину. Наши писатели особенно остро ощущали трагизм оторванности от своей земли, поскольку не было страны, где бы говорили на их родном языке. Поэтому каталонская литература эмиграции — феномен чрезвычайно своеобразный. Ведь его составляют книги, написанные людьми, которых война раскидала по всем частям света, но обращены они всегда к соотечественникам — не только живущим в разных странах, но и к тем, кто остался в Испании. Наиболее значительные книги этого литературного пласта были созданы в 40-е годы, и они — пусть нелегально — попадали в Испанию, к своему читателю.

[1] Помпеу Фабра (1868—1948) — известный филолог, один из зачинателей кампании за установление литературной нормы каталонского языка. Автор «Орфографического словаря каталонского языка» (1912) и «Большого словаря каталонского языка» (1932). Умер в изгнании.

Очутившись вдали от родины, каталонцы столкнулись с новой для них и непривычной действительностью, познакомились с разными культурами, неизвестными им ранее, а люди других стран узнали кое-что о Каталонии. В эмиграции один за другим пишутся романы и повести, в совокупности образующие огромный эпический цикл. Эти книги рассказывали о переходе через испано-французскую границу, о французских трудовых лагерях, борьбе против нацизма, участии в движении Сопротивления, о концлагерях, о долгом пути в Латинскую Америку, где каталонцев ждало открытие совершенно иного мира, к которому надо было привыкать. В них говорилось об идеализации родины, что нередко случается с людьми на чужбине, об интеграции второго поколения эмигрантов в далеких странах; писатели пытались разобраться в причинах, породивших войну, критиковали новый режим, мечтали о возвращении в иную Каталонию, непохожую на оставленную ими в 1939 году. Они пытались понять и объяснить один из самых сложных моментов в истории Каталонии и «каталонских стран» [2]. Так родились наиболее значительные произведения современной каталонской литературы: «Страстный пилигрим» Жоана Пуч-и-Феррате (1952), огромная, одиннадцатитомная эпопея, в которой более шести тысяч страниц и равной которой по объему не знала ранее каталонская литература; книги Шавье Бенгерела и Пере Калдерса; «Бьервильские элегии» (1943) Карлеса Рибы; поэма Жозепа Карне «Наби» (1941); именно в изгнании раскрылось дарование одного из крупнейших поэтов Каталонии Агусти Бартра. Каталонская эмиграция перестала существовать к 70-м годам: для некоторых она закончилась смертью на чужбине, кто-то дожил до возвращения.

Ситуация внутри страны

Для каталонской литературы внутри Испании особенно большое значение имело международное положение, ход второй мировой войны. Пока события на фронтах развивались в пользу немцев, Франко проводил политику жесточайших репрессий. После разгрома немецкого фашизма в 1945 году Франко был вынужден несколько изменить свою внутреннюю и внешнюю политику — только тогда и стала возможна публикация первых книг на каталонском, создание наших первых издательств. Но уже вскоре, а точнее, в 1946 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую франкистский режим, что привело к разрыву дипломатических отношений многих стран с Испанией и к изоляции Испании на международной арене, внутриполитический курс стал более жестким: Франко мобилизовал все резервы своей власти. В 50-е годы начинаются первые студенческие выступления, которые свидетельствуют о неприятии режима молодым поколением страны. Однако в 1953 году франкизм укрепляет позиции, подписывая соглашение с Соединенными Штата-

[2] Историческое наименование каталоноязычных регионов.

ми Америки [3], правда, это вынудило его начать медленный и половинчатый, не затронувший многих сторон национальной жизни процесс либерализации, так как социально-экономические структуры фашистского государства являлись тормозом на пути модернизации отсталой экономики страны. В Каталонии в это время один за другим создаются литературно-художественные журналы, открываются новые издательства — готовится основа для литературного взрыва (определенную роль тут сыграл, видимо, туристический бум 60-х годов, когда экономика франкизма переживала свой «звездный час»).

В первые послевоенные годы каталонская литература существует почти на нелегальном положении: выходят лишь сокращенные издания или роскошно оформленные книги для библиофилов, некоторые брошюры публикуются подпольно и передаются из рук в руки. Огромное значение имели устраивавшиеся в частных домах писательские вечера, на которых люди говорили о положении каталонской литературы, читали вслух свои произведения. Это была одна из форм сопротивления, требовавшая немалого мужества. Такие встречи обеспечили преемственность просветительской деятельности Института каталонских исследований[4], сотрудники которого принимали в них большое участие. Благодаря усилиям интеллигенции подпольно издавались журналы — по нескольку сот экземпляров — и передавались из рук в руки: в 1944 году — «Поэзия» (его вдохновителем был известный барселонский критик Жозеп Палау-и-Фабре), а чуть позже «Ариэль» (его первый номер вышел в мае 1946 года, а последний — в декабре 1951-го) и авангардистский журнал «Жаждущий» (1948). А тем временем поэт Жозеп Мариа Крузет, работавший в «Эдисьонс селекта», добился разрешения опубликовать первые книги на каталонском языке. Произошло это в 1946 году, который можно считать началом пока еще еле заметного оживления в каталонском книгоиздательстве.

Однако любой литературе нужны читатели — без них ее существование немыслимо, а у нашей литературы их имелось пока еще мало: ведь каталонский язык не изучали в школе, и его употребление в общественных местах преследовалось. Тогда-то, чтобы стимулировать писателей и привлечь внимание к положению языка и литературы, которым грозило полное исчезновение, начали проводить литературные конкурсы, где рассматривались и неопубликованные произведения. В 1947 году были учреждены две премии — «Жоанот Марторель» в области прозы и «Малая Медведица» в области поэзии. В 1951 году премию «Жоанот Марторель» сменяет премия «Сан Жорди» — она и по сей день остается главной для каталоноязычной литературы.

В начале 50-х годов наша литература стала постепенно оправляться от причиненного ей ущерба, хотя количество читателей росло медленно. Средства массовой информации никогда не упоминали о каталонской литературе, но она уже существовала и в последующее десятилетие заявила о себе открыто.

В 50-е годы основной задачей каталонских писателей и интеллигенции было установление эстетической преемственности между современной литературой и предвоенной. Большинство писателей послевоенного поколения, особенно поэтов, эстетически сформировались под влиянием литературы 20—30-х годов, особенно ноусентизма, течения, ориентировавшегося на новейшие искания в области формы в западноевропейской литературе. Самыми крупными представителями ноусентизма, в котором смешались классицизм и символизм с его концепцией «чистой поэзии», были Жозеп Карне и Карлес Риба, духовный лидер целого поколения каталонцев, долгое время живший в изгнании.

До сегодняшнего дня ноусентизм, огромное значение придававший вопросам формы, остается крупнейшим явлением каталонской литературы XX века. И в 40—50-е годы, а это был один из самых сложных моментов в истории нашей культуры, он сыграл роль катализатора литературного процесса. Социологически феномен этот объясняется достаточно просто: несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию, а может быть, как раз из-за нее, писатели стремились доказать, что художественный уровень каталонской литературы ничуть не ниже довоенного. Выпущенная в 1950 году антология «Каталонская поэзия 1900—1950» (составитель — критик Жоан Триаду) показала, насколько сильны еще традиции ноусентизма. Для нового поколения каталонских поэтов учителями были Карлес Риба, Жоан Перучо, Жоан Тешидор и Жозеп Висенс Фош, которого молодые откроют для себя несколько позже. Карлес Риба, а его влияние на новую поэзию особенно сильно, до конца дней оставался верен своим гуманистическим и политическим убеждениям. Его смерть в 1959 году означала для каталонской литературы конец целого этапа, отличительной чертой которого была связь с ноусентизмом, этапа, когда ведущую роль играли писатели, сформировавшиеся до гражданской войны.

Социальный реализм — стремление к исторической правде

Однако 50-е годы — это не только период огромного влияния Карлеса Рибы; это и книги таких больших писателей, как Жозеп Пла и Салвадор Эсприу[5], не имеющих ничего общего с ноусентизмом, а также первые публикации нового поколения, тех, чье детство и отрочество совпали с гражданской войной. 50-е годы для них — пора учебы, и после смерти Карлеса Рибы в 1959 году именно это поколение возьмет инициативу в свои руки и будет определять лицо каталонской литературы на протяжении последующего десятилетия.

Не только общественно-политическая, но

[3] Соглашение предусматривало строительство и использование американских военных баз на испанской территории и «экономическую помощь», на деле означавшую проникновение США в экономику Испании.

[4] Задачей созданного в 1911 году Института каталонских исследований было изучение истории, культуры и языка Каталонии; существовал до 1939 года.

[5] С творчеством С. Эсприу «ИЛ» познакомила читателей в № 10, 1978.

и культурная ситуация в Каталонии 50-х годов совершенно не отвечает идейно-эстетическим устремлениям нового поколения. Ноусентизм ни в эстетическом плане, ни по политическим соображениям не мог удовлетворить их — ведь молодые писатели хотели говорить о социальных проблемах окружавшей их действительности. И если в поэзии еще имели право на существование субъективистские мотивы, ориентация исключительно на внутренний мир личности, то новая каталонская проза, стремившаяся осмыслить опыт гражданской войны, не могла довольствоваться художественными нормами прошлого, а думать о новой литературной модели, об острой социальной литературе было еще рано — франкистская цензура никогда бы этого не допустила. Другими словами, то был переходный период, период внутренней переориентации каталонской литературы.

Большую роль в этом процессе сыграл барселонский университет, где молодая каталонская интеллигенция спорила о своем месте в историческом и культурном развитии страны. Литература Каталонии, хотя и с некоторым запозданием по сравнению с другими западноевропейскими странами, приходила к убеждению, что должна служить обществу, особенно если хочет помочь ему изжить последствия гражданской войны. Осознание этого важнейшего фактора во многом шло под влиянием зарубежной литературы, которая в течение длительного времени была фактически запрещена в Испании. Постепенно появилась и возможность поездок в другие страны. Итак, в 50-е годы складывалась благоприятная обстановка для формирования нового отношения к литературе, для понимания ее социальной значимости.

Первые университетские антологии, появившиеся в это десятилетие, уже зафиксировали изменение поэтического языка: на смену изысканной усложненности пришла простота. В начале 60-х годов создается Драматическая школа Адриа Гуаль, где работают режиссерами Мария Аурелия Капмань и Рикард Салват, решительно отказавшиеся от традиционных выразительных средств и искавшие новых. В свою очередь в прозе заявляет о себе школа объективного романа, выдвинувшая на первый план проблемы повседневной действительности. На каталонскую литературу в этот период большое влияние оказывают современный американский роман, Сартр периода работы над книгой «Ситуации II» с его теорией ангажированности писателя и литературы, эстетические концепции Дёрдя Лукача, «эпический театр» Бертольта Брехта и его теория очуждения.

Под влиянием столь различных эстетических концепций и формируется «социальный реализм» в современной каталонской литературе — он будет ведущим направлением вплоть до начала 70-х годов, когда появится новое поколение писателей. Реалистическую литературу в этот момент горячо поддерживает критика, пытаясь дать ей теоретическое обоснование. Одно из свидетельств того — антология, составленная Жозепом Мария Кастельетом и Жоакином Моласом, «Каталонская поэзия XX века». Книге предшествует обширная, почти на двухстах страницах, статья, прослеживающая эволюцию каталонской поэзии от ноусентизма до реализма, причем в неразрывной связи с жизнью общества. Антология вышла в 1963 году, а двумя годами позже, в 1965-м, Жозеп Мария Кастельет выпускает небольшую книгу «Поэзия, реализм и история», где определяет творческую платформу нового поколения.

Однако в сознании широкой публики реализм как новое направление прочно утверждается еще в 1960 году, когда два больших поэта публикуют свои сборники: Салвадор Эсприу — «Шкуру быка» и Пере Куарт[6] — «Оплаченный отпуск». Оба эти сборника уже целиком принадлежат реалистической поэтике, особенно «Шкура быка», где Эсприу размышляет о нравственных аспектах взаимоотношений Каталонии с остальной Испанией. Значение Салвадора Эсприу и Пере Куарта огромно — они волновали умы на протяжении целого десятилетия и сыграли решающую роль в развитии каталонской литературы. Когда говорят об эстетической платформе нового поколения, творчество этих поэтов всегда является отправной точкой. Не случайно критика сегодня снова и снова возвращается к этим поэтам, прежде всего к Эсприу, создавшему с помощью эстетики реализма своеобразный поэтический мир, где мифологическое начало имеет первостепенное значение.

60-е годы: писатели и книги

В 60-е годы реализм был ведущим направлением. Его главную силу составляло молодое поколение, хотя в это же время как классики современной литературы начинают осознаваться Жозеп Пла, чье наследие составляет более тридцати тысяч страниц, или сорок томов полного собрания сочинений, Льоренс Вильялонга, Пере Калдерс и Мерсе Родореда. Сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что 60-е годы были самыми плодотворными для каталонского романа XX века. Именно тогда были написаны и опубликованы «Беарн» (1961) Льоренса Вильялонги (из-за тематической близости эту книгу сравнивают с романом Томази ди Лампедузы «Леопард»[7]), «Площадь Диамант»[8] (1962) Мерсе Родореды, «Человек наших дней» (1964) Пере Калдерса, который рассказывает о каталонской эмиграции в Мексике. В романе «Беарн, или Игрушечная комната» автор повествует о жизни своего родного острова Майорка в конце XIX века, когда местная аристократия сдает позиции под натиском новой буржуазии.

Роман Мерсе Родореды «Площадь Диамант» — самое читаемое произведение послевоенной каталонской литературы. Он выдержал уже более двадцати переизданий и чаще других переводится. Недавно мы могли посмотреть его экранизацию, два варианта — для кино- и телеэкрана. «Площадь Диамант» — психологическое произведение,

[6] Его стихи публиковались в «ИЛ», 1981, № 4.

[7] Томази ди Лампедуза, Джузеппе (1896—1957) — итальянский писатель, автор социально-психологического романа «Леопард», который принес ему мировую известность.

[8] См. «ИЛ», 1981, № 11.

рассказывающее о судьбе женщины определенного социального и культурного слоя, жизнь которой сломала гражданская война. В 60-е годы получают признание такие писатели, как Мария Аурелия Капмань и Мануэл де Педролу[9].

Я хотел бы подчеркнуть: когда говорят о каталонской литературе, как правило, имеют в виду только литературу самой Каталонии, что совершенно неверно. Ведь на каталонском языке — с небольшими особенностями в каждом отдельном случае, но вполне в пределах языковой нормы — говорят на Балеарских и Питиусских островах, в Валенсии, а также в Андорре и некоторых районах других стран. В целом же на каталонском языке говорят от семи до восьми миллионов человек. Несмотря на то что каталонцы живут в различных социально-политических условиях, мы привыкли объединять их на основе языковой общности понятием «каталонские страны». Именно в 60-е годы в нашу литературу приходят интересные писатели, живущие вне самой Каталонии, как правило на Майорке: литераторы старшего поколения — Жозеп Мария Аьомпарт, Блай Боне, Жауме Видал и более молодые — Балтазар Порсел (в художественном отношении его проза наиболее самобытна), Габриэл Жане Манила, Гильем Фронтера и Мария Антония Оливе. В своих книгах эти писатели рассказывают о бурном развитии туризма на Майорке, имевшем огромное значение для литературы.

Начало нового этапа

В последующее десятилетие, в 70-е годы, помимо писателей с Майорки каталонская литература обогащается книгами писателей из Валенсии, что способствовало оживлению литературного процесса.

1968 год был для нашей литературы решающим — майские события во Франции, за которыми последовали массовые студенческие волнения в Каталонии, заставили всех задуматься о социальных проблемах современного индустриального общества, о возможностях и стремлениях молодежи. Кроме того, мы оказались лицом к лицу с фактами, свидетельствовавшими о поисках новой эстетики, о неудовлетворенности той формой реализма, что существовала в испанской литературе 50-х годов,— с одной стороны, и о влиянии литературы на каталонское общество — с другой. Я имею в виду появление нового литературного поколения, которое будет в 70-е годы играть определяющую роль.

Преобладание объективной прозы привело к обеднению художественного языка, ограничивало возможности отображения действительности в литературе. Так, Жозеп Мария Кастельет осознает невозможность анализировать сложную мифологическую поэзию Салвадора Эсприу, исходя лишь из творческих принципов «социального реализма», и это заставляет его расширить собственные методологические рамки.

1968 год — это также год публикации сборника Габриэла Феррате «Женщины и дни», где собраны написанные им ранее стихи. Принято считать, что Феррате был первым, кто пробил брешь в устоявшейся поэтике. Его стихи, критические работы, литературные концепции и, наконец, его необыкновенная личность, трагическое мироощущение, приведшее поэта в 1972 году к самоубийству, до такой степени потрясли целую плеяду молодых, что сегодня мы с полным правом можем говорить о поэтической «школе Феррате». Первые публикации поэтов этой школы датируются концом 60-х и по времени совпадают с выходом в свет книг прозаиков с Майорки.

Иными словами, каталонская литература отказывается от моделей первых послевоенных десятилетий и вступает в новый этап. На сцену выходит поколение 70-х, к которому я сам как критик принадлежу. Пока еще трудно с определенностью утверждать, по какому пути пойдет развитие нашей литературы, и все же в заключительной части статьи попытаюсь хотя бы приблизительно очертить его перспективы — как они мне видятся.

Поколение 70-х

Чтобы составить хотя бы самое общее представление о том, что же происходило в последние годы, назову два решающих фактора. В первую очередь это упрочение авторитета классиков послевоенной каталонской литературы, которые в это время начинают издавать полные собрания сочинений. Кроме того, на литературную арену выходит поколение, всех представителей которого объединяет факт биографии: они родились после гражданской войны. Мы — первое послевоенное поколение.

Ненормальное положение, в котором оказалась каталонская литература сразу после войны, о чем говорилось в начале статьи, объясняет, почему для большинства писателей нашего поколения литература, само обращение к родному языку стали формой выражения протеста. С другой стороны, кризис «социального реализма» привел к тому, что были открыты полузабытые или малоизвестные широкому читателю авторы, и открыли их молодые. Если говорить о поэзии, то особенно это относится к Жозепу Висенсу Фошу, одному из крупнейших каталонских поэтов XX века, творчество которого эстетически оказалось близким новой каталонской поэзии.

Итак, новые поэты появляются в 1972 — 1973 годах. Их отличие от предшествующего поколения очевидно, хотя эстетическая платформа еще не оформилась окончательно. В стремлении опереться на литературную традицию они обращаются к средневековой поэзии, например к Аузиасу Марку. Поэзия становится лингвистическим поиском, язык — объектом постоянного изучения. Молодым свойственно стремление к открытому самоутверждению: они участвуют в литературных конкурсах, способствуют изданию поэтических серий — в них выступают прекрасные молодые поэты (Рамон Пиньол, Шавье Бру де Сала, Жауме Понт, Микел де Палол).

[9] Советский читатель знаком с творчеством М. де Педролу. Его повесть «Временное пристанище» опубликована в сб. «Современная испанская повесть» (М., «Радуга», 1984).

В настоящий момент каталонскую прозу питают не только сама Каталония, но и Валенсия и Балеарские острова. Молодая проза появилась как свидетельство своей эпохи и своего поколения. Я хочу этим сказать, что она в значительной степени биографична, нередко обращается к жизни испанского общества в первые послевоенные годы. Возвращение в прошлое для молодых писателей — чаще всего протест против репрессивной ситуации и требование личной свободы. Социально-историческая обстановка во франкистской Испании навязывала определенное видение мира и систему ценностей: семья, религия, родина, традиционная мораль правых, самые ретроградные экономика и идеология, какие только можно представить, и наряду с этим — отрицание самобытности каталонской культуры.

Наше поколение никто не учил каталонскому языку — мы выучили его сами, без посторонней помощи. И сегодня каталонская проза, особенно молодая, не только яростно выступает против существовавших столько лет порядков, но и поднимает голос в защиту прав личности, что, правда, подчас происходит не без издержек.

Таким образом, проза как отражение определенной эпохи, свидетельство позиции молодых дает нам основание говорить о некоторых общих чертах поколения; они, на мой взгляд, таковы:

печать авторитарного воспитания;

идеологический и политический протест;

открытие Европы как ряда более свободных в политическом отношении обществ;

открытие национального каталонского самосознания;

требование свободы личности, повторяю, не без известных крайностей;

четко выраженная у писателей этого поколения решимость бороться за будущее Каталонии.

Итак, в настоящее время состояние каталонской литературы и культуры можно оценить вполне оптимистично, особенно если сравнивать с тем, что было всего лишь несколько лет назад. Молодые писатели моего поколения всегда особенно требовательно относились к своему творчеству. Сознавая огромную ценность богатейшего наследия классиков современной каталонской литературы, они считают, что наше время обязывает, не останавливаясь на достигнутом, стремиться к будущему и верить в него. Молодых писателей много, напомним лишь некоторых: Монсеррат Роч, Карме Рьера, Мария Антония Оливе, Ориол Пи де Кабаньес, Ким Монсо, Бьел Мескида, Пеп Албанель, Жозеп Льюис Сеги, Жоан Ренде, Жауме Фустер...

Мы, люди умственного труда, не забываем о проблемах, которыми живет наше общество. Мы стараемся вносить свой вклад в его модернизацию и в развитие культуры в соответствии с требованиями эпохи. И как люди умственного труда мы считаем, что теперь, когда позади длительный период франкизма, вынуждавшего нас жить в изоляции от внешнего мира, мы должны расширять свои представления о культуре других стран и способствовать тому, чтобы мир знал о каталонской культуре. Это стремление к добрым отношениям, к сближению разных культур руководило мной, когда я писал эту статью. Надеюсь, что она послужит более тесному сотрудничеству советской, каталонской и в целом испанской культур.

◆

Письма из-за рубежа

В последние годы во многих странах мира отмечается большая творческая активность писательниц-женщин. Что представляет собой это явление, с какими современными социальными процессами связано, какие проблемы стоят перед женщинами, работающими сегодня в литературе? Эти и другие вопросы затрагиваются в письме, присланном в журнал английской писательницей Фэй Уэлдон. Редакция попросила советскую поэтессу Ларису Васильеву, которая, как и Фэй Уэлдон, была участницей советско-английского «круглого стола» на тему «Литература и общество», состоявшегося в Москве в сентябре 1984 года, высказать свою точку зрения на поставленные английской писательницей вопросы. Этот «заочный диалог» мы предлагаем вниманию читателей.

ФЭЙ УЭЛДОН

О НЕОБХОДИМОСТИ ФЕМИНИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Итак. Сестры и братья в Советском Союзе — если после столь краткого пребывания в вашей стране мне позволительно так называть вас, если вы примете меня в свою семью и разрешите говорить начистоту. Памятуя при этом, что если как автор художественной прозы я еще могу чувствовать себя достаточно уверенно, не сомневаться, что иду верным путем, ибо черпаю силы во вдохновении, то по-человечески мне свойственно ошибаться наравне со всяким другим, а выступая под таким заголовком, как этот —«О необходимости феминистской литературы»,— я способна обращаться к вам лишь как самый обыкновенный, рядовой человек. Признаться, я куда больше в своей тарелке, когда пишу роман или пьесу, а не статью — мне несравненно больше по душе придумывать. Милое дело! Про роман в худшем случае скажут: «Скучища! Белиберда какая-то!» Когда же берешься за публицистику, о твоей статье могут сказать: «*Вранье*»,— а это уже страшно. Все равно что снова вдруг очутиться за школьной партой. Видите, на что я отваживаюсь ради вас? Это ли не свидетельство любви?

На родине, в Англии, меня принято было до сих пор называть писательницей-феминисгкой, и действительно мои ранние романы пронизаны духом феминизма. Иначе и быть не могло, ибо я как писатель формировалась под давлением тех самых обстоятельств, которые с неизбежностью породили на Западе это движение. Я горжусь, что принадлежу к нему, однако склонна видеть в себе не писательницу-феминистку, а писательницу *и* феминистку. Улавливаете разницу? Ведь я пишу не полемические статьи, а романы и пьесы. И сегодня в своих романах уже кое в чем расхожусь с основными положениями феминизма—особенно той его разновидности, что получила прозвище «гриб-дождевик» и трактует о магии, о загадочном и непостижимом, о материнской любви и прелестях сельской жизни, а заодно содержит изрядную долю сведений по части гинекологии — хотя у нас в Англии считается, что лишь она-то и имеет самое непосредственное отношение к тому, что составляет жизнь женщины. Ну, а я полагаю, что жизнь богата и полна чудес, что женщины — сложные создания, в их существовании властно присутствуют любовь и дети, что природа не только прекрасна, но и грозна, и нельзя же, в конце концов, писать только о том, что нас устраивает! И потому, сделав глубокий вдох, дерзко заявляю: слушайте, вы,— сколько вас, сотни, тысячи? — все вы заблуждаетесь, а права одна я, единственная настоящая феминистка! Одна я, как говорится, шагаю в ногу!.. Вы, я думаю, уже заметили, что я не из тех, кто предпочитает скромничать. Мой девиз — нападай! И только нападай!

Да, но как говорить о феминизме применительно к советской действительности? Вероятно, нам придется отказаться от этого слова, заменить его новым. В термине «феминизм» слишком явственно слышатся отголоски сражений за равные права, равную оплату труда, равное образование — все то, что мы едва лишь начинаем завоевывать и что для вас уже давным-давно, с 1917 года, стало реальностью. И если советской женщине сегодня можно что-то пожелать — чуточку меньше работать, чуточку больше отдыхать, развлекаться, чаще чувствовать себя женщиной, достойной поклоне-

ния,— как это непохоже на то, чего пожелает феминистка своим сестрам на Западе! В вашем краю, где чьи бы ни были руки, мужские или женские, им всегда найдется работа, такое понятие, как «феминизм», поистине звучит странно. Так что давайте подберем другое, воспользуемся лозунгом «За равное достоинство!» Посмотрим, не объединит ли нас такое знамя? По-моему, объединит!

Равное человеческое достоинство, равный труд — не только на службе, но и в стенах дома. Вот где должен вершиться переворот. И переделать себя, перевоспитать, исправить свое поведение надлежит мужчинам. Мужчина должен понять, что постоять в очереди — не зазорно, что принести домой продукты, сготовить их, убрать квартиру, постирать белье, зашить дыру, поставить цветы в вазу — не позор. Что нет «мужской» работы и «женской», есть просто работа, которую человек выполняет, дабы удовлетворить свои потребности,— в этом для него и радость и награда. Равное достоинство! Слаще музыки звучат для женского уха эти слова! Пора мужчине уразуметь, что ребенок — в такой же мере его забота, как и его жены. И что работа его жены так же важна, как его работа, поэтому пускай он точно так же отводит малыша в детский сад, а когда малыш заболеет, посидит с ним дома. И по ночам пусть встанет к маленькому, жене тоже нужно выспаться, а не только ему. И разве непонятно, что, когда жена хлопочет по дому, ему не годится плевать в потолок! Ну а на службе? То же самое. Неприлично вертеться и болтать, когда женщина выступает на собрании (а не так ли поступают во всем мире мужчины!), точно ее слова заведомо меньше значат, чем то, что скажет он. Недопустимо грубить женщине, унижать жену, увиваясь у всех на виду за другими. Равное достоинство! О нем можно говорить без конца — и не только можно, пожалуй, но и должно! Что завоюешь молчанием да умильными взглядами? Да, знаю, знаю — сердце мужчины! Непостоянное, переменчивое мужское сердце! Но, может быть, важнее отвоевать собственное достоинство?

Нет, это, право же, славное знамя! Мне весело видеть, как оно полощется на ветру. И если новобрачный после свадьбы протянет жене грязную рубашку, жена сделает удивленное лицо и скажет: «Равное достоинство». А он, поняв, о чем речь, спохватится и не постыдится выстирать ее сам. Другое дело, что, раз она его любит, ей захочется доставить ему удовольствие, и *изредка* она выстирает ему пресловутую рубашку. Но не по привычке — из любви. А он, в свою очередь, возьмет когда-нибудь да и погладит ей блузку! А что? Вполне естественно!

Ну вот! Я все-таки изловчилась вывернуться из-под одного заголовка и перебраться под другой: «О необходимости литературы о равном достоинстве». Теперь мне остается сказать лишь одно: конечно, конечно же, понять себя и других нам помогает литература — а о каких переменах в самих себе может идти речь, если мы прежде всего не поймем себя? Нам следует раздвинуть границы воображения, развить в себе способность к сопереживанию, умение более полно понять, каково, если мы можно выразиться, нам будет в шкуре другого. В этом нам первый помощник литература, если она достойна ею называться, если она смела и правдива. С нею мы постигаем смысл нашей жизни — за то и любим ее. Такого рода произведения я и пытаюсь писать и буду весьма польщена, если когда-нибудь меня причислят к школе, которая проповедует равное достоинство!

Меня просили написать что-нибудь о самой себе, сообщить какие-то подробности моей частной жизни. Что мне сказать? У нас на Западе привыкли, что никто не станет прислушиваться к словам женщины, если сперва не выяснит, каково ее семейное положение, сколько у нее детей. (Вопиющее умаление достоинства!) Ну что ж, скажу, что я замужем, и притом уже двадцать лет, что у меня четверо детей, все мальчики, и младшему из них шесть лет. Я очень довольна своей судьбой. Люблю своих друзей-мужчин и еще больше — друзей-женщин. (Вероятно, став под знамя с лозунгом «Равное достоинство», так говорить не подобает. Выходит, мне самой тоже не мешает исправиться!) Тогда позвольте, я внесу поправку и скажу, что люблю людей. Каждый из нас должен быть прежде всего человеком, а уж потом мужчиной или женщиной.

Перевод с английского М. КАН

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

...С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ВРЕМЕНИ

Дорогая Фэй!

Пользуюсь возможностью поговорить с Вами на страницах «Иностранной литературы», именно поговорить, а не ответить на Ваше письмо, которое — узнаю Вашу широту и доброту — адресовано всем сестрам и братьям в Советском Союзе и которое я скорее назвала бы эссе. За всех отвечать не могу — мы, как Вы увидели собственными глазами, не стрижены под одну гребенку, а очень разные.

Вас, Фэй, полюбили участники «круглого стола» с первой же минуты, с первой неожиданной Вашей реплики. Помните, как мы расселись, взяли наушники и прозвучал Ваш веселый, удивленный голос:

— Подумать только, такие же люди, как и мы. И также курят сигареты.

Большинство моих коллег, сидевших за тем же столом, поняло Вашу реплику как шутку. А мне, жившей среди англичан около шести лет, ежедневно читавшей ваши газеты и смотревшей программы Би-Би-Си, было ясно, что Вы если и шутили, то не без

некоторой доли правды: даже в наше время не все англичане готовы встретить в этой «дикой стране» столь привычную, европейскую обстановку.

Но отдаю Вам и другим участникам «круглого стола» должное — все с молниеносной быстротой отбросили предрассудки и увидели чужой мир таким, каков он есть, с его достоинствами и недостатками. Да, недостатками, ибо они, оттеняя достоинства, дорисовывают правду жизни.

Должна сказать Вам, что и видом своим, и характером Вы, Фэй, опровергаете устаревшее представление о типичной англичанке: чопорной и скучной. Почувствовав, что и в английском феминизме, и в нашем женском равноправии не все окончательно решено, Вы мягко и деликатно заговорили о «равном достоинстве» и внесли даже ряд конструктивных предложений.

Да, Вы правы: проблемы женщин в наших странах очень разные и понятие «феминизм» ровно ничего не определяет в Советском Союзе, в то время как в Англии это существенная часть общего движения за равноправие женщин[1]. Меня в последние годы интересует парадокс: цивилизованная страна, в которой, как говорится, у руля стоит женщина, даже, если быть точной, две женщины, вынуждена вести все ту же борьбу за женскую эмансипацию.

Если мне не изменяет память, еще в девяностых годах прошлого века при резко отрицательном отношении палаты лордов английские женщины с трудом получили законное право избирать и быть избранными. И только в семидесятые годы нашего века женщинам удалось добиться в ряде профессий равной с мужчинами оплаты труда, но при этом вековое предубеждение осталось. Помню, мне жаловалась англичанка-врач, что у нее пациентов много меньше, чем у ее коллеги, врача-мужчины. Но она же призналась, что сама, оказавшись пациенткой, непременно отправится на прием к мужчине.

У нас, как известно, революция не только провозгласила равенство мужчин и женщин, но и реально его обеспечила. Вы своими глазами увидели наших женщин во всех областях деятельности наравне с мужчинами и даже зорко заметили некоторые издержки равноправия, пожелав нам «чуточку меньше работать, чуточку больше отдыхать». Думаю, большинство из нас сегодня с удовольствием примет Ваше пожелание. Думаю также, что в двадцатых, тридцатых годах советские женщины Вас не поняли бы. Тогда они, как говорится, «дорвались» до своей свободы и упивались ею. А в сороковых и пятидесятых, в годы войны и восстановления, им было просто не до отдыха — слишком много мужчин воевало и погибло на фронтах. Мирные послевоенные десятилетия, развитие бытовой цивилизации, которое в нашей стране в силу исторических причин шло значительно медленнее, чем в странах Запада, однако шло и давало свои зримые плоды,— все это утвердило наших женщин в желании обрести некое равновесие в равноправии. Поверьте, они многое делают для его обретения, но работа еще предстоит. И немалая.

Вот тут-то и можно было бы стать рядом с Вами под знамя «равного достоинства», это знамя долго еще будет «полоскаться на ветру», только само понятие «равного достоинства» у нас не одинаково. Думаю, не только о равном достоинстве надо бы нам говорить, но и о равном моральном, нравственном и культурном уровне мужчин и женщин, о взаимопонимании и близком мироощущении. Соответственно, и у литературы здесь есть свои проблемы. Жизнь сложна, и в семье при равных уровнях обеих сторон возникают порой ситуации неразрешимые, совершаются события непредсказуемые. И литература, если она касается таких коллизий — ибо писать о ровном благополучном течении жизни никому не интересно,— не может не быть нужной и мужчинам и женщинам, разрешая вопросы не с точки зрения того или другого, а с точки зрения человека и его времени.

Если бы Вы имели возможность читать наши газеты, журналы, то едва ли не в каждом выпуске, в каждом номере могли бы увидеть статью, или очерк, или фельетон в защиту женщин, у которых плохие, невнимательные мужья. Больше того, у нас в прессе все чаще появляются статьи о плохих женах, о неделикатных подругах жизни, о необходимости беречь мужчин. Это естественно в стране, где женщина настолько независима, что может позволить себе критически взглянуть на свою обретенную силу.

Проблема плохого мужа или плохой жены — это проблема конкретная. Здесь у каждой семьи свой рецепт от болезни, свой метод борьбы и своя, как говорится, дорога.

Вы пишете, что в Англии Вас считают писательницей-феминисткой, однако Вы сами склонны «видеть в себе не писательницу-феминистку, а писательницу и феминистку», и спрашиваете: «Улавливаете разницу?»

Как не уловить. Истинный художник не может замыкаться в рамках одной проблемы — путь к правде жизни непременно выведет его на просторы самой жизни, не даст замкнуться. В связи с этим я хочу привести несколько примеров из нашей литературной жизни, дабы Вам легче было понять наши различия и сходства в сфере чисто литературной.

В Англии всегда было много женщин-писательниц. Девятнадцатый век дал целое созвездие: Мэри Шелли, сестры Бронте, Джейн Остин, Элизабет Гаскелл, Анна Радклиф... Россия прошлого века в этом отношении была много беднее.

В двадцатом веке в нашей стране женщина на равных с мужчиной правах пришла и в литературу. У нас много писательниц и поэтесс, которые, не уступая мужчинам, а порой и превосходя некоторых из них, создают полотна, отражающие многообразие жизни, поднимающие многие вопросы не только любви, быта и нравов, но и духа, но и производственных отношений. Достаточно назвать имена В. Кетлинской, В. Пановой, Г. Николаевой, А. Коптяевой,

[1] О движении женщин за равноправие на Западе, о феминизме см. статью Э. Щербаненко «Потери на пути к себе. Современная женщина Запада в жизни и литературе». «ИЛ», 1985, № 3. *(Прим. ред.)*

О. Берггольц, М. Шагинян, М. Алигер, Е. Шевелевой, Л. Татьяничевой, Е. Каплинской, И. Ракши. Это далеко не полный перечень имен. Наряду с ними у нас очень популярны женщины-писательницы, которые много внимания уделяют темам любви, быта и нравов: И. Грекова, Л. Уварова, В. Токарева, Д. Калиновская, С. Кузнецова, Н. Баранская. Нужно ли упрекать их за это? Наверное, найдутся люди, которые, ограничив понимание романа, рассказа или повести только его фабулой, упрекнут и Шекспира за «Ромео и Джульетту», и Льва Толстого за «Анну Каренину». Но ведь настоящий писатель в капле видит океан и из малого выращивает великое.

В последние годы я наблюдаю, как в нашем обществе женщина-писательница становится все более необходимой читателю. Она порой видит мир несколько иначе, чем ее коллега — представитель сильного пола, и в этом видении помимо новизны и свежести есть еще и здоровая, озаряющая сила материнского и дочернего начала, столь естественная для женщин. В растущей активности женщин нашей литературы я вижу большие перспективы.

Приход женщины в литературу у нас благотворен. В поколении, идущем следом за моим, сейчас немало женщин. Они, по-моему, пишут сильно, ярко, гражданское чувство в их произведениях выражено определенно, умно, достойно. Думаю, ни одна из нас не скажет, что мы как женщины претерпеваем дискриминацию, живя и работая в литературе.

Уверена, Фэй, что Вы поймете меня так же, как я поняла Вас. Мне было интересно наблюдать за Вами и другими английскими коллегами, которые радостно удивлялись общности взглядов на многие вопросы жизни. Давно нам пора лучше узнать друг друга.

Вы, англичанки, пока еще не достигли полного равноправия.

Мы, советские женщины, пока еще не усовершенствовали всех принципов равноправия.

Вполне возможно, что к тому времени, когда вы достигнете своего, то учтете некоторые наши просчеты и ошибки, и мы согласно будем идти своими земными путями. Что касается меня, то мне всегда приятно думать: моя ошибка помогла кому-то не ошибиться.

Но для того чтобы свершилось то, о чем мы мечтаем, нам необходимо одно-единственное: мирная планета. Не правда ли, Фэй?

◆

Отклики, встречи, впечатления

ГАО МАН

ПОЕЗДКА В МОСКВУ

По приглашению Союза писателей СССР в Москву для участия в VI Международной встрече переводчиков советской литературы приезжали известные китайские переводчики — Гэ Баоцюань и Гао Ман. Публикуемая нами статья Гао Мана об этой встрече[1] напечатана в номере шестом за 1984 год ежемесячного журнала «Фаньи тунсюнь» («Переводческие сообщения»), органа Китайского союза переводчиков.

На китайском языке в переводе Гао Мана публиковались рассказы, пьесы и стихи советских писателей, в том числе рассказы О. Гончара, пьесы В. Маяковского «Баня» и «Клоп», стихотворения В. Маяковского и многих современных советских авторов. Перу Гао Мана принадлежат также публицистические произведения. Гао Ман известен и как художник, автор красочного альбома «Великие учители пролетарской революции Маркс и Энгельс», снабженного собственными его пояснениями. Иллюстрации Гао Мана систематически помещаются на страницах журнала «Шицзе вэньсюэ» («Мировая литература»), заместителем главного редактора которого он в настоящее время является.

Солнце ранней пекинской зимы только-только вставало, когда мы с Гэ Баоцюанем, приглашенные на VI Международную встречу переводчиков советской литературы, поднялись на борт китайского самолета, направляющегося в Москву. Гэ Баоцюань был в Советском Союзе двадцать пять лет назад Почти двадцать лет прошло с тех пор, как я в 1965 году в последний раз проезжал через Москву. Какие перемены произошли за это время в Советском Союзе? Как живет советский народ? Каковы успехи советских коллег? Как будет проводиться международная встреча переводчиков? Меня переполняли все эти вопросы. Я думал о том, как сейчас в Китае изучается, переводится и издается советская литература. Со времени Третьего пленума ЦК КПК (1978) изучение иностранной литературы приобрело небывалый размах. Мы преодолели левацкое влияние, освободились от тенденции одностороннего упора на служение политике, наряду со вниманием к идейному содержанию иностранной литературы стали отмечать ее художественные особенности. За коротких несколько лет мы познакомили китайских читателей более чем со ста новыми для них именами советских авторов. К некоторым ныне здравствующим переводчикам советской литературы старшего поколения вернулась энергия молодости — они продолжают возделывать сад перевода. Прекрасно проявили себя переводчики среднего поколения, и уровень перевода неуклонно повышается. В то же время пришла и значительная группа новых людей... Я стал перебирать в памяти их имена и созданные ими переводы, благо

[1] Статью Гао Мана мы сопровождаем его рисунком, сделанным во время встречи.

никто не мог помешать мне: в салоне самолета на сто шестьдесят мест было немногим больше двадцати пассажиров.

Весь путь до Москвы отнял у нас меньше десяти часов. Московские перемены очень заметны. Широкие проспекты, масса новых зданий, да и районы города сильно разрослись, что видно даже на первый взгляд. С открытием подземных пешеходных переходов исчезло скопление автомобилей и людей на перекрестках — теперь машины проносятся безостановочно. Мне показалось, что на улицах мало прохожих. Наш сопровождающий сказал на это: «Сегодня воскресенье». В Советском Союзе осуществлена пятидневная рабочая неделя, и в настоящее время москвичи с вечера пятницы начинают отдых конца недели. Бóльшая часть населения остается дома, те же, у кого есть возможность, уезжают за город, на дачу. В воскресенье закрыты некоторые универмаги и ряд магазинов, что для меня было неожиданностью. С бóльшим вкусом одеты люди на улицах. Среди прохожих много иногородних и иностранцев. Я был поражен, узнав, что их в постоянно меняющемся людском потоке целый миллион!

Встретившая нас в аэропорту Антонина Ломакина сопровождала нас при встрече с руководителями Союза советских писателей. Антонина — сотрудник Иностранной комиссии Союза советских писателей. Она знает монгольский язык: в свое время прошла университетский курс в Монгольской Народной Республике. Вследствие того, что на длительный срок были прерваны культурные связи между Китаем и Советским Союзом, в Союзе советских писателей отсутствует работник со знанием китайского языка. Секретарь правления Союза советских писателей поэт Юрий Воронов, человек в расцвете лет, очень радушно принял нас и ознакомил с программой встречи переводчиков советской литературы.

Это шестая такая встреча. Первая проходила в 1967 году. На шестую встречу были приглашены переводчики более чем из тридцати стран: Австралии, Афганистана, Англии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, Греции, Египта, Индии, Ирака, Испании, Италии, Китая, Кубы, Мексики, Монголии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Судана, США, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Югославии и Японии. Список членов советской делегации был длинным, но являлись советские делегаты как будто не всегда полностью.

Некоторые из иностранных переводчиков много раз участвовали в подобных встречах, как, например, американка Мириам Мортон. Она рассказала мне, что приезжала в Советский Союз семнадцать раз, написала немало статей о Советском Союзе, перевела произведения Чуковского и других советских писателей, выпустила несколько собственных книг, сейчас специально изучает детскую литературу. Она подарила мне книгу сочинений американских детей в надежде на то, что мы прочитаем работы детей и узнаем их стремления, и, конечно, больше всего желая, чтобы эти сочинения были переведены и опубликованы в наших изданиях.

Участники встречи свободно говорили по-русски, некоторые из них находились в родственных отношениях с русскими, некоторые были иностранными гражданами русского происхождения.

Греческая переводчица, прямодушная, любящая шутку Кира Сину, говорила мне, что родилась в Советском Союзе от отца-грека и матери-русской, детские годы ее прошли в возвращениях на ту или иную родину, пока, наконец, она не вышла замуж за грека Сину, фамилия которого по-гречески означает «Китай». Сказав это, она бросила на меня взгляд в ожидании моей реакции, а затем воскликнула: «Мы — китайцы, и надо мне наконец собственными глазами увидеть нашу Великую стену!» Она переводит с четырех языков — греческого, русского, английского и французского. Пишет рассказы, из которых один удостоен греческой литературной премии, а один переведен на английский язык и передавался по американскому радио.

Среди участников встречи были и такие, которые впервые в жизни приехали в Советский Союз. В гостинице «Россия» мы завязали знакомство с гостем из Турции Мехметом Озгюлем. Он переводил произведения Достоевского, Толстого, Гоголя, Чехова, получил премию у себя в стране, однако никогда не бывал в Советском Союзе. Я спросил его о том, сколько времени требуется в Турции для издания повести объемом в семьдесят—восемьдесят тысяч иероглифов — от представления рукописи до облачения готовой книги в переплет. «Два месяца»,— ответил он, не задумываясь. Позднее я задал тот же вопрос в беседе с японским профессором Сотокити Кусака. Его ответ: «Одна неделя». Я сравнил положение с изданием литературы у нас и подумал, что нам следует поспешить, если мы хотим идти в ногу с эпохой.

28 ноября 1983 года в 10 часов утра в Москве в большом зале Центрального Дома литераторов имени А. А. Фадеева собралось несколько сот человек. В президиуме кроме представителей разных кругов советской общественности находился также представитель Международной федерации переводчиков (ФИТ). Собрание открыл секретарь Правления Союза писателей СССР Н. Федоренко, известный советский китаевед, член-корреспондент Академии наук СССР, долгое время проработавший в Китае. По его спокойной и твердой манере держаться никак не скажешь, что ему уже за семьдесят.

Секретарь Правления Союза советских писателей С. Баруздин от имени Союза писателей СССР и первого секретаря Г. Маркова пожелал встрече переводчиков успеха. Баруздину около шестидесяти, он непосредственный организатор нашей встречи. Кроме него выступили первый секретарь Правления Московской организации Союза советских писателей Ф. Кузнецов, заместитель председателя Комитета по охране авторских прав В. Ситников, заместитель председателя Госкомиздата В. Сластененко, член Правления Советского фонда мира Р. Нифонтова и председатель Прав-

ления Международной федерации переводчиков Анна Лилова.

Во второй половине дня состоялось официальное открытие «круглого стола». Местом нашей встречи послужило фойе большого зала, которое, по-видимому, было предназначено для отдыха в перерывах между представлениями или собраниями в большом зале. Встреча продолжалась пять дней. За это время выступило пятьдесят семь человек. По словам наших хозяев, за все шесть встреч такое количество ораторов они наблюдают впервые. Поэтому в самом начале заседаний председательствующий объявил, что каждое выступление не должно превышать пятнадцати минут. Конечно, это ограничение сдерживало пыл любителей порассуждать, но в интересах наибольшей широты общения оно было, безусловно, необходимым.

Во время встречи очень многие выступавшие подчеркивали важное значение перевода художественной литературы.

Секретарь правления Союза болгарских переводчиков Анна Лилова, переводчица немецкой и французской литературы, автор нескольких работ по теории перевода, выступая на встрече в качестве председателя Международной федерации переводчиков, сказала: «Миссия переводчиков заключается в наведении мостов между народами всех стран». Этот образ — «наведение мостов» — пользовался большим успехом среди участников встречи и не раз был повторен в советской печати.

Советский переводчик Г. Муравин сравнил дело перевода художественной литературы с плаванием Колумба. Его предназначение — обнаруживать в океане мировой литературы новые континенты. Кто-то сказал: «Переводчик — волшебник языка». А один выступавший сравнил перевод с выбором спутника жизни. Он в шутку сказал: «Найти произведение для перевода все равно что найти невесту: это можешь сделать только ты сам». В. Озеров на историческом примере пояснил важность и необходимость перевода художественной литературы: Тургенев переводил Уитмена, но русские журналы в его время не поняли всего значения уитменовского творчества, и переводы эти напечатаны не были, что отодвинуло по меньшей мере на сорок лет влияние Уитмена на русскую литературу.

В Китае существует длительная традиция литературного перевода. Перевод в нашей литературе занимает важное место, завоеванное трудом и успехами китайских переводчиков. Наши передовые деятели, революционеры, литераторы всегда отдавали себе отчет в важности переводческого дела и наряду с собственным творчеством занимались литературным переводом. Выступая на встрече, Гэ Баоцюань проследил историю перевода и издания русской классической и советской литературы в Китае за восемьдесят лет, прошедших от начала XX века, в особенности — традиции перевода после «движения 4 мая» 1919 года. Он сказал: «Передовая часть нашего общества горячо приветствовала Октябрьскую революцию Ранний марксист Ли Дачжао в 1918 году в написанных для журнала «Синь цинянь» статьях «Победа простого народа» и «Победа большевизма» восторженно отзывался о Великой Октябрьской революции Им была также напечатана работа «Русская поэзия и революция»... В 1920 году, на второй год «движения 4 мая», в Пекине под редакцией Цюй Цюбо, Чжэн Чжэньдо, Гэн Цзичжи был издан «Сборник рассказов знаменитых русских писателей» В 1921 году вышел специально посвященный русской литературе номер журнала «Сяошо юэбао», в котором было опубликовано двадцать статей Лу Синя, Шэнь Яньбина и многих дру-

гих авторов. В этом номере журнала было помещено двадцать семь произведений русской литературы от Пушкина до Горького, а также впервые в Китае — перевод «Интернационала»... В 1949 году после образования Китайской Народной Республики перед переводчиками открылось широкое поле деятельности и встали новые, еще более важные задачи. В 1951 году состоялась первая всекитайская конференция, посвященная переводу, и вслед за ней в 1954 году — всекитайская конференция по переводу художественной литературы, на которой выступили Го Можо, Мао Дунь, Чжоу Ян, указавшие на важность широкого проведения работы по переводу и пропаганде иностранной литературы».

Таково положение с переводом в нашей стране. Однако не везде переводному делу уделяется должное внимание. В некоторых странах к переводчикам все еще относятся с пренебрежением.

Английская переводчица Джесси Дэвис переводит главным образом советскую литературу. За «круглым столом» она выступала первой — на прекрасном русском языке с легким западным акцентом: «Раньше на работу обыкновенного переводчика смотрели свысока. Примером может послужить моя сестра, талантливый математик и химик. Когда мы еще были молоденькими девушками, она часто говорила: «Для того чтобы мне прийти к научному выводу, я должна прилагать умственные усилия, ты же, переводя что-нибудь, пользуешься чужими мыслями и сама можешь даже не думать». Ее слова заставляли меня долгое время смотреть на любимую работу как на нечто позорное». Дэвис, говоря о нынешнем положении вещей, заметила, что в телевизионных фильмах или в пьесах до сих пор не указывается имя переводчика, в переводных же книгах оно напечатано, как правило, в самом конце, мельчайшими буквами. Дэвис сказала, что лишь впоследствии, узнав, что в Советском Союзе переводчики рассматриваются как творческие работники и принимаются в Союз писателей, стала гордиться избранной профессией переводчика.

Другая английская переводчица, Хилда Перхам, также в основном переводит современную советскую литературу. Ее выступление отразило положение с чтением литературы и роль рекламы в капиталистическом обществе. Она сказала в своей речи: «В Англии большое число людей читает не книги, а дешевые, низкопробные бульварные газеты, где помещаются только фотографии обнаженных красоток и различные так называемые «новости», но эти «новости» по фантастическим тиражам часто превосходят самую необыкновенную прозу». Она считает, что для распространения на Западе переводной литературы необходима широкая реклама: «На Западе любой торговец, любой владелец магазина хорошо представляет себе, что, если он не потратится как следует на рекламу, ему не удастся сбыть свой товар. Кто не знает знаменитой поговорки: «Реклама — двигатель торговли». Но Перхам, в конце концов, не коммерсант, а заместитель председателя общества «Англия — СССР», сама переводчик, а потому, коснувшись конкретных произведений литературы, выразила уверенность, что «литературные произведения прежде всего должны обладать художественными достоинствами, в противном же случае их идеи и намерения не найдут распространения; ни голая проповедь, ни скучная пропаганда читателем восприняты не будут».

Итальянская переводчица Джованна Спендель де Варда в своем выступлении рассказала, что у себя на родине опубликовала ряд критических статей, а также переводила произведения Катаева, Шукшина, Быкова. Она считает, что создание образцового перевода слагается из многих факторов, а среди них: «хорошее владение иностранным языком, наличие хорошего словаря, всестороннее знание творчества автора оригинала, друзья, к которым всегда можно обратиться за помощью». И дальше: «Не поняв культуру и исторические обстоятельства времени деятельности Тургенева или Чехова, нельзя перевести их произведения». Коснувшись проблем языка литературы, она отметила: «Язык литературы не есть некая абстрактная вещь, не есть комната без окон, без дверей. Язык литературы является предметом с окнами и дверями, через которые проникают национальная окраска и дух культуры. Язык каждого народа имеет свою душу, как каждый человек имеет свои моральные достоинства. Переводить — это значит соединять два языка, две души». Переводчик, по ее мнению, должен быть свободным в своих действиях. Заметив, что к переводчику художественной литературы предъявляется очень много требований, даже слишком много, вплоть до того, что он должен быть писателем, она с улыбкой добавила: «Однако если бы было так, то есть если бы переводчик был писателем, ему следовало бы не переводить, а писать собственные сочинения».

Я чувствовал, что среди встреченных мною иностранных переводчиков наибольшее внимание в переводе уделялось тому, что мы в Китае называем «выразительностью» и «художественностью». Такова была точка зрения итальянской переводчицы, такого мнения придерживался и турок Озгюль, который сказал мне: «Переводя, я думаю прежде всего о том, чтобы переводимое мною было воспринято турецким читателем, и поэтому часто подвергаю каким-либо изменениям те слова или фразы, которые турецкий читатель не воспримет».

Гость из ГДР Томас Решке переводил прозу Горького, Бабеля, Зощенко, Булгакова, Гранина, Рытхэу, драмы Арбузова и Рощина. От имени всех иностранных переводчиков он обратился к советским издателям с просьбой о выпуске большего количества словарей, так как существующие ныне русские словари уже не в состоянии удовлетворять требованиям переводческой работы. Мы тоже при переводе часто встречаем слова и выражения, не содержащиеся в словарях, и для устранения подобных трудностей, конечно, необходимо издать побольше разного рода словарей с новой лексикой.

Во встрече участвовал ряд переводчиков поэзии, выступления которых были посвя-

щены поэтическому переводу. Югославский поэт-переводчик Пиндовский является директором издательства «Культура» в Скопле. Он отметил то внимание, с каким к делу перевода относятся в его стране, Югославии, после установления социалистической республики.

Английская переводчица Джесси Дэвис изложила свое понимание перевода поэзии. Она считает, что переводчик поэзии должен пожертвовать своей личностью, что в переводе не должна ощущаться личность переводчика. Вместе с тем переводчик поэзии не должен быть простым «толкователем», а надлежит ему быть создателем стихов. Ее выступление не вызвало споров, но мне известно, что в советских переводческих кругах существовали различные мнения по этому поводу.

Советский поэтический перевод имеет достаточно большую историю и богатый опыт. Особенно следует отметить то, что очень многие советские поэты занимаются переводом стихов. Старшее поколение — Ахматова, Пастернак, Маршак, следующие за ними — Тихонов, Сурков, ныне здравствующие, принадлежащие к среднему поколению поэты Ахмадулина, Казакова — все они переводили и переводят.

В поэтическом переводе есть много вопросов, которые следовало бы обсудить и исследовать, но это невозможно было сделать даже на такой большой по масштабам, но кратковременной встрече.

За «круглым столом» я ознакомил участников с состоянием дела перевода и издания в Китае советской поэзии. Должен сказать, что, когда мы передавали в дар Союзу советских писателей изданные у нас книги советских авторов, по залу прошел шум восхищения. Очень жаль, что советские писатели и поэты не имеют представления о судьбе своих книг в Китае. Во время интернационального вечера поэзии я встретился с М. Алигер и сказал ей, что у нас в стране в последнее время по-прежнему переводят и публикуют ее стихи. Ее очень растрогало это известие. Она протянула мне свой сборник стихотворений и попросила показать, какие из них переведены в Китае. Среди переведенных оказалось и стихотворение, которое она собиралась прочитать на вечере. С радостью слушали на вечере Ю. Воронов и Р. Рождественский, как звучат их стихи на китайском языке. Е. Евтушенко и Р. Казакова также не предполагали, что их произведения публикуются в Китае. Особенно удивились мои советские коллеги, когда я рассказал им, что в Китае переводятся стихотворения В. Высоцкого. Один из друзей В. Высоцкого спрашивал у меня, какие именно стихи опубликованы в Китае, и передал мне душевную благодарность родителей В. Высоцкого.

Известный советский переводчик профессор Л. Эйдлин в своем выступлении за «круглым столом» говорил о переводе китайской поэзии в Советском Союзе. То, что советские читатели полюбили стихи классиков нашей поэзии Тао Юаньмина, Бо Цзюйи и других, неотделимо от усилий Л. Эйдлина. Я читал его переводы. Он продолжил традиции своего учителя академика В. Алексеева и в области перевода открыл собственный путь. Он стремится к точному выражению духа подлинника, к тому, чтобы самым чистым языком раскрыть богатство идейного его содержания. В его переводах уделено должное внимание строению китайского стиха, его мелодичности, отсутствует насильственная рифма. Переводы Л. Эйдлина получают хорошую оценку в Советском Союзе. Мы ежедневно встречались за «круглым столом», и Л. Эйдлин накануне нашего отъезда подарил нам свои новые книги и попросил передать приветы от него китайским друзьям.

В последний день встречи участники «круглого стола» вновь собрались в зале Центрального Дома литераторов для торжественного закрытия и вручения премий — семи премий имени Горького, пяти премий Советского фонда мира, двенадцати премий Комитета по охране авторских прав, четырнадцати премий Союза советских писателей.

Товарищ Гэ Баоцюань твердым шагом поднялся на сцену под аплодисменты всего зала, который приветствовал переводчика-ветерана, отдавшего полстолетия жизни переводу русской классической и советской литературы. Со скромной улыбкой принял он диплом в красном переплете и цветок темно-красной гвоздики. Следя за ним взглядом, я думал о словах, сказанных им мне после преследований, которым он подвергся в смутные годы: «Перевод лучших произведений русской и советской литературы — дело всей моей жизни».

Перевод с китайского

◆

А. ВЕСЕЛИЦКИЙ

С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ

Заметки к «Дневникам Монделло» Франческо Лентини

На суперобложке этой книги — великолепная репродукция «Русской красавицы» И. Глазунова. Серебристо-снежного тона кокошник, обрамляющий на черном фоне лицо девушки, и такого же голубоватого цвета буквы, как бы поддерживающие узорчатый наличник окна: Франческо Лентини. Дневники Монделло. Издательство «Акварио».

Русская красавица — и далекий сицилийской городок. Величественные снега России — и пронзительно голубое даже в декабре море Италии. Поразительно далеко отстоящие друг от друга начала. Маленький и хрупкий ручеек симпатии, сблизивший их когда-то, с годами набрал широту и мощь полноводной реки дружбы, спокойно преодолевающей самые острые пороги нашего бурного времени...

Приезжая в СССР, Франческо Лентини не вел дневник — так, отдельные заметки на случайных листках бумаги, а порой и просто несколько восклицательных знаков на купленной здесь же, у какого-нибудь памятного места, открытке. Могло ли только это стать материалом для почти трехсотстраничной книги?!

— И все же напишу, не могу не написать,— сказал как-то Франческо.— Это стало воистину болезнью...

Альпинист болеет горами, моряка мучительно зовут морские просторы, летчик не мыслит своего бытия вне облачного пространства. Франческо Лентини «заболел» Россией — болезнью совсем нечастою на Западе, да еще для человека, который отнюдь не разделяет нашей идеологии, более того — во многом ее не приемлет. Но все же, но все же...

«Я вновь возвращаюсь в страну, столь не похожую на нашу, с тысячелетней историей, насыщенной событиями, как никакая другая, в общественно-политическую действительность, далекую от итальянской, в страну, где любой посторонний наблюдатель сможет заметить очень многое, что представляет несомненный и вполне объективный интерес. И не из-за того, что увиденное им еще не было описано другими: ведь предмет исследования один и тот же. Все дело в том, что каждый видит по-своему, и именно это субъективное начало не может совпадать у разных людей... Привлекательность необычного и неожиданное совмещение в душе противоположных на первый взгляд начал — вот в чем вечный стимул путешествия... Да, да, в моем случае это совершенно очевидно: я болен. Болен Россией...»

ВЕСЕЛИЦКИЙ АФАНАСИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1944 г.)

Советский публицист и переводчик. Автор книг «Совершенно секретно. Заговор против Республики» (1976), «Кому это выгодно» (1980). В его переводе публиковались мемуары видных деятелей итальянского рабочего движения.

Когда появились первые симптомы этой болезни? Может быть, в том, уже далеком, декабре 1977 года, когда из-за нелепой случайности чуть-чуть не разорвалась только-только намечавшаяся нить контактов? Сейчас мы оба смеемся, вспоминая этот эпизод...

Во время пребывания советской писательской делегации в Палермо наши давние сицилийские друзья — Светлана и Джанни Паризи — рассказали о созданной здесь, на острове, Ассоциации Монделло и посоветовали познакомиться с ее руководителем — судьей Франческо Лентини. Ассоциация, сказали они, делает первые шаги, начало — серьезное, и польза от такой встречи может быть основательной. Франческо (обаяние и простота этого человека сразу же заявили о себе с такой непосредственностью, что мы очень быстро перешли на «ты») пригласил нас на ужин. Делегация разделилась на две группы: в первую машину села секретарь Лентини — Габриэлла Мелани с двумя писателями, во второй ехал сам президент Ассоциации и остальные члены делегации. В хаосе вечернего Палермо первая машина на одном из перекрестков незаметно проскользнула на желтый свет... И тут выяснилось, что с рестораном договаривалась Габриэлла, а Франческо не записал его названия. Не оставалось ничего другого, как вернуться в гостиницу и там ждать звонка от наших «пропавших» коллег. «Настроение было не из лучших,— вспоминает Франческо Лентини, но в конечном итоге все стало на свои места... Мы говорим о себе, они — о себе. Советские литераторы с готовностью отвечают на все вопросы, даже самые «вредные», отнюдь не смущаясь и не проявляя нетерпения. Они прямо говорят, что предпочитают вопросы, не носящие пропагандистского отпечатка и касающиеся в первую очередь материй существенных, сколь бы «острыми» они ни были. Лишь на таком уровне советские литераторы охотно ведут беседу и с удовольствием спорят. Они — отнюдь не из тех, кто согласен принять за аксиому то, что таковой, на их взгляд, не является...

Наши связи развивались и укреплялись на основе взаимного доверия. И именно это сделало возможным ежегодный обмен визитами. Кто вместе со мной побывал в СССР по приглашению Союза писателей — друзья и литераторы из разных областей Италии, самых различных политических ориентаций,— может подтвердить мое впечатление, что каждый из нас возвратился в Италию с массой отвергнутых предубеждений и с солидным багажом представлений об этой стране, куда более точных».

Армения и республики Прибалтики, Средняя Азия и «Золотое кольцо» России... Нет, далеко не все привлекает в этой жизни Франческо Лентини: мелкие и досадные, а порой и достаточно серьезные трудности, в которых, впрочем, и мы сами прекрасно отдаем себе отчет, не проходят мимо внимания нашего итальянского гостя. Но все же главное, что отличает «Дневники Монделло»,— это, несомненно, доброжелательность к нашей стране, стремление глубже понять и оценить ее. Ключ к решению этой задачи, полагает автор, долго искать не надо: отправляясь в СССР, следует раскрыть свое сердце... «Меня не привлекают маршруты, изобретаемые туристскими агентствами, претят и столь частые суровые нарекания на их счет. Я не особенно доверяю нашей прессе... Признаюсь, ни в одной из корреспонденций, переданных из Москвы, я не нашел ничего схожего с увиденным. В свое время Бениамин, один из самых тонких зарубежных наблюдателей, посетивших Россию, заметил: «Перед всякой поездкой каждый обязан выбрать свою точку отсчета. Это, в конечном итоге, оказывается единственной гарантией получить верную перспективу. В России увидеть что-то сможет лишь тот, кто для себя уже сделал соответствующий выбор...» Но разве «чистого» ученого, занимающегося исключительно кабинетным исследованием «социалистических структур», по-настоящему взволнует увиденное?! А марксист-начетчик в свою очередь заявит, что все здесь — рай земной... Во всех их построениях с неизбежной очевидностью просматривается заведомо запрограммированное следование идеологическим схемам, в то время как критическое осмысление действительности в ее совокупности — это сложнейшее переплетение многочисленных социальных компонентов.

Политический забор, отделяющий Западную Европу от СССР — вот причина того, что все увиденное здесь воспринимается как бы через очки, надетые по ошибке. И я считаю счастливым человеком того, кто при любых обстоятельствах сохраняет способность, оставаясь верным своим убеждениям, объективно рассматривать окружающее. Я неизменно стремился придерживаться этой линии, и кажется, мне это удалось. Отсюда и радость, рождающаяся в сердце от воспоминаний»...

...Радость, рождающаяся в сердце от воспоминаний.

Москва, июнь 1978 года:

«После разочарований, ожидавших меня в двух крупнейших европейских столицах — Париже и Лондоне, — я еду сюда, чтобы заполнить последние пустые места в моем плане путешествий за рубеж. Между прочим, поездка в СССР целиком оплачена Союзом писателей, и я впервые пользуюсь этим гостеприимством, начисто лишенным даже малейших намеков на пропаганду, не говоря уж о каких бы то ни было попытках обращения в свою веру (говорю это, отвечая на возможные ехидные замечания иных сторонних наблюдателей). Впрочем, они легко предсказуемы. Лишь такая система, как советская, способна породить структуру, позволяющую обеспечить культурный обмен с зарубежными организациями, не стремясь при этом к навязыванию собственных моделей — ины-

ми словами, на основе действительно полного равенства».

Июнь 1979 года:

«Здесь я нахожу тот подлинный фольклор, который люблю. Куда там нашим маскарадам, представляющим якобы региональный колорит, а на деле повторяющим клише модных стилистов. У нас это даже не представление, а самый обычный карнавал в костюмах определенной эпохи. В Самарканде же все натурально. Люди, особенно престарелого возраста, как и века назад, с тем же достоинством носят свои костюмы: я был тем более ошеломлен, что совершенно не ожидал такого. Кое-что я слышал от людей, бывавших в этих местах. И все же мне казалось: потребительская лихорадка заразила и эту историческую область Средней Азии, столь знаменитую деяниями своих героев и ученых. Но нет...»

Август 1981 года:

«И вот мы вновь в Москве, как и прежде, по приглашению Союза писателей СССР: ежегодный обмен действует безупречно без каких-либо сбоев с той или другой стороны. Вот он, конкретно реализованный принцип взаимного уважения. Ни с одним государством Запада нам не удалось добиться таких отношений. Американцы, например, с которыми я безуспешно пытался вступить в контакт, сразу же заявляют о том, что предпочитают бизнес — фольклорные ансамбли или даже кукольный театр. С Союзом писателей СССР отношения носят качественно иной характер.

В Москве я чувствую себя уже ветераном. И отнюдь не считаю себя гостем бениаминовского типа, который заранее решил, как смотреть на эту страну, или же иностранцем, начиненным политологическими клише. На Москву и СССР я смотрю глазами обычного географа, а порой — хирурга, которого не интересует, принадлежит ли тот или иной орган телу коммуниста или капиталиста. В этом смысле природа предусмотрительно не раскрасила наши внутренности.

Я вновь еду на речном трамвае, охотно любуюсь тем, что уже давно вошло в сердце...»

Июнь 1983 года:

«В нынешнем году, в отличие от предыдущих поездок, я замечаю бóльшее число дружинников, молодых добровольцев, помогающих милиции поддерживать порядок на улицах, в клубах, кафе. Что это? Рост общественного сознания народа или же, как кое-кто пишет, «новая глупость»? Будучи неисправимым оптимистом, я горячо отстаиваю первую версию...»

«Я в общем-то понимаю, почему для наших собеседников западный литератор — это салонный изобретатель метафор, порожденных декадентским иррационализмом. Цивилизация, точнее ее западная часть, не производит ничего, кроме кафкианских насекомых, которые, проснувшись поутру, не знают с точностью, то ли они люди, которым приснилось, что они насекомые, то ли насекомые, которым показалось, что они — люди: странные индивидуумы, манипулируемые пропагандой, насквозь пропитанной духом потребительства, пешки в незнакомой для них игре...»

«Вот она, суть,— думаю я про себя.— Здесь право на труд не просто провозглашается, как у нас. Ведь и в нашей конституции этот параграф облечен в самые помпезные формы. Итальянская Республика зиждется на труде, записано там. Но откуда же тогда столько безработных, столько молодых людей, покидающих родину, живущих в отчаянии?! Система свободного рынка жестока, полная занятость здесь невозможна. Сама занятость рассматривается лишь в связи с непосредственной экономической выгодой...

Да, эту действительность нужно воспринимать такой, какая она есть, а не той, что мы хотели бы видеть соответственно нашим моделям...

Мы возвращаемся полными счастья, как после школьной загородной прогулки...»

...Внизу многоцветными звездами светились на черной глади моря рыбацкие лодки, над стеклянной коробкой ресторана громадой нависал знаменитый «Странник» — гора, которой, по свидетельству Гёте, равной нет в мире по красоте. Такой была первая встреча с Монделло, и здесь самая пора сказать несколько слов об этом курортном пригороде сицилийской столицы.

«Когда-то это была грязная, болотистая местность, но юный выходец из древней семьи патрициев Франческо Ланца пошел на дерзкое предприятие: среди двух великолепных гор возникла первая песчаная полоса, и жители Палермо очень быстро полюбили этот пляж, самый элегантный в городе, а может быть, и на всей Сицилии. Менялись поколения, Монделло стал местом паломничества тысяч туристов и из окраины города — тихого пристанища рыбаков — превратился в гигантский конгломерат домов и домишек, хаотично громоздящихся друг над другом. И вот только тогда, когда от зловонных потоков залив чуть было вновь не стал превращаться в болото, кто-то вспомнил и о необходимости канализации. В 1973 году был создан Комитет по спасению Монделло, и его организатор, адвокат Андреа Паторно, пришел однажды ко мне с приглашением принять участие в этом деле...

Вначале нас всего несколько человек. Мы пишем статьи, создаем проекты. Нас замечают. В Монделло прибывает целый отряд рабочих, устанавливающих сеть канализации, городские власти изучают места самовольных свалок, областное правительство выделяет средства на постройку небольшой набережной и рыбацкого причала.

Казалось бы, успех нашего Комитета очевиден. Но успех в таком городе, как Палермо, никогда не несет на себе по-

ложительного знака. Где там! Начинаются анонимные угрозы по телефону и по почте: рабочим-де есть чем заняться и кроме Монделло, и потом: «Вы задеваете интересы». Чьи?

В Палермо хорошо знают, что угрозы всегда являются прелюдией к действиям, а потому под их натиском Комитет «тает», как лед на солнце.

И снова — старая картина. Монделло, как и Палермо, находится у моря, но увидеть синюю гладь можно лишь на старинных гравюрах. На деле же путь к воде, как и прежде, загорожен сотнями маленьких столов и стоек, за которыми едят кальмаров, курят, плюют...»

Вот так буднично просто, лишь намеком, легко, впрочем, понимаемым всеми, Франческо Лентини касается одной из самых больных проблем современной Италии. Подчеркиваю: всей Италии, далеко не одной Сицилии. Мафия. Не раз возвращаясь к ней на страницах своей книги, автор тем не менее лишь единожды назовет ее по имени и только в одном случае профессиональная осторожность судьи не устоит перед человеческой болью и гневом. В списке руководства своей Ассоциации Франческо обведет черным фамилию Рокко Кинничи, а я в Москве исключу ее из всех наших заявок на гостиницу, на авиабилеты... Через месяц Кинничи собирался в СССР.

Палермо, 30 июля 1983 года:

«Вчера был убит Рокко Кинничи, сегодня — его похороны. В соборе св. Доминика, этом сицилийском Пантеоне, все те же правительственные деятели. Все те же гневные речи, все то же изумление людей, не способных воспринять и объяснить происходящее. Стрелка барометра лихорадочно мечется по кругу — так уже было в годы разгула терроризма, и гибли каждый день люди — символы, конечно же, отнюдь не представлявшие собой больную часть общества, которую следовало разрушить (разрядка в тексте.— А. В.)... Я с трудом привыкаю к мысли о гибели Рокко Кинничи. Он был большим моим другом, и не только моим, он входил в руководство Комитета по спасению Монделло, собирался со мной в СССР, где никогда не был, жаловался, что редко может бывать на наших заседаниях: в постоянном присутствии рядом с ним охраны он видел серьезное неудобство для нас всех... Он всегда говорил, что очень верит в мое «просветительство»...

Бороться с мафией непросто, но Франческо Лентини нашел свое место в этой борьбе: борьбе конкретным делом, а не пустыми заявлениями и широковещательными разоблачениями. Публично на эту тему он предпочитает не высказываться. Помню, как на очень конкретный вопрос корреспондента Московского радио он ответил, что, будучи судьей, не имеет права касаться юридической проблематики. А после интервью заметил мне с горечью: «К чему слова, их и так уже слишком много. Не знаю, понятно ли это в СССР, но ведь сама наша Ассоциация существует вопреки законам мафии, будучи организацией открытой, добровольной, отнюдь не стремящейся к коммерческой выгоде... Способствующей на деле — вот суть — созданию того нового общественного климата, который так необходим для действительно эффективной борьбы против мафии».

Но вернемся к истории создания Ассоциации.

«После развала Комитета по спасению Монделло в нашей компании — всего несколько человек. Опасность погрязнуть лишь в абстрактной болтовне заставляет меня обратиться к поискам чего-то конкретно осязаемого. И мы с друзьями обращаемся к культуре...

Причин тому немало. Во-первых, «ничто так сегодня не модно в мире, как слово «культура». Достаточно перелистать газеты: каждый день мы читаем сообщения о рождении все новых культурных центров.

С другой стороны, однако, именно Сицилия, как известно, не имеет своего плана развития культуры, развития туризма. Богатые иностранцы прошлого знали эти края лишь благодаря их великолепным храмам, а также по «эффективности» предпринимательской деятельности мафии, возвеличенной обошедшим весь мир «Крестным отцом» Пьюзо. Однако кроме Таормины в Сицилии есть еще масса неизвестных дорог, и не только в метафорическом смысле, если иметь в виду тот факт, что здесь уйма отвратительных шоссе и иронически-вечно звучит обещание построить мост через Мессинский пролив; создается впечатление, что им уже никто, кроме специалистов, давно не интересуется, и лишь случайные заметки в газетах о том, что мост-де будет все-таки построен, изредка напоминают об этом несовершённом чуде.

Однако в культурном «я» Сицилии что-то давно уже зреет, и если есть хотя бы небольшая организационная структура, мысль о литературной премии является само собой разумеющейся. Не о премии вообще — таких в Италии, особенно северной, не счесть, а о премии международной, в рамках которой можно было бы продумать целый ряд интересных инициатив».

Так рождается Культурная ассоциация Монделло. Несмотря на многообразие форм ее первоначальной деятельности (секции театра, кино, критики, художественного творчества, премии по всем этим разделам), у ее руководства — четкая и далеко идущая программа: создать центр культуры общенационального масштаба, доказав на практике, что и такая «окраина», какой видится Сицилия весьма значительному числу итальянских политиков, может дать пример подлинного служения искусству, причем не элитарному, а действительно массовому. И показательно, что еще за несколько лет до того, как идея публичных поэтических вечеров получает широкое распространение в Риме, Милане, других признанных центрах культуры Италии, она уже успешно проэкспериментирована на Сицилии Ассоциацией Монделло. Как

не вспомнить в этой связи успеха, который неизменно сопутствовал нашим поэтам — а их уже побывало на Сицилии не менее тридцати — на встречах в университетах и гимназиях, народных домах и библиотеках. («Это вполне закономерно,— заметит в своей книге Франческо Лентини.— Ведь в СССР поэзия рождается из событий и вокруг них, а не из алхимической игры в слова...»)

Честность и бескорыстие в искусстве — ценность огромная, и именно эти качества энтузиастов — создателей Ассоциации Монделло — привлекают к ним «именитых» и из Рима, и из Милана, и из Генуи... Факт остается фактом: пожалуй, ни одна другая встреча на Апеннинах не дает сегодня столь широких возможностей контакта с самым цветом итальянской литературы, как симпозиумы и поэтические вечера, организуемые Ассоциацией, которую возглавляет Ф. Лентини,— подчеркну — на Сицилии, чаще всего в Монделло, чьи премии, в том числе и международная, сегодня, бесспорно, занимают одно из ведущих мест в панораме культурной жизни Италии.

Ассоциация Монделло ныне настолько переросла свои первоначально столь узкие географические рамки, что пришлось изменить и название организации, которое звучит теперь так: «Международная ассоциация современной культуры». Приятно сознавать — и «Дневники Монделло» прекрасное тому доказательство,— что эта, в первую очередь качественная, трансформация самым тесным образом связана с развитием сотрудничества с Союзом писателей СССР.

И даже более того: из «Дневников» мы узнаем, что многие принципиально важные для этой организации решения рождались именно здесь, на нашей земле.

Июнь 1979 года:

«Из Риги в Москву мы вновь возвращаемся поездом. До поздней ночи спорим о том, как придать бóльший вес нашей ассоциации. Кто-то предлагает расширить круг ее участников, и за этой мыслью просматриваются контуры нового мифа, появившегося на западном горизонте: демократии массового участия.

Сегодня многие верят, что достаточно пригласить людей, заинтересовать их общественными, культурными проблемами — и силы зла исчезнут. Но так ли это? Люди не приходят или потому, что не видят в этом целесообразности, или из-за скуки, которую вызывают проблемы, мало их волнующие, или же потому, что они не обещают им никакой моральной или материальной выгоды. Конечно, в идеальном городе картина граждан, вышедших на площадь, чтобы внести свой вклад в развитие общества,— это как раз то, чего каждый честный политик должен был бы желать...

Могут спросить: годятся ли рассуждения подобного рода применительно к микроорганизму, каким является некая культурная ассоциация? Я думаю, что да.

Наша ассоциация — это маленький корабль, который скользит по волнам и не тонет[1]. Она не связана идеологическими схемами, в ней велика доля прагматизма. Она стремится впитать все ценное, что находит свою общность на культурном уровне, в методологии. Ни от кого не требуется делать окончательных выводов, в противном случае мы потерпели бы фиаско. Вот почему я с беспокойством слежу за многочисленными группами, которые рождаются на основе жестких схем, в результате чего для них не существует множественности причалов...

В Москву мы приезжаем точно по расписанию. Ощущениям неведомы географические и политические границы. В Москве нам кажется, что мы вернулись домой, а ведь дом наш — за тысячи километров отсюда».

«Я болею Россией» — так назвал Франческо Лентини первую главу своих «Дневников». «Болезнь» эта не оставляет его ни на день: и в Италии он внимательно следит за всем, что пишется об СССР, скрупулезно анализирует прочитанное и сравнивает, сравнивает...

Палермо, октябрь 1980 года:

«В связи с премиями Монделло нынешнего года две левые газеты публикуют пространные статьи об аргентинце Хуане Гельмане. Почему только левые?! Это же элементарно, Ватсон! Ни одна газета в Италии, разумеется объявляющая себя независимой, отнюдь не склонна благожелательно говорить о противнике, пусть даже речь идет о поэте, да еще изгнаннике из собственной страны. Вспомним зато, сколько риторики нагромоздили вокруг диссидентства!»

«Не могу не отметить в этой связи, как огорчила меня в свое время грустная полемика, которая развернулась между двумя крупнейшими славистами Италии — Витторио Страдой и Эридано Баццарелли. (Э. Баццарелли опубликовал открытое письмо В. Страде в связи с резкими выпадами последнего против советской делегации на международном симпозиуме, посвященном Л. Толстому, который состоялся осенью 1978 года в Венеции по инициативе «Фонда Чини».— *А. В.*)

Я никогда не смогу понять оскорбительного тона Страды в отношении Н. Федоренко. Ведь ни в первую нашу встречу, ни впоследствии мне ни разу не довелось обнаружить в Федоренко чего-либо «мрачного». Это великолепный собеседник: говоря, он внимательно смотрит вам в глаза. Мы буквально очарованы им. Тот факт, что Федоренко неизменно остается прежде всего гражданином своей страны,— это одно дело (кстати мне лично вообще кажется более чем справедливым, когда человек защищает идеи, в которые верит). Тем более что никогда и ни при каких обстоятельствах этот весьма остроумный человек не навязывал никому лекции политического характера, при условии, разумеется, что его об этом

[1] Fluctuat nec mergitur — латинский девиз, стоящий в гербе Парижа. *(Прим. ред.)*

не просили или же к этому не вынуждали. У меня сложилось впечатление, что Страда со свойственной ему маниакальной возбудимостью столь далеко зашел в своей защите диссидентов, что допустил прямой, недостойный по форме выпад в адрес Союза писателей СССР в целом.

Естественно, в любой ассоциации есть свои голуби и ястребы, в Союзе писателей, очевидно, есть писатели хорошие и менее хорошие. Но кто, с другой стороны, возьмет на себя смелость доказывать, что все наши писатели одинаково велики?!»

Человек внешне неизменно спокойный, мягкий, деликатный, Франческо Лентини буквально «взрывается» всем своим итальянским темпераментом, когда речь идет о вещах, которые он не приемлет ни сердцем, ни умом. Так произошло, когда еженедельник «Эспрессо» за подписью своего спецкора Ривы опубликовал гнусные инсинуации по поводу присуждения в 1978 году специальной премии Монделло Ю. Трифонову. Раздражение журнала по поводу «советского присутствия в Палермо» оказалось столь сильным, что в заметке прямо говорилось и «о давлении агентов КГБ на жюри», и «о грубом вмешательстве советского посольства в компетенцию сицилийских властей».

«Это — антология графоманства,— комментирует заметки Ривы Франческо Лентини,— графоманства, в основе которого лежит не что иное, как ненависть ко всему советскому и социалистическому. Именно это грязное чувство заставило Риву попытаться замутить «воды» премии, у которой не было и нет хозяев, которая не связана с политикой и с самого начала служит лишь одной высокой госпоже — литературе...»

Что же касается образа советского писателя, то у Франческо Лентини уже давно сложилось о нем мнение, которое он, судя по «Дневникам», менять не намерен: «Это не трус, скрывающий правду. Он всем сердцем любит свой народ и считает, что он не хуже и не лучше нашего. Он удовлетворен тем, что ему удалось, как в свое время Чехову, описать людей своего времени»...

С любовью к России...

Монделло, июль 1983

«Сегодня получил «Онегина» в великолепном переводе Джованни Джудичи. Я выбираю из романа подходящий к случаю отрывок... Я отношу его к судьбе этой книги, которая мне очень дорога, хотя бы потому, что я всем сердцем привязан к этим событиям.

Я...
Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.
Цензуре долг свой заплачу,
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам.
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань![1]»

[1] А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», глава I. LX.

◆

«ПОКОЛЕНИЕ ЛЕНИВЦЕВ» И «ЯПОНИЯ XXI ВЕКА»

Япония имеет репутацию страны, где культурные традиции, образующие основу мировосприятия японцев, стабилизируют социальные отношения, которые традиционно опираются на чувство долга перед обществом и строгую дисциплину. В качестве иллюстрации часто приводят цифры, свидетельствующие о низком уровне преступности в Японии и «семейственности» отношений на японских предприятиях. В целом все это действительно так — ходить по ночным токийским улицам гораздо безопаснее, чем по нью-йоркским или парижским. И в сфере экономики Япония успешно конкурирует со странами Европы и США. Однако некоторые тенденции в отношениях молодежи с обществом, проявившиеся за последнее десятилетие, заставляют усомниться в незыблемости «японской идиллии».

В выступлениях японского премьер-министра Накасонэ Ясухиро и министра просвещения Мори Ёсиро было высказано намерение правительства начать подготовку к реформе системы образования. Против этого решения немедленно выступил японский профсоюз учителей. Газета «Майнити» цитировала слова Танака Итиро, главы профсоюза:

«Они хотят разрушить всю демократическую послевоенную систему образования, ввести реакционные методы обучения, насадить проконсервативную идеологическую ориентацию, милитаризировать школы».

По его мнению, реформы должны проводить сами учителя, основываясь на положениях Конституции и Законе об образовании. Далее он предложил отменить вступительные экзамены-тесты, которые сейчас необходимо сдавать для перехода в полную среднюю школу.

Против реформы выступили также коммунистическая и социалистическая партии Японии. Правительство же, не принимая это во внимание, сформировало Совет по реформе системы образования, работа которого рассчитана на три года. В него входят 25 человек — известные социологи и психологи, руководители крупнейших японских вузов. Премьер Накасонэ обратился к членам Совета с речью, где назвал эту третью в истории Японии (с 1868 года) реформу системы образования знаменательным событием, которое будет способствовать созданию к XXI веку творческого и жизнеспособного японского общества. Он высказался за интернационализацию просвещения и за необходимость дальнейшего развития традиционной и своеобразной японской культуры. Опубликовавшая текст выступления газета «Асахи» заметила, что большинство из 25 членов Совета назначены лично Накасонэ, а следовательно, все выдвинутые предложения будут непременно с ним согласовываться.

Попытаемся выяснить, что же поставило Японию перед необходимостью пересматривать свою систему образования.

Как известно, Япония до крайности бедна природными ресурсами и, следовательно, опирается почти исключительно на ресурсы людские, их подготовку и желание обратить свои способности на благо общества. В связи с этим начиная со времени «Реставрации Мэйдзи» 1868 года основное внимание каждого правительства уделялось системе образования, которая составляла одну из основ социально-экономического развития Японии, производя высококвалифицированных менеджеров и инженеров, научных работников и, вероятно, самых обученных в мире рабочих. Такое внимание государства к образованию и воспитанию молодежи всегда имело результатом высокую социальную и политическую активность этой части японского общества, быструю реакцию молодежи на любое изменение состояния дел в стране.

В первые послевоенные годы люди в Японии шли на любые жертвы ради того, чтобы их дети получили образование. Количество университетов выросло с 44 (до войны) до 400. Срок неполного среднего образования был удлинен с 6 до 9 лет. В годы экономического подъема и правительство, и корпорации испытывали острую нужду в дипломированных специалистах и брали их на работу еще до того, как они сдавали выпускные экзамены, проведя всего лишь несколько оценочных тестов. С увеличением количества университетов работодатели стали гораздо разборчивее и брали только выпускников шести наиболее известных вузов: Токийского университета, Хитоцубаси, Токийского технологического института и частных университетов — Васэда, Кэйо, Дзёти. Соответственно повысился уровень конкуренции при поступлении в них. Конкуренция последовательно охватывала высшие классы средней школы, средние, начальные и, наконец, дошла до детских садов. Это породило явление, получившее название «кёйку мама»— то есть категорию матерей, приводящих наставникам своих двухлетних детей, чтобы те с ними занимались для поступления в престижный детсад, по окончании которого можно будет поступить в престижную начальную школу, оттуда перейти в престижную среднюю и так далее. Возникло выражение «экзаменационный ад». Дети шестого класса начальной школы возвращаются домой с занятий, около двух часов делают домашние задания, затем бегут в специальные частные школы, где три часа проходят усиленную подготовку ко вступительным экзаменам в школу средней ступени. То же повторяется при окончании средней и высшей школ, когда готовятся к экзаменам в университете. Подростки все более разочаровываются в системе образования (один из последних опросов Министерства просвещения показал, что лишь 24,5% учеников довольны школьной жизнью), и в этом процессе основное значение имеют два фактора: жесточайшая конкуренция, начинающаяся уже с детского сада, поскольку существует прямая зависимость качества будущей работы и, соответственно, ее оплаты от уровня учебного заведения, в которое поступит ребенок; малая заинтересованность в процессе занятий — упор в школах делается на заучивание фактов в ущерб развитию аналитического мышления. В связи с этим о японских школьниках и студентах часто говорят, что это скорее горшки, которые стараются заполнить возможно полнее, чем свечи, которые следовало бы зажигать. На конференции учителей в Кобэ подчеркивалось, что дети даже в начальной школе так много учатся, что теряют способность самостоятельно веселиться,— они ждут, когда им скажут, в какую игру играть.

Многие не выдержавшие этой «образовательной гонки» лишают себя жизни. Уровень самоубийств среди подростков в Японии один из самых высоких в мире (на 1983 год — 560 самоубийц в возрасте от 15 до 19 лет).

Учителя видят, кто из учеников сможет поступить, а кто — нет, и этим последним уделяют меньше внимания. Из таких «отверженных» в немалой степени составляется контингент молодых преступников. Прошлогодний октябрьский номер американского журнала «Ньюсуик» поместил большую статью о современной молодежи в Японии, где приводятся такие сведения:

«Растет преступность среди молодежи: в 1983 году зарегистрировано 2125 происшествий в школах, в том числе 929 случаев нападений на учителей. 45% преступлений в 1983 году были совершены подростками в возрасте до 18 лет. В сентябре 1984 года ученик бросил в стену высшей школы Риссё в Токио бутылку с зажигательной смесью и затем попытался скрыться на мотороллере. Причина — «хотел рассчитаться с учителем, отругавшим его за немытые и нестриженые волосы». В декабре 1983 года группа подростков зверски избила бродяг в Йокогаме (3 убиты, 13 тяжело ранены). На вопрос «Зачем?» отвечали приблизительно одно: «Это было занятно», «А они совсем не оказывают сопротивления». 19-летний юноша убил родителей железной битой для бейсбола после скандала из-за украденной им кредитной карточки (ему дали 13 лет тюрьмы) — инцидент произошел, когда он в третий раз пытался поступить в престижный университет».

Но большинство родителей, учителей и официальных лиц обеспокоены скорее бесцельностью жизни молодежи, нежели преступностью в ее среде. Это и понятно — в последнем случае общество располагает многообразными и отработанными способами борьбы с этим феноменом; когда же у молодого поколения теряется интерес к активной жизни, прямыми мерами здесь положения не исправить. Так, в ответ на вспышки насилия, которые приняли угрожающий размах в школах, правительство ввело обязательное присутствие полиции на церемониях,— например, на выпускных вечерах, где группы бывших школьников часто «мстили» угнетавшей их системе, от которой они уже не зависили. Учителям было вменено в обязанность усилить индивидуальный подход к ученикам. Принятые меры дали результаты: за первую половину 1984 года преступность в школах упала на 34%.

Протесты, волнения для Японии не новость: кровопролитные столкновения учащихся с учителями в школах были зафиксированы еще в 1883 году. В послевоенном периоде японские социологи выделяют три волны выступлений молодежи. В июне 1960 года студенты сыграли значительную роль в движении против возобновления Договора безопасности с США, которое приняло такой размах, что президенту Эйзенхауэру пришлось отменить свой визит в Японию. Около года (1965—1966) продолжались волнения в университете Васэда, вызвавшие частые стычки с полицией,— учащиеся выступали против увеличения платы за обучение и ограничения прав студенческих органов самоуправления. А в 1968—1969 годах произошло «восстание» в Токийском университете, с кровавыми боями с полицией и не менее кровавыми столкновениями воинствующих студенческих

группировок, затмившее по размаху майские события 1968 года в Париже.

Те, кто выступал в 60-х и 70-х годах, руководствовались определенными целями, их волновали самые разные проблемы: от войны во Вьетнаме (в которой Япония участвовала как своего рода военная и экономическая база США) до загрязнения окружающей среды и коррупции. Но война давно закончилась, сегодня о ней напоминают лишь телефильмы; проблема смога, так волновавшая прежде всего население крупных городов, с введением жестких ограничений на количество выхлопных газов автомобилей и закона о дополнительных очистных сооружениях предприятий (в начале 70-х годов на них тратилось чуть ли не 35% прибылей) также отошла в небытие; к политической коррупции привыкли, хотя в начале (в 70-х годах) дело премьер-министра Танака Какуэй, принявшего взятку от авиакомпании «Локхид», всколыхнуло Японию почти так же, как «Уотергейт» — США. Как утверждает японская печать, социальная активность молодых японцев упала. Нынешняя молодежь не желает ничего, она просто хочет проводить время, не заглядывая особо далеко в будущее. Сегодня молодые японцы лучше знают, чего им не хочется, чем чего они хотят. У них нет родительской страсти к работе, но нет и политических убеждений их предшественников 60-х и 70-х годов.

Журнал «Ньюсуик» писал:

«По утрам в воскресенье или после занятий в школе они переодеваются в принесенные с собой в бумажных мешках модные одежды, и вот уже новоявленные панки бродят и танцуют в токийском парке Еёги. В их глазах — пустота. «А мне просто нравится бесцельно проводить время»,— сказал корреспонденту семнадцатилетний Юми Ватанабэ.

Было бы ошибочным отождествлять это явление с движением протеста, пусть даже пассивного, против каких-либо тенденций в политической или социальной жизни общества. Эрик Уоррен в статье «Записки чужака», опубликованной газетой «Майнити дейли ньюс», видит его следующим образом:

«Одно время я искал японцев-чудаков. По воскресеньям токийский парк Еёги, наполненный пестро одетыми молодыми людьми, танцующими под открытым небом, кажется на первый взгляд местом, где может происходить все что угодно, а следовательно, там наиболее вероятно скопление необычных людей. Но нет, эти ребята не оригиналы. В этом убеждаешься придя через неделю и еще через неделю и не обнаружив никаких изменений — все те же группы в общем-то стереотипно одетых развлекающихся подростков. (Они вовсе не протестуют, как предполагают некоторые. Выбраться тайком из дома с костюмом в пакете, переодеться в кустах и танцевать в парке Еёги только по воскресеньям — это скорее пребывание в установленных рамках. Такое положение лишь подтверждает поговорку: «Всему свое время». Таким же образом юноши, носящиеся по ночам на мотоциклах без глушителей, всего лишь развлекаются. А это прискорбно, так как, будь они действительно «сердитыми молодыми людьми», можно было бы по крайней мере уважать их чувства и спокойнее переносить весь этот шум.)

Странная одежда, так нравящаяся определенной части японской молодежи,— это не более чем мода, а мода, как бы вычурна она ни была, далеко отстоит от эксцентричности. Чудаки всегда солируют. Насколько было бы интереснее слушать одиночек, выкрикивающих с высоты пустых ящиков из-под мыла свои, пусть нестройные, мысли, чем видеть группы молодых людей в шлемах и униформе, делающих то же самое и называющих это политикой...»

Проблема молодежи явно стала актуальной для Японии, о чем можно судить и по тому вниманию, которое уделяет ей печать. Так, январский номер общественно-политического журнала «Бунгэй сюндзю» поместил статью Фукутомэ Исао, ведущего телепередачи для молодежи, где тот пишет:

«С группой студентов я ездил по Америке и с удивлением заметил, что страна эта их совсем не интересует, хотя все они были там впервые. «Мы все это видели по телевизору»,— говорили студенты.

В них нет и капли тяги к романтической жизни. Один день мы провели в пешем походе, после чего все стали ныть и просить остаться в отелях. Быть может, это и не изнеженность, но во всяком случае категорическое нежелание отказываться от удобств. Такого рода мелкие наблюдения, к которым добавляется мой опыт работы на телевидении, позволяет мне сделать вывод об ослаблении чувства поиска у молодежи. Они готовы делать многое, но лишь с условием тройной компенсации усилий; готовы заниматься тем, что их интересует, но этот интерес направлен только на себя... Нынешняя молодежь — поколение, которое может выбирать. Однако сильными становятся только те, кто знает, что такое начинать с нуля».

Эти размышления совпадают с мнениями участников дискуссии «Поколение молодежи без собственного стиля», материалы которой напечатаны на страницах журнала «Тюо корон». Приведем следующие мысли.

Иногути Такаси (доцент Токийского университета):

«Молодое поколение превращается в компьютеры, выдающие не более того, что в них заложено; это может трансформировать всю страну, превратив и ее в одну громадную вычислительную машину...»

Цука Кохэй (писатель, лауреат премии Наоки):

«Расхожее в наше время выражение «вкусная жизнь» вполне приложимо к их стереотипному существованию. Они — как ксерокопии... Поражает их структурированное мышление, вот уж от кого нечего ждать неожиданностей...

Они стараются иметь как можно меньше хлопот, и общество им в этом потакает. Так, недавно молодая мать в раздражении на своего грудного ребенка схватила его за ноги и выбросила в окно со второго этажа. К счастью, тот не разбился нас-

мерть. И это не сочли преступлением, ее не судили... Это поколение сверхизбалованных детей. Родители, натерпевшиеся за военные и послевоенные годы, не жалели для них ничего и прощали все. И вот «чертенята», как принято любовно называть своих детей, превратились или в людей неуправляемых, которыми движут сиюминутные эмоции, или в безвольных, пассивных «ленивцев». Я бы их так и называл — поколение «коал».

Такие черты характера молодых людей, молодых специалистов не могли не отразиться на их отношении к работе. Надо сказать, что в отличие от американских и европейских японские компании не особенно волнуются о том, чему их будущих работников учат в школах и университетах. Они полагаются на их еще нераскрытый потенциал знаний и умений, считая, что компетенция придет в процессе работы. Тем более что молодых работников почти никогда не допускают сразу к исполнению своих обязанностей. На каждом предприятии есть своего рода «подготовительные курсы» со сроком обучения до одного года, где они получают дополнительные знания о том, что им непосредственно предстоит делать. Но при всем этом многие компании начали жаловаться на низкий уровень образованности вновь поступивших. Так, «Экономико-правовой комитет», в который входят юристы 370 ведущих фирм, обвинил бывших студентов юридических факультетов в плохой подготовленности (университеты ежегодно выпускают около 30 тысяч юристов).

В статье, опубликованной в декабрьском номере журнала «Бунгэй сюндзю» за 1984 год, Ёкодзава Такэси, ведущий молодежные телепрограммы, писал:

«В фирмах недовольны вновь поступившими. Молодые работники часто отвечают начальству: «Скажите, что надо сделать, и я сделаю». Поражает полное отсутствие у них инициативы, способности обобщать, делать собственные выводы...

Пассивность и умеренность у них проявляются во всем — и в работе и в развлечениях; и это не от неспособности развивать в себе какие-либо производственные навыки или неумения веселиться вовсю, такой стиль их просто устраивает. Новички не вживаются в коллектив, не «растворяются» в нем, а продолжают выделяться из общей массы работников.

Уже появились молодые служащие, отказывающиеся от некогда престижной работы за границей, полностью использующие отпускное время, заканчивающие работу ровно в 5 часов дня.

И это поистине знаменательно, если учесть, что еще в середине 70-х годов некоторые компании получали коллективные письма от рабочих и служащих с просьбами сократить отпуск, поскольку «без работы скучно».

Разумеется, об этой тенденции нельзя говорить как о доминирующей. Среди закончивших высшие школы 40% всеми силами стараются пробиться в элитарные университеты. Однако количество молодых людей, у которых нет подобных честолюбивых намерений, хоть и медленно, но растет.

У так называемого «среднего японца» старшего поколения были конкретные жизненные цели — завести себе автомашину, кондиционер и цветной телевизор, что подхлестывалось общенациональным стремлением возродить экономически мощную Японию. Стремление к комфорту сохраняется и сегодня у 90% населения, однако молодые не хотят жить так, как их родители. Они не согласны с положением, которое так точно выразил преподаватель одной из токийских школ Ёко Муро: «В Японии не ставится вопрос — нравится ли вам ваша работа и ваша жизнь, но как долго вы сможете это выдержать». Молодые начинают сомневаться в целесообразности личных жертв, которые, как считается, должны быть принесены на пользу работе.

Даже этот беглый обзор материалов, опубликованных недавно на страницах печати, дает представление о целом круге проблем, стоящих перед современным японским обществом, раскрывает насущность и необходимость не только реформирования системы образования, но и глубинной перестройки отношения к молодежи — основному японскому капиталу. Необходимость эта усугубляется еще и тем, что на период с 1986 по 1992 год японские социологи предсказывают резкое увеличение числа 18-летних юношей и девушек: грядет второй «бэби-бум» (первый был в 1967 году). В этой связи Университетский совет — консультативный орган при Министерстве образования Японии, обязал частные вузы Японии увеличить к 1992 году прием на 86 тысяч человек (подразумевается, что тогда, как и сейчас, высшее образование захотят получить 35,6% молодежи).

Трудно судить о том, как будет изменяться обрисованная картина настроений молодежи, насколько соответствуют реальности приведенные нами обобщения. Можно лишь констатировать, что все эти высказывания регистрируют процесс эволюции настроений японской молодежи, отражают стремление выявить характерные для этого процесса тенденции. Гораздо важнее другое — как собирается общество влиять на мировосприятие молодежи.

Какие же предложения выдвинул Совет по реформе системы образования, с подготовки к которой мы начали рассмотрение проблемы? Был разработан проект плана реформы, предусматривающий предоставление университетам права самостоятельно составлять программы вступительных экзаменов; обязательность стажировки молодых учителей, прежде чем они начнут преподавать; предоставление взрослым людям больших возможностей для поступления в университеты и аспирантуру; самостоятельную выработку правил приема университетами, не полагаясь только на результаты экзаменов; зачет экзаменов, сданных в одном университете, двухгодичном колледже или ПТУ, в других учебных заведениях того же профиля; возможность способным студентам сдавать экзамены и заканчивать университет экстерном; создание профессиональных

училищ и курсов по новейшим предметам (электронное машиностроение, международная экономика, социальное обеспечение и т. п.); некоторое упрощение обязательных предметов; выделение большего количества часов на занятия физкультурой и искусством.

Оценивая этот комплекс мер, не следует забывать, что они составляют лишь предварительный проект реформы; работа же Совета продлится еще не менее двух лет. Принципиальным представляется другой вопрос: действительно ли современное японское общество столкнулось с реальной опасностью или все это не более чем буря в стакане воды? Статистика и мнения авторитетов говорят в пользу первого. Более существенным является политический момент. Еще в 1983 году Сэтояма Мицуо, бывший тогда министром просвещения, обвинил США в том, что политика их оккупационных войск в 1945—1953 годах подорвала традиционные устои японской культуры и явилась прямой причиной качественных изменений в среде молодежи. Отсюда нетрудно сделать вывод, что необходим возврат к довоенным морально-ценностным стандартам, поскольку только это сможет остановить процесс деградации «японского духа» у молодых людей. Япония, как известно, более чем успешно возродилась экономически после поражения во второй мировой войне, и в этом смысле восстановила свой престиж. Однако счесть себя полностью независимой она не может из-за вынужденного следования политике США, что объясняется, как утверждают в правящей Либерально-демократической партии, единственно отсутствием у Японии собственной армии (существующие в нарушение Конституции Силы самообороны — несколько более 250 тысяч человек — ею в расчет не берутся). То, что бывший министр по сути подчеркнул необходимость возрождения атавистического национализма у потомков современной молодежи, говорит именно о существовании такого комплекса политической неполноценности.

Предлагаемые меры в рамках реформы системы образования, естественно, преследуют прежде всего цели соответствия будущей Японии уровню НТР, однако главное — как они будут осуществляться в социальном плане, в каком политическом и, соответственно, идеологическом русле. Именно эти планы и вызывают протесты Коммунистической партии Японии и профсоюза учителей.

Сегодня в Японии существуют организации молодежи, объединяющие горячих приверженцев идей милитаризации страны. Росту этих настроений способствует и наметившаяся особенно в последнее десятилетие тенденция переоценки исторических событий при ежегодном просмотре школьных учебников, которая производится для внесения исправлений, соответствующих последним научным исследованиям. В этой связи особый резонанс вызвала переоценка в учебниках агрессии Японии в Тихоокеанских кампаниях 1941—1945 гг. и замалчивание зверств японского экспедиционного корпуса в Китае и Корее.

В речи, обращенной к Совету по реформе, премьер Накасонэ сделал ударение на «необходимости морального воспитания». «В школе должны воспитываться патриотизм и традиционное почитание родителей»,— сказал он. Но почти те же слова звучали и в известном довоенном императорском рескрипте об образовании, который явился одним из стержневых моментов националистической политики японского правительства того времени, насаждавшего милитаризм в учебных заведениях.

А. ФЕСЮН

МИСТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕССИМИЗМ

Бородатые мужчины в белых чалмах и длинных бурнусах смиренно и благостно пасут овец. Эту буколическую картину можно увидеть на фото в одном из выпусков журнала «Ньюсуик». И вряд ли оно привлекло бы особое внимание, если бы не подпись, свидетельствующая, что сие действо происходит в Западной Германии: группа суфиев [1] ищет мистического спасения. Рядом еще фотография — процессия мунистов[2] на улицах Нью-Йорка, йоги в позе лотоса медитируют на фоне урбанизированного Сиднея, толпа молодежи в экстазе буйного танца — секта «оранжевых» [3] на площади Рима. В статье «Этот странный мир культов» рассказывается о беспримерном, носящем характер эпидемии росте культов в современном мире. Тысячи сект буйно разрастаются от Перта до Парижа, от Боготы до Бомбея. Одна только секта Муна объединяет около трех миллионов человек в 138 странах. Число последователей гуру Махариши Махеш Йоги достигает пяти миллионов человек.

Большая часть культов складывается под влиянием мистических азиатских религий. Миссия божественного света Махараджи, Оранжевый народ Шри Райниша, Между-

[1] Представители суфизма — мистического течения в исламе, зародившегося еще в VIII в. Конечная цель учения — мистическое слияние с богом.

[2] Приверженцы современного учения Мун Сон Мена, выходца из Южной Кореи. В задачу настоящей статьи не входит анализ политического кредо этой секты, ее воинствующего антикоммунизма (см. «Правду» от 2 марта 1985 г.).

[3] Представители секты Шри Райниша, носящие одежды оранжевого цвета, священного в некоторых азиатских религиях.

народное общество сознания Кришны. В Бразилии, например, насчитывают свыше четырех тысяч больших и малых культов. Группы дзэн-буддистов распространились по всему свету. При этом падает притягательность официальных религий. Так, в некоторых католических странах нехристианские группы и культы уже численно превосходят христианские приходы.

«Сети культов расширяются, секты богатеют как никогда. Состояние империи Муна... оценивается в 5 миллиардов долларов...»

Доллары сект идут не только на позолоту врат рая, их вкладывают и в дело вербовки новых приверженцев. В Австралии секта Кришны недавно потратила около миллиона долларов на цветные рекламные приложения ко всем крупнейшим газетам страны. Адепты Мунг Муна осыпали золотым дождем создателей рекламных фильмов об их секте.

Идеология большинства сект внешне вполне миролюбива, более того, сектантские мессии не скрывают надежд с помощью своих учений излечить человечество от вражды, неверия, заблуждений, от «технологического кошмара» западной цивилизации. Почти все современные мистические культы призывают не только к гармонии с природой, но и к смирению перед ее величием, к погружению в природу, к растворению в ней. При этом рецепты для решения всевозможных проблем современности вполне соответствуют мистической направленности самих учений. Так, например, члены секты Сидхас собираются обратить в свою веру не менее 1% населения планеты, чтобы затем путем одновременной медитации создать «поле благородных вибраций» [1] и с его помощью решить все глобальные проблемы.

Статья «Этот странный мир культов», опубликованная в одном из самых популярных американских еженедельников, не ставит своей задачей анализ этого социокультурного феномена. Она написана в традиционной для американской прессы форме подачи информации — «извольте-только-факты». Фактов много, их констатация перемежается рядом риторических по сути вопросов, поскольку ответами на них служат ставшие расхожими суждения, высказывания приверженцев культов или людей, в той или иной мере связанных с их «странным» миром. Но и этот пестрый поток фактов и мнений дает представление о том, что как сами секты, так и их идеологические постулаты, являющие собой подчас мешанину самых нелепых идей и откровенно антигуманистических, реакционных воззрений, порою далеко не безобидны.

«Чем объяснить столь быстрый рост культов?» — задают вопрос Джил Смолоу, Барбара Розен и другие авторы статьи.

«Исторически нетрадиционные религии и культы обычно процветали во времена острых стрессов и быстрых социальных изменений. Когда бубонная чума опустошила в XIV веке Европу, напуганные жители искали прибежища в культах; по дорогам бродили группы кающихся, самобичующихся грешников. Когда четыре века спустя промышленная революция радикально изменила европейское общество, культы снова начали расцветать».

Да, их история напоминает приливные волны. Интерес к культам временами внезапно вспыхивал, потом затихал. Заметим, что приведенное авторами объяснение как будто бы подходит и к нашему бурному времени. Политические перемены, социальные и социоприродные последствия научно-технической революции, нависшая угроза термоядерной войны и многочисленные, порою навязчивые предсказания грядущих экологических потрясений дают немало оснований для болезненных реакций как в развитых капиталистических странах, так и в странах «третьего мира».

«Феномен 70-х годов можно объяснить тем, что молодежь средних классов в культах и восточной мистике открыла путь, освобождающий от чувства отчуждения и пробуждающий ее сокрушенные идеалы».

Ныне, в 80-е годы, подобные мотивы заметно усилились, к тому же возрастные и социальные границы поклонников восточного мистицизма явно расширились. Как утверждают авторы статьи в «Ньюсуик»,

«культы привлекают людей любого возраста и всех социальных слоев. Отношение законодательных и государственных учреждений к ним смягчилось, а враждебность общественности уменьшилась до безразличия».

Бесспорно лишь, что переосмысление нравственных установок, совпавшее по времени с социально-политическими потрясениями, экономическими трудностями и кризисными экологическими явлениями, в индустриальных странах Запада сильнее всего отразилось на настроениях молодежи, оттолкнув ее от традиционных социально-технократических идеалов буржуазного общества. Не имеющая ясной, осознанной прогрессивной социальной программы западная молодежь в значительной своей части была сбита с толку и сравнительно легко поддалась проповедям, уводящим ее в мир экзотических и экзальтированных представлений.

Чем же привлекают молодежь культы? Как пишет «Ньюсуик»,

«средства воздействия сект на людей по большей части юридически невинные — дружеское участие, проповедь новых, возвышенных ценностей, духовное руководство и приют. Арсенал как будто не очень впечатляющий, однако достаточно серьезный, чтобы увлечь одиноких, сбитых с толку, испуганных, испытывающих чувство тревоги людей».

Добавим, что многие «отцы» сект не скупятся на обещания всяческого благополучия своим приверженцам. Так, например, популярный гуру Махариши Махеш Йоги обучает путям достижения совершенного здоровья, идеальной образованности и даже

[1] Медитация — умственное действие, приводящее к глубокому духовному сосредоточению. В некоторых учениях медитация предполагает выход за пределы сознания и слияние с вибрациями космического окружения.

проводит «семинары по левитации» [1]. «Ньюсуик» в статье «Космические волны в Маниле» отмечает:

«Махариши известен с конца 60-х годов как гуру группы «Битлз» и других знаменитостей... Цель его нынешних многочисленных последователей состоит в том, чтобы, используя его теорию «объединяющего поля», спасти человечество от надвигающегося экономического и экологического коллапса».

В западных странах ныне проповедуется некая «мистическая экология», приобретающая, по мнению одного из идеологов «новых левых», философа и публициста Т. Розака, значимость новой веры, новой религии, которую начинает исповедовать молодое поколение:

«Мистическая экология призвана заменить научный анализ, аналитическое разрушение объекта новой наукой, которая будет относиться к объекту познания, как поэт относится к своей возлюбленной,— созерцать, а не анализировать, восхищаться, а не выпытывать тайны».

По наблюдениям одного из исследователей «новых левых» Э. Копкинда, еще в середине 70-х среди бывших активистов этого радикального движения широкое распространение получили интроспекция, саморефлексия, увлечение магией и мистицизмом. В статье «Мистические политические беженцы из «новых левых» Копкинд на страницах журнала «Рэмпартс» писал:

«Всевозможные гуру, шаманы и дервиши, боги и идолы процветают среди широких слоев американской молодежи, создается множество религиозно-мистических учений, сект, общин. Мистический шик заменил сегодня моду на политический радикализм».

Но дело, по-видимому, не только в шике. Есть причины и посерьезней. Говоря о падении престижа некоторых традиционных христианских представлений, авторы статьи в «Ньюсуик» предоставляют слово католическому епископу Бону:

«Молодежь ищет духовные ценности, которыми наша церковь пренебрегает... Все это похоже на катастрофическое падение христианской веры».

Итак, бог умер, да здравствует новый бог! Но какой? «Ньюсуик» приводит слова американского историка культуры Кэтлин Аджена:

«Личность, раздираемая беспокойством и сомнениями, всегда готова отдать свою свободу скороспелой идеологии и самозваным мессиям».

Оставляя пока в стороне связанный с нашей темой весь сложный комплекс социально-политической и идеологической проблематики, попробуем рассмотреть «истинность» экологических претензий «новоиспеченной» мистифицированной моды, опирающейся на подновленные, но, по сути, довольно старые доктрины.

[1] Левитация — полет человека в воздухе силою мысли, без приспособлений.

Почти все они стоят на той точке зрения, что поиск нового «чувства природы», выход к «новой экологической этике» неразрывно связан с религиозным и мировоззренческим обновлением, с отказом от веры в научно-технический прогресс, в преобразование общества и природы. Машинная же поступь западной цивилизации нередко связывается сегодня со знаменитыми словами из библейской книги Бытия: «И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь... и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими... и над птицами небесными... и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».

Этот стих сейчас нередко цитируют, укоризненно приговаривая, что вот они — древние семена нынешнего нашего экологического кризиса. В подобной оценке, несмотря на присутствие некоторой по-своему элегантной логики, по сути дела все поставлено с ног на голову. Ни Библия, ни христианская доктрина в целом, ни иудейская догма сверхприродности человека, его божественного происхождения и господства над природой, никакая иная религиозная или же светская теория не властны были определить реальные отношения общества к природной среде, поскольку они представляют собой вторичный по отношению к самой исторической практике фактор. Они лишь отражали то, что складывалось в ходе самой истории. А жизнь с необходимостью толкала человека на борьбу за ресурсы, в которой он применял главное свое оружие — хитрость разума (по выражению Гегеля). И поскольку эта необходимость выше любых доктрин, утопичными и наивными выглядят всевозможные призывы к смене «экологических богов».

Ставшее ныне модным экологическое противопоставление западного и восточного стилей мышления обходит молчанием тот простой факт, что восточный мир был так же подвержен экологическим потрясениям, как и западный. Различия, конечно, были и есть, но они не отменяют самой сути процессов, объективно толкающих человека к той или иной форме преобразования природы, вследствие чего неизбежно обнаруживаются ранимые места.

В связи со сказанным возникает еще одна проблема. Пусть на первый взгляд на Востоке отношения природы и людей выглядят более гармоничными. Однако уместно задаться вопросом: какой ценой это достигается?— погруженность в природу, пассивное растворение в ней дается ценой утраты не только идеи общественного прогресса, но и утраты идеи личности, ее уникальной ценности. Вырастающая на подобных основах философия легко уравняет на весах вечности жизнь травинки и жизнь мудреца.

Таким образом, идея самоценности человека оказывается неразрывно связанной с идеей его активности.

Итак, преобразование природы? Несомненно. Ибо путь к единству с природой пролегает через активные действия человека, преследующего две великих и взаимосвязанных цели — социальную гармонию

(бесклассовое общество) и гармонию социоприродную.

Приведенные рассуждения приобретают подлинную силу, если их поставить на твердую почву материализма. Еще Спиноза выдвинул блестящее по диалектической глубине положение о том, что истинность идей мыслящего субъекта находится в прямой пропорции к его активности. Чем активнее расширяет человек сферу своей деятельности, тем адекватней его идеи, тем выше его власть над внешними обстоятельствами. Вспомним рассуждение К. Маркса о том, что только на пути трудного, но активного опыта возможны процессы подлинного становления природы человеком, осуществимо духовное возмужание человечества, постижение смысла истории и существования, выход к идеям гуманизма и прогресса и овладение важнейшей мыслью, что дело заключается не только и не столько в объяснении мира, сколько в изменении его. Подобный взгляд переворачивает видение эколого-эволюционных процессов от прошлого к будущему. Если для большинства нынешних «экологических пессимистов» экологическое совершенство есть прошлое состояние, «потерянный рай», то для анализирующих ситуацию с позиций материалистической диалектики оно является будущим состоянием и целью, стремиться к которой следует не с помощью всевозможных рецептов возврата к прошлому, старому, но путем последовательного расширения действий по созданию нового, более высокого единства человека и природы. При этом важно помнить принципиальные слова Ф. Энгельса: «...на каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо находящийся вне природы,— что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем постигать ее законы и правильно их применять» [1].

В свете сказанного борьба за правильную ориентацию мировоззрения молодежи в современном мире вырастает до масштабов исключительно ответственной задачи.

Американский писатель Курт Воннегут, отстаивая прогрессивную идею активности современного человека, с глубокой иронией отозвался о тех способах мышления и действия, к которым призывают адепты нынешних всевозможных культов. Выступая на открытии библиотеки в Новом Лондоне, писатель противопоставил живую мысль, жизненную силу и страсть демократической литературы сомнительным проповедям новоявленных святых:

«Однажды я узнал, как стать мыслителем иного рода, мыслителем, который не рассказывает о жизни. За восемьдесят долларов Махариши Махеш Йоги показал мне, как это делается. Он дал мне мантру — слово-чепуху, которое я должен был повторять про себя, все глубже погружаясь в собственную мысль... Я повторял свою мантру, входил в транс... Но это был социально бесполезный способ размышления. Быть может, я немного отдохнул, но я не вижу, каким образом это может пригодиться кому-нибудь здесь, в Новом Лондоне, или где-нибудь еще... Но есть и социально полезный способ размышления... Когда размышляют писатели, они не берут пустые, ничего не значащие мантры и не повторяют их снова и снова про себя. Они берут мантры сильные, острые, полные шума и ярости жизни... Вот несколько примеров: «Война и мир», «Происхождение видов», «Илиада», «Критика чистого разума», «Мадам Бовари», «Жизнь на Миссисипи», «Ромео и Джульетта»... Вот литературные мантры, которые меняют наш мир к лучшему».

Мысль американского писателя можно истолковать так, что современная литература должна не просто отгораживаться от бурного наплыва мистических учений (на самом деле отнюдь не являющихся социально нейтральными), но обязана вступить в активный бой за умы и души молодого поколения.

Авторы статей о распространении культов подчеркивают, что их рост наблюдается там, где социальные изменения быстры, а встающие перед обществом проблемы сложны и драматичны. Замечают они и то, что большинству культов присущи призывы к аскетической этике, к особому отношению к природе. Обращают внимание и на безразличие, апатию буржуазного общества к такому беспримерному расцвету культов. Однако при этом они не говорят главного — что мистическая деформация мировоззрения молодежи, приверженность всевозможным культам представляет собой огромную опасность. Общество, не способное дать молодежи целостное научное мировоззрение, упустившее контроль над ее мыслями и чувствами, ставит под удар свое будущее, рискуя столкнуться не только с острейшими экологическими потрясениями, но и с социально-политическими катаклизмами.

А. КАЦУРА

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 20, с. 496.

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

МАХАТМА ГАНДИ: ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Излишне говорить о громадном значении Книги в наш век. Она — сокровищница человеческого знания и опыта, нескончаемая летопись трудов. Богатства мудрости и добра рассыпаны по страницам книг разных народов и времен.

В древнеегипетском папирусе эпохи Нового царства содержатся знаменательные слова: «Полезнее книга расписного надгробия, полезнее она часовни, прочно построенной. Книга заменяет заупокойные храмы и пирамиды и пребудут имена мудрых писцов в устах потомков, словно в некрополе...»

Каждая встреча с книгой — это новый, особый мир, увиденный через человека, который обращается к уму и сердцу людей, способных его понять, приобщает к своему мирознанию, вызывает отклик и ассоциации.

Когда передо мной оказалась книга «Махатма Ганди», написанная А. Горевым, тени минувшего внезапно мелькнули в сознании. В памяти всплыла первая моя встреча с таинственной Индией в 1941 году, когда еще был жив Махатма Ганди и слава его ширилась во всем мире. Сам Ганди был тогда в тюрьме. Это было время военной агрессии Японии, которая грозила катастрофой Британской империи. Японская авиация нанесла внезапный удар по Пёрл-Харбору и вывела из строя основные силы Тихоокеанского флота США. В феврале 1942 года под ударами японских войск пал Сингапур, была занята столица Бирмы — Рангун, захвачен Гонконг. Японский морской флот появился в Бенгальском заливе.

Тагор на смертном одре тревожно вопрошал: какие вести с русского фронта?

...Увиденные мною земля и народ захватили мое воображение... Нет, не экзотикой, на рассуждения о которой так щедры иноземные туристы в своих дневниках и путевых записках, не красотой и ярким многообразием, которые ослепляют всякого при первой встрече с этой удивительной землей. В тот грозный 1941 год я увидел Индию, поднимающуюся на борьбу против чужестранного порабощения, Индию, для которой даже ее древние традиции и самобытная культура становились оружием в битве за свободу.

Следом за воспоминаниями мысль обратилась к трагическому событию совсем недавнего прошлого — вероломному убийству Индиры Ганди. По всей земле гулко прокатилось эхо выстрелов в Дели. Острой болью отозвалось оно в неисчислимых сердцах людей во всех странах тревожного нашего мира. Силам зла и ненависти удалось — уж в который раз — совершить еще одно чудовищное преступление.

Теми, кому когда-либо приходилось встречаться с необыкновенной этой женщиной, насильственная смерть Индиры Ганди была воспринята и как личное несчастье. Время беспощадно уносит людей, но память о них остается, продолжает жить в сознании нашем, обретая порой черты предания, легенды. Есть прошлое, которое не забывается. Мысль о нем нередко обостряется от непредсказуемых обстоятельств. Иногда для этого достаточно простого движения, повода, мотива...

Вспоминалась наша встреча с Индирой Ганди в Нью-Йорке. Она участвовала там в дискуссии ООН в качестве министра информации и радиовещания Индии.

Я благодарен судьбе, подарившей мне случай увидеться и познакомиться с этой выдающейся личностью. Встретились мы в Индонезийском зале международной организации. Это была моя единственная встреча с Индирой Ганди. Однако бывает, что и одной встречи человеку достаточно, чтобы надолго запомнить ее.

Беседа наша касалась и международных дел — текущей политики,— и общих проблем культуры и современной жизни. О чем бы ни заходил разговор, Индира Ганди высказывалась конкретно, очень четко формулируя мысль, избегая абстрактных суждений и выспренности. У меня сложилось впечатление, что моя собеседница говорит

о том, что хорошо знает, постигла, пережила, испытала лично.

Всегда привлекательны люди, убежденные в правоте своей позиции, твердые и целеустремленные, но обладающие кругозором достаточно широким, чтобы признать существование и иных точек зрения. Запомнилась речь Индиры Ганди, ее манера говорить ясно, лаконично, точно. Ясность языка — доказательство ясности мышления. Говорить многословно, неумело подбирая слова,— все равно что стрелять, не целясь. Не зря же изрек мудрец: если дважды подумать, прежде чем единожды сказать, скажешь вдвое лучше. А слова, идущие от разума и согретые теплом сердца, всегда достигают цели.

Политическая жизнь Индии на протяжении полувека неотделима от истории семьи Индиры Ганди, от ее собственной биографии. Индира Ганди волей судьбы выросла в обстоятельствах, которые наилучшим образом подготовили ее к тому, чтобы стать во главе великой страны. Окружение, в котором она формировалась как личность, влияние Махатмы Ганди, Джавахарлала Неру, Рабиндраната Тагора (она училась в его университете) дали ей умение сочетать широту мышления с конкретными делами. Индира Ганди была человеком действия и перспективной мысли.

В «Моей истине» — Индира Ганди не случайно дала своей автобиографии это название — она вспоминает, как шестилетней девочкой решила внести и свою лепту в кампанию по сожжению английских импортных товаров, которую проводил в те годы Махатма Ганди. Индира сожгла любимую куклу, привезенную ей из Англии в подарок. Она заболела от огорчения, а потом всю жизнь не любила зажигать спички.

В тринадцать лет она явилась записываться в Национальный конгресс, когда же ее со смехом выпроводили за дверь, заявила, что создаст политическую партию для детей, потому что «возраст — не помеха для борьбы за свободу». И создала — «Обезьянью бригаду», названную так в честь войска царя обезьян Ханумана из «Рамаяны», которое помогало Раме освободить Ситу из ее цейлонского заточения.

Индире Ганди пришлось довольно решительно отстаивать свое право быть на равных с мужчинами, поэтому, хотя, с одной стороны, она не одобряла агрессивных женщин, с другой — всегда опасалась снисходительного отношения к себе. Держалась она, как правило, сдержанно и подчеркнуто корректно.

За годы дипломатической работы, особенно в нью-йоркский период, было у меня немало запомнившихся встреч с представителями Индии.

Многие из них были людьми незаурядными, борцами за свободу Индии, сподвижниками Махатмы Ганди. Память об этих встречах обогащает меня.

Как интересно было разговаривать в Нью-Йорке, к примеру, с Виджайлакшми Пандит — младшей сестрой Неру, женщиной редкостной красоты и внутренней грации, первым послом Индии в СССР. Ее сменил на этом посту крупный ученый, исследователь индийской философии д-р Сарвепалли Радхакришнан, ставший впоследствии президентом Индии. Запомнились встречи с К. П. Ш. Менооном, когда он был послом Индии в Китае, а затем послом в Москве. Он — автор нескольких книг о своей дипломатической работе, среди которых есть и книги о нашей стране. Интереснейшим собеседником был и Кришна Менон — индиец, которого в 1942 году избрали депутатом английского парламента от лейбористской партии; когда же Индия добилась свободы, Кришна Менон занял пост Верховного комиссара Индии в Великобритании. Впоследствии Кришна Менон был главой индийской миссии в ООН, а также министром обороны Индии. Довольно много мне пришлось общаться и с министром иностранных дел Сваран Сингхом, и с послами Б. Н. Чакраварти и Ашокой Мехтой, с генералом Рикхи, когда он был военным советником Генерального секретаря ООН, и с другими.

Многим моим собеседникам довелось знать Махатму Ганди, иным — и работать бок о бок с ним. Естественным образом даже наши деловые беседы подчас касались учения и практических сторон деятельности Ганди, а бывало и так, что переходили они в рассказы и воспоминания об этом поразительном человеке. Видимо, общение с Махатмой Ганди оставляло след в душах людей, соприкасавшихся с ним,— пусть даже если былое (таково уж свойство человеческой памяти) со временем представало в преображенном, несколько субъективном свете...

Говоря о том, что подготовило автора этих строк ко встрече с книгой Александра Горева «Махатма Ганди», не могу не упомянуть и некоторые сочинения — биографические, обзорные — о жизни и деятельности Махатмы Ганди, принадлежащие в основном перу иностранных авторов. И были они, как правило, работами, написанными с довольно предвзятых позиций и, соответственно, с тенденциозными выводами.

Перед автором книги «Махатма Ганди», отмечает А. Д. Литман в своем послесловии, стояла большая, крайне сложная и ответственная задача — воссоздать исторически правдивый, свободный от предвзятости, тенденциозных упрощений и неоправданной апологетики портрет личности, о которой и при жизни, и после смерти было высказано множество различных, притом противоречивых, порой диаметрально противоположных суждений и оценок.

Первые книги о Ганди в период между 1900—1920 годами были написаны представителями религиозных кругов — Джозефом Доуком, английским квакером Карлом Хисом, американским священником Джоном Холмсом. Всех их привлекала в М. К. Ганди классовая терпимость, его жертвенная религиозность, аскетизм, возвышенный идеализм, поиски всечеловеческой истины, бескорыстное служение бедным и обездоленным, пропаганда ненасилия и всепрощающей любви к ближнему. Джон Холмс, например, писал: «Личность Ганди — есть результат возвышен-

ного следования Лао-цзы, Конфуцию, Будде, Зороастру, Исайе, Иисусу». Иначе говоря, синтез идей многих верований, полагает он, позволит Ганди указать человечеству выход из тупика, в который оно зашло.

Холмс наделял Ганди божественными чертами; Ганди объявлялся святым, призванным выполнить роль своеобразного мессии. Все эти построения немало возмущали Ганди. Уже на первых страницах книги А. Горева отмечается, что Ганди резко протестовал против попыток представить его в облике посланца божьего или святого, который будто бы способен творить чудеса и один в состоянии взять на себя заботу об освобождении Индии.

Ни один из облеченных духовным саном биографов Ганди не увидел тогда в его учении и деятельности связи с глубинными устремлениями народа, рожденными эпохой, знаменем которой была Великая Октябрьская социалистическая революция в России и начавшееся пробуждение угнетенных народов Востока. Потребовался гений В. И. Ленина, чтобы в конкретных исторических условиях распознать в Ганди вдохновителя и вождя массового движения, революционера.

Однако надо сказать, что писать о Ганди действительно трудно.

Джавахарлалу Неру принадлежат на этот счет упреждающие слова: «Нет человека, способного письменно воспроизвести подлинную жизнь Ганди, если этот человек не так же велик, как сам Ганди. Поэтому нам не следует ожидать того, что мы будем располагать истинным и полным адекватным описанием жизни этого человека. Написать биографию Ганди само по себе трудно; эта задача становится еще более сложной, поскольку его жизнь неотделима от жизни Индии на протяжении полувека или более. Тем не менее, если существуют многочисленные попытки написать о его жизни, они могут быть успешными, проливая свет на некоторые стороны его беспримерной деятельности, а также давая другим людям определенное понимание этого незабываемого периода истории Индии».

Пожалуй, первым произведением, связавшим образ Ганди с борьбой его родины за освобождение от английского колониального гнета, стал биографический очерк о нем, еще в 1922 году написанный Роменом Ролланом. Уже тогда прозорливый писатель предпослал своему очерку многозначительный эпиграф:

Стране славы и рабства,
Преходящей власти и вечной мысли,
Народу, восставшему против времени,
Воскресшей Индии.

Стремясь уберечь чистоту образа Махатмы Ганди, Ромен Роллан обращался к его будущим биографам со словами: «Да будет сохранен великий человек от тех, кто никогда не сможет объять всего учения и кто, дробя его на параграфы, разрушает гармонию, высший дар живой души!»

Ромен Роллан увидел главное, что делало Ганди великим патриотом: его связь с народом и глубокое осознание им неминуемости грядущей победы как исторической необходимости.

Махатма Ганди — явление историческое, явление глобальное, отражающее эпоху революции в России, двух мировых войн, эпоху общего кризиса капитализма и крушения колониальной системы империализма. Махатму Ганди — и гандизм,— как всякое историческое явление, можно лучше понять, почувствовать с расстояния, с дистанции времени, вглядываясь в него в ракурсе настоящего на фоне уже отодвинувшегося от нас прошлого.

И по мере того как удлиняется дистанция, отделяющая нас, сегодняшних жителей земли, от исторических событий, сформировавших личность Махатмы Ганди и в известной степени сформированных им, многие мысли и дела этого человека укрупняются в масштабе

■

На обложке книги А. Горева художник изобразил старые часы. Ганди никогда не расставался с дешевенькими ингерсолловскими часами, говоря, что каждый миг его жизни должен быть посвящен служению человечеству.

Шаг за шагом прослеживает Горев поиск пути Ганди к служению человечеству: от осознания необходимости добиться свободы в борьбе с противником, силы которого и уверенность в себе огромны, до осознания необходимости единства с массами, до выработки методов борьбы — всякий раз новых, гибких и доступных пониманию даже наиболее темных и забитых.

Обращает на себя внимание тщательная продуманность автором композиции его книги — весьма важная сторона эмоционального воздействия на читателя.

В разделе «Вместо пролога» мы сразу же знакомимся с оценками личности Ганди, данными В. И. Лениным, выдающимися учеными и писателями — Б. Шоу, Р. Ролланом, А. Эйнштейном, соратником Ганди Дж. Неру и одним из самых яростных политических противников борцов за свободу Индии У. Черчиллем.

Первая глава «Великая душа» открывается объемным этическим портретом Махатмы Ганди, человека, гуманиста, вождя нации. Затем резкий, но вполне оправданный переход — падение Берлина, конец второй мировой войны, разгром фашизма, историческая Потсдамская конференция руководителей трех союзнических держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. Читатель таким образом вводится в круг проблем самых жгучих для судеб нашей измученной войнами цивилизации, которые не могут не волновать каждого мыслящего и честного человека: послевоенное устройство, ликвидация постыдной системы колониализма. Главное же — проблема мира без войн для будущих поколений.

А. Горев бережно отбирает жизненный материал для характеристики своего героя, не оставляя в тексте места для наносного, мелкого, незначительного и пустого, что может лишь затруднить объемное восприятие и верное толкование образа народного вождя Индии.

Достоверно рисует А. Горев Махатму — Великую Душу, как называли Ганди в народе: «Вокруг его худого тела кусок домотканой материи — кхади, сандалии на босу ногу, в руках посох — и все. Спокойные, как глубокие воды, глаза, всегда горящие светом внутренней силы, беззубая открытая улыбка ребенка на безмятежном ласковом лице; большие, внимательно слушающие собеседника уши». Но дело не в портретных описаниях — широко известны фотографии этого человека, да и недавний фильм «Ганди» у многих пока на памяти.

Страница за страницей живописует А. Горев портрет души своего героя, ибо Ганди здесь не центральная фигура исследования, а подлинный герой горевской книги.

Многое в Ганди поражает, и прежде всего простота, которую дарует человеку лишь полная свобода от себялюбия и позерства. Ганди знает, что миллионы людей преклоняются перед ним, но в нем нет и тени высокомерия, заносчивости или сознания собственного величия. Он совершенно бесхитростен, прямодушен, бескорыстен. Чистосердечие Ганди потрясает даже его недругов. Ганди не произнесет и слова неправды, хоть бы это стоило ему жизни. Он ведет аскетический образ жизни, но он отнюдь не суровый аскет — он добродушен и улыбчив, любит посмеяться. Отказ от элементарного житейского комфорта, самоограничение, умение обходиться тем, чем довольствуется бедный труженик,— все это стало его неизменным правилом, принципом, вытекающим из всех убеждений Ганди. Такой образ жизни еще больше роднит его с Индией простых людей, с Индией, которую он исходил пешком вдоль и поперек, народ которой никто лучше его не знает. Чуть не с каждым Ганди беседует на его родном языке — на хинди, на урду, на тамили, на гуджарати, на телугу, на бенгали. С англичанами — на совершенном английском.

Сам Ганди спит на полу или на жестком топчане, готовит себе пищу и моет за собой посуду. Физический труд Ганди рассматривает как необходимое условие нравственного здоровья, кроме того, ему труд доставляет радость.

Однажды, отвечая на вопрос, к чему физический труд, допустим, Тагору, Ганди сослался на «пример Толстого и его знаменитое учение о необходимости физическим трудом добывать свой хлеб...». Он ожидает, что и его сподвижники будут вести подобный образ жизни, но свою волю никому не навязывает.

Ганди отказывается соблюдать кастовые запреты — живет среди неприкасаемых, людей, которые даже своей тенью оскверняют ортодоксального индуса. А Ганди делит с ними трапезу и зовет их «хариджанами» — детьми божьими Странным и необычным кажется это многим. Какая-то в этом чрезмерность. Совсем, казалось бы, не похоже все это на сильных мира сего. А между тем он — великий и сильный человек. Ему внимают миллионы людей. О нем говорит весь мир. Он на редкость прозорливый и тонкий политик с обостренной интуицией, со способностью видеть невидимое, достигать компромисса в бескомпромиссной борьбе.

Махатма Ганди, пишет А. Горев, мыслит масштабами мира, и притом не говорит ничего такого, что не было бы понятно и ребенку.

Ганди сумел, сохранив все то, что дало ему английское образование, максимально приблизиться к народным массам Индии. Именно он превратил Индийский национальный конгресс из либеральной политической партии в массовую организацию. Именно он выдвигал лозунги — ясные и конкретные,— за которыми шли массы. Однако он не всякий раз умел логически объяснить даже своим сторонникам, чем он руководствовался, скажем, противопоставляя ручную прялку импорту английского текстиля и проводя кампании бойкота английских товаров или объявляя свой знаменитый «соляной марш» в Данди,— говорил, что действует по подсказке внутреннего голоса.

Много десятилетий спустя Индира Ганди напишет о нем:

«Можно судить об уровне развития человека по тому, насколько ему понятен Ганди... Он превратил забитых и смиренных в народ, который бесстрашно заявил о своем праве быть свободным. Он изменил политический климат страны, но гораздо важнее другое — его влияние на внутренний мир людей. Он изменил и социологический климат, сломав дискриминационные барьеры. Он был целиком предан идее ненасилия и ненасильственных методов, ибо считал средства не менее важными, чем цели».

В подборке высказываний о Ганди и цитат из его трудов, открывающих книгу А. Горева, первую серьезную биографию великого индийца, публикуемую в нашей стране, есть и часто вспоминаемый отклик Альберта Эйнштейна: «Возможно, грядущие поколения вряд ли поверят, что такой человек из обыкновенной плоти и крови ходил по этой земле».

Ганди ходил по земле, терзаемой войнами и противоречиями, проповедуя истину настолько простую, что она требовала особенного напряжения сил для ее понимания: цель неотделима от средств, которыми она достигается, а совершенствование общества невозможно без совершенствования каждого из его членов.

У известного философа Карла Ясперса есть статья о Ганди — одна из последних написанных им статей. Ясперс пишет, что Ганди, известный как апостол ненасилия, на самом деле постоянно прибегал к тому, что можно было бы назвать насилием наихудшего толка: к насилию нравственному. Но вину Ганди «искупает» то, что первым объектом этого насилия неизменно бывал он сам.

С древнейших времен индийская философия дискутировала проблему «саньяса» — полного отрешения от мирской суеты, и «карья-йоги» — неуклонного и действенного следования истине в миру. Для Ганди, человека глубоко верующего, этот вопрос даже не возникал: он был политическим лидером, для которого, по его собственным словам, политика была неотделима от религии и от нравственности.

Приверженность принципам «сатьяграхи» — упорствования в истине, гражданского неповиновения, ненасильственного несотрудничества, «добровольных арестов»,— все гандистские методы сопротивления имели своей целью воспитание силы в народе, укрепление его нравственной стойкости. Вместе с тем Ганди постоянно подчеркивал, что он — за ненасилие с и л ь н ы х д у х о м, за сохранение нравственной позиции во всех обстоятельствах. Ганди испытывает отвращение как к насилию, так и к бессилию.

«Я твердо убежден,— говорит Ганди,— что, если бы оставался лишь один выбор — между трусостью и насилием, я рекомендовал бы насилие... Я скорее предпочел бы, чтобы Индия прибегла к оружию для защиты своей чести, нежели чтобы она из-за своей трусости оказалась или осталась беспомощной жертвой своего собственного бесчестия...»

История поставила принципы Ганди под предельное напряжение во время второй мировой войны.

14 августа 1941 года была подписана Атлантическая хартия, в которой Ф. Рузвельт и У. Черчилль громогласно объявили, что они «стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путем».

Однако Черчилль буквально тут же пояснил, что на Индию положения Атлантической хартии не распространяются...

Свою позицию Черчилль изложил в недоброй памяти фразе: не для того он стал первым министром короля, чтобы возглавить ликвидацию Британской империи. Вспомним и другие слова Черчилля: «Рано или поздно вам (колониальным властям.— *Н. Ф.*) придется сокрушить Ганди, Индийский национальный конгресс и все то, что они отстаивают».

Как должна была действовать Индия в этой связи?

«Воевать или не воевать вместе с Англией?» «Оборонять или не оборонять Индию от японской агрессии?»

Реальностью становилась японская угроза. Англия остро нуждалась в колоссальных ресурсах Индии, в ее поддержке, но не была готова к тому, чтобы хоть пообещать ей независимость после войны.

Всенародная борьба за освобождение Индии утрачивает прежний накал, нарастают противоречия между различными политическими партиями и даже внутри самого конгресса.

Когда вторжение японских войск в пределы Индии стало казаться неизбежным, Ганди скрепя сердце, но решительно призвал свою страну к борьбе.

Джавахарлал Неру писал об этом решении, принятом Ганди:

«Для него это было поразительное и знаменательное изменение позиции, связанное с моральными и душевными страданиями. В борьбе между принципом ненасилия, который стал для него источником жизненной силы, смыслом существования, и свободной Индией, являющейся его главной всепоглощающей страстью, чаша весов склонилась в сторону последней... Практический государственный деятель одержал верх над непреклонным пророком».

7 августа 1942 года на сессии Рабочего комитета конгресса Ганди выдвинул обращенный к англичанам лозунг: «Вон из Индии!»

Ганди писал: «Для народа не существует разницы между британским империализмом и британским народом. Для народа это одно и то же. Ненависть к Англии может заставить людей приветствовать даже японцев, а это очень опасно, потому что это могло означать замену одного рабства другим... Мы боремся не против народа Англии, а против английского империализма. Требование, чтобы англичане ушли из Индии, продиктовано не ненавистью к ним, а необходимостью дать Индии возможность выполнить свой долг в трудные времена. Пока мы не почувствуем себя свободными, мы не сможем пробудить в народе чувства настоящей жертвенности и отваги».

На следующий день после принятия этой резолюции и Ганди, и все руководство конгресса оказались за решеткой.

В конечном счете победил все же «голый факир», как назвал Ганди надменный и велеречивый премьер Великобритании Уинстон Черчилль. Известно, что Ганди послал Черчиллю любопытное письмо:

«Дорогой премьер-министр, сообщается, что Вы испытываете желание уничтожить простого «голого факира», как вы, по слухам, называете меня. Я уже очень давно стараюсь стать факиром, что же до голого факира — стать им чрезвычайно трудно. По этой причине я рассматриваю Ваши слова как комплимент, хотя и непреднамеренный. Обращаясь к Вам именно в этом качестве, прошу Вас доверять мне и располагать мной на благо Вашего народа, моего, а через них — на благо всего человечества.

Ваш искренний друг М. К. Ганди».

Для Ганди свобода Индии никогда не была самоцелью, и хотя он сильно расходился во взглядах на будущее Индии с Неру — что тоже хорошо показано в книге Горева,— Ганди считал, что Индия нуждается в коренном социальном переустройстве. Особое внимание обращал он на положение неприкасаемых, он, верующий индус, заявлял, что готов пожертвовать индуизмом, если такова цена уничтожения феномена неприкасаемости, «позорного пятна индуизма».

Неистощима эта полнота веры и убеждений. Ищешь духовную непреклонность— в нем она в высшем проявлении. Ищешь мудрость человеческую — она в нем во всей глубине.

У Махатмы Ганди широкий этический подход к действительности проявлялся во всем, включая и международную область. В бесконечной его любви к Индии, подчеркивал А. Горев, нет слепого, эгоистического национализма. Он ставит интересы международного сообщества выше национальных. «Национализм в моем понимании,— говорил Ганди,— означает, что моя страна должна обрести свободу, но что, если нужно, вся моя страна должна умереть, чтобы человечество могло жить...»

Иными словами, для Ганди патриотизм означает благо всего человечества, и его служение Индии равнозначно служению всем людям Земли. Он всегда оставался верен своим убеждениям. Ничто не могло изменить его волю и твердые принципы.

Джавахарлалу Неру принадлежит удивительно меткая характеристика Ганди: «...В этом маленьком, физически слабом человеке было заключено что-то твердое, как сталь, несокрушимое, как скала, что-то такое, с чем не могла совладать никакая физическая сила, как бы велика она ни была... он обладал каким-то царственным величием, внушавшим окружающим невольное почтение... Он говорил всегда просто и по существу, без лишних слов. На слушателей действовала абсолютная искренность этого человека, сама его личность; казалось, в нем сокрыты неисчерпаемые источники внутренней силы... Обретя внутренний мир, он излучал его на окружающих и шел по извилистым путям жизни неустрашимо, твердым шагом».

Сегодня мы неизбежно видим Ганди «с птичьего полета», мы видим лидера огромного народа на фоне успехов Индии в национально-освободительной борьбе. А. Горев же показывает нам крестный путь, которым шел этот человек: ища, ошибаясь, сомневаясь в себе, страдая от неверия и непонимания даже близких ему людей...

Великий Рабиндранат Тагор, которого Ганди звал «божественным учителем»,— и тот был не согласен с Ганди. Тагор воспринял призывы Ганди к возрождению культурной самобытности Индии как угрозу отторжения от духовных и материальных ценностей, созданных Европой.

«Элемент отрицания!»— повторяет Тагор, считая это несовместимым с концепцией индуизма, которую он понимает как гармонию всего сущего Из концепции индуизма исходит и Ганди, но Ганди не видит противоречия между гармонией добра и неприятием зла.

«Индия забыла, как произносится слово «нет!». Прежде чем сеять — надо корчевать»,— говорит в сердцах Ганди.

Тагор — за соединение культур Востока и Запада и поэтому создал в Шантиникетоне всемирный университет, который назвал «Всемирная Индия». Он готов учиться у Запада. «Современность принадлежит Западу...— пишет Тагор.— Мы — Восток, мы должны у него просветиться... Конечно, дурно, что мы давно уже оторваны от своей собственной культуры и что поэтому западная культура стоит у нас не на должном месте... Но говорить, что не следует поддерживать с ней отношения,— значит принимать худший вид провинциализма... Задача современности — всемирность. Ни один народ не может ступить шага, отмежевавшись от другого Или спастись всем вместе, или вместе погибнуть».

Полемика между Ганди и Тагором вылилась на страницы печати. 1 октября 1921 года в «Модерн ревью» Тагор публикует статью «Зов истины», в которой восстает против интеллектуального деспотизма вождей. Но перед тем как укорить Ганди, восторженно отзывается о его душевных качествах и моральных устремлениях. Вспоминая подъем национально-освободительного движения в Индии 1907—1908 годов, он пишет, насколько неспособными были тогдашние политические лидеры Индии по сравнению с людьми, говорившими по-английски, насколько книжной была их мечта о свободе. Теперь же «явился Махатма Ганди. Он побывал на пороге множества нищенских хижин в одежде нищего. Он говорил с бедняком на его родном языке. Тут, наконец, была истина, а не книжная цитата. Данное ему имя Махатмы — его истинное имя. Кто еще не почувствовал, что все люди Индии одной с ним крови и плоти?.. Как только истинная любовь встала у дверей Индии, дверь эта широко раскрылась...»

Далее Тагор говорит о крушении своих надежд, о горьком разочаровании, постигшем его, когда он вернулся в Индию после долгого пребывания в Европе. «Какое-то внешнее давление двигало каждым,— писал он,— и заставляло всех говорить на один голос и впрягаться в одну повозку. Повсюду я услышал, что и культуру, и разум необходимо запереть, а самим закабалиться в слепом подчинении... Так легко раздавить внутреннюю свободу во имя свободы внешней!» Тагор считал себя свободно мыслящей личностью, призванной воспевать радости жизни, даже если ему приходится это делать на развалинах времени; его «внутренняя музыка важнее грома с неба».

Вскоре Ганди поместил в «Янг Индиа» ответ Тагору. Называя поэта «великим часовым», он благодарит его за то, что тот стоит на страже Индии и ее будущего.

Ганди отнюдь не возражает против важности свободы выбора для человека. «Слепое подчинение,— соглашается он,— часто унизительней насилия, произведенного кнутом тирана». Ганди тоже обращается к разуму, а не только к чувству. Он пишет, что Индия прибегла к бойкоту иностранных товаров и ручному ткачеству не из-за одного отчаяния, но после долгого размышления. «Тагор говорит о терпении,— пишет он,— однако довольствуется своим пением. Теперь война. Пусть Поэт отложит лиру. Он будет петь позже. Когда дом в огне, каждый хватается за ведро воды... Когда окружающие меня люди умирают с голоду из-за отсутствия пищи, единственное, что мне позволено,— это накормить голодных... Индия — дом в огне... Индия умирает с голоду, ибо она лишена работы, которая ей может дать пищу... С каждым днем Индия становится все обездоленней. Кровь уже почти не струится по ее жилам. Если мы не решимся на что-нибудь, то она разрушится... Кто питается не трудясь — равен ворам...

Голод толкает Индию к прялке... Поэт живет в завтрашнем дне и хотел бы от нас того же. Нашему восхищенному взору он преподносит прекрасную картину птиц, поющих ранним утром хвалебные гимны и порхающих в небе. Птицы эти сыты».

Уместно в контексте этой полемики вспомнить и об отношении Ганди к социальной роли художника вообще — на примере того, что он написал о Горьком, того, что оценил в нем Ганди превыше всего. Ганди поместил специальную статью о Горьком в своей газете «Индиан опинион» от 1 июля

1905 года, в которой подчеркнул самоотверженность и бесстрашие Горького, брошенного в тюрьму за его служение народу, что Горький рассматривал как «дело чести». Ганди указывал на вдохновляющую силу произведений Горького, «поднимающего народ против тирании», и заявил, что «в Европе нет другого писателя, который был бы столь же великим поборником народных прав».

Разногласия между Ганди и Тагором, отмечает А. Горев, останутся, но трагизм в отношениях этих двух великих индийцев только еще более усиливает многогранность проявлений прекрасной национальной души индийского народа, его культуры, порыва к социальной справедливости, стремления видеть свою родину свободной и процветающей. Оба они, каждый по-своему, бесконечно дороги и понятны каждому индийцу и по праву составляют гордость нации... Предсказывая духовное возрождение Индии и размышляя о принесенных индийским народом жертвах во имя свободы, Тагор утверждал, что «у Запада непоколебимая вера в силу материальных богатств. Поэтому, как бы он ни кричал о мире и разоружении, его кровожадность от этого не уменьшится». Ганди, как и Тагор, мечтает доказать миру, что сила народного духа, его добрая воля могущественнее силы подавления и силы оружия. Он глубоко верит, что миссия Индии и человечества в целом заключается в том, чтобы следовать истине, которая не только сделает возможным разоружение, но и преобразует это разоружение в огромную созидательную силу: с его осуществления будет исчисляться подлинная история человеческой цивилизации.

Примечательные слова сказаны по этому поводу Роменом Ролланом:

«О Тагор, о Ганди, реки Индии, подобные Инду и Гангу,— страстно призывает Ромен Роллан,— обнимите в двойном объятии Восток и Запад; первый из вас — полный величественного света, второй — трагического героизма, оба струитесь от создателя к земле, изборожденной плугом насилия; бросьте в нее его семя!» В этих словах подчеркивается то, что объединяет великих индийцев — социальная справедливость, извечная идея человека о мире и счастье на земле.

Неоспорим вклад Махатмы Ганди в развитие общественной мысли своего народа, в утверждение его национального самосознания, как и неоспорима его заслуга в национальной и мировой культуре. Повторим здесь еще раз: Ганди — не узкий националист. «Для меня любовь к Родине соединена с любовью к человечеству,— говорит он,— я патриот оттого, что я человек и человечен... Патриот уже не патриот, если он равнодушен к человечеству... Я хочу, чтобы ветер культуры всех стран как можно свободнее веял у моего дома. Но я не хочу, чтобы он сбил меня с ног...» Таковы категории его мышления.

Ганди не мыслит себя вне судеб Индии, вне времени, в котором он жил, в отрыве от общего хода истории и развития человечества. Рабиндранат Тагор потому и назвал Ганди Махатмой — Великой Душой, что огромное сердце его вмещало в себя мечты и боль миллионов людей, страдало и жило одной жизнью с ними со всей истерзанной и задавленной колониальным гнетом страной.

Современно воспринимается мысль Ганди о великом предназначении и долге литературы в борьбе народа за свою свободу и социальную справедливость, его протест против ухода писателей в замкнутый свой мир, в мистику, против их ухода от жизни, от жгучих проблем, стоящих перед страной.

И сегодня захватывает своей философской глубиной и взаимной доброжелательностью тона полемика Махатмы Ганди с Рабиндранатом Тагором.

И здесь мне снова хотелось бы процитировать Джавахарлала Неру, частное письмо с красноречивой пометкой: «Окружная тюрьма. Дехра Дун. 27 августа 1941 года».

Неру пишет:

«...И Гурудев («божественный учитель».— *Н. Ф.*), и Гандиджи, оба взяли очень многое у стран Запада и других стран, особенно Гурудев. Ни тот, ни другой не были узкими националистами. Их призыв был обращен ко всему миру. И все же оба они — на сто процентов — являются детьми и наследниками Индии... И снова я думаю о богатстве индийского многовекового гения, который способен дать в одном поколении две такие удивительные личности, во всем типичные для своей страны, но все же представляющие различные аспекты ее многогранной сущности».

Воссоздавая образ индийского вождя, А. Горев ни на минуту не забывает горького укора, высказанного Ганди в адрес своих биографов: «Я прошу, чтобы никто не считал советы, разбросанные по страницам последующих глав (речь идет о его «Автобиографии».— *Н. Ф.*), непререкаемыми... Я надеюсь познакомить читателя со своими ошибками и заблуждениями. Моя задача — описать свои искания в области сатьяграхи, а вовсе не рассказывать о том, какой я хороший». «Нехорошо отпугивать людей,— писал Махатма Ганди еще в 20-х годах,— вырывая из моих произведений куски, не имеющие никакого отношения к проблемам, стоящим перед страной»

Личное для Ганди — не суть важное, часто случайное, преходящее и порою не лишенное ошибок, неудачных экспериментов, приводивших лишь к разочарованию, и вождь боится отпугнуть ими людей от решения проблем, стоящих перед страной.

Когда думаешь о невероятных, казалось бы, взлетах духа отдельных личностей, о том, как рождаются в мире всеобще признанные гении литературы и искусства, как народы из тысяч выдающихся соотечественников отбирают себе одного вождя, на память приходят удивительные строки А. С. Пушкина, таящие в себе гениально простое этому объяснение:

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа[1].

Голос Махатмы Ганди неподкупен, поистине — эхо индийского народа.

[1] А. С. Пушкин. К Н. Я. Плюсковой. Полное собрание сочинений, М., 1956, т. 1, с. 340.

■

При чтении книги «Махатма Ганди» А. Горева возникает галерея образов — портреты людей, чьи поступки, страсти и порывы души не могут не волновать и сегодня. Для молодого индийца, живущего в освободившейся стране, свобода становится осознанной, приносящей ощущение гордости, если он знает, какой ценой свобода эта была добыта для него отцами и какими жертвами она оплачена. Но разве нельзя сказать этого же и о нашей молодежи? Забвение прошлого и его героев есть покушение на духовное богатство живущего поколения, на полноту эмоционального мира человека. И снова приходят на ум слова русского гения А. С. Пушкина: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим».

Социальное и культурное бытие народов нетленно, его прошлое является составной частью наших сегодняшних мыслей, нашего эмоционального склада. Три измерения времени — прошлое, настоящее и будущее — суть категории, обозначающие движение, а стало быть, и самое жизнь. Понятие «культура», с которым связана вся духовная жизнь народа, его традиции, его опыт в неизмеримо большей своей части лежит в плодородных пластах прошлого, нежели в сегодняшнем дне. Настоящее может быть полноценно, если своими корнями оно уходит в эти пласты и получает животворное от них питание.

Учение М. К. Ганди, разумеется, не возникло из ничего, на пустом месте, его истоки — в прошлом Индии. «Я не предлагаю новых истин,— говорит он,— я бросаю новый свет на многие старые истины». Мечты Ганди о лучшей участи для свого народа наследованы по эстафете веков: они восходят к мифам и легендам, к народному эпосу — «Махабхарате» и «Рамаяне», к основам индуизма.

Неисчислимые поколения предков оставили потомкам истинные шедевры древней культуры, известные всему миру литературные памятники, запечатлевшие в себе индийские представления о добре и зле, неповторимые образцы скульптуры, архитектуры и живописи. Возможно ли вдруг лишить живущие и грядущие поколения индийцев всего этого бесценного национального самобытия, воплотившего тысячелетия духовного созидательного труда народа? Безумна сама эта мысль! Хотя английские колонизаторы изрядно, но бесславно потрудились над разрушением индийской культуры,—тщетно. Великая эта культура продолжает жить.

Выдающиеся мыслители Индии: Рамакришна, Вивекананда, Ауробиндо Гхош и даже легендарный индийский патриот Тилак плодотворно использовали религию для пробуждения народа к борьбе против английских поработителей за национальную свободу своей родины. Но все они хорошо сознавали, что прошлое, как бы оно ни было значительно и важно для духовной жизни народа, не должно подменять собой настоящее. Духовное и социальное движение народа вспять недопустимо: тогда это — мракобесие, застой, гибель мысли и чувства. Застойным воздухом религиозных догм и сейчас еще дышат огромные массы индийского населения. Но религия была воздухом и для Махатмы Ганди.

В книге Александра Горева показано: несмотря на ностальгию Махатмы Ганди по ушедшему «золотому веку» Индии, вождь понимает, что отсталые и устаревшие идеи и традиции могут погубить душу народа, нанести непоправимый ущерб его борьбе за свободу, демократию, социальную справедливость. Для Ганди «истина есть бог». Он говорит: «Мой бог находится не наверху. Он должен быть познан на земле... Вам не следует думать о потустороннем мире». Глубоко и страстно исповедуя индуизм, Ганди готов отречься от него, если его закостеневшие догматы позволяют узаконивать социальную несправедливость в обществе и служить целям духовного закрепощения людей. Разве не вызывает это ассоциацию с бунтом Л. Н. Толстого и отлучением его от церкви? «Я не сделаю себе фетиша,— говорит Ганди,— даже из самой религии и никакого зла не допущу во имя ее». В этом видится нам критический его подход к оценке прошлого.

Весьма примечателен феномен мышления великих людей — творцов духовных ценностей своего времени: им свойственно умение подниматься выше личных своих верований, абстрагироваться от собственного опыта и искать истину вопреки субъективному мироощущению. Так, например, Рабиндраната Тагора, создателя произведений, вошедших в классику мировой литературы, вряд ли можно отнести к воинствующим атеистам. Для него индуизм — источник творческого вдохновения. Но, как и для Махатмы Ганди, правда жизни для него всего выше, дороже собственного «я». С сокрушительной откровенностью он признает в «Письмах о России»:

> Религия подобна злой волшебнице:
> обнимая, она завораживает,
> а заворожив —
> опаивает смертоносным ядом.
> Стрелы веры страшнее боевых стрел,
> потому что они глубже проникают
> в сердце
> и убивают, не причиняя боли.

А. Горев пишет о Махатме Ганди, глубоко и ярко высвечивая те стороны его доктрины, которые расходятся с теорией и практикой научного коммунизма. Махатма Ганди, например, мечтал о единстве своей страны на основе социального компромисса — он называл его «сарводайя»,— верил в возможность классового мира. Интересно читаются страницы книги, где М. К. Ганди и сам признается в ошибках, иные из которых «размером выше Гималаев», и где он подвергается критике со стороны ближайших сподвижников и друзей. М. К. Ганди в книге А. Горева прежде всего живой человек, противоречивый, личность самобытная, ищущая и нередко заблуждающаяся. Вместе с огромной волей у него есть и слабости, рядом с высоким полетом мысли, с глубокой мудростью в нем уживаются наивность и простомыслие.

В воссоздании живого образа Ганди — главная заслуга автора. В этом ценность книги А. Горева, в которой рядом с исследователем соседствует публицист, научный подход сочетается с образным мышлением, академичность с эмоциональностью.

Перелистывая страницы книги, мы входим в прекрасный по своим морально-этическим краскам мир великого индийца. Мы проникаемся к нему глубоким уважением: мудрый и бескорыстный, он щедро делится с нами своими бесценными духовными сокровищами.

Книга «Махатма Ганди» доносит до нас страстные призывы выдающегося сына Индии к установлению на нашей планете счастливой, достойной человека жизни, к миру и социальной справедливости, к уважению созидательного труда человека. Мы слышим его возмущенный голос протеста против расового и классового неравенства, социального угнетения. Книга помогает нам почувствовать биение страстного сердца, яснее представить себе героику жизни Махатмы Ганди, а вместе с этим и мысленно воспроизвести панораму народно-освободительного движения в Индии.

Значительным является и литературное наследие М. К. Ганди. В автобиографическом труде он выступает как строгий судья себя самого и своих поступков. Личная жизнь Ганди нерасторжимо связана особым невидимым нервом с политической деятельностью, с острым восприятием всего того, что происходит в окружающем мире. Порой он кажется трагичным в своей благородной наивности, но при всем том именно человеческая мудрость и политическая честность выделяют его среди массы других.

«Автобиография» была написана М. К. Ганди еще в 1924 году, в канун «великих дел» в Индии. Мне думается, эта книга представляет собой уникальный образец литературы, в ней раскрыта общедемократическая, гуманистическая основа мироощущения Махатмы Ганди. Через личные переживания Ганди здесь выражены исторические свидетельства зарождения империалистических войн и начала антиколониальной борьбы народов.

«Автобиография» Ганди издана на десятках языков мира, в том числе на русском в переводе видного советского ученого Р. А. Ульяновского. «Советские люди хорошо понимают,— говорится в предисловии к труду Р. А. Ульяновского,— что М. К. Ганди всегда был в гуще народа Индии, жил его жизнью, отражал его надежды и чаяния. Он всегда черпал вдохновение в той тяжелой борьбе, которую вел с британскими властями, в самоотверженности и мужестве простого народа, честно и искренне стремясь облегчить его участь, отвратить от него бедствия, вдохновить его на поиски нового, более совершенного общества»[1].

Весьма существенно и то, что Ганди пишет простым и ясным, можно сказать, народным языком, без мудрствования, прикрас и заигрываний с читателями. Автобиография Ганди захватывает своей откровенностью. Это — своего рода публичная исповедь. Читая ее, понимаешь, в чем секрет личного обаяния Ганди. Люди с мечтой о правде и справедливости не могут не тянуться к «Великой душе», ибо чувствуют, что правда живет в этом большом и горячем сердце.

И Ганди тянулся к великим правдоискателям.

Особенно привлекал Ганди Толстой с его проповедью стойкости духа, упорства и бесстрашия, необходимых тем, кто следует принципу непротивления злу насилием. В своей концепции сатьяграхи Ганди отвел этим качествам решающее значение в борьбе за национальную независимость Индии. Знаменательно, что уже в конце своей жизни, в 1942 году, Ганди признавал, что именно в учении Толстого он нашел идейное подкрепление своей бескомпромиссной приверженности ненасилию. «Россия,— писал он,— дала мне в лице Толстого учителя, который представил рациональную основу для моего ненасилия».

■

Прочитаешь иную книгу и еще долго держишь ее в руках, она не отпускает тебя из плена своего магического обаяния, зовет к раздумью. Сколько ассоциаций рождается в сознании от прочитанного, прочувствованного, от общения с целой эпохой, которая каким-то чудом уместилась всего-навсего на нескольких сотнях книжных страниц. И кто смеет сказать, будто книга — предмет неодушевленный? Как и человек, книга имеет свою душу и судьбу, свой неповторимый характер и даже облик. Всеми этими качествами наделена книга «Махатма Ганди», принадлежащая перу А. Горева.

Не политический это роман и не роман-эссе (новые жанры изобретательного нашего века), хотя в чем-то неуловимом роднится с ними. Она написана в устоявшейся литературной форме историко-научной публицистики, или, точнее,— научно-художественной биографии. Популярный это сегодня жанр! Проникновенный слог книги заставляет строго документальное повествование о беспримерной жизни Махатмы Ганди — отца нации, основателя свободной Индии — воспринимать как художественное произведение. Автор живо воскрешает достоверные события недавнего прошлого и воспроизводит образ великого индийца, образ емкий и сложный, с его полутонами и нюансами.

Документы, факты, события, как бы они ни были убедительны и в какой бы логический ряд ни были построены, еще не литературное произведение, в лучшем случае — это документалистика. Чтобы из документов высечь в сознании искры волнующих мыслей, затронуть сердце, в них непременно надо вдохнуть страсть, любовь, нечто лично выстраданное автором-исследователем. Бесстрастная документалистика может только помешать воссозданию подлинного образа, исказить правду о человеке и об эпохе. Если не вскрыта причинная связь фактов, не понят человеческий аспект их природы, если не учтена конкретная историческая обстановка, обусловившая факты и события, то они — всего лишь мертвые, осадочные пласты прошлого. Только события и факты истории, «очеловеченные» восприятием нашей критической памяти, эстетическими и социально-нравственными представлениями живущего поколе-

[1] М. К. Ганди. Моя жизнь. М., Наука, 1969, с. 31.

ния людей превращают прошлое человечества в вечный родник творческой мысли. В этом случае в истории бьется живой пульс, цивилизация народов всей Земли обнаруживает свою цельность, очевидной становится взаимосвязь духовных и материальных ценностей, непрерывно создаваемых неистовым человеческим разумом.

И в горевской книге «очеловеченные» документы, оживленные научно-критическим и эмоциональным отношением к ним автора книги, помогают читателю через главного героя и вместе с ним увидеть самое сущностное — движение духовной жизни народа, исторические устремления нации, роль и место в них Ганди на фоне всемирных взаимодействий.

Я спросил однажды Александра Горева, что, по его мнению, ярче всего характеризует личность Махатмы Ганди.

— Я все время думаю о его внешней непритязательности, которая на деле была проявлением стойкости его духа и выражением его неукоснительной правдивости,— ответил он.— В то же время Ганди был свободен от догматичности. Он бы наделен даром поразительной интуиции. Он был и тождествен миллионам своих бесправных, обездоленных соотечественников, и отличен от них, он жил их мыслями, чувствами, страданиями, но умел внушить им веру в их силу, в неизбежность торжества правого дела. Он был удивительным человеком.

Пожалуй, самой поразительной чертой Махатмы Ганди была его неколебимая уверенность в том, что он не делает ничего из ряда вон выходящего. Если это и было проявлением его скромности, то скромности искренней, а не ложной, на которую Ганди был просто не способен. С подкупающим чистосердечием писал он:

«Будучи убежден, что возможное для одного — возможно для всех, я не держу в тайне свои искания... Я далек от мысли претендовать на окончательность или непогрешимость своих выводов. Единственное, на что я претендую, сводится к следующему: мне они представляются и для данного момента окончательными... Но на каждом шагу я либо принимал, либо отвергал их и поступал соответствующим образом».

— Знаете, вы ведь говорите о Ганди как о человеке, хорошо вам знакомом и даже близком, а видеть его при жизни вы не могли! Как вам удалось так глубоко войти в его мир, так приблизиться к Ганди?

— Через память, которую сохранили о нем другие,— задумчиво сказал Горев.

Тысячи и тысячи документов, сотни книг, научных и художественных, картины — это же все, говоря современным языком, как бы компьютерная память, в которую занесено прошлое. Л. Н. Толстой, например, оставил интереснейшую переписку с М. К. Ганди, это же можно сказать и о Рабиндранате Тагоре... Произведения, письма и речи самого Махатмы Ганди. А сколько волнующих страниц посвятил ему другой великий индиец — Джавахарлал Неру! В Индии существуют, бережно комплектуются и сохраняются богатейшие мемориальные фонды М. К. Ганди, изданы многотомные фундаментальные труды о нем, его биографическая хроника, воспоминания современников, наконец, есть архивы, в том числе и кинофотоматериалов. Кстати, в документальной трилогии «Неру», созданной совместно советскими и индийскими кинематографистами, мы увидели живого Ганди — сохранившиеся до наших дней бесценные кадры.

Нельзя, разумеется, воссоздать исторически адекватный и человечески достоверный образ М. К. Ганди, не изучив предварительно всего того, что написано о нем и его учении зарубежными авторами и советскими исследователями.

Кроме того, естественно, прежде чем браться за перо, автору надо было живо представить себе не только время, в котором жил М. К. Ганди, но и прошлое, сформировавшее его личность, то есть хорошо знать историю, культуру и традиции Индии.

— В самом деле,— согласился я,— память есть живая созидательная сила, которая играет особую роль в духовном прогрессе человечества. Мыслимо ли, чтобы все то, чем мы владеем сегодня в области духовных ценностей, было создано только одним поколением?! Петрарка, Боккаччо и другие гуманисты, напоминает нам Парандовский, совершали паломничества в дальние монастыри, рыскали в церковных архивах, рылись по чердакам и чуланам, разъезжали по всей Европе, привлекали к своей работе послов и посольства и спасли от гибели покрытые плесенью тома, с которых немедленно снимали копии... Благодаря им мы получили Цицерона, Тацита, Катулла.

Помню — значит живу, сказано мудрецом. Правда, память неотделима от забвения. Река забвения уносит поверхностное, неглубинное, несущественное, очищая нашу коллективную память. Но нужно следить за тем, чтобы половодье времен не смыло плодородный слой, который верно служит сменяющимся поколениям, сливает их духовно в единое движение человечества к вершинам. Тогда сбудутся смелые мечты мыслителей планетарного масштаба, к числу которых, думается, следует отнести и Махатму Ганди.

«Единство в многообразии» — это тагоровское описание Индии приложимо ко всему человечеству. Здесь одинаково важны и должны оберегаться наши оба начала — и единство и многообразие, составляющие в диалектическом равновесии то, что мы именуем мировой культурой. Никто не станет оспаривать различий между членами семьи народов — и физико-географических и историко-культурных, но род человеческий все равно един. Восток и Запад — такая же условность, как экватор или Гринвичский меридиан, правда, куда менее безобидная.

Любое государство с имперскими притязаниями вынуждено подчеркивать свое превосходство — хотя бы оно сводилось к цвету кожи — над теми, кого оно порабощает. Не стоит повторять навязшие в зубах рассуждения западных колонизаторов об их «цивилизаторской миссии» на Востоке. Однако хотелось бы отметить, что даже признанный бард империализма Редьярд Киплинг к заявлению: «Запад есть Запад,

Восток есть Восток» добавляет: «Не сойтись б л и з н е ц а м никогда»— признавая, таким образом, непреложность кровного родства между ними. Жаль, что эта строка имеет у нас хождение в неверном переводе — она мне кажется весьма красноречивым признанием!

На наших глазах крах колониальных империй приводит к разрушению стены между Востоком и Западом, к восстановлению нормальной системы культурных взаимовлияний, к разоблачению мифов и европоцентризма и востокоцентризма, как анахронизмов истории.

Я поинтересовался у автора книги «Махатма Ганди», что он как индолог думает о разделении мира на Восток и Запад.

— «Восток и Запад»— весьма условное и неточное противопоставление в политическом и культурном отношениях,— ответил А. В. Горев,— и абсолютно неприемлемое с точки зрения научных и этических взглядов на мировое сообщество людей.

— А как же быть с нами, востоковедами?.. Ведь если бы не существовало такого деления мира, не было бы и нужды в нас? — попытался было я озадачить собеседника.

— Помимо самоочевидного факта, что единство человечества не означает его единообразия, помимо явно возросшей в наше время нужды в специалистах по культурам разных народов перед востоковедами стоит и дополнительная задача.

Востоковеду сегодня мало быть специалистом по Востоку,— убежденно сказал он,— его миссия в том, чтобы убирать с пути обломки колониальных преград, расчищая путь к взаимному проникновению культур.

Не приходится сомневаться в том, что культурные ценности, созданные народами Востока, которые западные культуртрегеры квалифицировали как «варварские», займут свое место в мировой сокровищнице.

Истинное предназначение востоковеда — кропотливо восстанавливать единство человечества, оберегая неповторимость каждой национальной культуры, ни на миг не забывая об уроне, который причинил Востоку колониальный грабеж, в том числе и культурный. Мы, востоковеды, участвуем в решении мировых проблем, ставших перед всем человечеством, а не перед Востоком и Западом по отдельности. Решить эти проблемы можно только сообща и в согласии.

Как и следовало ожидать от человека, только что закончившего работу над книгой, ставшей частью его самого, А. Горев еще продолжает жить в мире Махатмы Ганди, думать и говорить о нем.

Ганди придавал огромное значение единству слова и дела, единству средств и целей. Расхождение между принципами людей и их поступками, как расхождения между декларациями правительств и их политической практикой,— вот в чем видел Ганди глубинные причины раздвоения личности и разложения общества. Пресловутому принципу буржуазной политики и морали «цель оправдывает средства» Ганди противопоставлял доктрину высокой нравственности, которая одна только и может, по его мнению, разумно регулировать отношения и между отдельными людьми, и между государствами.

Ганди не уставал повторять, что между средствами и целью «существует такая же нерушимая связь, как между семенем и деревом»; однако в процессе достижения цели средства могут менять свое первоначальное значение — «условием роста пшеницы служит гибель зерна».

Махатма Ганди всегда в международных делах стремился к тому, чтобы законы общечеловеческой морали и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях люди, стали и непреложными нормами в отношениях между народами; как Ганди мечтал о том, чтобы на нашей Земле существовали не отчужденные, конфликтующие и воюющие между собой государства, а была бы создана мировая семья тесно сотрудничающих между собой стран и народов. Целью всех государств, считал великий индиец, должна стать не изолированная независимость, а добровольная и благотворная взаимозависимость.

Соприкосновение с миром Ганди, ставшее возможным на страницах книги А. Горева, волнует ум, наводит на множество мыслей — и более всего о дне сегодняшнем.

За десять лет до гибели Ганди Тагор написал: «Может быть, он ничего не сумеет сделать. Может быть, его постигнет неудача, как постигла она Будду, Иисуса Христа, жаждавших освободить людей от их пороков. Но его всегда будут помнить как человека, который сделал свою жизнь примером на века».

Известно, что Ганди выступал против индустриализации Индии, за развитие мелких промыслов, против урбанизации Индии, за развитие самодостаточных поселков сельского типа. Известно, что даже Тагор укорял Ганди за его желание повести Индию каким-то отдельным от остального человечества путем... Но вот прошли десятилетия, и все человечество встревоженно обсуждает проблемы экологии, напугано разрастанием мегалополисов и уродством западной «машинной цивилизации». Сама Индия только что пережила страшную трагедию Бхопала, об экологических последствиях которой пока еще невозможно судить. Так ли уж наивен был подход Ганди ко всем этим проблемам или нам еще предстоит вспомнить иные из его соображений в этой связи?

Ведь и доктрина ненасилия многим казалась чистейшим идеализмом, но Ганди сумел воодушевить ею миллионы индийцев.

К методам ненасильственного сопротивления — разумеется ориентированным на конкретную ситуацию — прибегали многие руководители национально-освободительных движений, особенно при явном неравенстве сил угнетателей и угнетенных, когда другие методы борьбы были едва ли возможны.

Гандистские принципы использовали и американские негры в борьбе против расовой дискриминации и сегрегации.

Спустя десятилетия Мартин Лютер Кинг говорил:

«Любовь была для Ганди мощным оружием общественных перемен. Именно в том значении, которые Ганди придает любви и ненасилию, я нашел метод социальных реформ, который искал в течение многих месяцев. Я понял, что это единственный моральный и практически правильный выход, доступный угнетенному народу в борьбе за освобождение».

Мартин Лютер Кинг был убит. Убит был и Махатма Ганди — его застрелил в упор фанатик-брахман Натурам Годсе, один из тех, кто обвинял Ганди в отступничестве от индуизма, потворстве мусульманам. На карте мира существует Пакистан, создание которого по «плану Маунтбеттена» стоило жизни миллионам невинных людей,— а Ганди до последнего противился разделу Индии.

...Трудно найти в истории другого человека, которого постигла бы такая же горькая ирония судьбы, какая сопутствовала жизни и даже смерти Ганди. Человек, считавшийся «апостолом ненасилия», стойким сторонником ненасильственных методов разрешения любых социальных и политических проблем, пал жертвой самого грубого и жестокого насилия; человек, всю жизнь свою искренне приверженный индуизму, который он считал идеалом религиозной терпимости и возвышенной духовности, погиб от руки своего единоверца; человек, решительно осуждавший любые формы шовинизма и религиозной вражды, сам был сражен чудовищной вспышкой конфессионального фанатизма; наконец, человек, неустанно призывавший к единству всех индийцев, независимо от их религиозных убеждений, политических взглядов, кастовой и сословной принадлежности, сам был нравственно, духовно сокрушен неимоверной вспышкой братоубийственной ненависти, полыхнувшей пожаром в самый величественный миг истории Индии — когда страна обретала независимость, за которую Ганди страстно и самоотверженно боролся всю свою жизнь.

Может ли это означать, что Ганди все-таки постигла неудача?

Но разве сегодня, когда само будущее человечества стало гипотезой, уроки предостережений Ганди об опасности прямых конфликтов между народами, его доктрина нравственной политики и постоянного воспитания нравственной стойкости в широких народных массах не приобретают совершенно новое, особое значение?

Перед нами встает Ганди, потрясенный варварским использованием Соединенными Штатами атомных бомб против мирного населения японских городов Хиросимы и Нагасаки.

Ганди говорил, что «атомная бомба убила самые возвышенные чувства, которые помогали человечеству в течение веков». «Прежде существовали так называемые законы войны, которые делали ее терпимой,— рассуждает он.— Теперь нам известно лишь одно: война не знает других законов, кроме закона силы. Атомная бомба... погубила душу Японии. А что произошло с душой погубившей ее нации, судить еще рано... Рабовладелец не может держать раба, не входя сам или не посылая своего помощника в клетку, в которой находится раб...»

Ганди не хочет, чтобы у кого-то создалось впечатление, будто он выступает в защиту злодеяний Японии, совершенных ею во время войны. «Я допускаю,— отмечает он,— что алчность Японии была более недостойной. Но большая недостойность не дает права менее недостойному безжалостно уничтожать мужчин, женщин и детей...»

«Атомная энергия,— заявил он 7 июля 1946 года,— используемая американскими учеными и военными в разрушительных целях, должна применяться другими учеными в гуманистических интересах, и для этого имеются все возможности».

В нынешней сложной международной обстановке, когда по вине реакционных империалистических сил возросла угроза ядерной катастрофы, особенно актуальное значение приобретают выступления Ганди за запрещение производства и использования оружия массового уничтожения людей. Осудив варварскую акцию американского империализма — применение атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки,— Ганди поддержал программу всеобщего разоружения, предложенную Советским Союзом. Он одобрил предложения миролюбивых стран о запрещении использования атомной энергии в военных целях, об обращении ее лишь на нужды мирного производства.

Гуманистическое наследие Ганди — моральное оружие людей доброй воли в их сражении против ядерных монстров на Западе и замышляемых там «звездных войн», космических авантюр против самой жизни на Земле.

■

«Махатма Ганди оставил после своей кончины две пары сандалий, очки, посох, постель на полу и стопку книг,— пишет А. Горев.— Но он оставил еще своим соотечественникам и освобожденную родину и мир, который страстно любил. Его гуманизм, любовь к трудовому народу стали бесценным наследием для потомков, для тех, кто составляет нашу цивилизацию, разобщенную идеями, но единую в своих лучших устремлениях к миру, демократии и социальной справедливости — то, что для Ганди было единственным счастьем и верой».

И мы говорим: пусть упадет замок с сердца каждого, кто прикоснется к неистовой душе великого гуманиста родом из Индии, пусть оно откроется для созидания и возвышенных идеалов.

Через книгу мы смогли приобщиться к храму мыслей и чувств Махатмы Ганди, воскресить святую память о человеке, внесшем в вековую сокровищницу духовных богатств и людской мудрости, в индийскую и мировую культуру свой неоценимый вклад.

Закончу тем, с чего начал эти записи. Книги делают человека наследником духовной жизни, исторических и нравственных ценностей неисчислимых поколений людей. Знакомят нас с величайшими умами всех времен, приобщают к сокровищнице богатств человеческого духа.

◆

Публицистика

КСЕНИЯ МЯЛО

МОЛОДЕЖЬ ЗАПАДА В 80-е ГОДЫ: КОНТРАСТЫ СТИЛЯ И БЫТИЯ

1. Гримасы панка

...вы облекаться
Вольны в костюмы на любой манер,
Какие только могут оказаться
На Монмоут-стрит, а также на Рэг-Фэр[1].

(Байрон. «Беппо»)

Несомненно, большая часть людей на Западе, переживающих пору своей зрелости, как одно из самых ярких явлений минувших двадцати лет запомнила знаменитый молодежный бунт 60-х годов. Не может забыть о нем и пресса, и когда к середине 70-х годов явно осыпались лепестки «поколения цветов» и потускнели его яркие краски, зазвучал лирический лейтмотив: «Куда девались вы, босоногие и длинноволосые, бунтари и контестаторы, вы, которые возвещали нам начало новой эры?..» Подробный рассказ о судьбах бунтующего поколения увел бы нас слишком далеко в сторону от сегодняшнего дня, но в общем ответить на этот риторический вопрос не столь уж трудно. В основной своей массе (с учетом, конечно, неизбежных индивидуальных вариаций) «босоногие и длинноволосые», своевременно обувшиеся и подстригшиеся, заняли места — подчас совсем неплохие — в той самой «системе», устои которой еще так недавно собирались потрясти. Правда, нелегко забыть, что еще только вчера мы были молодыми, мы были героями прессы и телеэкрана, мы выбросили гордый лозунг: «Не доверяй никому старше 30 лет!» Еще только вчера...

Но «дорогим малышам», писал недавно парижский еженедельник «Нувель обсерватёр», смертельно надоели папочкины рассказы о том, как он захватывал Одеон[1], а «дорогим малышкам» осточертели мамочкины повествования о героических битвах, в коих она добывала себе «сексуальное освобождение». Повторяется извечная ситуация: дети, в свой черед, становятся родителями, и им, в свой черед, воздают отсутствием интереса к их юности новые дети, устремленные в будущее.

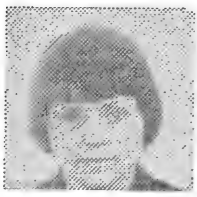
«Май 68? Это... ну... по правде сказать, не знаю. Слышал что-то, но особенно не интересовался... Меня интересует будущее, я предпочитаю электронику».

И, в свой черед, новое поколение ставит в тупик родителей, учителей, социологов и психологов. «Новая молодежь,— продолжал «Нувель обсерватёр»,— совершенно сбивает с толку своим провоцирующим обликом, своей удивительной способностью непостижимо и летуче соединять забавное и ужасное в некоем маскарадном ускользании...»

Ускользает оно и сквозь густую сеть пытающихся охватить его определений. «Ребус-поколение», «look-поколение», «я-поколение», «электронные дети» и т. д. и т. п.— кажется, еще ни одному поколению не предлагалось на выбор такое разнообразие имен. Как, впрочем, и костюмов. Словечко «look», стиль «look» — одно из самых ключевых применительно к совре-

[1] Монмоут-стрит и Рэг-Фэр — улицы в Лондоне, на которых во времена Байрона располагались лавки старьевщиков.

[1] Захват бунтующими студентами здания театра Одеон — одно из самых значительных событий в истории майского движения 1968 года во Франции.



МЯЛО КСЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Советский историк, кандидат исторических наук. Специалист по новейшей истории Запада. Автор ряда статей, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература» и др. изданиях.

менной молодежной (да уже и не только молодежной) культуре, манере поведения и стилю бытия. «Look» — это современная разновидность дендизма, способ заявить своим костюмом свою философию жизни, его эксцентричностью бросить вызов общественному мнению, а вместе с тем суметь причуду собственного вкуса превратить в общепринятую моду.

После того как в 50-е годы на мельнице массовой культуры был перемолот экзистенциализм (что создало битников), в 60-е — романтический мистицизм (что породило хиппи), на переломе 70—80-х годов она приступила к энергичному освоению некогда сугубо аристократической позиции дендизма. Она так хорошо преуспела в этом, что вскоре исчезла и сама фундаментальная посылка дендизма — тот общественный вкус, которому бросается вызов: «...вы облекаться вольны...» Моды, тем более канона, нет, есть «look», «показывание» и «смотрение» и, как в лавке старьевщика, можно выбрать себе платье, позволяющее принять облик той или иной эпохи, подать себя в том или ином стиле.

«Нувель обсерватёр» даже дал целое приложение: «Богатый выбор маскарадных костюмов для молодежи», где многообразно варьируются темы последних сорока лет. Не встретишь, пожалуй, лишь по-настоящему строгой, респектабельной одежды, которую предпочитают, несмотря на все капризы моды, носить «сильные мира сего», и еще недавно столь популярных одеяний в стиле хипстерской раскованности. Что-то в воздухе 80-х годов решительно противится тому духу беспечности и наслаждения, который своей «философией одежды» декларировали хиппи.

«Солнце, улыбки, раскрашенные лица, нагие тела, марихуана» — так живописал это вечное празднество один из глашатаев 60-х годов Джерри Рубин, и под влиянием молодежного бунта на какое-то время возникла заметная тенденция ассоциировать с подобным стилем молодость вообще — молодость не только и не столько возрастную, сколько некую мистическую, нетленную молодость. Длинные волосы, свободные яркие одеяния, «раскованная» манера поведения быстро стали превращаться в самую модную «манеру быть», которой охотно следовали и люди уже не слишком молодые, когда неожиданно, самым резким и вызывающим образом, новая молодежь — образца «пост-77», «пост-Битлз» (тоже из набора наиболее расхожих определений) — заявила, что с э т и м молодежным стилем она не имеет ничего общего.

Солнце сменили угрюмые сумерки, воспетые «Битлз» «земляничные поля» вечной юности превратились в недобрые, затаившиеся бетонные закоулки «асфальтовых джунглей» [1] современного города, раскованность сменилась остервенелостью, а «дитя-цветок» надело маску кадавра. Страницы прессы, еще недавно занятые хипстерами, теперь наводнили странные — и страшные — существа из породы «пребывающих во мраке», с волосами лиловыми или огненно-рыжими, обритыми под ноль или «а-ля ирокезы», одетые в черную блестящую кожу, вызывающую ассоциации с откровенно гестаповскими реалиями, или стилизованные под летучих мышей.

Вот, например, фотография. Подъезд обычного городского дома, тускло освещенная лестница, по которой шествует процессия вампиров и кадавров; мертвенно-белые лица, огромные черные — уже не глаза, а глазницы,— черные, с красным подбоем плащи (стиль «Дракула»). Можно подумать, что наблюдаешь шествие гостей Воланда в знаменитую «нехорошую квартиру» на Садовой, но нет: подпись поясняет, что это один из самых процветающих панк-ансамблей.

Или: девушка на фоне угрюмой бетонной стены. Ее обнаженное тело, резко контрастируя с черной блестящей кожей маленькой жилетки и шорт и массивными шиповатыми браслетами рокеров, создает типичный look «садо-мазо», являющийся, по сути, обертоном всего панк-стиля.

Кредо и эстетика жестокости, черный юмор, атмосфера некоего «готического» ужаса, провозглашенные и внедренные в культуру современного Запада панками, и образовали исторический водораздел, четко отделивший поколение «пост-77» от шестидесятников.

Панк как таковой родился в Англии в 1977 году, в среде молодых безработных, сгруппировавшихся вокруг ансамбля «Секс пистолз». Панки сразу же объявили тотальную войну не только аристократической Англии, узурпировав оружие провоцирующего дендизма (момент, который у истоков движения был выражен чрезвычайно сильно), но и предшествующей эпохе, с ее призывами к миру и любви.

Лозунги «Разрушай!», «Будущего нет!», «Ненависть и война!» — все это было агрессивно противопоставлено шестидесятникам и в особенности столь повлиявшим на их облик в целом «Битлз». При этом панки сразу же точно попали в самое уязвимое место «детей цветов», в характерное для них сочетание благих и прекраснодушных порывов с немалой вялостью, душевной дряблостью, что придавало известную слащавость их бесспорному идеализму. Но именно слащавости как огня боится панк, и кредо «жестокости» он исповедует даже и тогда, когда ведет жизнь тихую и безобидную.

За семь лет, прошедших со времени бурного дебюта «панкизма», он эволюционировал, приобрел свою историю, стал самым распространенным модным стилем конца 70-х — начала 80-х годов, а в антивоенных демонстрациях замелькали бритые головы в ирокезских париках и раскрашенные лица. Панки-пацифисты: теоретически — нонсенс, практически — реальность. Но основное кредо «панкизма» осталось неизменным, что и продемонстрировали зимой 1984 года два самых характерных для «новой волны» английских рок-ансамбля — «Клуб культуры» и «Эуритмикс» — во время своих триумфальных гастролей в США.

Журнал «Ньюсуик» писал, подчеркивая символичность этого приземления, спустя 20 лет (классический срок смены поколений), на том же аэродроме, на котором в

[1] Название одного из самых известных панк-ансамблей, которые вообще охотно используют урбанистическую символику (например, «Газолин» и т. д.).

1965 году приземлились «Битлз», глашатаи нового стиля: «Перед нами странный новый мир поп-музыки. Преобладает ирония. Основная интонация сардонична. А их вид— это нечто. Выстроившись в ряд, они являют странную процессию вампиров, штурмовиков в видавших виды униформах, бродяг в ярких галстуках и молодых щеголей». Последние играют роль фона, на котором, по контрасту, особенно выделяется кошмарная гротескность всех остальных, а в особенности вампиров, будущих мучителей тут же присутствующих жертв.

Одна из самых известных певиц в стиле панк, Хеллен Уиллз, даже специально заказала у дантиста огромные клыки, которые она вставляет в рот во время исполнения песни о вампире, чтобы, сбегая со сцены в зал, куснуть за шею кого-нибудь из публики.

Деталь очень характерная, ибо панк-культура буквально одержима образом вампира. Он даже стал (часто в конкретизированном обличье графа Дракулы) неким ее стилистическим центром тяжести — обстоятельство само по себе отталкивающее, внушающее ужас, смешанный с отвращением (как и нацистская символика, столь охотно используемая панками), но в то же время требующее и объяснения, проникновения в ту социальную реальность, которая породила эту эстетику макабра.

Американский политолог и журналист М. Зельцер, обошедший злачные места панков Манхэттена, побывал и на одной из их «дракульских» пирушек. Устроители соответственно декорировали зал, в замысле предназначенный для кровавой оргии: со стен свисала искусственная паутина, под потолком кружили летучие мыши, гости вырядились в черно-красно-белые одеяния, скрыли лица под леденящими кровь масками и гримом или, напротив, приняли обличье до святости невинных жертв. Безвкусный, почти фарсовый и в общем бутафорски безобидный характер всего этого «мероприятия», отмеченный Зельцером, не может умалить тревогу, что внушает уже сам этот культ легендарного кровососа. Какая-то жуткая, отвратительная а н т и ж и з н ь утверждается здесь как основополагающий принцип бытия.

Это сумеречное существо, утратившее жизнь, но не обретшее и посмертного покоя, с миром живых связуют лишь ужас и смерть, которые оно им несет. Оно — зримое и отвратительное олицетворение вечной ненасытимости небытия, голодной пустоты «несуществования». Таков был байронический «Вампир» Полидори, приведший за собой в литературу первой половины XIX века целую вереницу подобных ему героев. В конце XX века панки снова вернули в западную культуру этот пугающий образ «активного мертвеца». Только место готических развалин, столь любимых «черным романом» начала прошлого века, теперь заняли руины индустриального мира, еще недавно мощного, исполненного лихорадочной активности, а теперь разоренного и убитого натиском «третьей волны» научно-технической революции.

Выражение «третья волна» принадлежит О. Тоффлеру, автору широко известных книг «Столкновение с будущим» и «Третья волна», и это — технологический переворот в производстве, связанный с широким внедрением электроники. Она, эта «третья волна», подчеркивает Тоффлер, «ломает сейчас все структуры индустриальной эпохи». Фон, на котором появились и обитают панки, эти черные готические тени, возникшие на закате индустриального мира «второй волны»,— наглядное тому подтверждение.

Зельцер, описывая свое путешествие по манхэттенским «малинам», рисует сумрачный городской пейзаж — памятник лихорадочной и бесплодной урбанистической активности: гигантская линия пирсов и пакгаузов, отчасти разрушенных, сожженных во время беспорядков, отчасти попросту заброшенных; безжизненная автострада на мощных стальных опорах — еще недавно она казалась последним словом градостроительной техники, а теперь закрыта для транспорта. Эта свалка исполинских конструкций, массивных, а вместе с тем эфемерных,— гнездовье панка, не вообразимого иначе, как на фоне мертвого бетона, тускло освещенных и абсолютно, вопиюще антиэкологичных пространств «внутреннего города». В сущности, панк и есть та «нелюдь», которая только и могла заселить столь античеловечную среду обитания, и всем своим видом он демонстрирует это.

«Внутренний город» (выражение, родившееся в Англии, а затем получившее универсальное распространение) — это районы, в свое время выросшие вокруг промышленных центров «второй волны», а теперь, под натиском третьей, захиревшие и пришедшие в негодность; это жилые рабочие кварталы, густо заселенные иммигрантами, тесные, безобразные дворы-колодцы без игровых площадок для детей, убогие, обнищавшие школы...

«Внутренний город», воплощение умирающей промышленности, ветшающих жилищ и забытых людей, расползается по стране, точно раковая опухоль, поражая все новые и новые районы, становясь все более угрожающим»,— писал в 1983 году английский публицист Пол Гаррисон[1]. А еще раньше, в 1977 году, то есть в год формального рождения панка, конференция английских социологов констатировала: «Жизнь во внутреннем городе депрессивна до такой степени, которая недоступна пониманию большинства людей. Это находит отражение в масштабах и интенсивности социальных потребностей обитателей внутреннего города, в особенности молодых».

Но злейший бич здешних мест — безработица, и пространства «внутреннего города» населяют существа, до времени подвергшиеся социальному омертвению.

«Giz a job»[2] («Дайте работу»). Хоссер Хьюг, отчаявшийся герой завоевавшей большой успех телевизионной передачи Би-Би-Си, ходит по кругу, как автомат, повторяя эту фразу всем и повсюду... Он страдает бессонницей, но почти все время проводит в постели, потому что ему нечего делать. «Giz a job» — этот горький рефрен звучит теперь в Великобритании Маргарет Тэтчер,

[1] См. главы из книги «Город в городе. Жизнь под лезвием ножа» в «ИЛ», 1984, № 8.

[2] Искаж. англ. «Give us a job».

стране, насчитывающей около 3,5 миллиона безработных, по данным официальной статистики, и около 4 миллионов — по данным профсоюзов»,— писал летом 1983 года итальянский еженедельник «Панорама».

Но такова ситуация не только в Англии. Та же «Панорама» несколько месяцев спустя посвятила целый номер проблеме молодежной безработицы в Италии, вынеся на обложку фотографию регистрационного окошка биржи труда, осаждаемого молодыми людьми, и снабдив ее кратким комментарием: «Молодой — это значит безработный». Несмотря на то что здесь, конечно, присутствует элемент сенсационной подачи материала, ситуация в целом действительно драматична. Число молодых безработных в Италии, например, ежегодно увеличивается на 100 тысяч, и бóльшая часть их не может рассчитывать на получение постоянной работы до конца текущего тысячелетия [1].

Но, однако, к тому времени нынешние двадцатилетние уже перейдут в разряд сорокалетних, а это значит, что наиболее активный период их жизни пройдет в состоянии почти абсолютной социальной пассивности. Психологические последствия подобной ситуации в масштабах общества сейчас трудно предугадать в полной мере, но что она глубоко разрушительно воздействует на человеческую душу — несомненно. Об этом уже сейчас можно составить представление по рассказам тех тридцатилетних, которые никогда не имели постоянной работы.

Большинство их, лишенное возможности нормального социального созревания, так и не создало собственной семьи, а продолжает жить с родителями, проводя дни в унылой праздности и из детства как бы прямо перейдя в старость. «Иногда, когда я гуляю в парке с собакой, мне кажется, что я уже пенсионер»,— так говорит болонец Дарио Ченери, 33 лет от роду, бывший швейцар, бывший гример, бывший носильщик, один из многих бывших, а вернее, несостоявшихся людей. «В свое четвертое десятилетие,— продолжает Ченери,— они вступают такими же бедными и неподстрахованными социально, какими были в 20 лет, но только без иллюзий этого возраста. Это люди, которые, как и я, утратили всякую надежду и теперь даже не пытаются найти ее, настоящую работу».

Специфику психологической ситуации современного безработного определяет в большой мере и то, что, зачастую получая пособие, он избавлен от самых грубых материальных лишений, воспоминание о которых еще так свежо в памяти людей, переживших Великую депрессию, но тем острее ощущает бремя собственной ненужности. Думается, это обстоятельство следует особенно иметь в виду, говоря о социально-психологических аспектах современной «технологической» безработицы, вызванной глубокой структурной перестройкой современного капитализма. И хотя, конечно, эта перестройка породила и людей голодных, бездомных, живущих исключительно милостями социальной благотворительности, людей, ситуация которых вызывает неизбежные ассоциации с «Гроздьями гнева» Стейнбека, типичная фигура современного безработного, в особенности же молодого, существенно иная, что обнаруживается при первых же контактах и беседах с ними.

Болезнь из острой стадии перешла в хроническую, но от этого она не перестала быть смертельной, а оставшиеся годы жизни все равно будут безнадежно омрачены и отравлены ею — так можно наиболее общим образом описать то впечатление, которое оставляют подобные свидетельства.

«...Вас закручивает водоворот, выбраться из которого невозможно. Слишком много спишь, слишком много думаешь, слишком копаешься в себе, и вот это самое худшее. Потом приходит ощущение униженности перед женой и детьми. Многие не выдерживают, и начинается падение: пьянство, у молодежи — наркотики, затрещины детям и жене, иногда самоубийство... В течение 30 лет мы повторяли себе, что самые тяжелые времена уже не вернутся, а вот они снова здесь».

У представителей самого старшего поколения сравнение с 30-ми годами встречается очень часто, и большинство их подчеркивает, что если в экономическом отношении оно будет, конечно, не в пользу 30-х, когда царила откровенная нищета, а классовые битвы были жестокими, то психологический стресс современности многие считают гораздо более сильным. Важнейший фактор этого стресса — рухнувшие надежды на то, что ничего подобного больше не повторится, крах иллюзий «общества благосостояния».

Кроме того, многие не без ностальгического, конечно, флёра, но, в общем, в соответствии с исторической истиной вспоминают о былой рабочей солидарности, о страстности социальных сражений, о пылкой вере и устремленных в будущее надеждах. «Современным безработным нечего ждать. Единственные желания, которые питают самые молодые среди них,— это желания индивидуалистического, потребительского типа. Они надеются выиграть в лотерею, надеются на какую-то сказочную удачу. А мы — мы боролись за будущее всего рабочего класса, а не только за себя».

Как всякая слишком обобщенная оценка, а тем более оценка старшим поколением младшего, это положение грешит и предвзятостью, и неточностью, и, конечно же, неизбежной идеализацией своего времени и своей юности. В целом, однако, оно верно схватывает самый т о н у с той социально-психологической реальности, в которую вступает безработная молодежь на руинах индустриального мира «второй волны».

Резко контрастируя с агрессивной эксцентричностью панк-стиля, с беснующимися на сцене вампирами и кадаврами рок-ансамблей «новой волны», с фотографий, запечатлевших повседневную, обыденную жизнь творцов и героев панка, на нас смотрят усталые, странно застывшие лица. Пугает страшноватая, мертвенная статичность фигур и поз, в какие бы одежды ни были облачены эти манекены,— словно

[1] По официальным данным комиссии ЕЭС, число людей в возрасте до 25 лет среди безработных в странах сообщества приближается к 40%.

стоп-кадр, вырезанный из калейдоскопически мелькающей, столь насыщенной событиями и переменами жизни, мертвая заводь, недобрый застывший покой которой побуждает вспомнить «глаз урагана».

Сочетание этого на грани омертвения покоя с лихорадочной подвижностью гальванизируемого трупа, пожалуй, можно считать основным нервом панк-стиля, и симптоматична здесь пресловутая английская булавка, ставшая неотъемлемым атрибутом панка, почти его кастовым знаком. Булавка, писала французская журналистка Жозетт Алиа,— это вечное напоминание о том славном дне, когда певец Ричард Хелл, в состоянии транса разорвавший свою рубашку, сколол лохмотья английскими булавками; булавка — это символ и знамя.

«Символ чего? А ничего. Ни философии, ни идеологии нет у панка. Только жалобы и проклятия, похожие на продолжительный приступ рвоты. Быть панком — это значит жить в городе, в сумраке и насилии... Это значит снова стать животным. Это значит забыть о духе и думать только о своей утробе. Это пожирать... Это значит не бороться за лучшую жизнь, это значит испытывать отвращение к жизни».

Определение блестящее, но, пожалуй, и жестокое. Если оно более чем справедливо по отношению к основополагающему кредо панк-культуры — кредо вампиризма (социальной модификацией которого является особое, подчеркнуто злобное хулиганство панков), то все усложняется, как только речь заходит о реальных молодых людях, так или иначе захваченных сферой «панкизма». Их человеческая, психологическая драма слишком весома для того, чтобы ее можно было просто обойти молчанием, пытаясь объяснить происхождение и символику панка.

Малькольм Макларен, самый известный из продюсеров панк-культуры, одним из первых предугадавший заключенные в ней коммерческие возможности, предложил интерпретацию, весьма верно, думается, схватывающую самые глубинные причины ее появления. «Как кажется, сейчас возник огромный интерес к слову с т и л ь... Безработица создала ситуацию, когда рухнула традиционная трудовая этика. Ребята внезапно оказались на улице с перспективой вечного ничегонеделания». Они несут в себе огромный заряд не нашедшей применения энергии, и «эта-то энергия и породила весь тот стиль, что предстает на видеоэкране».

Стиль панк как болезненный, горячечный прорыв не востребованной обществом, не понадобившейся ему энергии молодого поколения? Да, можно понять и так. Панк — это стиль и мода безработных, а его эксцентрическая яркость — это отчаянный вопль: «Look at me!» («Заметь меня!»).

Но можно сказать и иначе: это безработица, загримировавшаяся под моду, что создает определенный эффект психологической компенсации. «Чтобы выглядеть по-настоящему клево, надо с самого начала быть безработным»,— поведал французскому журналисту Алену Шифру некий Тим-Корзина, гордый тем, что он, одевающийся из мусорных баков «внутреннего города», этим подлинным панк-шиком обладает. «Одежда в стиле панк не пригодна для работы. Теперь-то панк уже приручили, он стал модой. Они мне на нервы действуют, все эти пижоны...»

Да, этих аборигенов панка болезненно возмущает и задевает превращение созданного ими стиля — стиля, посредством которого они вернули себе какую-то пусть парадоксальную и негативную, но все-таки социальную роль,— во всеобщую моду и даже особую панк-элегантность, что кардинально извращает весь исходный замысел панка.

Идеолог миланских панков Энрико Гурнери уязвленно констатировал: «Нас называют театрализованными бандами, потому что теперь уже научились делать бизнес на нашей культурной продукции, на нашей манере одеваться».

И действительно, панк, родившийся под лозунгом: «Будущего нет, быстренько — конец света!» — вскоре был адаптирован и приручен самыми шикарными домами моделей, что абсолютно соответствовало внутренней логике дендизма. В своем стремлении «доказать абсолютность условного понятия о Красоте», писал знавший в этом толк Оскар Уайльд, он неизбежно кончает культом уродства. И тогда, что и продемонстрировали панки, орхидею в петлице вполне может сменить цепь от клозетного бачка на шее.

Но, разумеется, на уровне общепринятой моды подобные крайности были отброшены. Здесь панк стал изюминкой, придающей игристость пресным будням, экзотическим бликом на них. Маленькая цветная прядь на голове вместо волос розовых или зеленых, небольшой паричок «а-ля ирокезы» как имитация оперения индейского вождя, что-то слегка провоцирующее, тревожно-порочное, а вместе с тем холодноватое, скользящее в линиях одежды, в оттенках грима — вот чем обернулся панк, превратившись в универсальный модный стиль. Но и в этом виде он, как кажется, уже пережил свой звездный час. Представительница одного из самых популярных модных журналов Италии заявила весной 1984 года: «Теперь панки уже не в моде, мы не используем их даже как модели».

За этой небрежной фразой — реальность, грозящая еще большим углублением социальной драмы: да, быть безработным уже не модно, теперь в моду входит именно то, что как раз недоступно первозданным панкам,— работа. Этот новый модный стиль возник и расцветает в Калифорнии — былой колыбели «хиппизма» 60-х годов, теперь ставшей центром «электронного чуда», превратившейся в «солнечный пояс», противопоставляемый «холодному поясу», северо-восточным районам деградирующей традиционной промышленности. Здесь на суперсовременных, в том числе и военных, предприятиях, сосредоточенных вокруг Лос-Анджелеса, Сан-Диего, Далласа, Сан-Франциско, и куется модный «способ быть».

Его наиболее полно выражает недавно возникший неологизм «workaholic» — то есть «запойный работяга», тот, кто опьяняется работой. Еженедельник «Нувель обсерватёр», очень чуткий к возникающим тенденциям, констатировал: «Новая увлека-

тельная игра, наркотик 80-х годов, самая шикарная манера впадать в экстаз? Работа. Калифорнийцы не интересуются больше ни властью цветов, ни теориями Маркузе, ни сексуальным освобождением... Их великое увлечение — это работа...»

На смену былому упоению сексом, культу грязи, повышенному биологизму молодежной контркультуры 60-х годов «электронная» Калифорния привела несколько «космичную» холодноватость тщательной, изощренной культуры тела, наслаждения его чистотой и даруемой спортом легкостью, в связи с чем в известную моду вошло даже воздержание (!).

«Бежать утром по пляжу и чувствовать себя легким, как ветер,— это, знаете ли, не сравнить с ничтожными сексуальными похождениями...» При этом тщательно выхоленное, оттренированное тело мыслится как бы подножием активного, живого, творческого интеллекта — нечто, отдаленно напоминающее античный идеал соотношения между телом и духом.

Однако несколько «снежный» блеск нового стиля, заключенный в нем пафос усилия, физического и творческого самопреодоления являют контраст не только былой расслабленности хиппи, но — в еще большей мере — той распущенности, на грани полной асоциальности, которую общество находит возможным позволить своим «отбросам». Собственно, степень этой распущенности прямо пропорциональна мере их социальной ненужности, и как тут не вспомнить, что еще в античные времена хорошо знали: «низшим» дозволено то, что не дозволено «высшим», и с такой именно назидательной целью спартанцы демонстрировали своим детям пьяных илотов.

Спутник и летописец Магеллана Антонио Пигафетта аккуратно описывал в своем дневнике наблюдаемые диковины: «Туземцы разрисовывают тело и лицо удивительным способом при помощи огня на всевозможные лады; то же делают и женщины... Одеты они в платье из перьев попугая... вид прямо-таки уморительный...» В нечто подобное, в экзотическое зрелище превращаются теперь и юные обитатели «внутреннего города»; например, в Западном Берлине туристы, не выходя из автобуса, за несколько марок могут сфотографировать настоящего панка, «как воина масаи в полном облачении», с горькой иронией констатировал один из журналистов.

Яростная реакция многих молодых людей на подобную ситуацию — свидетельство тому, что предоставленное им право ходить в попугайных одеждах, в порядке компенсации за отнятую возможность нормального взросления, они однозначно воспринимают как социальное унижение.

В Милане группа панков врывается в зал, где конференция социологов обсуждает проблемы молодых безработных. Подростки режут себе руки бритвами, «кровь хлещет ручьями,— повествовал очевидец.— Крики: «Вот моя кровь, возьмите ее на анализ! Может быть, тогда поймете, каковы мои истинные проблемы!» Да, комментировал журнал «Эспрессо», они уже не в моде, «но тем временем число молодых людей в черных кожаных куртках растет. И они только и ищут мишень для стрельбы».

Здесь начинается другой мир — мир панк-экстремизма, питаемого люмпенской отверженностью тысяч молодых людей и переливающегося в откровенный фашизм «бритоголовых» и футбольных «фанатов», или «тифози».

«Бритоголовые» — это также, подобно большинству панков, выходцы из социальных низов современного большого города, расисты и фашисты, агрессивно противопоставляющие себя цветным обитателям того же самого гетто. Бóльшая часть их входит в Национальный фронт, одну из многочисленных, наводнивших современный Запад фашистских группировок. «Национальный фронт,— заявил корреспонденту некий «бритоголовый»,— это то же, что и нацизм. С одной только разницей: Национальный фронт победит».

Социальные мечтания «бритоголовых» грубы и ничтожны: разбогатеть, иметь возможность купить все, что душа пожелает, иметь большой штат прислуги в своем распоряжении, жить в собственном замке на собственном острове и иметь «сколько угодно пива, баб и развлечений». Их детство, как правило, протекало в семьях, крайне неблагополучных и сплошь пораженных безработицей. Хорошо представляешь себе, какой заряд неиспользованной энергии и сколько ненависти накоплены здесь и сколь устрашающее они могут найти применение.

Подобную же, если не большую, тревогу, в силу его анархической аморфности, внушает сейчас насилие спортивных болельщиков, превратившееся в подлинный бич больших городов. Комментируя это явление, американский «Тайм» писал: «За последние примерно 15 лет насилие, сопутствующее крупным спортивным событиям, стало нам угрожающе хорошо знакомо». И, продолжал журнал, прогноз большинства социологов неутешителен: «Ситуация будет ухудшаться». В Англии она стала уже настолько серьезной, что, как сообщила недавно газета «Обсервер», в рамках кабинета правительства создана комиссия по изучению проблемы спортивного насилия, возглавленная самой Маргарет Тэтчер.

Итальянский «Эспрессо» отмечал, развивая эту тему: «В последние годы насилие на стадионах не раз становилось смертоносным. Воскресенья все чаще оказываются «черными воскресеньями». Тем, кто идет на стадион, кажется, что они попали в гигантский адский водоворот, куда не следует соваться по крайней мере без мотоциклетной каски на голове».

Итальянских «тифози» отличает еще одна зловещая особенность: какая-то особая, подоночная политизированность, что находит отражение в пародийном смешении названий наиболее известных террористических группировок. Самым знаменитым в этом роде является миланский клуб «Черно-красные бригады», за которыми числится наибольшее количество актов насилия. «Мы похожи на баки с бензином,— заявил Альберто Скьяви, лидер «Черно-красных бригад»,— достаточно случайной искры, и все полетит к чертям». Сам Скьяви ходит на стадион только с пистолетом в кармане.

Эта безобразная стихия, очевидно, питает и генерирует терроризм всех мастей, и если «Черно-красные бригады» по своей ориентации в целом ближе к левацкому экстремизму, то, например, веронский клуб «Желто-голубые бригады», как полагают, тесно связан с прославившейся особой, изуверской жестокостью неонацистской группировкой «Людвиг».

Впрочем, эти различия, по сути дела, являются сейчас второстепенными, и мрачный гротеск «Черно-красных бригад» весьма верно схватил и отразил то сближение «красного» и «черного» терроризма под общей шапкой тотальной асоциальности и упоения преступлением, которые отличают «новую волну» террористической активности в Италии.

Ясно также и то, в какой мере пригоден, соответствует подобной деятельности весь душевный склад, насаждаемый и культивируемый эстетикой панка. Вот, например, характерная зарисовка:

«Оскорбления. Гримасы. Дикие ужимки. Провоцирующие фразы, выкрикиваемые в микрофон. Певец со сцены кидается на публику. Жесткие, статичные и агрессивные ритмы аккомпанирующей ему электронной музыки разнуздывают безумие молодежи. Из зала в тон певцу вопят: «Недоносок!», «Дерьмо!» Плюют в него, сбивают его наземь ногами, угрожают ему. Музыка продолжает звучать, и толпа волнообразно раскачивается.

Это — м у з ы к а л ь н а я г е р и л ь я, игра в нападение и оборону. Но это также и излюбленный способ общения тысяч молодых людей — панков, рокеров, модов и бритоголовых».

Сам термин «герилья» давно и прочно вошел в лексикон террористов, обозначая здесь ту кровавую гражданскую войну против «системы», которую они намеревались развязать. В панк-культуре речь идет о «герилье» уже в гораздо более широком и асоциально заостренном смысле, как о стихии преступления вообще. Например, звезда музыкального панк-стиля Рик Джеймс из Детройта, зарабатывающий около 30 млн. долларов в год на воспевании ярости «молодежных банд», заявил: «Рок-культура меня не интересует. Мне нравятся дикие ритмы, и я хочу петь так, чтобы люди срывались с цепи».

Эти инсценировки военных и террористических действий, на которых к тому же можно делать столь блестящий бизнес,— безусловно самая социально опасная часть панк-культуры, создающей подлинную «моду» на терроризм и милитаризм. Пожалуй, можно даже сказать, что отчасти в этом и состояло ее предназначение, выполнив которое она в первозданном своем виде начинает изчезать. В своей книге о манхэттенских панках Зельцер цитирует характерное высказывание идеолога панка и импресарио одной из самых известных садистско-милитаристских рок-групп Дэнни Филдза: «Смерть — одна из немногих вещей, способных возбудить удивление. Она — превосходный шоу-бизнес... с максимальной вовлеченностью аудитории... Хорошо, когда люди спешат жить, умирают молодыми и вокруг разбросано множество прекрасных трупов». Издатель журнала «Панк» Дж. Холстом еще более откровенен: «Рок-н-ролл — форма войны, рок-концерт похож на налет. Что нынешним ребятам нужно — так это третья мировая война...»

Символический «вампиризм» обретает здесь столь хорошо известную форму милитаризма (участники ансамблей «Штурмовики» и «Шрапнель» выступают в военной форме). Но как знакома уже XX веку эта метаморфоза! Готическая, экспрессионистская эстетика панк-культуры так разительно напоминает атмосферу, в которой на ранней своей стадии вызревал нацизм (вплоть до культа вампира Носферату), что дальнейшее сходство не может удивлять. Но тем сильнее должно тревожить. В столь близкой панкам традиции «черного романа» все оккультисты всегда настойчиво подчеркивали, что не следует, не взвесив и не обдумав возможных последствий, понапрасну называть по имени страшных и могущественных духов тьмы. И дивишься теперь, с какой легкостью произносятся, как смакуются названия: «Блицкриг», «Диктаторы», наконец, засасывающие всё и вся в небытие — «Черные дыры в пространстве».

Думается, там, где в такой мере утрачена способность ощущать смысловую реальность слов, где столь притуплена чувствительность к неизбежно вызываемым ассоциациям и впечатлениям, можно опасаться и глубокой нравственной эрозии. А расстояние между словами и делами, к сожалению, уже не раз оказывалось много короче, нежели думалось вначале.

Но тем важнее представить себе тот потенциал сопротивления этому душевному омертвению, которым обладает молодежь, ее способность противостоять столь интенсивно идущим в современном западном обществе процессам социального распада.

2. Зеленая планета

> Я знаю также, — сказал Кандид, — что надо возделывать свой сад.
>
> *(Вольтер. «Кандид»)*

Наиболее резкий видимый контраст агрессивности и разномастным экстремистским тенденциям вытесненной на обочину социальной жизни маргинализованной молодежи «асфальтовых джунглей» являют — также ставшие на свой лад злобой дня — пассивность и конформизм подростка из средних слоев общества, совсем недавно породивших бунтарей 60-х годов. Примерно в то же время, когда заявили о себе панки, на сцену выступило и так называемое «боф»-поколение.

Определение это впервые прозвучало в 1978 году, и оно не только стало лейтмотивом всех комментариев к данным обширного опроса, проведенного в том же году во Франции среди молодежи в возрасте от 15 до 20 лет, но существенно повлияло и на весь характер восприятия «нового подростка». Что же такое «боф», одно из его излюбленных, как оказалось, словечек?

«Восклицание «боф»,— комментировал главный редактор еженедельника «Нувель обсерватёр» Жан Даниэль,— отдает скорее осторожностью зрелых лет, чем юношеской жаждой жизни и склонностью к риску, это один из способов заявить о тщетности

всего окружающего». Словом, своего рода аналог знаменитых слов Екклесиаста: «Суета сует... все — суета и томление духа!»

Известный врач-психиатр, специалист по психологии подростков доктор Кан комментировал тогда же: «Их мир сер, тускл, его больше не освещают яркие боевые огни великих идеологий и партийных страстей...» Но над разрушением всего этого немало потрудились родители, а потому, продолжал врач, здесь будет уместно напомнить библейские слова: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина».

Однако в целом этот образ «разочарованного поколения», как показали данные опроса, отнюдь не соответствовал действительности. Приглушенность эмоциональных красок вовсе не помешала большей части опрошенных подростков заявить, что они надеются прожить жизнь более счастливую, чем их родители, а основные условия и слагаемые этого счастья обозначались в следующем порядке: свобода располагать собой, интересная работа, семейное счастье. Затем следовали спорт, любовь, возможность саморазвития, музыка, путешествия. На поверку оказалось, что желания провозгласившего эстетику жестокости поколения скромны, как желания Кентервильского привидения, и этот не лишенный сценической эффектности контраст стал немедленно же и широко обыгрываться прессой, лег в основание версии о пассивности и равнодушии как самых отличительных чертах «новой молодежи».

«Шестнадцатилетние моды, катящие по улицам Парижа. Панкетки со слишком черными глазами на слишком бледных лицах. Затянутые в кожу рокеры, помахивающие велосипедными цепями... Все это — материал для ярких, наводящих ужас фотографий, публикуемых в шикарных иллюстрированных изданиях. И потому иногда воображают, что сегодняшняя молодежь состоит из хулиганов, наркоманов, во всяком случае, заряжена бунтарством. А это неверно, совсем неверно... Бунт — вовсе не их сильная сторона. Зондаж общественного мнения неожиданно выявил совсем другой облик: спокойные, пожалуй, слишком спокойные...» — комментировал «Нувель обсерватёр» в 1978 году.

А спустя шесть лет, зимой 1984 года, «Эспрессо», знакомя читателя с результатами обследования, проведенного среди студентов Италии, как бы прямо подхватил эстафету, подав материал под уничижительным заголовком «Равнодушные». Господствующее впечатление — «поражающий разрыв между сдвигами, происходящими в обществе, и застывшим покоем, воцарившимся в высшей школе... Иллюзии о студенческом бунте развеяны».

Покончено и со столь популярной в 60-е годы «перманентной контестацией», превращавшей лекции и семинары в непрерывные дискуссии и словесные перепалки между студентами и профессорами. Последние вернулись к традиционным методам преподавания, и хотя, утверждают они, современная молодежь образованнее своих ровесников 60-х годов и более способна к серьезным дискуссиям, этим своим преимуществом она не пользуется.

То же наблюдается и среди школьников: преобладает ярко выраженное желание учиться, приобретать знания, и подростки готовы примириться с известной долей авторитарной строгости преподавателя при условии, чтобы он свое дело действительно «сек», как они выражаются.

«Вот хуже, если попадется кто-нибудь из шестидесятников. Этот начинает делать из нас ребятишек, сталкивает нас со старшим поколением; толкует, что мы квелые какие-то, что нам все до лампочки и мы ничем не интересуемся, а вот наши старшие братья — они всегда были готовы подняться на бой, они пылали...»

Неизбежность сравнения с бунтарями 60-х годов — злой рок нового поколения и причина немалой предвзятости, порою выливающейся даже в открытое недоброжелательство, как если бы наблюдатели были и впрямь разочарованы тем, что эти существа, разряженные в жуткие одеяния и загримированные под вампиров, отнюдь не собираются никого убивать и пожирать.

«Юность ничтожная, бараньи-робкая и осторожная, которая мухи не обидит и не имеет ни малейшего желания изменять мир. Как далеки мы от «бешеных» 22 марта[1] и баррикад бульвара Сен-Мишель. Никчемное поколение...» — так «комментировал», если только можно назвать эту гневную филиппику комментарием, обозреватель Андре Бюргьер результаты нового обширного зондажа общественного мнения среди юных французов, проведенного весной 1983 года и выявившего как раз необычайно интересные и духовно значимые тенденции в ориентациях молодого поколения. Но они настолько отличны от господствовавших умонастроений 60-х годов, что, не отказавшись от некоторых стереотипов, заданных минувшей эпохой, довольно трудно понять, а тем более по достоинству оценить то, что уже пытается сказать миру новая молодежь.

Собственно, ей спустя двадцать лет после бурных событий 60-х грозит опасность превратиться в объект нового мифотворчества. И если миф о поколении 60-х годов чрезмерно педалировал и, как показали дальнейшие события, преувеличил и его идеализм, и его готовность к социальной отдаче, то в готовом вот-вот созреть мифе о молодежи 80-х слишком выпячивается ее конформизм, ее поглощенность учебой и своим профессиональным будущим. Взаимонепонимание усугубляется еще и тем, что повышенной экстравертности предыдущего поколения противостоит интравертность нового, подчеркнутая еще универсальным распространением столь популярного среди подростков «уокмена» — магнитофона с наушниками.

«Они прячутся за музыкальной стеной. Они надевают маскарадные костюмы. Но самое главное — они не вступают в контакт. Родители, учителя, политики чувствуют себя бессильными проникнуть на таинственную планету молодых»,— так писал журнал «Панорама», комментируя результаты одного из самых фундаментальных обследований, проведенных за последние годы среди западной молодежи.

[1] Экстремистская студенческая группировка, созданная весной 1964 года в филиале Парижского университета, Нантере.

Ни один из ключей, оставленных в наследие 60-ми годами, не позволяет проникнуть в тайну «ребус-поколения», но всего менее — столь же широко распространенное, сколь и примитивное тождество «молодежь — это значит: бунтующая молодежь».

В самом деле, образ автономного молодежного бунта, столь живописно запечатленный поколением 60-х годов, до сих пор довлеет над многими умами, заставляя и социологов, и общественное мнение настороженно следить за любыми настроениями и акциями молодежи, могущими создать впечатление «нового 68-го».

Нельзя сказать, чтобы молодое поколение 70—80-х годов совсем обмануло подобные ожидания. Не говоря уже о бурном дебюте панков в 1977 году, обострение социальных противоречий в условиях начавшегося в 1973 году кризиса привело к весьма острым и принявшим необычные формы вспышкам молодежного протеста в самых различных странах. Так, политической сенсацией стали молодежные выступления 1980 года в тихой и благополучной Швейцарии, почти незатронутой в свое время бунтом 60-х годов. Число участников протеста, сопровождавшегося бурными стычками с полицией, быстро возросло почти до 10 тысяч, а объясняя его причины, молодые люди, получившие имя «хаоты», заявили: «Богатейший город мира — Цюрих, представляющий собой гигантскую машину по производству продукции и прибыли, лишил людей нормальных условий приемлемого жилья и культуры; в отношениях между людьми нет тепла, человечности, терпимости; у человека нет места, где бы он чувствовал себя в безопасности, жизненное пространство становится все меньше: мы культурные трупы города... Все плохо вокруг нас в этом городе — денежном мешке».

Однако начавшееся бурно и стихийно движение «хаотов» вскоре пошло на спад, собственно никак не повлияв на социальный климат в стране в целом и не создав хоть сколько-нибудь значимого проекта социального действия.

Близки по духу и стилю к «хаотам» и западногерманские «спонти», мир которых необычайно пестр (здесь и безработные, и люди с сексуальными аномалиями), но основной контингент которых поставляет все же современное городское гетто, то есть та сфера, которая питает и панков. Граница между теми и другими вообще весьма условна, что сказывается и в излюбленных приемах политического действия «спонти»: не ставя перед собой никаких иных задач, кроме возмущения общественного спокойствия, это действие чаще всего принимает форму красочных клоунад и самоцельных стычек с полицией.

В целом молодежь типа «хаотов» и «спонти» тяготеет не к достижению чего-либо внутри общества, а к уходу от него, к созданию неких иллюзорных островов солидарности и свободы внутри враждебного окружения большого города. Такими «островами» нередко становятся «Автономные молодежные центры», и вся проблема, по сути дела, только и заключается в том, чтобы обрести территорию для создания подобного центра, найти свой «остров». Разрешить эту проблему поставило своей целью привлекшее к себе в конце 70-х годов большое внимание движение «кракеров». «Кракеры» (имя которых производно от звука «крак», треска двери, взламываемой ломом) — это молодые люди, захватывающие пустующие дома для того, чтобы попытаться в рамках заселяющей их молодежной коммуны создать какие-то альтернативные формы социальных связей. Движение и было порождено прежде всего тем сочетанием бурно растущей молодежной безработицы, ухудшения жилищных условий и роста числа пустующих в связи с повышением квартирной платы жилых домов, которое стало характерным для крупных городов Запада на переломе 70—80-х годов.

Эти своеобразные подростковые «робинзонады» в самой гуще современного большого города, разумеется, привлекли большое внимание печати, хотя бы уже в силу красочности и необычности их быта. Наибольшую известность из экспериментов подобного рода получила копенгагенская молодежная коммуна «Свободное государство Христиания», созданная еще в 1970 году и просуществовавшая более 10 лет. К сожалению, несмотря на все поэтические ассоциации, которые может вызывать это «детское королевство», созданное в стране великого сказочника, реальность оказалась грубой и жестокой. Попытки христианийцев создать жизнеспособную и — что немаловажно — трудоспособную общину, которая могла бы развить в своем лоне уклад жизни более человечный и справедливый, нежели тот, от которого бежали ее участники, в конечном счете потерпела крах. Крах тем более прискорбный, что сделано было немало.

Возникшая на малозастроенной территории в центре Копенгагена, в районе Христианийской гавани, эта юношеская коммуна вскоре опубликовала горделивый новогодний «манифест», где, в духе классических утопий, заявила о себе как об очаге новых идеальных человеческих отношений, которые в будущем смогут распространиться и на все общество: «Родился новый город, он функционирует уже два месяца. Мы можем теперь объявить о развитии новой структуры индивидов и сообщества, которая будет становиться все больше и сильнее, и наконец настанет день, когда она станет столь сильна, что сломает преграды, отделяющие нас от старого общества...»

В «Христиании», организованной на принципах самоуправления, силами ее членов велось большое строительство, а экономической основой коммуны явились ремесла: серебряное литье, изготовление свечей, столярное, ткацкое, гончарное дело. Однако с усилением кризиса и порожденной им безработицы в «Христианию» потянулись новые толпы деморализованных подростков, и это роковым образом отразилось на всем социально-психологическом климате общины.

Если в 1975 году опрос, проведенный Институтом криминологии среди подростков «Христиании», которые до того были правонарушителями, установил, что пребывание в коммуне сказалось на них крайне благоприятно («психологически моло-

дежь ощущает возможность начать все сначала»), то спустя пять лет можно было констатировать обратное. Вновь прибывшая молодежь начала оказывать заметное разрушительное воздействие на нравственные основания всей общины. Между ней и ветеранами «Христиании» возникли трения, вызванные прежде всего отказом пришельцев соблюдать хотя бы минимальные правила порядка, а тем более регулярно трудиться. «Под солидарностью,— констатировал один из наблюдателей,— они подразумевали лишь обычай пускать по кругу трубку с гашишем». В конце концов ветераны ушли, и в коммуне началось запустение: ремесла умерли, центральные службы закрылись, счета за воду и электричество оставались неоплаченными. Бóльшая часть тех, кто в последние годы проживал в «Христиании»,— это просто-напросто люди, ищущие нишу для безделья,— такой горький вывод сделал один из очевидцев этого столь прославленного и породившего столько надежд эксперимента.

Так печально закончившаяся история «Христиании» — самой образцовой и жизнеспособной из молодежных коммун, созданных на Западе в 70—80-е годы,— производит особенно удручающее впечатление еще и потому, что эти островки альтернативного и человеческого быта в современных городах как бы непосредственно противостоят подростковым бандам, нередко опираясь на тот же контингент маргинализованной и деморализованной безработицей молодежи. И нельзя не заметить при этом, как часто им не хватает энергии самоутверждения, которая, приняв сугубо отрицательное направление, переполняет членов банд. Не хватает им и другого: там, где панки вызывающе надевают маску Франкенштейна, чудовища — такими сделало их общество,—там «спонти», «кракеры» и «хаоты» не могут создать собственной образности, равной по силе эмоционального воздействия. Более того, слишком часто они апеллируют к той же самой анархической чувственности и свободе инстинктивных желаний (догмат нидерландских кракеров: жить свободно — значит жить спонтанно), на которую опираются и панки. Но, как свидетельствует реальность, на этой почве «утопия зла» дает всходы гораздо более пышные, нежели «утопия добра».

Корреспондент западногерманского журнала «Шпигель» М. Халер, посвятивший истории «Христиании» ряд публикаций, вспомнил в этой связи Роберта Оуэна, который 150 лет назад отправился в Америку и создал там в штате Индиана колонию «Новая гармония». Через три года он отказался от эксперимента, потерпевшего крах из-за «отсутствия единства воли у его участников». Причину этого прискорбного «отсутствия единства воли» Оуэн объяснял тем, что в колонию мог быть принят каждый, невзирая на его побудительные мотивы. Напоминание действительно уместное: можно ли создать «идеальный город» без «идеальных граждан», и даже более того — без людей, способных ощущать себя гражданами?

Между тем самое, пожалуй, тревожное в многочисленных опытах альтернативного молодежного общинножития — это их отказ от всяких попыток формирования новой гражданственности и глубокая уверенность в том, что для построения «града небесного» достаточно убежать от «общества взрослых» со всей его скверной. И если фашиствующие молодежные банды ни на минуту не теряют из виду общество как таковое, хотя бы уже потому, что с этим обществом их связует мощная сила ненависти, то, к сожалению, на «островах добра» не встретишь социальной страсти равной силы. С обществом разрываются все эмоциональные связи, и христианцы в начале своей деятельности даже вывесили в Копенгагене лозунг: «Эмигрируйте на автобусе № 8».

Коль скоро сравнение с «60-ми» стало своего рода каноном во всяком рассказе о новой молодежи, то стоит напомнить, что «поколение цветов» сумело в свое время создать яркий и будоражащий чувства образ подростка, поклоняющегося миру и любви. И каковы бы ни были слишком очевидные сейчас слабости и несовершенства этого поколения, нельзя отрицать и того, что выработанный им идеал оно со всем пылом и максимализмом юности стремилось предложить — и даже навязать — всему обществу в целом — обществу, пороки которого были ненавистны, а судьбы — страстно небезразличны. Но, может быть, парадокс новой эпохи, та «тайна» нового поколения, которая так искушает сейчас социологов, отчасти в том и состоит, что этот огонь любви и гражданственности подхватили не «новые бунтари», а те самые «типичные», проживающие в семье подростки, видимый конформизм и пассивность которых является предметом стольких нареканий.

Разумеется, новое поколение о любви и мире говорит на новом языке, и наиболее отчетливо выраженной особенностью его душевного склада можно считать необычное сочетание интимной задушевности, «домашности», с острым ощущением глобального неблагополучия планеты Земля. Почти повсюду опросы выявили не только тенденцию к уходу в частное существование, страстный интерес к будущей работе[1] и связанный с этим «новый карьеризм», но и возрождение того, что можно было бы назвать «новой чувствительностью» (в противоположность «новой чувственности» 60-х годов),— полностью отброшенного предыдущим поколением лиризма. Сфера приложения этого лиризма очень обширна, и он, как мы увидим ниже, в немалой мере питает и новые формы социальной активности молодежи. Но, конечно, прежде всего и самым непосредственным образом это сказалось на

[1] Отношение «новой молодежи» к труду — одна из тех особенностей, которые наиболее резко отличают ее от «поколения цветов». Так, согласно результатам опросов 1983 года, опубликованным журналом «Панорама», почти половина опрошенных представителей «ребус-поколения» заявила, что будущая трудовая деятельность для них столь же важна, как любовь и возможность располагать достаточным количеством свободного времени.

«Несомненно,— комментировала «Панорама»,— лозунг «отказ от труда» можно считать самой вышедшей из моды частью наследия этой еще недавней, но уже столь далекой-далекой молодежи».

отношении подростков к сексу и любви, а также к своим домашним.

Основная их часть горячо привязана к родителям и к дому, причем эти свои чувства подростки выражают откровенно и нередко с большим пылом: «Я просто обожаю свою мать, я ей всем обязан». Или: «Если умрут мои родители, я не знаю, что сделаю, я, наверное, покончу с собой». Заявления в этом духе отнюдь не являются чем-то исключительным, и образ ненавидящего свой отчий дом, бегущего из него подростка, столь типичный для 60-х годов, теперь, в целом, принадлежит прошлому.

«Три ценности более других вдохновляют юных французов 1983 года,— комментировал Андре Бюргьер,— семья, работа и любовь... Семья побивает все рекорды, и все последние зондажи показывают, что она приобрела значение «убежища», что она, как золото, сверкает тысячью огней, когда надвигается кризис и падают валютные курсы...» Это иронически сниженное объяснение, конечно, схватывает некоторые конкретные причины возрождения идеала семьи в условиях социального и экономического кризиса, но ни в коей мере не объясняет того резкого сдвига акцента с любви-секса, лозунга и знамени 60-х годов, на любовь-нежность, любовь-привязанность, которые повсюду на Западе отличают новую молодежь.

Так, в начале 80-х годов в США вышла книга под броским названием «Конец секса. Что сталось с сексуальной революцией 60-х годов?», констатировавшая развал всего комплекса идей этой «революции» и стремительное возрождение идеалов семьи, супружеской верности, романтической любви. Журнал «Эспрессо» свою аннотацию на эту книгу снабдил не менее броским заголовком: «Из-за океана идет новый лозунг: поменьше секса, побольше любви!» Сопутствующая иллюстрация — два юных лица, окруженных гирляндами белых цветов, как бы бросают вызов недавней эпохе: не «без черемухи», но «только с черемухой!».

Словно задавшись целью подтвердить истинность этого лозунга, в 1983 году юные французы на первое место среди наиболее важных для них жизненных ценностей поставили любовь, затем — работу и семью; секс же, очевидным образом оторвавшись от любви, занял скромное место после спорта и музыки. Любопытно также и то, что подростки не стремятся теперь утвердиться за счет раннего сексуального опыта: если в 1978 году больше половины опрошенных заявили, что они таковым опытом обладают, то в 1983 году подобный ответ дала всего лишь треть. По-видимому, эта часть наследия, в буре столь громких сенсаций завоеванного родителями, для детей потеряла особое значение: они не драматизируют сексуальные проблемы, но больше склонны наслаждаться интимной поэзией чувства как такового.

Разумеется, чересчур обобщать эти суждения также не стоит: реальность слишком сложна и насыщена тенденциями самого противоположного свойства, но общий дух новых жизненных ценностей молодежи они, несомненно, отражают — ценностей, человечность и уязвимость которых предстает особенно драматичной под грозовым небосклоном 80-х годов. Юность стремится к счастью, но «беды мира — вот угрюмый фон для этого счастья»,— писал «Нувель обсерватёр», комментируя удивительные по теплой задушевности ответы учеников одного из парижских лицеев на вопрос об их представлении о счастье.

Счастье? «Это, если будет война, чтобы мы погибли все вместе — я, отец, мать и бабушка. Но я не хочу умирать вдалеке от них, так, чтобы я был в лицее, а они дома». Сюда входит, конечно, и собака, «этот маленький кудрявый комок шерсти, который думает и любит, как я...»

Равнодушные? Нет. «А вы думаете, что можно быть действительно счастливым в современном мире? Я был бы более счастлив, если бы те, кто умирает с голоду, стали богаче, а тех, кто вынуждает их голодать, заставили бы работать...» Мысль о голоде как одном из самых страшных бедствий человечества вообще встречается довольно часто в противоположность настроениям 60-х годов, поглощенных проблематикой «изобилия». «Кажется таким естественным открыть холодильник, когда захочется есть, а ведь не для всех людей на земле это так». И тотчас же рядом с голодом — неотступный призрак войны. Один из мальчиков как бы подводит итоги: «Вы здесь найдете много черных мыслей, но чего же вы хотите — сейчас, когда надвигается третий мировой конфликт, приходится шагать в ногу со временем».

Это — Париж, весна 1983 года. А вот Бонн, осень того же года. Корреспондент журнала «Шпигель» зарисовывает выразительную уличную сценку вечером того ноябрьского дня, когда в оцепленном манифестантами бундестаге было принято решение о размещении на территории ФРГ ядерных ракет среднего радиуса действия — принято вопреки очевидной воле подавляющего большинства населения. «Die demonstrieren, wir regieren» («Они манифестируют, мы управляем») — это высокомерное заявление одного из ответственных лиц правительства ФРГ получило сенсационную известность, и оно как бы перечеркивало надежды, стремления и усилия более трех миллионов граждан, принявших участие в грандиозных антиракетных демонстрациях. Несколько человек на улице обсуждают происшедшее, среди них — и совсем юная девушка, но она молчит. Пожилая собеседница неожиданно агрессивно обращается к ней: «А вы вот, раньше чем высказываться, должны работать, работать усердно, как работала я». Девушка наконец разжимает губы: «Все это не имеет значения. Я хочу жить».

«Я знаю у себя на родине многих людей, которые буквально не могут уснуть, думая о ядерной угрозе,— заявил в ноябре того же, 1983, года главный редактор журнала «Штерн» П. Шёлль-Латур в своем интервью еженедельнику «Нувель обсерватёр».— Или людей, которые из-за той же угрозы решили не иметь детей».

В этой атмосфере апокалипсического ожидания становится понятным, почему тысячи молодых людей, блокировавших военную базу в Мутлангене, разбили свой лагерь

под лозунгом: «Против устрашения, против страха».

Жан Даниэль в редакционной статье одного из октябрьских номеров «Нувель обсерватёр» писал, фиксируя начало нового периода в социально-политической жизни западноевропейских стран: «Мы вступаем в эпоху пацифистских потрясений. Толпы людей собираются во многих европейских столицах, чтобы выступить против войны, а точнее... против размещения американских «Першингов» на европейской территории. Участники этих демонстраций в основной своей части молоды, не склонны к насилию и в высшей степени симпатичны».

Плакаты, расклеенные участниками манифестаций во всех крупных городах, гласили: «Отныне и навсегда — «нет» ракетам смерти». Сама эстетика макабра, созданная панками и пущенная ими на продажу со сценических подмостков, здесь исполнилась новым и грозным смыслом. Грандиозные, растянувшиеся на многие и многие десятки километров цепи людей с поднятыми над ними многочисленными изображениями смерти — будь то классический скелет с косой или бледный призрак с моделью «Першинга» в руках — казались воплощением самых кошмарных видений средневековых живописцев на темы «Пляски смерти», теперь уводящей в небытие не только весь род людской, но и вообще все живое на земле.

Подводя итоги осенней кампании пацифистов, журнал «Штерн» пессимистически констатировал: «Миллионы федеральных граждан вышли на улицы в знак протеста против новых ядерных ракет. Они образовали многокилометровые людские цепи и блокировали казармы. Они выступали против «безумия вооружений» и прекращали работу хотя бы на несколько минут «в знак предостережения». Они объединились в крупнейшее движение протеста за всю историю ФРГ... Но это не помогло».

Да, конкретно «это не помогло», и на территории ФРГ, как и на территории других стран, где прокатилась волна антиядерных выступлений, началось размещение ракет. Сложные судьбы современных антивоенных движений, история которых тем не менее еще не закончена,— предмет для особого разговора. Но можно понять, что подобный исход «битвы евроракет», в которой приняли участие сотни тысяч молодых людей, еще больше укрепил и без того присущее им недоверие к «политикам» и «политике».

Нашумевшая фраза была с горькой иронией видоизменена: «Wir demonstrieren, die regieren» («Мы манифестируем, они управляют»). Однако это вовсе не означает равнодушия к судьбам мира и отказа от действия.

В 1983 году больше половины так называемых «пассивных» подростков во Франции заявили, что готовы были бы рисковать жизнью за свои убеждения, и повсюду видимый приватизм молодого поколения соседствует с большой готовностью к социальной отдаче. Формы этой отдачи, однако, настолько новы и необычайны, что зачастую они-то и производят впечатление принципиальной аполитичности как раз там, где налицо скорее иное понимание смысла и целей политического действия. Уже в 1978 году почти половина представителей «боф»-поколения, выказавшего почти полное равнодушие ко всем традиционным формам политической активности, заявила, что охотно стала бы работать в группах по защите окружающей среды.

Треть высказала готовность работать в аналогичных ассоциациях по проблемам благоустройства своего квартала или округа. При этом, однако, экологисты часто резко отвечали «нет» в ответ на вопрос: «Занимаетесь ли вы политикой?»

А зимой 1983 года газета «Стампа» писала, комментируя результаты обширного обследования, проведенного среди западногерманской молодежи: несомненно, здесь сформировался новый подросток, которого не интересуют больше ни Руди Дучке, ни красочные повествования 60-х годов. Расцветают семейные связи, и на поверхности доминирует глубокое безразличие к политике. Однако такое впечатление обманчиво. «Эти молодые люди вовсе не стремятся преобразовать общество, не имеют никакого желания отправиться на баррикады, чтобы побороть «системы» и «структуры». Но именно потому, что они больше не верят в очистительный пламень и катарсис посредством насилия, они открыты для других дел, и прежде всего — для защиты окружающей среды и пацифизма».

То же наблюдается, в той или иной степени, в других капиталистических странах, и, думается, здесь-то и пролегает сейчас магистральный путь юношеского идеализма. Экология и пацифизм — вот две темы, вокруг которых сосредоточивается по преимуществу социальная активность молодежи. Гарри Галлер, рыскающий в поисках грандиозных озарений и чувственных экстазов «степной волк», столь популярный в 60-е годы, превратился в Кнехта, слугу, скромность деяний которого пропорциональна осознанию им трагизма мира и своей ответственности перед ним: «Итак, Даса, возьми-ка сосуд, зачерпни воды и отнеси ее своему господину».

Наиболее близким образом то ощущение социальных проблем, которое свойственно основной массе новой молодежи, выражает движение «зеленых»[1], и в лоне его значение экологизма расширилось настолько, что он, собственно, стал почти идентичен швейцеровской идее «благоговения перед жизнью», духу служения ей. Этим своеобразным рыцарственным пафосом защиты слабого и уязвимого (а что уязвимее самой жизни перед нависшей над ней угрозой термоядерного уничтожения?) экология и пацифизм, две предпочтительные сферы социального действия молодежи, объединяются в то целое, которое в Италии было прекрасно названо «культурой мира».

Собственно, под этим углом зрения и надо рассматривать сейчас вопрос об отношении молодежи к политике, и тогда картина оказывается существенно иной.

«Неверно,— писала «Панорама»,— что молодежь сегодня не хочет заниматься политикой: просто-напросто она не хочет заниматься ею «по-старому». Данные обсле-

[1] В ФРГ 31% избирателей в возрасте моложе 28 лет голосует за них.

дования позволяют заключить, что понятие «политика»... стремительно расширяется и тяготеет к тому, чтобы включить в себя такие формы деятельности, которые в нее никогда не входили: например, помощь престарелым и инвалидам, вообще проблемы гуманизации. Именно этим объясняется растущий интерес ко всем альтернативным формам борьбы, от демонстраций в защиту мира до деятельности по защите природы».

Применительно к этим новым формам социального действия уже возникло понятие «экологической политики», или «политического экологизма», и самой, пожалуй, интересной и привлекательной среди них является, наряду с антивоенными выступлениями, так называемое добровольчество. Подобное другим движениям «зеленого» типа, добровольчество отнюдь не является специфически молодежным, хотя популярность его среди молодежи очень высока. Так, в ФРГ, где оно больше известно под именем «гражданские инициативы» (ГИ), уже по данным 1978 года 63% всех участников этого движения составляли 14—19-летние; с тех пор процент этот вырос.

«Они помогают больным и престарелым, защищают природу, спешат на места катастроф и несчастных случаев. Взамен они не требуют ничего. Добровольцы — это уже целая армия, свыше трех миллионов человек. Студенты, рабочие, интеллигенция»,— так писал в 1983 году журнал «Панорама», собравший увлекательный материал о деятельности итальянских добровольцев.

Молодежь отправляется на трудные и опасные участки: в районы, пострадавшие от землетрясений, на горные тропы в Альпах, в места лесных пожаров. Много энергии требуется там, где речь идет о помощи потерпевшим социальное крушение: безработным, людям, вышедшим из тюремного заключения, наркоманам.

В многообразных формах оказывается помощь инвалидам, больным, престарелым. В Кремоне, например, существует объединение молодых рабочих, бесплатно изготовляющих коляски для инвалидов. Большое внимание прессы и социологов привлекла деятельность добровольцев в службах «скорой помощи», а также опыты по «призрению» молодежными коммунами одиноких стариков или других нетрудоспособных людей. Одиночество, особенно одиночество стариков — этот бич современного индустриального мира,— является предметом особой озабоченности того потока движения, который именует себя «новыми зелеными». В противоположность собственно «зеленым» «новые зеленые» особый акцент делают не на задачах защиты природы, а на восстановлении нормальных межчеловеческих отношений в современном обществе. «Мы требуем самого простого — очеловечения повседневности,— заявляют они.— Мы стремимся организовать тот обмен животворной энергией, который необходим в отношениях между людьми».

Добровольчество во всех его многообразных формах — явление, характерное для больших городов и индустриально развитых районов, и оно-то и образовало здесь социальный полюс, прямо противоположный бандам панков[1]. Там, где одни провозглашают лозунг «Разрушай!», другие говорят: «Защищай!» Там, где одни стремятся поглощать, другие хотят отдавать. Там, наконец, где рука одних — нередко с вызывающе нацепленной на нее свастикой — готовится нанести удар, рука других готова этот удар отвести.

Повышенная идеальность — и даже идеалистичность — многочисленных добровольцев, «зеленых», пацифистов соединяется у них со столь же повышенным чувством гражданской ответственности, а вместе с тем и немалой деловитостью. Сочетание это, создающее чрезвычайно привлекательный облик «практичных идеалистов», заставляет еще раз вспомнить об одном из самых великих представителей такого разряда людей — Альберте Швейцере. В своем воззвании, прочитанном в Осло 30 апреля 1958 года, он особо подчеркнул то конкретное значение, которое созданная им философия жизни могла бы иметь для реальных судеб мира: «Мы должны снова открыть тот факт, что все мы человеческие существа и что мы должны уделять друг другу моральные ресурсы, которыми располагаем. Только тогда сможем мы поверить, что в других народах, как и в нас самих, пробудилась потребность в новом духе, а он положит начало чувству взаимного доверия».

Сумеет ли новое поколение, ставшее на эту стезю рыцарского служения, перебросить такой же мост между великими целями и «малыми делами»? Ответ зависит от того, какими ресурсами культуротворческой страсти и мировоззренческой глубины оно обладает.

---

[1] Реальные границы между ними, конечно, провести труднее — как в силу универсальности распространения стиля панк среди подростков Запада, так и потому, что одной из своих задач добровольцы считают возвращение в социальную жизнь маргинализованной молодежи и охотно идут на сближение с нею, создавая общие молодежные центры, кафе и нередко проводя совместные акции.

◆

Наши гости

Эдуард Глиссан

Мартиника

Если раскрыть карту мира и найти Карибское море, в группе Наветренных островов, замыкающих морское пространство с востока, мы увидим Мартинику, остров, открытый Христофором Колумбом во время его четвертого и последнего плавания.

Мартиника — родина нашего гостя Эдуарда Глиссана.

Первое знакомство советского читателя с Глиссаном состоялось еще в 1960 году, когда журнал «Иностранная литература» опубликовал отрывок из его поэмы «Черная соль», которая вошла позднее в изданную на русском языке антологию поэзии Антильских островов «Время пламенеющих деревьев».

Перу Эдуарда Глиссана принадлежит ряд поэтических сборников, романов и эссе, он лауреат второй по значению литературной премии Франции — Ренодо. Глиссан пишет на французском — официальном языке Мартиники, однако считает себя представителем мартиниканской литературы, а шире — всего карибского региона. В 1967 году Эдуард Глиссан основал в Фор-де-Франсе Институт мартиниканских исследований. И когда редакция журнала «Курьер ЮНЕСКО» задумала выпустить номер, посвященный этому региону, не случайно к его подготовке наряду с такими авторами, как Алехо Карпентьер, Лисандро Отеро, Роберто Фернандес Ретамар (Куба), Рене Депестр (Гаити), был привлечен и Эдуард Глиссан.

«Встреча с Карибами» произошла на страницах «Курьера ЮНЕСКО» в январе 1982 года, а три месяца спустя Эдуард Глиссан уже подписал очередной выпуск этого журнала в качестве его главного редактора.

И сегодня Эдуард Глиссан возглавляет крупнейшее издание в системе ООН — «Курьер ЮНЕСКО», ежемесячный журнал Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Мы просим Глиссана рассказать о вверенном ему журнале, подзаголовок которого гласит: «Окно, открытое в мир».

— Наш журнал стремится всемерно поддерживать межкультурные связи. Как он строится? В каждом номере главенствуют одна-две темы. Темы эти определяет ЮНЕСКО, после чего мы рассылаем запросы специалистам по всему миру. Таким образом, мы охватываем, подобно журналу «Иностранная литература», очень широкий круг авторов. Возьмите несколько последних номеров «Курьера», и вы увидите, что каждый выпуск — посвящен ли он кинематографу, астрофизике или искусству Латинской Америки — нацелен на выполнение единой задачи. Мы устанавливаем контакты между различными областями культуры, а также даем азы информации технического характера, даже для школ. К слову сказать, выпуск, связанный с проблемами астрофизики, включили в Сиене в обязательную школьную программу.

Мы очень тщательно следим за языковым уровнем наших изданий: в Африке, например, «Курьер ЮНЕСКО» используется для чтения и изучения языков.

Пока что «Курьер ЮНЕСКО» выходит на тридцати одном языке. Но в последнее время его читают все больше и больше, растет тираж, поступают новые «языковые» запросы. Я полагаю, что к 1987 году число языковых изданий журнала достигнет сорока пяти. И это не считая специального издания по системе Брайля. Сейчас оно выходит на пяти языках десятитысячным тиражом, а скоро будет выходить уже на десяти языках, соответственно увеличится и тираж. Особенность этого издания заключается в том, что оно бесплатно, бесплатна и его пересылка: люди читают журнал и передают его друг другу.

В Советский Союз Эдуард Глиссан приехал в связи с подготовкой специального

номера «Курьера ЮНЕСКО», посвященного 40-й годовщине окончания второй мировой войны [1].

По словам Глиссана, этот крайне важный номер призван отразить историческую правду о второй мировой войне: показать, кто развязал по своей сути расистскую, сравнимую с геноцидом войну, охарактеризовать роль всех народов, участвовавших в разгроме фашизма, и, безусловно, определяющую роль СССР.

— Материалов в редакционном портфеле набралось предостаточно — так много стран выразило желание непременно участвовать в номере! Выбор, естественно, сделать очень трудно, но, к сожалению, этого не избежать.

Эдуард Глиссан побывал в городах-героях: Москве, Ленинграде, Волгограде, Киеве, Минске. Поездка помогла главному редактору «Курьера ЮНЕСКО» составить четкое представление о содержании специального номера: в нем должны найти свое объективное отражение и решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма, и те огромные жертвы, которые он понес в ходе второй мировой войны.

— Меня не удивляет больше, что не только люди, но и города могут быть удостоены боевых наград и носить геройское звание... Главное, советские люди связывают воспоминания о войне с необходимостью сохранить мир.

— Самая волнующая встреча — с Волгоградом. Очень красив отстроенный Минск...— Но в душе писателя, конечно же, особенно глубокий след оставляет Ленинград.— Ты идешь по улицам, и город оживает перед тобой таким, каким запечатлели его русские классики. Город дышит литературой...

[1] Русское издание этого номера попадет к читателям в июне—июле нынешнего года. *(Прим. авт.)*

На вопрос о ближайших планах журнала Эдуард Глиссан отвечает, что часть ноябрьского номера — пока что он носит условное название «Речь и письменность»— будет посвящена 800-летию «Слова о полку Игореве»: читатель найдет в нем текст и научный комментарий «Слова».

Редакция «Курьера ЮНЕСКО» предполагает также выпустить — для бесплатного распространения — дополнительный, внеплановый номер журнала на английском, французском, испанском и арабском языках, приуроченный к юбилею ЮНЕСКО. Ведь в будущем году исполняется сорок лет с момента рождения этой авторитетной межправительственной организации, основная цель которой, определенная историческими условиями ее создания,— сохранение и укрепление мира между народами путем развития сотрудничества в области просвещения, науки и культуры. Коль скоро мысли о войнах зарождаются в умах людей, говорится в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, именно «в сознании людей следует укоренять идею защиты мира».

Свой вклад в решение этой задачи вносит и «Курьер ЮНЕСКО». Большой успех, по словам Глиссана, выпал на долю декабрьского номера 1982 года, со страниц которого поэты всей планеты во всеуслышание объявили «войну войне»; номер этот открывается статьей французского писателя и режиссера Жан-Жака Лебеля, который подчеркивает, сколь велика роль поэзии в нашу эпоху, когда борьба за культуру и борьба за свободу «сливаются воедино».

Мы интересуемся, остается ли теперь у Эдуарда Глиссана время писать?

— Моя поэтическая деятельность,— улыбается Глиссан,— ничуть не мешает основной работе в редакции, вероятно потому, что стихи я всегда пишу по ночам.

Н. КИЯМОВА

Ив Бруссар

Франция

Ив Бруссар — уроженец и житель Марселя. Это имя нашему читателю знакомо. (Замечу, что оно оказалось литературным псевдонимом Ива Ростана. На вопрос, зачем ему понадобился псевдоним, последовал ответ: «У Франции уже есть Ростан». А на второй: «Почему Бруссар?»—«Потому что Сандрар, Элюар, Шар...»— полусерьезно, полушутя ответил он.) Мы уже знаем Бруссара-поэта хотя бы по небольшой подборке стихотворений [1]. А еще ранее, четыре года назад, прочли [2], что Бруссар — журналист. Он с 1970 года редактор «толстого» литературного журнала «Сюд»— то есть с момента его рождения (точнее, возрождения), а с 1976-го — главный редактор. Однако нам еще никто не говорил о его третьей «ипостаси». Ив Бруссар — архитектор по образованию и роду занятий. Может быть, архитектор угадывался в нем,

[1] «ИЛ», 1984, № 12.
[2] «ИЛ», 1981, № 2.

когда он, говоря о стихах, выразительно ограничивал ладонями пространство, очерчивая ими формат белого листа и доказывая, как важно оно для поэта, заполняющего это пространство не только буквами, словами, фразами, но и... промежутками между слов и строк. Разговор об архитектонике стиха — не выдавал ли он зодчего? Мы узнали об этом случайно: Пьерина Бруссар как-то с горечью обмолвилась: «Перо не кормит моего мужа». В переводе на язык житейской прозы ее фраза означала, что писать стихи и руководить престижным журналом Ив Бруссар может не иначе как работая в архитекторском бюро и эта служба — практически единственное материальное подспорье.

Более того, попутно выяснилось, что главный редактор «Сюд» не составляет исключения. Все его коллеги по журналу тоже работают безвозмездно. Так, Кристиана Барош — биолог, хотя она уже и выпустила сборники рассказов и роман. Журнал не имеет даже оплачиваемого технического сотрудника, и Пьерина Бруссар по воскресеньям приходит с дочерью в редакцию упаковать почтовые отправления, заняться бухгалтерскими подсчетами, хозяйственными делами. Здесь все держится на «чистом энтузиазме».

— Издатель журнала — это читатель. И я чувствую себя прежде всего читателем. Ко мне поступают книги — либо от самих писателей, либо от издательств. Прочитав, я передаю их на отзыв друзьям — сотрудникам «Сюд». Кроме книг я получаю рукописи. Я знакомлюсь и с ними. На стихи пишу отзывы сам. Новеллы, статьи, философские эссе и другое отдаю на рецензию специалистам. Все решения, определяющие судьбу книг или рукописей, принимаются в журнале коллегиально.

Кроме этого мы и сами заказываем материалы, принимаем предложения со стороны, знакомимся с идеями, возникающими вне редакции. Таким путем, например, недавно родились два номера, посвященные творчеству Уильяма Фолкнера, куда, между прочим, вошла новелла писателя, ранее не публиковавшаяся. За каждым номером закрепляется редактор, несущий ответственность за его выпуск от начала до конца.

В своей практике мы не идем на поводу у читателя, стараясь сдерживать напор «литературы зала ожидания при вокзале», которую мы презираем. Но если тираж нашего журнала долгое время был 100 экземпляров и только в последнее время удвоился, то ведь тираж этих книг — 30 и даже 40 тысяч. Судите сами...

«Сюд» рассчитан на специалистов и адресуется в первую очередь писателям, поэтам, студенческой молодежи — всем, кого я назвал бы подготовленными читателями.

Помимо свободной продажи в книжных магазинах наш журнал распространяется по подписке. Число годовых подписчиков сейчас достигло цифры 300 Вам она должна показаться смехотворно малой, для нас же это, несомненно, существенная финансовая поддержка. Кроме того, надо учесть, что постоянными подписчиками являются университеты едва ли не всех стран мира, в том числе США, ФРГ, Италии, Бельгии, Японии, Австралии, а также культурные центры социалистических стран при посольствах. Во Франции на журнал абонированы, разумеется, Сорбонна, центр им. Ж. Помпиду и муниципальные библиотеки. Так что, хотя подписчиков всего триста, достаточно умножить эту цифру на число студентов и читателей библиотек, чтобы получить представление о географии и широте читательской аудитории.

Наши усилия направлены сейчас на то, чтобы стать издателями в полном смысле этого слова, и главным образом издателями стихов, так как положение поэзии продолжает у нас оставаться трудным — стихи печатают мало и скромными тиражами — 1500—2000 экземпляров. Поэзия всегда была в нашем журнале и темой, и предметом исследования, ей мы посвящали специальные номера, например, о творчестве французских поэтов — Поля Валери, Блэза Сандрара, равно как поэтов других стран. Фактически наши специальные номера уже теперь представляют собой поэтические сборники. Кроме этого мы публикуем стихи и рассказы — ведь рассказ тоже «труднопроходимый» жанр — авторов из других стран в серии «Зарубежная литература». Один из его выпусков посвящен Одиссеасу Элитису — крупному поэту Греции, другой — поэзии Австралии, в планах на ближайшее будущее — представить нашим читателям поэзию Чили, Никарагуа, Квебека, Ирландии, а также рассказы писателей Советского Союза. Вторая наша серия — «Разговор», третья — поэтическая серия в малом формате, в ней мы стремимся представить своим читателям лучших поэтов современности. Возможно, что в дальнейшем, когда для этого созреют условия, мы станем издавать также романы.

Члены редакционного комитета «Сюд» и сами пишут и печатаются — как на страницах «Сюд», так и в других журналах и издательствах.

Но продолжу разговор о нашей деятельности: мы также участвуем в дебатах, встречах с читателями, желающими получить автографы, в конференциях. Еженедельно, по средам, мы принимаем в редакции авторов, друзей, читателей, желающих обсуждать, предлагать, спорить. Наши двери широко раскрыты для дискуссий, для свежих идей и предложений.

Нельзя не упомянуть и о том, что журнал «Сюд» тесно сотрудничает с фотографами, художниками, граверами. Они помогают нам в издании дорогих, подарочных поэтических сборников, выходящих ограниченным тиражом. Но все они не только оформители, иллюстраторы. Например, творчество замечательного фотографа Андре Виллерса — бывшего сотрудника Луи Арагона по газете «Леттр Франсэз», который в свое время работал с Пикассо, Жаком Превером, Франсисом Понжом, Мишелем Бютором, вполне заслужило того, чтобы мы посвятили ему отдельный номер журнала.

А сейчас скажу мимоходом, что в соавторстве с Виллерсом у меня выходит книга стихов, в которой его фотографии станут не просто иллюстрациями к моим стихотворе-

ниям, а полноправными произведениями искусства.

После выхода очередного номера журнала, то есть два раза в месяц, или выпуска книги из серии, мы приглашаем своих авторов, а также журналистов и критиков, чтобы предоставить им возможность познакомиться лично, побеседовать, обменяться вопросами.

В последние годы «Сюд» не только расширяет круг своих читателей, но и, похоже, получает их высокую оценку, в частности за пределами Франции. О росте его престижа я сужу хотя бы по тем приглашениям, которые приходят ко мне из других стран: Советского Союза, где я побывал уже дважды, ФРГ, где я читал лекции по современной поэзии в университетах Гамбурга и Киля, из Швейцарии. «Сюд» имеет свой стенд в парижском «Салоне книг», который ежегодно проходит в Большом дворце, что предоставляет этому журналу возможность в течение восьми дней выставлять свою продукцию наравне с крупнейшими литературными журналами Франции и других стран. Затем мы ежегодно выставляемся на книжной выставке во Франкфурте и недавно участвовали в выставке книг в Барселоне, тоже не без финансовой помощи местных властей. Сейчас мы весьма надеемся, что ЮНИ-пресс, возможно, будет субсидировать наше участие в Международной книжной ярмарке-85 в Москве.

Важным событием литературной жизни нашего района явилось учреждение — два года назад — новой литературной премии, которая названа именем поэта Жана Марльё. Она присуждается ежегодно за поэзию, точнее за неопубликованные стихи, то есть существующие, по разным причинам, только в рукописи. Членами жюри этой премии являются и члены нашего редакционного совета, я в том числе. Во Франции поэты до сих пор испытывают самые большие трудности в издании своих произведений. Ежегодно мы будем посвящать творчеству лауреата премии Жана Марльё специальный номер, куда войдут также стихотворения тех поэтов, которые хотя и не удостоились звания лауреата, но отмечены талантом. Помимо самой премии и специального номера стихотворения лауреата будут также изданы отдельным сборником.

Отвечая на вопрос о новых тенденциях в поэзии, наш гость сказал:

— Позади тяжелое для французской поэзии время — 60—70-е годы, когда мы были частыми свидетелями «интеллектуального терроризма». В эти годы некоторые парижские журналы, например «Тель кель», «Шанж», невольно или сознательно смешивали поэзию с лингвистикой, замыкались в стенах своей лаборатории, а парижская интеллектуальная элита не признавала поэтов, которые пишут без ухищрений. Сейчас поэтическая ситуация во Франции «растормаживается», стихотворный почерк упрощается, поэты выходят за рамки лингвистических упражнений и обращаются к проблемам окружающей жизни. Возьмите последний сборник стихотворений Алена Боске — это рассказ в поэтической форме о собственных переживаниях. Поэт без колебаний касается проблем жизни и смерти, его почерк очень живой.

Наш гость рассказал о том, что в 1986 году он собирается выпустить сборник, посвященный многонациональной советской новеллистике.

— Для меня было откровением прочесть рассказы Юрия Казакова — два или три сборника выходили по-французски и имели огромный успех. Если нам повезет, то в своем сборнике мы напечатаем один из его последних рассказов, ранее не переводившийся. Я очень люблю читать рассказы. Критерий в поэзии и рассказе один — краткость.

Мы будем и впредь прилагать усилия, чтобы расширять сферы нашего влияния на читателей в интересах литературы с большой буквы.

Л. ЗАВЬЯЛОВА

Говорят советские издатели

О выпуске зарубежной литературы в издательстве «Молодая гвардия» в 1985—1986 годах

Многие переводные книги издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» посвящены молодежи: подросткам, молодым людям, вступающим в жизнь, и тем далеко не простым социальным, нравственным и психологическим проблемам, с которыми им приходится сталкиваться. Как правило, эти книги — сборники рассказов, новелл и небольших повестей. У наших читателей получили широкое признание выпущенные несколько лет назад рассказы английских писателей о молодежи — «Спасатель», американских — «Гон спозаранку», писателей ФРГ — «Самолет над домом». А в книге «Задиры» были собраны рассказы многих писателей капиталистических стран о жизни молодых рабочих, остро ощущающих на себе недуги буржуазного общества и обретающих в социальной борьбе чувство собственного достоинства и классового самосознания.

«Молодежной проблематикой» объединены и рассказы, которые составили сборник «Лампа, зажженная в полдень». Он выйдет в 1985 году. Эта книга познакомит наших читателей с творчеством писателей Канады — прозаиков различных поколений, живущих и работающих сегодня в Стране кленового листа,— и ее старейших представителей, таких как Синклер Росс, и совсем молодых, но уже успевших завоевать известность в своей стране, таких как Теренс Бернс и другие. Большинство рассказов и новелл, отобранных для этой книги, написаны в 70-е годы. На это десятилетие, по мнению специалистов, приходится время расцвета в канадской литературе малого жанра — новеллы и рассказа. Для многих наших читателей эта книга будет, наверное, первым знакомством с канадской литературой, создаваемой на двух государственных языках страны — английском и французском, первым знакомством с самой Канадой, с ее своеобразием, с ее проблемами — политическими, социальными, нравственными, эстетическими. Но все же основной замысел книги — показать на фоне пестрой и противоречивой действительности страны судьбы современных молодых канадцев.

В центре каждого из включенных в состав сборника рассказов — юный герой или злободневная для молодого поколения проблема. Читатель попадает то в крупный город, бурлящий, не утихающий даже ночью, то в сельскую глухомань с дремотно-размеренным ритмом жизни, не лишенной, впрочем, гревог и волнений, конфликтов и драм. Он встречается с истинным благородством, мужеством, самоотверженностью, а также с утратой радужных иллюзий в «обществе равных возможностей», знакомится с разными, чаще всего трагическими, судьбами индейских юношей и девушек, вынужденных сегодня делать выбор между двумя жизненными укладами — «белым» и «индейским»; читатель узнает о том, как молодые безработные борются за свои права, борются против произвола и самоуправства чиновников, и о том, почему молодые канадцы встают иногда на путь омещанивания, обуржуазивания.

Авторами рассказов поднято множество вопросов, актуальных для сегодняшней Канады, вопросов внутренних и тех, что связаны с традиционными отношениями страны с Западной Европой и с южным соседом — Соединенными Штатами. В рассказах много конкретного, жизненного материала, подмеченного острым и неравнодушным писательским глазом, хотя книга и не претендует на всеохватность, энциклопедичность.

Сборник рассказов «Ветер и птицы» (он тоже выйдет в 1985 году) представляет творчество молодого поколения писателей Кубы — поэтов и прозаиков. Почти все авторы книги вышли из известного литературного движения «Бригада имени братьев Саис», которое объединяло тысячи юношей и девушек, решивших попробовать свои силы на литературном поприще, овладеть литературным мастерством. Не все они, разумеется, сумели достичь высокого профессионального уровня, но с теми, кто обрел свой голос, свой почерк, свой стиль,

с теми, кто добился признания на родине, мы знакомим наших читателей, представляя их в этой книге.

Молодые писатели чаще, чем писатели старшего поколения, обращаются к современности, к тем социальным, политическим и культурным процессам, которые происходят на Кубе сегодня. Но нельзя не отметить, что тема дореволюционной жизни и борьбы с режимом диктатора Батисты не исчезает из литературы, хотя после победы революции на Кубе прошло уже 25 лет. Молодые кубинские авторы по-своему пытаются осмыслить и воссоздать события и атмосферу той поры. Их волнуют социальные и психологические коллизии, связанные с коренными преобразованиями первых лет кубинской революции,— аграрной реформой, ликвидацией неграмотности, в которой основную роль сыграла молодежь. В их произведениях тема всенародной борьбы с контрреволюцией, с ее непрекращающимися происками перекликается с темой интернациональной помощи народу Анголы, сбросившему колониальное иго салазаровского фашистского режима Португалии. Все эти произведения в конечном счете отражают не только коренные изменения, происшедшие на Кубе за четверть века, но и перемены в мировоззрении, в психологии, в поведении молодых кубинских граждан—непосредственных участников строительства социализма на Острове Свободы.

Любителей зарубежной поэзии в 1985 году ожидают встречи с творчеством бельгийского поэта Мориса Карема, югославского — Изета Сарайлича и польского — Ярослава Ивашкевича. Лучшие их стихи «Молодая гвардия» издает в книжках серии «Современная зарубежная лирика», которая недавно стала преемницей известной нашим читателям серии «Избранная зарубежная лирика». Хотя название этой серии изменилось, принцип отбора остался прежним — мы пытаемся представить в этих сборниках лучшее, наиболее характерное, раскрывающее как внутренний мир, так и общественные устремления в творчестве прогрессивных зарубежных мастеров поэтического слова второй половины XX столетия. Все эти поэты — Морис Карем, Изет Сарайлич, Ярослав Ивашкевич — хорошо известны у себя на родине и далеко за ее пределами, они все лауреаты многих литературных премий, а польскому поэту Ярославу Ивашкевичу была присуждена международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

Кроме сборников и серийных книг хотелось бы обратить внимание на издания авторские. Роман палестинской писательницы Сихр Халифы «Подсолнух»— искреннее, правдивое повествование о страданиях, чаяниях, сопротивлении арабов на оккупированной Израилем территории. События, описанные в романе, происходят в наши дни на Западном берегу реки Иордан. Главные герои — молодые люди, девушки и женщины, обреченные по воле агрессора вести жалкое существование — без радости в настоящем, без надежд на будущее.

Глубоким психологизмом пронизан роман писательницы из Индии — Шаши Дешпанде. В основу его положены острые противоречия между традиционным укладом Индии и современными веяниями и стандартами буржуазного общества.

В серии «Жизнь замечательных людей» «Молодая гвардия» продолжает издавать художественно-документальные биографии, написанные зарубежными авторами. Очень многим читателям памятны книги «Три Дюма» Андре Моруа, «Гёте» Эмиля Людвига, «Томас Карлейль» Дж. Саймонса, полюбились недавно изданные «Рабиндранат Тагор» известного индийского писателя Кришны Крипалани, «Джузеппе Верди» итальянского автора Д. Тароцци, «Эдгар По», принадлежащая перу американского романиста Герви Аллена.

В этом году в серии «ЖЗЛ» мы планируем выпустить книгу об Александре Гумбольдте. Написана она автором из ГДР Гербертом Скурлы и повествует не только о путешествиях великого немецкого ученого-естествоиспытателя, но и о вкладе его в развитие научных изысканий в области геологии, географии, ботаники и геодезии в России — в 1829 году Гумбольдт совершил путешествие по России в научных целях.

Ведется работа над переводом книг Элиаса Бредсдорфа (Дания) «Ханс Кристиан Андерсен», Пауля Вернера Ланге (ГДР) «Жизнь Фернана Магеллана», а также К. А. Тавастшерны (Финляндия) о замечательном финском композиторе и общественном деятеле XX века Сибелиусе.

Н. МАШОВЕЦ,
главный редактор

Среди книг

Издано в СССР

ПЕВЕЦ И ЕГО КНИГА

Николай Гедда. Дар не дается бесплатно. Литературная запись Айно Селлермарк. Перевод со шведского и комментарий А. В. Парина. Предисловие С. И. Савенко. Москва, «Радуга», 1983.

Николай Гедда — певец редкого таланта, редкого трудолюбия, редкого творческого долголетия. Обладая голосом не только красивым, но и выразительным, этот всемирно известный шведский певец сумел добиться в своем творчестве высот мастерства — тех высот, когда даже самый искушенный слушатель уже не замечает технических трудностей, подпадая под обаяние огромного артистического таланта.

Читая книгу, я узнавала людей и ситуации, знакомые мне по гастролям в тех же театрах, о которых пишет Гедда, снова видела перед собой зрительные залы, упоминаемые Геддой, дирижеров, певцов, режиссеров, с которыми мне, как и ему, довелось работать. Мы — певцы одного поколения, поэтому естественно, что наши дороги пересекались на разных оперных сценах. Я живо вспомнила неразбериху итальянских оперных театров, парижской Оперы — великолепного, но несколько запущенного и захламленного «Дворца Гарнье», дисциплину и порядок лондонского «Ковент-Гардена». Со страниц книги предстают хорошо знакомые мне по совместным выступлениям и записям люди — незабываемый дирижер Игорь Маркевич, тончайший аккомпаниатор Джон Бустман...

Мы познакомились с Геддой в Париже. В середине 70-х годов я репетировала в опере Поля Дюка «Ариана и Синяя Борода» на сцене «Гранд-опера» вместе со знаменитой американской певицей Грейс Бамбри. А Гедда в это время пел Фауста в одноименной опере Гуно. На премьере «Фауста» забастовали рабочие сцены, и пришлось давать спектакли без декораций. Но зрелище вышло прелюбопытное. Режиссерская концепция оказалась интересной: Фауст и Мефистофель были задуманы как двойники (известная фотография запечатлела Гедду и Гяурова в этих партиях в одинаковых костюмах и одинаковом гриме). Так вот, в прологе старый Фауст восседал на пустой сцене — зрителям были хорошо видны даже выходы из кулис с яркими лампочками, а неподалеку стоял небольшой столик, заваленный кипой газет, из них-то и вылезал — взмывал — Мефистофель. Генеральную репетицию Гедда пел несколько вяло, зато спектакли, один из которых я вскоре слушала, были у него просто блестящими — великолепное пение, осмысленность каждого жеста, каждого шага. Встретившись с Геддой около театра, я с удовольствием выразила свои восторги...

Я начала читать книгу Николая Гедды, настроенная несколько критически, но очень скоро она захватила меня и увлекла.

Не многие из выдающихся музыкантов нашего времени находят время и силы, чтобы написать о себе и своем искусстве — любое музыкальное исполнительство требует невероятного напряжения, и вокалисты здесь исключения не составляют. У Гедды нашелся чуткий и заинтересованный помощник — журналистка Айно Селлермарк. Хотя в ее работе есть свои недочеты — о них речь пойдет позже,— энтузиазм и добросовестность Селлермарк как организатора и редактора книги заслуживают самых высоких похвал, ибо они дали возможность читателям войти в мир певца, понять его как человека.

Книга построена как рассказ музыканта о своей жизни — не только о творческой биографии, когда спектакль следует за

спектаклем, а концерт за концертом, но и жизни в качестве «простого смертного», которую так или иначе должен прожить самый преданный своему делу профессионал, самый фанатичный художник. Мы знаем, что искусству нет дела до личных обстоятельств, что зрителя вовсе не интересует, болеет ли у артиста кто-то из родных и все ли в порядке у него в семье, зрителю важно одно: есть чудо или нет. И все же этот самый человеческий фон, «частная жизнь»— в разных вариантах по-разному — отражают внутренний мир художника, определяют его душевный склад, который в конечном счете и помогает формировать сценические образы.

Николай Гедда предстает со страниц книги как человек, безмерно преданный своему делу, неутомимый труженик. Однако от природы ему досталась воля, хоть и мощно направленная на усовершенствование самого себя, но пасующая при встрече с «сильными личностями»,— надо думать, не самый большой подарок для счастливой судьбы. Характер певца, обрисованный в повествовании, можно назвать трудным — трудным не только для других, но в основном для себя. При этом подкупает безжалостная правдивость самооценок, трезвость в понимании теневых сторон собственной личности. Именно это и позволяет певцу столь же откровенно говорить о недостатках своих коллег. Человеческие претензии к Караяну и Каллас не выглядят мелочным брюзжанием, так как и самому себе певец, что называется, не дает спуску. Упреки в адрес Анны Моффо, «загубившей душу» в погоне за «паблисити», воспринимаются как справедливые, потому что сам Гедда на протяжении всей книги утверждает принцип, точно выраженный в одной из глав: «Не хочу быть звездой».

Подробный рассказ о детстве, о годах обучения певца в Стокгольме у М. Эмана и других деятелей шведской оперы предваряет аналитические раздумья, дает возможность войти в «светлые и темные комнаты» внутреннего мира художника. Личная тема в книге занимает большое место, но ощущается как органически необходимая, анализ собственной личности никогда не перерастает у Гедды в мелочное самокопание.

Пожалуй, мне как певице не хватает в этой книге более серьезного разговора о технике вокала, о том, что именуется у нас «творческой лабораторией». В этом, скорее всего, упрекать следует не Гедду — не сомневаюсь, что певцу такого уровня есть что рассказать о внутренних механизмах творчества. Вина здесь, вероятно, лежит на Селлермарк, которая решила ярче осветить более броские детали, выигрышные эпизоды и оставить в стороне проблемы вокальной школы и сценической интерпретации. Хотя, впрочем, задачи у книги иные, и слишком подробный разбор этих проблем нарушил бы целостный рассказ.

Карьера Гедды началась поистине головокружительно. В течение буквально одного-двух лет после дебюта в опере Адана «Почтальон из Лонжюмо» на подмостках Стокгольмской оперы Гедда выступил на сцене «Ла Скала» и «Гранд-опера», начал сотрудничать с непререкаемым в то время авторитетом среди дирижеров — Гербертом фон Караяном. В это же время он записался с Б. Христовым в «Борисе Годунове» Мусоргского под руководством И. Добровейна (можно порадоваться, что в последнее время эту уникальную запись довольно часто передают по нашему радио). Перед ним открывались двери всех крупнейших оперных театров мира. Но никакого опьянения успехом, никакой склонности к самовосхвалению, которая, что греха таить, свойственна людям нашей профессии, у Гедды не обнаружилось. Деловито, несколько смущенно, но ничего не приукрашивая, рассказывает Гедда, например, о том, как он неподготовленным приехал на исполнение оперы И. Стравинского «Царь Эдип» и получил «выволочку» от Караяна. Певец признается, что был неуклюж и малоэлегантен (так ему, во всяком случае, казалось) в первых спектаклях «Дон Жуана» Моцарта.

Ни на заре профессиональной карьеры, ни в зените славы, когда его почитали как первого тенора мира, Николай Гедда не терял драгоценнейшего качества, свойственного самым крупным художникам: требовательности к себе. Певец не подчеркивает эту свою черту, не выделяет ее, так сказать, курсивом, но мы вычитываем ее из всех его рассказов о многочисленных спетых им партиях, о работе в разных театрах. Начав систематически петь по контрактам в нью-йоркской «Метрополитен-опера», Гедда задумывается над совершенствованием вокальной техники — и это приводит его к серьезному педагогу вокала Паоле Новиковой, стремится глубже осмыслить сценический рисунок партии Ленского в «Евгении Онегине» — и это приводит его к бывшей актрисе Художественного театра (фамилия ее в книге не названа). Русская вокальная школа в лице Новиковой и русская актерская школа в лице последовательницы Станиславского усиливают яркие черты дарования Гедды и нейтрализуют слабые стороны.

Москвичи и ленинградцы имели удовольствие слышать и видеть Гедду в партии Ленского, и воспоминания эти можно охарактеризовать только одним словом — незабываемые. Певец, который уже не был юным, покорял свежестью голоса, тончайшей нюансировкой, мягким сценическим обаянием. Гедда великолепно поет Баха и Генделя, Гуно и Берлиоза, Моцарта и Бетховена, всегда предельно точно передавая стиль эпохи и индивидуальный стиль композитора. Столь же тонко выявляет он и особую проникновенность музыки Чайковского, при этом нежность начисто лишена слащавости, а задушевность — слезливой сентиментальности. Поэтическая природа образа Чайковского выступает на первый план; по облику, по одухотворенности пения публика безошибочно узнает Поэта. Столь же глубокое понимание русской музыки Гедда продемонстрировал и на сольных концертах, где, скажем, приторно-манерная или, напротив, тяжеловесно-тягучая в исполнении многих певцов ария Индийского гостя из «Садко» Римского-Корсакова превращалась в триумф красоты, наполнялась высоким содержанием. И с той же силой проникновения в суть музыки пел Гед-

да с нашим хором русские песни, захватывая зал то безудержной удалью, то тишайшей грустью.

Откуда же такое глубокое понимание русской музыки у шведского певца, понимание, в котором ощущается не только высокий профессионализм, но и кровная заинтересованность — или попросту любовь? В своей книге Гедда открывает нам этот «секрет». Дело тут, конечно, не только в том, что корни его русские, что с детства он говорил в семье по-русски и читал русские книги. Главное в том, что русская культура была воспринята Геддой как питательная почва для развития, связь с которой не прерывается у него всю жизнь. Важнейшими из книг, сыгравшими основополагающую роль в формировании его как художника, Гедда недаром считает романы Льва Толстого и Достоевского. Мы видим, как интерес Гедды к философским произведениям Толстого смыкается с его глубоким прочтением главной партии в оратории Элгара «Сон Геронтия». Произведения Пушкина для него не материал, прочитанный при работе над партиями Ленского и Германа, а повседневная духовная пища. Признаваясь в любви к русской литературе, русской музыке, знаменитый тенор Николай Гедда окончательно завоевывает сердца русских читателей...

Время идет, и творческая биография Николая Гедды продолжается: спектакли «Евгения Онегина» в «Ковент-Гардене», совместные концерты с дочерью Татьяной, ставшей профессиональной певицей, новые записи и пластинки.

Закрывая эту книгу, которая переведена живо, заинтересованно и артистично, квалифицированно откомментирована и снабжена дискографией и перечнем исполненных партий, мы благодарим певца, а также всех, кто были ему помощниками и посредниками.

ИРИНА АРХИПОВА

ИСКУССТВО ИЛИ СУРРОГАТ?

Франсуаза Малле-Жорис. Дикки-Король. Перевод с французского В. Жуковой и Л. Токарева. Послесловие О. Тимашевой. Москва, «Молодая гвардия», 1984.

Идут гастроли певца Дикки-Короля по югу Франции. Лето. Сменяются города и отели. Комнаты. Переезды. Одно похоже на другое. Ежедневные, выматывающие концерты. Ансамбль музыкантов. Вечно пребывающий в суетных проблемах импресарио Алекс. Толпа фанатов, поклонников Дикки-Короля, следующая за ним по всему маршруту его гастролей... И за всем этим внешним антуражем одуряющая духовная пустота, полное нравственное отупение. Алкоголь, наркотики, депрессии. Концерты и музыка оцениваются только с позиций денежной выгоды. Композитор Жан-Лу так определяет будущий репертуар, который он должен приготовить для Дикки: «Что-то евангельское, очень много струнных и время от времени немного стиля диско. Я, например, очень хорошо представляю это. Рай, птички, будущее — к струнным прибавить немножко ксилофона, чтобы придать песням космическое звучание. Земное, торговцы во храме, чуть-чуть, но в меру дозированный протест — в ритме бум-бум. Добавить идеологии, ритма и тем не менее сохранить колорит Дикки-Короля, который неизменно останется слащавым. Мы постепенно заменяем чистую любовь братством — и дело сделано».

Такими словами расчетливый халтурщик определяет искусство, по таким рецептам и создаются короли масс-медиа. И обсыпанный блестками, с обесцвеченными волосами заламывает на сцене руки Дикки-Король, бросает в зал свои шелковые рубашки на потребу невзыскательной публики, обольщенной разного рода дельцами от искусства.

В романе есть и второй план — это фанаты, члены фан-клуба Дикки-Короля. Такие клубы очень распространены сейчас на Западе. Фанаты эти, или фаны, ездят за гастролирующими звездами, создавая в залах атмосферу истеричного успеха их любимца, а зачастую помогают распространять его кассеты и пластинки. Ф. Малле-Жорис показывает нам, сколь разношерстно это общество: здесь и восторженные девицы, и разочарованные в жизни бородатые юноши, есть и люди пожилые, больные, даже калеки, и тут же девочки-школьницы. Почти все бедны, спят в спальных мешках, часто прямо на улице, питаются чем попало. Чтобы скрасить убийственно серые будни, они срываются с насиженных мест, терпят лишения ради одного — каждый вечер созерцать своего кумира, опять и опять слушать его, выкрикивать приветствия и восторженные комплименты. И видно, что бедны они не только материально — они нищи духом. Стоит только послушать, какие одуряюще однообразные разговоры ведут фаны: про концерты и про Дикки-Короля — бесконечное обсасывание одних и тех же мелочей. Ни один из них не может даже связно объяснить, за что он любит Дикки, что дает ему его пение. Их как магнит притягивает мишурный мир Дикки-Короля.

Да, это мир ярких огней, блесток, восторженных криков и аплодисментов, но как же он уродлив и как далек от подлинного искусства! Здесь рассуждают о рекламе и доходах, об имидже и кассовых сборах, но не вспоминают об искусстве. Похоже, что это слово вообще не существует для антрепренера Алекса, для владельца фирмы грамзаписи Вери, для ловкого импресарио отца Поля. Несчастный Дикки-Король для них — всего лишь машина, зарабатывающая деньги. И как хорошие хозяева, они следят за своей дорогой машиной, холят ее, но как только она испортится, то, безусловно, в тот же миг будет выброшена на свалку. Сам по себе Дикки-Король — ничто. Не более чем эфемерный образ. Он раздавлен, смят, стерт как личность бездушной индустрией массового шоу-бизнеса. Ему отказано даже в возможности любить женщину, которая ему нравится. В романе есть эпизод, когда Алекс и Вери заставляют Дикки немедленно выбрать себе подружку для очередного романа, чтобы можно было

напечатать в прессе фотографии. В итоге поспешно выбранная сумасшедшая поклонница чуть не убивает его ножом. Никому даже не приходит в голову поинтересоваться мнением Дикки — ведь не советуются же с вещью. Здесь сатира Ф. Малле-Жорис беспощадна. «Дикки функционирует нормально» — так определяет его импресарио Алекс. Он, может быть, даже больше других привязан к Дикки, но тоже скорее не как к человеку, а как к вещи, которую сделал своими руками. Дикки отказано в праве и на человеческие слабости. «Даже суперзвезда не может себе позволить находиться в депрессии более двух, трех недель...»— заявляет Алекс. Дикки не выбирает и песни для исполнения на концерте — за него это делают другие.

Конец Дикки-Короля, погибшего от руки спятившего старика, закономерен. Не случись это сегодня, случилось бы завтра — не убийство, так сумасшествие. Вся его жизнь неизбежно вела к физической гибели, а гибель моральная — деградация человеческой личности — произошла уже давно.

Видно, что Ф. Малле-Жорис не понаслышке знает то, о чем пишет. Жизнь «звезды» изображена действительно изнутри. Писательница сочувствует и мечущемуся на грани психического срыва Дикки, и несчастным фанатам, готовым поверить в любой ярко раскрашенный суррогат. Но такие персонажи, как отец Поль, Алекс, Вери, показаны без тени сочувствия, порой гротесково: все человеческое им заменил один бог — нажива, царствующая в обществе потребления.

Мне приходилось бывать на концертах «идолов», я наблюдал взрывы умело подготовленного массового психоза поклонников, истерию вокруг имени той или иной новой суперзвезды. Роман Ф. Малле-Жорис убедительно и правдиво показывает мир индустрии шоу-бизнеса, массовой культуры, вытесняющей культуру истинную. Показывает и предостерегает.

НИКИТА БОГОСЛОВСКИЙ

БЕСПОЩАДНОСТЬ И ВЕЛИКОДУШИЕ МЮРИЭЛ СПАРК

Мюриэл Спарк. Избранное. Составление и вступительная статья Г. Анджапаридзе. Москва, «Радуга», 1984.

Пятнадцать лет назад состоялось первое знакомство советского читателя с известной английской писательницей Мюриэл Спарк — на русском языке появился перевод рассказа «Портобелло-роуд». К тому времени романы Спарк «Утешители», «Робинзон», «Memento mori», «Мисс Джин Броди в расцвете лет», «Ворота Мандельбаум», «На публику», сборники рассказов и поэтических произведений, литературоведческие книги об Эмилии Бронте, Джоне Мейсфилде, Мэри Шелли принесли их автору серьезный успех, закрепили за ней репутацию продолжателя английской сатирической традиции Свифта и Смоллетта, а в рамках XX века — Джеймса Джойса, Дэвида Герберта Лоуренса, Ивлина Во. В последующие годы Спарк создала еще несколько значительных произведений, в том числе «Теплица на берегу Ист-Ривер», «Аббатиса Круская», «Сдача позиций», в которых явствен переход от нравоописательной сатиры к сатире социально-философской и политической.

И вот теперь в серии «Мастера зарубежной прозы» вышел том, объединивший ее романы 50—60-х годов, и последний, в определенном смысле итоговый — «Умышленная задержка». В жанровом плане Спарк-прозаик тоже представлена достаточно полно — не только как романистка, но и как мастер «малой прозы»: в том включены повесть «Птичка-«уходи» и рассказы. Мне думается, составитель справился с поставленной перед ним задачей: книга обладает внутренней логикой, связывающей написанные в разные годы лучшие, если не канонические произведения, к чему обязывает серия, в которой она вышла. «Избранное» Спарк призвано было не столько з а к р е п и т ь, сколько в в е с т и в русло нашей культуры яркий и чрезвычайно английский талант, обозначить его эстетическую и тематическую специфику. Надеюсь, со мной согласятся читатели тома: В. Муравьев, А. Михалев, В. Скороденко, В. Харитонов блестяще перевели «трудную», подчас гротескную, подчас лирическую прозу Спарк.

В книге Спарк фигурируют странные — порой комедийные и чудаковатые, порой зловещие, гротескные — персонажи: в «шутовском хороводе», о котором писал Кристофер Марло: «Мои герои, как сатиры козлоногие, пройдут пред вами в хороводе шутовском», перед нами выжившие из ума столетние старички и старушки, ничтожества, претендующие на роль духовных наставников, маньяки, фашиствующие воспитатели юного поколения, греховодники, свято чтущие при этом католическую догму, страшные личины соотечественников Спарк, всех тех лордов и баронетов, леди и баронесс, преподобных отцов и философов-миротворцев, поэтов-бунтарей и лжеученых, что составляли цвет викторианской Англии. В этом хороводе не менее эксцентричны и отталкивающи представители «новых» слоев общества: стяжатели-буржуа и лицемеры-чиновники, предприниматели средней руки, обитатели предместий, особняков в провинциальных городках и многоэтажных домов в разросшихся районах больших городов. События, определяющие судьбы этих персонажей и движение действия произведений Спарк, тоже малоприятные. Персонажи «Memento mori» (перевод В. Муравьева) заняты поддержанием своей безнадежно немощной плоти и бессмысленной возней вокруг наследства. Телефонные звонки, вторгшиеся в эту привычную возню,— слова незнакомца по телефону: «Помните, что вас ждет смерть», то ли слуховая галлюцинация склеротиков, то ли шантаж городских бандитов, прослышавших о сбережениях старичков, которые отнюдь не торопятся поделиться ими со своими ближними, делают эту возню с бесценным здоровьем, фамильными и благоприобретенными ценностями еще более жалкой и абсурдной. Дама Летти в двадцать второй раз переписывает завещание:

заподозрив гадкого Эрика, 56-летнего сынка брата Годфри, несостоявшегося писателя, но известного вымогателя, в покушении на ее персону, она решает отказать свои богатства тому племяннику, что обретается куда дальше, в Африке, и потому никак не может стать убийцей. В свою очередь Годфри Колстон, разбогатевший на разного рода махинациях, владелец пивоваренной фирмы, муж знаменитой писательницы Чармиан Пайпер, бесконечными уступками и подачками пытается подкупить экономку миссис Петтигру, завладевшую кое-какими тайнами его прошлых любовных похождений. Социолог Алек Уорнер, положивший несколько лет на составление картотеки престарелых, учащает визиты к своим клиентам, чтобы — не приведи господь! — от него не остались укрытыми изменения в биологических отправлениях его переполошившихся подопечных. Смерть постигла всех, без исключения, персонажей «Memento mori»: даму Летти прикончили бандиты, услышав про историю со звонками, Годфри врезался во встречную машину, за ними последовали в мир иной и другие. В пожаре погибла картотека Уорнера; он «редко упоминал о своей утрате. Иногда он чувствовал, как сказал однажды, что его уже нет на свете, как и его картотеки». Эта фраза, без сомнения, могла быть отнесена и к нему, и к его подопечным еще до пожара, когда в огне сгорели даже упоминания о них, еще до их физической смерти: мертвые души не могут вызвать у Спарк ничего, кроме отрицания, и потому с жестокостью и безжалостностью она аннигилирует их. В последнее время психологи и культурологи любят термин «оптимизация личности», подразумевая под ним максимальную реализацию биопсихических данных человека. Спарк рассматривает обратный процесс — процесс аннигиляции личности в условиях современного капиталистического общества.

Вопрос, мучивший всю жизнь Уорнера: «Другие существуют?.. Окружающие существуют на самом деле или нам только кажутся?» — получает в прозе Спарк весьма однозначный ответ: для нее существуют лишь люди действенной доброты и высокой духовности. «Я тратила последние пенсы, но была крепка духом»,— говорит о себе Флёр Тэлбот («Умышленная задержка». Перевод В. Скороденко). На протяжении всего творчества писательница остается верна одному кругу социо-философских проблем, в центре которого проблема определения функции и сущности человека; в 50-е она решала ее в экзистенциальном плане, а позднее в конкретно-историческом. Но метод письма Спарк неизменен: ее сатиры лишены притчевой отвлеченности, они коренятся в самой действительности, в которой цепкий женский глаз схватывает буквально каждую мелочь, тончайший штрих.

«Я знала,— продолжает Флёр,— что во мне сидит некий Daemon и ему доставляет радость видеть людей такими, каковы они на самом деле, больше того — в их самом скрытом существе и сути».

Выявление «самого скрытого существа и сути» тех, кто претендует быть строгими ревнителями морали и нравственности,— не менее важная эстетическая задача для Спарк, нежели откровенное, гротескное разоблачение. «Миссис Энтони чутьем знала, что Петтигру — добрая женщина. Чутье обманывало миссис Энтони»,— так пишет Спарк о самой опасной для нее форме Зла — зла тайного и сокрытого ханжеской личиной. Благовоспитанная, трудолюбивая, набожная миссис Петтигру подчиняет свои помыслы и энергию одному: жажде властвовать и обладать, к осуществлению этой цели она идет, не останавливаясь ни перед чем.

К тому же образчику можно отнести и сэра Квентина, президента Общества автобиографов, на службу к которому поступает Флёр и на удочку к которому попадаются титулованные особы, вознамерившиеся оставить для потомков свои жизнеописания. «Что он маньяк, это было ясно,— думает Флёр.— Я была уверена, что в их жизни никогда ничего не случалось, причем в действительности, а не на бумаге... Я узнала, но только позднее, что каждому из них... он дает маленькие желтые пилюли под названием «Декседрин»... Сэр Квентин дошел до них собственным умом, опасаясь, что не сможет без их помощи удержать свою паству в повиновении». Поначалу Квентин напоминает мальчика, строящего из кубиков замок с башенками и рвом, потом Флёр убедилась, как опасен он со своими идеями «о совершенно особом круге людей» и «о целях особо деликатного свойства». Одну из своих подопечных он толкает на самоубийство, подает в суд на Флёр, доводит до нервного истощения ее приятельницу... Его миссионерская деятельность была прервана гибелью в автокатастрофе. У сэра Квентина очень много общего с Алеком Уорнером: хотя один фиксировал физиологические реакции своих клиентов, а другой — психические, оба они живут ненавистью к человеку, желанием подавить его волю, подчинить ее своей.

Конечно, их клиенты — настолько «отработанный» и неблагодарный материал, что объективно оба они приносят гораздо меньше вреда, чем учительница мисс Броди («Мисс Джин Броди в расцвете лет»[1]. Перевод А. Михалева), моделирующая на свой манер сознание девочек-подростков эдинбургской школы. На уроках она знакомит своих учениц с библейскими сюжетами и с сюжетами своих любовных похождений; внушая им мысль о «клановости», избранности, она готовит почву для того, чтобы внушить им почтение перед идеями фашизма и его носителями — Франко и Гитлером. «Расцвет» мисс Броди жалок и опасен одновременно — она сама оказалась жертвой среды, в которой в 30-е годы господствовали идеи фашизма. Ущемленное самолюбие и посредственность, мисс Броди «отыгрывалась», вооружаясь теориями об исключительности, на тех, кто зависел от нее. Спарк видит актуальность этого феномена для сегодняшней Англии.

Некоторые критики усматривают в творчестве Мюриэл Спарк лишь пафос осмеяния: «Пафос творчества Мюриэл Спарк связан не с утверждением, а с осмеянием... Прозе М. Спарк лирическое начало не присуще. Своеобразие поэтики ее произведе-

[1] Впервые на русском языке роман был опубликован в «ИЛ», 1980, № 7.

ний определяется системой сатирических принципов изображения»,— пишет Н. Михальская в своем предисловии к сборнику рассказов Спарк, вышедшему в 1976 году на английском языке в издательстве «Прогресс». Г. Анджапаридзе, наверное, более справедлив в оценке поэтики Спарк, полагая, что сатирическое — д о м и н и р у ю щ е е начало в творчестве писательницы. Но важно другое: «Аббатиса Круская», «Сдача позиций», «Memento mori» — книги о кризисе веры, но не о безверии и скепсисе; о глупости и злонамеренности, но не об абсолютном торжестве зла и бездуховности. В прозе Спарк всегда присутствует иное начало — взыскующее, возвышающее. В молодости ее героиня уповала на любовь, в расцвете лет — на крепость духа и всегда — на преображающую силу искусства и слова.

Чтобы убедиться в этом, полезно вспомнить первое крупное произведение Спарк «Птичка-«уходи» (перевод В. Харитонова), прочитав его в контексте всех ее романов, специально сопоставив с последним на сегодняшний день — «Умышленная задержка». В «Птичке-«уходи» — иная типология жестокости и нравственного уродства: история гибели Дафны дю Туа рассказана безыскусно, немногословно, без тени сарказма. Дафна не защищена от внешних обстоятельств иронией, помогающей Флёр ощущать дистанцию с сэром Квентином и его окружением, чувствовать себя отдельной от них.

Дафна в шесть лет попала в семью Чакаты Паттерсона, получившего за свои образцовые кафрские деревни орден Британской империи. Дафна не боялась туземцев, понимала африкаанс, бродила по выжженным табачным плантациям, а сама упорно и страстно рвалась в родную Англию. «Еще пять лет — и я поеду в Англию. Еще четыре года... Еще три...» Ей гадко было жить в доме миссис Чаката, вечно глушившей боль в руках сигаретами и спиртным, не расставшейся с заряженным револьвером, потому что Старый Тейс поклялся изнасиловать ее в отместку за то, что его жена переспала с хозяином Чакатой. Дафна обручилась с капитаном — инструктором ВВС, но через несколько дней он погиб в учебном полете. Потом она влюбилась в морского офицера, провела с ним ночь в отеле только оттого, что он вскользь припомнил, как он был капитаном крикетной команды у себя в поместье.

И вот наконец Англия! Дафне так нравилось жить п о-а н г л и й с к и! За пачкой чая ездить в универсальный магазин «Фортнум», присутствовать на званом обеде в Вест-Энде и на коктейле в «Клариджe», держать пуделя и волнистого попугайчика с бледно-лиловой грудкой. Приемы, скачки, ценные знакомства. Роман с адвокатом и любовь к популярному романисту Мерсеру. Первые три месяца он ни на шаг не отходил от нее: она ему рассказывала про дом и ферму. Его новая книга имела сногсшибательный успех. Но он сбежал от Дафны. Дафна вернулась в колонию в самые дожди... Очень скоро старый Тейс исполнил обещанное: он убил племянницу Чакаты, Дафну, и заявил с гордостью баасу: «Подстрелил антилопу».

Короток и печален путь Дафны, родные зеленые английские луга и волнистый попугайчик, чудаковатая тетушка и романист Мерсер — все оказалось обманной надеждой. Турако с серым хохолком по кличке птичка-«уходи» неотступно насвистывала ей «у-хо-ди».

Спустя почти четверть века Спарк «выправила» судьбу Дафны, превратив ее в сильную духом, талантливую Флёр. Флёр защищена — она носит свой мир внутри себя, она окружена героями, которых она сама сотворила.

Жизнелюбивы и тверды духом друг Флёр Уолли и девяностолетняя Эдвина, а в «Memento mori» и Джин Тэйлор, бывшая экономка Чармиан, да и сама Чармиан. Размалеванное морщинистое лицо, зеленые зубы, чудные допотопные платья леди Эдвины не в счет, потому что у нее веселый нрав, острый ум, доброе сердце, а болезнь Тэйлор не мешает ей вызволять своих соседок по палате, «ее бабунь», из мелких неприятностей. Печальная песенка птички-«уходи» превращается в зловещее напоминание «memento mori» для лживых, унылых и праздных, словно говорит нам писательница.

«Однажды вечером я возвращалась домой через парк, поглощенная мыслями о моем романе и о Берил Тимс, образчике человеческой природы, и вдруг стала посредине дорожки. Мимо шли люди, одни навстречу, другие, обгоняя меня, спешили домой, как и я, после трудового дня... Мне совершенно отчетливо подумалось: как чудесно ощущать себя писательницей и женщиной в двадцатом веке». Это слова Флёр, но они — о сокровенном для Мюриэл Спарк, которая смеется не только чтобы защитить нас от Зла, но и чтобы радоваться с нами Жизни. Свифт писал о себе:

Согласен я, декана ум
Сатиры полон и угрюм:
Но не искал он нежной лиры:
Наш век достоин лишь сатиры.

(«Стихи на смерть доктора Свифта». Перевод Ю. Д. Левина)

Мюриэл Спарк дорожит «нежной лирой», ведь она писательница — художник и женщина в одном лице — и потому в беспощадности своей сохраняет великодушие.

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

Издано за рубежом

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА АЛАНА МАРШАЛЛА

Alan Marshall's Battlers. Compiled by Gwen Hardisty. Melbourne, Hyland House, 1983.
Бойцы Алана Маршалла. 1983.

«Б ойцы Алана Маршалла» — последняя книга австралийского писателя, чья долгая и плодотворная

жизнь окончилась в позапрошлом году. Как и предшествующий сборник «Австралия Алана Маршалла» (1981), «Бойцы» — плод работы по собиранию литературного наследия писателя, проделанной составителем Гвен Хардисти, которая была секретарем Маршалла в 70-х — начале 80-х годов. В книгу вошли произведения, извлеченные из газет и журналов,— предельно сжатые рассказы, зарисовки, эссе, путевые очерки, выступления на литературные темы. Дата самой ранней публикации — 1934-й, самой поздней — 1980-й. Тут и опыты новичка, который применяется к требованиям «захватывающего» журнально-газетного рассказа, пробиваясь в печать, и зрелый Маршалл, умевший увидеть в непосредственно окружающем нечто завершенное в своей жизненности и человеческом содержании, тут и первоначальные разработки того или иного сюжета, этюды будущих книг, произведения, известные лишь по упоминаниям биографов, а то и совсем позабытые. Но каков объединяющий принцип?

Слово «бойцы» — перевод, возможно, не вполне адекватный, австралийского «battlers»: «бэттлерами» в Австралии называют тех, кто постоянно и упорно борется с невзгодами, в первую очередь тружеников, вынужденных бороться за существование, а в прошлом так называли скитальцев, меривших версты, перебиваясь случайными заработками. (Кстати, есть в австралийской литературе и роман «Бойцы» (1938), посвященный бродягам-безработным, его написала Кайли Теннант.) «Бэттлер», стало быть,— это и социальное положение, и образ жизни, и бойцовские качества характера. «Бэттлером» был и Алан Маршалл — с детства калека, передвигавшийся на костылях, знавший бедность, пришедший в литературу нелегким путем, но всегда поражавший друзей, знакомых, современников неисчерпаемым, казалось, ресурсом внутренних сил. «Мы все порой переживаем такое душевное состояние, когда ты — пленник в мире одиночества... и даже друзья мало чем могут помочь... и ты один наедине с самим собой...— писал Маршалл человеку, которого поддерживал в намерении рассказать в книге о своей работе с «трудными», отвергаемыми школой детьми.— Не раз мне приходилось сражаться с той половиной моего «я», что одета в скрытый от глаз наряд поражения. И, как ни странно, из подобных ситуаций я нередко выхожу, вспоминая со смешком какое-нибудь подходящее к случаю, всем известное изречение. Я говорю себе: пора препоясать чресла. И вот мой ум начинает блуждать в поисках выхода и устремляется в неожиданно открывшиеся лазейки, а я все повторяю: препояшь свои чресла». Алан Маршалл был «бэттлером» в самом высоком значении слова: он отстаивал справедливость, и последняя книга вновь подтверждает это.

Одна ее треть — произведения 30-х годов, из которых отчетливо видно, какую огромную роль в формировании личности и взглядов художника сыграл памятный период жестокого кризиса и обострения классовых антагонизмов. Очерки и рассказы из циклов «Пролетарская книжка с картинками» и «Австралийская книжка с картинками», обращенные к массовому читателю,— по сути публицистика, но своеобразная: говоря о социальных проблемах и язвах, Маршалл предпочитает «язык» конкретной житейской ситуации и человеческой судьбы, красноречивость сценок и портретов с натуры.

Люди, точно коршуны, набрасываются на ведра с остатками пищи — то, что недоедено постояльцами отеля... Люди-«чайки» питаются отбросами моря... Дети собирают отходы фабрик — на топливо... В поистине документальных кадрах сливаются трагедия безработицы и голода и трагедия работающих и эксплуатируемых без зазрения совести. Рабочий завода, где из мышьяковистого колчедана выделяют вожделенное золото, весь изглодан болезнью — результат систематического отравления. Четырнадцатилетняя уборщица, старшая из восьми детей в семье, падает от голода в обморок, подметая контору. Обувщик, обработавший на машине полтысячи пар туфель за день, не может унять дрожь в руках, не в состоянии читать, слишком устал, чтобы говорить. Не на что надеяться тяжело заболевшей швее: за починку шелковых рубашек — одежды богатых — платят слишком мало, чтобы хватило на лечение.

Эти картинки 30-х не были рассчитаны на то, чтобы разжалобить господствующие классы описаниями страданий и горя,— в сопоставлении контрастирующих фактов бедствий на одном социальном полюсе и благоденствия на другом заключалась критика основ социальной системы. «Наш брат вечно будет мыкаться, пока сами не станем хозяевами фабрик»,— говорит безработный. И голос автора обнадеживает: «Этот день не за горами». Неудивительно, что обличительные очерки Маршалла были отвергнуты ежедневной прессой — они печатались в «Уоркерс войс», в «Комьюнист ревью», в английском журнале «Лефт ревью».

«Я вспоминаю прошлое», слово прощания с газетой мельбурнских коммунистов «Гардиан» (бывшей «Уоркерс войс», прекратившей издание в 1965 году), свидетельствует о тесной связи писателя с левым крылом демократического фронта. В 30-е годы Маршалл участвовал в битвах «за правду, справедливость и лучшую жизнь», которые вела газета: требовал разрешить въезд в страну писателю-антифашисту Э.-Э. Кишу, протестовал против визита нацистского эмиссара графа фон Люкнера и похищения шоферами итальянца командой фашистского крейсера, поддерживал республиканскую Испанию. Сотни экземпляров «Уоркерс войс» со статьями Маршалла о «прелестях» потогонной системы были распроданы у ворот предприятия «Дженерал моторс». А прощался Маршалл с «Гардиан», когда шла эскалация войны во Вьетнаме: заявляя, что и на этот раз история докажет правоту «Гардиан», разоблачавшей американскую агрессию, он бросал вызов официальным кругам.

Наше представление о Маршалле — противнике империалистических войн — дополняют рассказы, написанные в канун второй мировой войны, в 1938 году, где акцентируются зловещие социальные парадоксы: война — источник непоправимых бед, но человек (общество) продолжает работать на войну. Инвалид, раненный и отравленный газом, радуется, что его безработный,

сбившийся с пути сын наконец-то сможет стать на ноги — ему дают место на военном заводе. Над Австралией нависает опасность японского вторжения, а магазин игрушек забит пулеметами, танками и самолетами с клеймом «Сделано в Японии», и неумолчный стрекот заглушает пение одноногого солдата, который просит подаяния. Макабрическим эхом отзывается вторая мировая война в рассказе «Водолаз», одном из последних, написанных Маршаллом, воспоминании о давнишней поездке в Рангун и встрече с водолазом, который высвобождал из кают группы беженцев, пассажиров лайнера, подорвавшегося на японской мине.

Уже по «Пролетарской книжке с картинками» можно судить, что Маршалл относится к австралийским аборигенам как интернационалист. Но лишь после путешествия на север страны в 1945—1946 годах он приобрел опыт, который позволил ему и в очерках об аборигенах сделать то, к чему обычно стремился,— аргументировать свои общественные взгляды живой реальностью. В очерке «Знать бы, что он имеет в виду» — конфликт полемический: сержант полиции — расистские разграничения для него нечто само собой разумеющееся — уверяет, что аборигенов ничто не интересует, кроме пищи, и чувства прекрасного они лишены; автор же, взявшись доказать противное, старается выведать у искусного резчика по дереву Уммарангуна, как же на его родном языке будет «прекрасное». Увы, на все подсказки и косвенные определения (то, от чего сильнее бьется сердце, без чего мир пуст, что присуще цветам, деревьям, женщинам, заходящему солнцу) Уммарангун отвечает словом, которое оказывается именем его погибшей дочери. И все-таки поражение терпит сержант. Разве ответы Уммарангуна не обнаруживают всей глубины его чувств — отцовской любви и скорби?

Есть в сборнике страницы, напоминающие, что Маршалл, как это свойственно людям и проницательным и великодушным, был наделен способностью воспринимать происходящее юмористически. В эссе «Алан Маршалл о своих деревянных друзьях» — это юмор стоика, который, посмеиваясь, дает советы, как управляться с костылями. В историях о Виноне и Джейн (племянницах писателя) источник смешного — детская непосредственность, черточки характеров, слабости, эпизоды семейного быта. Так, домочадцам явно не удались «хорошие манеры» на званом обеде, где присутствовали мистер Вудхаус, «бизнесмен, у которого денег куры не клюют», его жена — «просто миссис Вудхаус», и мисс Вудхаус, то и дело восклицавшая «восхитительно!» и «сногсшибательно!» («В тот вечер, когда у нас были гости»).

Выступая в Южноавстралийской ассоциации преподавателей английской словесности с лекцией о писательском мастерстве, Маршалл сосредоточился на соотношении творчества и действительности. Творчество он понимал как озарение окружающего мира, которое по плечу лишь тем, кто сумел «слиться с жизнью, проникнуть в суть видимого, стать частью всей земли, частицей народа». Для Маршалла был неприемлем коммерческий, равно как и честолюбивый подход к литературе: книга, сотворенная в расчете на успех, в заданном «модном» стиле, с нарочитой усложненностью, редко является произведением искусства. Отметим, что среди источников, питавших творчество автора повести «Я умею прыгать через лужи», русская литература, дореволюционная и советская, занимала почетное место. И в лекции он обращается к Толстому, Чехову, Горькому, Чуковскому, Маршаку — в обоснование того, как, идя от реальности, от знакомого, пережитого, «распахивать окна в большой мир», с «трамплина случая» взлетать на вершины, «давать крылья» собственному опыту.

Речь по случаю присуждения ему Мельбурнским университетом почетной степени доктора права (1972) Маршалл посвятил драгоценному для писателя свойству — детской остроте и свежести видения, способности удивляться и радоваться сущему. Сам он сберег это свойство до конца дней.

На восьмом десятке лет Маршаллу все труднее было браться за перо. Болезни наступали жестоко и неумолимо, жизненное пространство сократилось до комнаты с креслом на колесах. Ощущалась нехватка столь необходимого писателю кислорода человеческого общения и взаимодействия. «Я не оторван от людей, потому что меня часто навещают,— писал он в одном из писем,— но я оторван от жизни на улицах. Чтобы по-настоящему понимать людей, нужно быть не только среди них, но с ними, участвуя в общем деле». Поэтому, закончив «Галлюцинацию перед кончиной» (1980), излияние тяжелобольного, страдающего человека, где автор и рассказчик — одно лицо, он чувствовал себя окрыленным: «Это — доказательство того, что я могу еще кое-что сказать людям». Много раньше, в 1944 году, был написан рассказ «Бред» — воображение собственной смерти писателем, но он кажется «литературным», сконструированным по сравнению с пронзительной правдой самонаблюдения в «Галлюцинации перед кончиной», когда «гибель всерьез» придвинулась совсем близко.

Виде́ние, завладевшее сознанием, возвращает больного в детство, «чистое и пахучее, как море». Он, шести лет, обезноженный полиомиелитом, видит себя, подростком, взбегающим на холм вместе со сверстником, мальчиком с лицом Пана. Он бежит свободно, красиво, испытывая наслаждение, в котором ему было отказано судьбой. И, пребывая в эйфории бега, смотрит в то же время на себя со стороны, как на картину. Галлюцинация под воздействием болеутоляющих? Таково медицинское объяснение. Но главный смысл все-таки в другом — в любви, переполнявшей уходящего в небытие,—«любви к тому, что можно было увидеть, услышать, обонять, любви к зрелищу, звуку, аромату, к самой жизни, к Человеку».

... Книгу «Бойцы Алана Маршалла» писатель отправил в Советский Союз незадолго до смерти. Можно сказать, она пришла к нам как свет угасшей звезды. Но ведь строки жизни, прожитой достойно, мужественно, с неравнодушным сердцем, продолжают излучать свет. Сквозь годы.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

ЛЕН ДЕЙТОН: «У МЕНЯ МНОГО ОБЩЕГО СО ШПИОНАМИ»

Len Deighton. Berlin Game. London, Hutchinson, 1983.

Лен Дейтон. Берлинская игра. 1983.

Лет пять назад мне довелось делать пересадку в лондонском аэропорту Хитроу на рейс, следовавший в Дублин. Ирландская виза у меня была, тем не менее офицер британской пограничной службы (в гражданском костюме, разумеется,— визитная карточка «свободного мира») вежливо, но настойчиво, даже с пристрастием расспрашивал меня, что я собираюсь делать в Ирландии. Я столь же вежливо и терпеливо отвечал, что намерен встретиться с некоторыми ирландскими литераторами, а возможно, и английскими — из числа тех, которые осели в Ирландии в силу тех или иных причин. Допрос был незаконный, и англичанин это прекрасно понимал: Эйре — независимая республика и, кроме того, чтобы лететь из Лондона в Дублин, визы не требуется.

«Кого из англичан вы хотели бы встретить в Ирландии?» — не унимался офицер.

«Например, Лена Дейтона,— сказал я,— думаю, он достаточно у вас известен?»

Офицер кивнул, возвращая мне паспорт, но так и осталось непонятно, читал он Дейтона или нет.

В дублинском отеле «Берлингтон» на Аппер-Лисон-стрит я разыскал в телефонном справочнике имена интересовавших меня писателей. И только одного имени там не было — преуспевающего английского литератора Лена Дейтона, живущего в Ирландии. Прошло несколько лет, прежде чем я узнал, почему Дейтон игнорирует связь по телефону.

Леонард Сирил Дейтон родился в Лондоне в 1929 году. Он автор более полутора десятков книг политико-детективного жанра. Один из доброго (а скорее, «недоброго») десятка британских литераторов, которые сколотили состояние, проповедуя воинствующий антикоммунизм: Ян Флеминг, Лен Дейтон, Лесли Томас, Фредерик Форсайт, наконец, небезызвестный Кингсли Эмис, продолживший «бондиану» после смерти «отца» этого жанра — Флеминга.

В одном интервью Дейтон сам себе дал следующую характеристику: «У писателей вроде меня довольно много общего со шпионами. Мне нравится подслушивать чужие разговоры, особенно когда люди этого не замечают».

В отличие от своего предшественника Яна Флеминга Дейтон не может похвастаться ни знатным происхождением, ни изысканным образованием. (Известно, что Флеминг происходил из семьи члена английского парламента, а образование получил сначала в Итоне, потом в одном из европейских университетов.) Отец Дейтона служил шофером, а сам он учился в годы войны в обычной, непривилегированной школе, пережил эвакуацию из Лондона. Во время службы в королевских военно-воздушных силах освоил профессию фотографа. После демобилизации работал официантом в Лондоне. Потом добился направления в Королевский колледж искусств. Однако ни художником, ни скульптором он не стал, а поступил в рекламное агентство. Словом, «калибром» он намного мельче Флеминга, который был известным журналистом (до войны дважды побывал в Москве), а затем стал личным помощником адмирала Джона Годфри, директора британской военно-морской разведки.

Флемингу оставалось жить считанные месяцы, когда в 1962 году Дейтон выпустил свою первую «шпионскую» книгу — «Досье Ипкресс». Некоторые критики по выходе книги в свет поспешили заявить, что «Дейтон лучше Флеминга». У Дейтона тоже был свой герой — «собрат» Джеймса Бонда, агент британской разведки, переходивший из книги в книгу. На нем Дейтон основательно заработал, особенно при дальнейшей экранизации своих историй. Дотоле безымянный, в фильмах герой Дейтона обрел имя — Гарри Палмер.

Словно блины на сковороде, один за другим «выпекались» шпионские «бестселлеры»: «Лошадь под водой» (1963), «Похороны в Берлине» (1964), «Мозг стоимостью в миллиард долларов» (1966), «Дорогое место, чтобы умереть» (1967).

Персонажи книг Дейтона — разведчики разных стран, непременно включая британских и советских; место действия — практически любая точка земного шара: современные многомиллионные города, пустыни, сверхзвуковые самолеты, затонувшие подводные лодки и т. д. Для книг Дейтона, независимо от их сюжетного разнообразия, неизменно одно: все они, от первой до последней, написаны с позиций противника мира социализма.

В последние годы появились новые «творения» Дейтона: «СС в Великобритании», «ХРД», «До свидания, Микки Маус», наконец, «Берлинская игра» [1].

Дейтон, и в этом сходится большинство критиков, никогда особенно не утруждал себя детальной разработкой сюжета, придавая первостепенное значение отдельным эффектным эпизодам. Об особенностях стиля говорить не приходится: временами его трудно отличить, скажем, от стиля Флеминга или Томаса (последний, правда, «специализируется» больше на эротике, но «бондиана», как и все «человеческое», ему не чужда; например, в книге «Оранжевая среда» со смаком описано политическое убийство, в котором замешаны «советские агенты»).

Повествование в книге Дейтона «Берлинская игра» ведется от первого лица, от имени английского разведчика Бернарда Сэмсона. Пересказывать сюжет книги можно только в общем — из-за обилия второстепенных сюжетных линий и персонажей. Бернард служит в управлении британской разведки в Лондоне и непосредственно подчинен Ричарду Крайеру. Главная задача Бернарда —

[1] См. об этой книге также в статье И. Млечиной «От Джеймса Бонда до Джорджа Смайли», «ИЛ». 1985. № 5.

получение разведданных от хорошо законспирированных агентов в Берлине — Вернера Фолькмана, Фрэнка Харрингтона, Рольфа Маузера и других. Сведения, собираемые британской разведкой, касаются главным образом экономики и финансов Германской Демократической Республики. Самый надежный агент англичан скрывается в Восточном Берлине под кодовым наименованием «Брамс-четыре».

По ходу действия становится ясно, что в штаб-квартире британской разведки скрывается «агент КГБ», который имеет доступ к «совершенно секретной» информации. Сразу не удается определить, кто это. Агентурная сеть в Восточном Берлине обречена на провал, ее нужно спасать.

По заданию управления разведки Бернард нелегально проникает в Восточный Берлин, воспользовавшись тоннелем метро. Здесь он должен связаться с местной агентурой и попытаться предотвратить провал. Бернард встречается с «Брамсом-четыре» и получает от него письменное доказательство того, что агент КГБ в штаб-квартире британской разведки в Лондоне... его собственная жена Файона. До сих пор Бернард подозревал Файону, с которой прожил десяток лет, мать двух его детей, в супружеской неверности, но никак не в том, что она — вражеский лазутчик.

Бернард принимает решение переправить «Брамса-четыре», как ценного сотрудника, вместе с женой в Западный Берлин. При этом сам Бернард попадает в руки контрразведки ГДР. Однако восточногерманские власти не торопятся его допрашивать. Они ждут «полковника КГБ из Москвы». Этим полковником оказывается Файона, которая поняла, что ей грозит провал в Лондоне, и поспешила оттуда убраться.

Файона продолжает испытывать нежные чувства к Бернарду и помогает ему беспрепятственно вернуться в Западный Берлин. Перед расставанием она обещает мужу, что их дети будут учиться «в лучшей московской школе» и что он иногда сможет их навещать. Но Файона переоценила свои возможности: в финале речь идет о том, что британской разведке удалось «спасти» детей и они остались в Лондоне...

Верный жанру, автор не обходится без описания политических убийств, погони, эротических сцен, пространных рассуждений о том, какой агент чего стоит и на кого работает. Дейтон любит «оглушить» читателя разного рода техническими деталями: он обрисовывает новейшую вычислительную технику, которую использует разведка, последние образцы оружия, шпионского снаряжения и т. д. У него, к примеру, можно найти в книгах инструктаж по технике подслушивания телефонных разговоров и пользованию различными кодами. Недаром критики писали, что некоторые места в книгах Дейтона приходится перечитывать по нескольку раз, прежде чем становится ясно, о чем идет речь.

В книге «Берлинская игра» откровенно говорится о подрывной деятельности западных спецслужб против ГДР. Одно за другим следуют «разоблачения» образа жизни в мире социализма. Но все это не выходит за рамки известных фактов, связанных с трудностями социалистического строительства в республике: потребность в иностранной валюте, нарушения трудовой дисциплины, случаи пьянства и т. д. Дейтон высмеивает стремление граждан ГДР иметь свои садово-огородные участки с домиками как «единственно разрешенную государством форму частной собственности».

Но это, так сказать, второстепенная задача автора. Главное — и этому подчинен весь замысел — внушить читателю мысль о том, что весь мир «наводнен агентами КГБ», имеющими, подобно Файоне, неограниченные полномочия. КГБ и русские упоминаются в книге десятки раз. О ненависти к русским, к СССР и коммунистам говорят многие персонажи Дейтона...

Написанная по законам «развесистой клюквы», «Берлинская игра» рассчитана на западного обывателя (она вышла одновременно в Лондоне, Мельбурне, Сиднее, Окленде, Йоханнесбурге), живущего под постоянным воздействием антисоветской и антисоциалистической пропаганды и едва способного отличить истину от вымысла.

Дейтон — мастер дурачить читателя. Когда он почувствовал, что «вошел в силу», то предложил издателям печатать на обложках дешевых массовых изданий вымышленные версии его биографии. Жертвами одной из таких мистификаций стали даже авторы справочника «Кто есть кто», которые написали, что Дейтон — сын губернатора Навтренных островов, образование получил в Итоне и Оксфорде (явный комплекс неполноценности) и что будто бы было время, когда он служил матросом на японском китобойце. А в некоторые советские издания просочилась «информация», будто Дейтон в прошлом «стюард британских авиалиний».

И уже совсем анекдотическим выглядит случай, когда Дейтон состряпал «подлинную, сверхсекретную» переписку между Белым домом и сэром Гарольдом Вильсоном (в то время британским премьером) относительно ядерного оружия. Сочинение было отправлено в США обычной почтой, его «засекла» цензура, которой, как считается, нет в этой «свободной» стране, и передала на экспертизу в Федеральное бюро расследований. Там быстро разобрались, что это подделка, и якобы выкинули в мусорную корзину. Оттуда, по сообщениям западных газет, ее извлек какой-то «славянин», который решил продать ее советским работникам в Нью-Йорке. Чтобы не затягивать повествование, скажу коротко: провокация не удалась. А первоначальным инициатором ее был Лен Дейтон.

Теперь, как мне кажется, я имею моральное право выдать читателям секрет проживания Дейтона в Ирландии, где мы с ним так и не встретились: там он скрывается от британских налогов, которые при его астрономических доходах достигают немалых сумм. А для того чтобы войти с ним в контакт было доступно не каждому, он поступил гениально просто: исключил из своего обихода телефон. В доме Дейтона близ Маунтинз-оф-Мурн установлен... «обыкновенный» телетайп.

АНАТОЛИЙ МЕЛЬНИКОВ

ТЕНЬ ИУДУШКИ ГОЛОВЛЕВА

Catherine Lépront. Le Tour du domaine. Paris, Gallimard, 1983.

Катрин Лепрон. Обход владения. 1983.

Уступит свету мрак упрямый...
(Н. А. Некрасов. «Мать»)

Что это? Неужто там, вдали, в конце длинного и безжизненного коридора, вздрогнула и покачнулась тень Иудушки Головлева? Неужто это снова он в засаленном халате, крадучись, бродит в поисках живой души по вымершему своему дому?

Но при чем здесь Иудушка Головлев? Ведь перед нами не русское захолустье прошлого века, а уголок вроде бы сегодняшней Франции, где наверняка слыхом не слыхали о щедринском герое. Скорее всего не слышала о нем и сочинившая эту книгу начинающая провинциальная писательница Катрин Лепрон — мать двоих детей и автор первого романа (это все, что сообщили о ней издатели на обложке книги). Позже из интервью Катрин Лепрон, появившегося в прессе, можно было узнать, что в детстве она увлекалась чтением и мечтала стать математиком, но после окончания школы тринадцать лет проработала медсестрой, прежде чем взялась за перо и написала эту книгу, за которую не было бы стыдно и зрелому мастеру.

Да, все, казалось бы, здесь иное — и время, и место, и персонажи, однако с первых же страниц чудится, будто перед глазами замаячила воскресшая каким-то таинственным образом зловещая фигура выморочного головлевского помещика.

Кто знает, что заставило эту молодую дебютантку, живущую на берегу Атлантического океана, распахнувшего перед ней свой необозримый водный простор, придумать этот замкнутый и неподвижный мирок, оторванный от большого и шумного мира, но герои ее книги обречены, словно в клетке, томиться в крошечной деревушке с единственной улицей, где никогда ничего не происходит.

Все вокруг — и леса, и поля, и лесопильня, и сама деревушка, и ее обитатели — принадлежит местному богатею, самодуру Жильберу Дельмасу, или находится в его безраздельной власти.

Тридцать лет назад на пустом пространстве, где не пролегало ни одной тропинки, построил он свой дом-крепость, основал деревню и заселил ее людьми, которые стали работать на его лесопильне, приумножая дельмасовские богатства. Но все обитатели этой деревни под названием Нуан свято верят, что стояла она тут испокон веков и что точно так же испокон веков все свято подчинялись распорядку жизни, введенному Дельмасом. Понедельник — день распределения участков работы (хозяин лесопильни нарочно заставляет людей каждую неделю менять место работы, чтобы те не могли договориться о неповиновении), вторник — базарный день, среда — день сбора мусора и т. д. Никто и никогда не покидает Нуан, и никто по доброй воле не приезжает сюда со стороны. Время застыло здесь по воле Дельмаса, и никакие перемены не предусмотрены.

А за глухой стеной в огромном и угрюмом доме обитает сотворивший эту крошечную и фантастическую вселенную Жильбер Дельмас со своими домочадцами: парализованной женой; любовницей, одновременно исполняющей обязанности компаньонки больной жены; дочерью Элен, чахлым и постоянно задыхающимся созданием,— точно, не успев родиться, Элен отравилась затхлым воздухом Нуана; и племянником-музыкантом (а может быть, и его внебрачным сыном), которому Дельмас покровительствует в любви к искусству.

Вот, собственно, и все. Хотя нет, рядом, во дворе, в отдельном домишке, живут еще престарелые слуги Дельмаса — супружеская пара с сыном-идиотом, который словно бы должен символизировать окончательную выморочность этого безнадежно унылого царства. Как и темнеющий среди огромного дельмасовского сада дом для немощных стариков, которых свозят сюда умирать со всей округи. Какому толстосуму и в какие времена не льстила слава всеобщего благодетеля и мецената?

Но однажды сонное оцепенение Нуана нарушает неведомо откуда взявшийся пришелец. Он оказывается наследником недавно умершей жительницы деревни — только ее дом и не принадлежал почему-то полновластному хозяину Нуана. И эта обезумевшая старуха была единственным существом, кто не боялся встречать громким хохотом проходившего мимо ее окон Дельмаса. Ее сумасшедший, издевательский хохот долгие годы не давал ему покоя — до того самого дня, пока старуху не нашли, наконец, мертвой в своей постели. И вот теперь у нее объявился наследник. Некий Биограф, литературно обрабатывающий биографии всех, кто пожелает увековечить историю собственной жизни для потомков.

Этот равнодушный и растворившийся в чужих биографиях человек вовсе не стремится изменить что-либо в Нуане, но помимо его воли вместе с ним в деревню залетело дуновение свежего ветра из другого, далекого мира.

И вдруг что-то случилось, что-то сдвинулось в Нуане, и местный трактирщик-горбун, бессменный осведомитель Дельмаса, внушающий страх и недоверие односельчанам, доносит ему, что лесорубы стали поговаривать о «профсоюзе». Только почему же ночью, оставшись один, горько и безутешно плачет горбун, оплакивая свое жалкое счастье минутной власти над людьми? А вдруг завтра грянет возмездие или схватит за горло безжалостная смерть? Кто помянет добрым словом предателя?

Что-то случилось, что-то разладилось в Нуане, и мальчик-идиот, которому вменено в обязанность ежедневно совершать обход владения и тщательно осматривать до сих пор несокрушимую стену, огораживающую крепость Дельмаса, обнаруживает, что стена дала трещину — пока это всего лишь маленькая, едва заметная трещинка, но мальчику чудится, что стена кровоточит. Однако во время ежевечернего допроса,

когда Дельмас елейным иудушкиным голосом вопрошает, не заметил ли сегодня мальчик ничего подозрительного, тот привычно произносит: «Ничего, ничего».

Но непостижимая разрушительная сила исподволь прокралась уже и в дом Дельмаса. Свитое тридцать лет назад «родовое гнездо», где все фальшиво — и портреты многочисленных «предков», и фолианты в помпезных переплетах, хранящие память о несуществующей династии, призванные удивить случайного гостя,— тоже дало трещину.

Что-то сломалось и в душе самого владыки этого фальшивого царства, казалось бы так прочно обосновавшегося на земле Нуана. И подобно щедринскому Иудушке, который, торопя смерть и страстно надеясь утопить в пьянстве горькое прозрение и укоры совести за все у м е р т в и я, что произошли по его вине, целиком отдался саморазрушению, так и Дельмас из вечера в вечер напивается в тщетном ожидании сладостного забытья. В эти дикие угарные вечера его охватывает жгучая, неистовая жажда сокрушить десятилетиями обстраиваемое владение. «Я все это создал, я и уничтожу»,— бормочет он в пьяном бреду. И, запахнув нетвердой рукой старый, засаленный халат, впитавший стойкий запах яблочного кальвадоса, бродит он как тень по собственной крепости, уже обреченной — исторически обреченной — на неизбежный разор.

А в дом Дельмаса той порой вползают у м е р т в и я. Умирает во время званого обеда жена Дельмаса (единственным гостем, по сути, здесь был только Биограф). Теряет рассудок музыкант, отчаявшись осуществить безнадежную мечту — перенести в музыку все звуки живой, непридуманной жизни: шум идущего дождя, грохот упавшей консервной банки, скрип ворот, пока еще закрывающих въезд в дельмасовское владение.

И вот-вот, совсем как головлевский помещик, Дельмас оглянется вокруг себя в страхе и смятении и воскликнет: «Где... *все?..*»

Не радует его и полученное наконец согласие Биографа уступить ему свой дом. Чтобы заполучить этот дом, Дельмас принял даже условие Биографа: отдать ему навсегда Большой регистр — книгу, в которую изо дня в день записываются доносы трактирщика.

Что-то произошло и с Биографом, которому стало нестерпимо тесно и душно в Нуане. Его, привыкшего к бродяжнической жизни и свободного от каких-либо привязанностей, снова потянуло в путь. Не может его удержать и любовь местной девушки, независимой и своевольной (мятежный дух она унаследовала от отца, погибшего по вине Дельмаса), которая внесла в жизнь Биографа тревогу и беспокойство.

Биограф покидает Нуан. Но его обитатели успели вдохнуть залетевший вместе с ним ветер перемен, и что-то сдвинулось в их сознании: впервые за тридцать лет на единственную улочку Нуана выходит демонстрация уставших от слепой покорности людей.

Это пробуждение человеческого достоинства — главное в книге Катрин Лепрон. И не важно, что по воле писательницы вся история мифического нуанского государства привиделась во сне одному из ею же придуманных персонажей,— книга напоминает, что и наяву сохранились еще на свете такие уголки, которые долго и старательно обходит стороной Время.

Н. ПОПОВА

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ПЕРЕПИСКА ПИСАТЕЛЕЙ

В издательстве «Грайфенферлаг» вышла переписка выдающегося австрийского писателя Стефана Цвейга (1881—1942) и его соотечественника, поэта и прозаика Пауля Цеха (1881—1946). В книге, составленной и прокомментированной американским литературоведом Дональдом Дж. Давье, собраны 71 письмо Стефана Цвейга, а также 50 писем Пауля Цеха и его эссе «Стефан Цвейг — памятные записки», изданное в 1943 году в Буэнос-Айресе.

Первые письма датированы 1910 годом. В то время знакомство уже признанного новеллиста и драматурга Ст. Цвейга и его ровесника, неизвестного еще поэта П. Цеха, только начиналось. Вскоре оно переросло в крепкую дружбу.

В переписке содержатся интересные комментарии Ст. Цвейга к ранним стихам и переводам П. Цеха, его размышления о событиях 1916—1917 годов. Неизгладимое впечатление производят письма П. Цеха с фронтов первой мировой войны.

После прихода нацистов к власти оба писателя были вынуждены эмигрировать в Южную Америку. Ст. Цвейг тяжело воспринимал оторванность от широкого общественного антифашистского движения. Глубокая депрессия, которую ощущал писатель, привела его к трагическому концу. Последнее опубликованное в книге письмо было отправлено Цвейгом из бразильского города Петрополиса в Буэнос-Айрес в 1942 году, за несколько недель до его самоубийства.

Публикация переписки Ст. Цвейга и П. Цеха — еще один шаг по пути освоения наследия двух ярких представителей австрийской литературы.

БОЛГАРИЯ

ПИСАТЕЛИ — УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ ПРОТИВ ФАШИЗМА

Газета «Отечествен фронт» опубликовала статью, в которой рассказывается о том, как в первые дни после освобождения Болгарии от фашизма когда болгарские части вступили в войну, которую вел советский народ с гитлеровскими полчищами, была организована специальная бригада деятелей болгарской культуры. Командиром ее был известный поэт Ламар. Сразу же был налажен выпуск фронтовой газеты «Фронтовак», главным редактором которой стал прозаик Иван Мартинов, ныне Герой социалистического труда.

Помимо известных уже писателей в бригаду входили и молодые литераторы, те, кто позднее стали ведущими мастерами современной болгарской литературы.

Члены бригады не только выступали перед бойцами, но и ходили с ними в разведку, доставляли важные донесения в штаб, а некоторые, в том числе Младен Исаев, Ангел Тодоров, Петр Славинский, принимали непосредственное участие в боях на берегах Дравы. Здесь родилась поэма Ламара «Горан Горинов» — о болгарском бойце, которого называли болгарским Тёркиным; здесь писали свои стихи А. Тодоров, М. Исаев. Эти стихи М. Исаева потом вошли в его сборник «Война».

Последние известия с фронта регулярно передавали по передвижной радиостанции Павел Вежинов и Валерий Петров. Не случайно, что первый создал рассказы, а второй — стихи о событиях тех дней, до сих пор не утратившие своего художественного значения.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ СТИВЕНСОНА

В новелле «Моя первая книга «Остров Сокровищ», этом своеобразном предисловии к своему знаменитому роману, Роберт Льюис Стивенсон, обращаясь к «его величеству читателю», образно назвал его «своим хранителем». И, оказывается, был не так уж далек от истины: недавно в английском издательстве «Макмиллан» увидел свет «Путеводитель по произведениям Роберта Льюиса Стивенсона». В книге этой, любовно и бережно составленной Дж. Р. Хэммондом и построенной по принципу словаря-справочника, в алфавитном порядке представлены все рассказы, романы, очерки, заметки, эскизы, а также населяющие их персонажи, как имеющие имена, так и безымянные, изображенные несколькими штрихами.

В статьях, посвященных произведениям писателя, излагается история их создания, варианты сюжета, дается обзор критической литературы. Страницы же, рассказывающие об отдельных персонажах, порой напоминают статьи из «серьезных» биографических словарей — так тщательно удалось составителю справочника проследить их судьбы, вышедшие из-под пера талантливого писателя-романтика. Но, как отмечает лондонская «Файнэншл таймс», эта книга призвана скорее помочь тем, кто недавно открыл для себя Стивенсона, чем привлечь к нему новых читателей. Тем не менее «Путеводитель», как и предыдущие издания этой серии, посвященные творчеству Г. Уэллса, Ч. Диккенса, вызвал большой интерес, сообщает газета.

ВЕНГРИЯ

«ПАМЯТИ ДЮЛЫ ИЙЕША»

Так называется книга, вышедшая недавно в будапештском издательстве «Сепиродалми». В книгу (в ней более 600 страниц) вошли материалы, посвященные известнейшему венгерскому поэту Дюле Ийешу (1902—1983). Это воспоминания, статьи о его творчестве, рецензии на его книги, письма друзей, интервью, прощальные слова, сказанные у его гроба. Материалы эти самых разных жанров и написаны в разное время — от конца 20-х годов до начала 80-х. Все они, за исключением некоторых писем, когда-то уже появлялись в печати, но дневники самого Ийеша, которые он вел с начала 30-х годов и которые представлены здесь в отрывках, — новый, неизвестный еще читателю материал.

О Дюле Ийеше писали многие его современники, прежде всего его единомышленники, товарищи по борьбе, видные писатели, поэты, критики: М. Бабич, Л. Сабо, Ш. Вёреш, Т. Дери, П. Вереш, И. Шаркади, М. Ваци, И. Эркень. Ласло Немет еще в 1929 году разглядел в молодом поэте, увлеченном в те годы модными литературными течениями, незаурядное многогранное дарование. Михай Бабич в 1931 году тепло приветствовал Д. Ийеша, отмечая крестьянские корни его поэзии и высокую культуру стиха, общественный темперамент, юмор. Об Ийеше говорят в книге и представители других поколений, наши современники. Карой Сакони в своем лирическом эссе рассказал, какое глубокое впечатление на его отца, потомственного крестьянина, произвела книга Ийеша «Люди пусты».

«Эта антология, — пишет в послесловии к книге Матяш Домокош, — выражение признательности и любви к Ийешу, той любви, которая никогда не пройдет, пока на земле будут читать по-венгерски».

Поэзия и проза Ийеша приобрели мировую известность, и неудивительно, что в антологии читатель встретит стихи Пьера Эммануэля, посвященные Ийешу (параллельно даны французский и венгерский тексты), предисловие Умберто Альбини к итальянскому изданию «В ладье Харона», письмо Ийешу Мирослава Крлежи, воспоминания советских литераторов — Д. Самойлова, С. Залыгина, В. Лакшина, В. Огнева — о встречах с замечательным венгерским писателем, стихотворение Л. Мартынова, посвященное Ийешу.

В антологии представлен не только литературный, но и изобразительный материал — фотографии Ийеша разных лет, его дома в Буде, виноградника на берегу Балатона, где Ийеш любил работать, портреты писателя, выполненные венгерскими художниками, иллюстрации к его книгам. Воспроизведена здесь обложка первого сборника стихов поэта, вышедшего в 1928 году, обложка журнала «Ма», редактировавшегося Лайошем Кашшаком, где в 1924 году в переводе Ийеша были опубликованы стихи Кокто, Элюара; воспроизведены также открытки, посланные поэтом из Ленинграда на родину — в 1934 году Ийеш приезжал в нашу страну на Первый съезд советских писателей, рукописи его последних, неопубликованных стихов, обложки его книг, изданных в СССР, Польше, Франции, Англии, Швеции, Финляндии, Японии.

На выход книги широко откликнулась венгерская пресса. Журнал «Кёныввилаг» представил эту антологию своим читателям, сделав небольшой монтаж из ее материалов, включив в него, в частности, стихотворение Аттилы Йожефа, посвященное Ийешу. Газета «Непсабадшаг» опубликовала статью известного критика Иштвана Феньё. «Уже своим названием, своей идейной направленностью и нравственными принципами, — пишет критик, — эта книга не может не напомнить другую — «Памяти М. Бабича», изданную в 1941 году, в год смерти поэта». Составителем книги, посвященной Бабичу, был Дюла Ийеш.

Среди материалов антологии И. Феньё выделяет, в частности, «Воззвание к крестьянам», написанное Ийешем «с такой нравственной силой, какой до того времени не знала венгерская литература». Озабоченность общественными проблемами, — вспоминает поэт Дёрдь Шомьё, — не только никогда не мешала Ийешу-художнику, а, наоборот, была необходимой предпосылкой для его творчества».

«К сожалению, мы не узнаем из книги, — пишет в заключение статьи И. Феньё, — что думают об Ийеше сегодняшние молодые писатели. — Нас волнует, что возьмет новое поколение из его наследия, что будет развивать дальше, а что оно сочло устарелым, ненужным. Ведь обращенность к будущему — самая характерная черта поэзии Ийеша.

«ПРЕКРАСНАЯ ЗВЕЗДА РАССВЕТА»

Восьмого февраля этого года — в годовщину освобождения Советской Армией Будапешта — в столичном театре имени Мадача состоялась премьера спектакля «Прекрасная звезда рассвета» по одноименной пьесе известного прозаика и драматурга, лауреата Государственной премии Кошута Дёрдя Сараза, которая посвящается этому событию в истории Венгрии.

Накануне премьеры Дёрдь Сараз в интервью журналу «Фильм, синхаз, мюжика» сказал: «Моя пьеса — это и реквием, и любовное признание одновременно, реквием по разрушенному городу и любовное признание этому городу, который возродился из пепла, как птица феникс. Реквием по старому городу, городу моего детства, по его улицам, деревьям, домам, но в первую очередь по тем, кто погиб за него... И любовное признание возрожденному городу — городу моей юности».

На снимке: Илдико Хювешвёльде — исполнительница главной роли в спектакле «Прекрасная звезда рассвета».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

Действие пьесы, составляющее драматургическую ее основу, предельно просто и, как следует из рассказа Сараза, глубоко символично. Юношу-солдата преследователи убивают на глазах его любимой. Девушке же удается спастись. Несмотря на все тяготы войны, она пронесла под сердцем его дитя, потому что страстно хотела продолжения жизни...

Этот спектакль — в своем роде современная мистерия. В нем оживают вифлеемские игры, древние танцы невест, шествия волхвов. В нем использованы произведения венгерской народной поэзии, русские былины, румынские и южнославянские народные баллады, надгробные плачи и песни о красоте Будапешта и Дуная.

Героем пьесы, сказал Сараз, является народ. Его поэзия, его искусство передают в пьесе боль и страдания, радости и надежды.

ГДР

ДИАЛОГ В ПИСЬМАХ

В издательстве «Ауфбау» вышла переписка выдающихся немецких писателей Лиона Фейхтвангера (1884—1958) и Арнольда Цвейга (1887—1968), составленная и прокомментированная литературоведом из США Га-

ролвдом фон Хоффе. В двух томах собраны письма, охватывающие период с 1933 по 1958 год.

Дружба писателей началась еще в 1923 году и продолжалась больше трех десятилетий. Вынужденные эмигрировать из Германии, Фейхтвангер и Цвейг не прерывали дружеских отношений, превратив привычные беседы в диалог в письмах: потребность в общении, в советах, критических замечаниях оказалась сильнее расстояний. Удивительно, что, несмотря на все перипетии военного и послевоенного времени, на все превратности судеб эмигрантов, эта переписка почти полностью сохранилась в архивах А. Цвейга в ГДР и Л. Фейхтвангера в США.

Фейхтвангер сказал однажды, что по сравнению с Цвейгом он хуже владеет эпистолярным жанром. Действительно, по мнению обозревателя газеты «Нойес Дойчланд» профессора Д. Шиллера, описания повседневной жизни эмигрантов, личных и творческих проблем у Цвейга более подробны и живописны. В то же время они более субъективны, полны сиюминутных настроений, тогда как письма Фейхтвангера куда трезвее и аналитичнее.

Поразительно, как бескомпромиссно и вместе с тем с полным сознанием истинной художественной значимости творчества собеседника вели разговор друг с другом писатели. Постоянный обмен мнениями помогал им прояснить свое отношение ко многим проблемам. Это было тем более важно, что, как указывал Арнольд Цвейг, после прихода нацистов к власти «у нас нет больше общественного мнения, с которым можно было бы считаться. Мы сами должны создавать его. Поэтому мне кажется, что в интересах дела необходимо дискутировать с предельной откровенностью».

Мировоззренческие позиции писателей, их взгляды на смысл и цель творчества во многом совпадали. Убежденные антифашисты еще до эмиграции, союзники революционного рабочего движения, они мечтали о социалистическом преобразовании общества. В 1943 году Цвейг писал своему старому другу: «Я думаю, что после настоящей немецкой революции мы не колеблясь внесем наш вклад в дело восстановления цивилизации».

Вернувшись из эмиграции, Цвейг стал активным участником строительства социализма в Германской Демократической Республике. Его избрали президентом Академии искусств, депутатом Народной палаты.

Фейхтвангер с огромным интересом читал письма Цвейга из ГДР. Они были для него ценным источником, по которому он судил о событиях, происходивших в обоих немецких государствах.

Переписка писателей не только дает представление о жизни антифашистской эмиграции и литературной общественности послевоенных лет, расширяет наши знания о судьбах самих писателей и их творчестве, переписка эта — впечатляющий человеческий документ, живое свидетельство многолетней верной дружбы.

ЗНАКОМСТВО С ГОРЬКИМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Читатели ГДР хорошо знакомы с творчеством Алексея Максимовича Горького. В ГДР было опубликовано его собрание сочинений, неоднократно издавались отдельные произведения писателя. Книга «М. Горький. Переписка с советскими писателями», вышедшая недавно в издательстве «Академи», дает представление не только о Горьком — писателе и человеке, но и о советской литературе 20—30-х годов. В сборник вошла переписка с Фединым, Гладковым, Пришвиным, Вс. Ивановым, Бабелем, Леоновым, Пильняком, Шолоховым и другими писателями, большинство из которых в ту пору только начинали свою литературную деятельность.

Издание, подготовленное к публикации и прокомментированное Ильзой Идиковской, по мнению обозревателя газеты «Нойес Дойчланд» профессора Антона Хирше, принесет радость как широкому кругу читателей, так и самым взыскательным специалистам - литературоведам. «До сих пор на немецкий язык было переведено только 20 писем Горького,— отмечает А. Хирше.— Теперь их переведено 260. Таким образом существенно возрос объем информации, а новые комментарии представляют несомненную научную ценность».

К числу удач новой книги можно отнести также лаконичное и содержательное предисловие составительницы сборника, высокого качества переводы, в которых, насколько это возможно, отражено своеобразие стиля Горького и его многочисленных корреспондентов.

Лейпцигский театр «Нойе сцене» поставил спектакль по пьесе Уве Зегера «За пределами вины», в котором рассказывается непростая история жизни одного рабочего коллектива. «В спектакле, как явствует из названия, ставятся вопросы о долге, об ответственности, о доверии к людям»,— пишет журнал «Театер дер цайт».

На конкурсе драм, состоявшемся в конце 1984 года, пьеса «За пределами вины» была отмечена премией.

На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Театер дер цайт»)

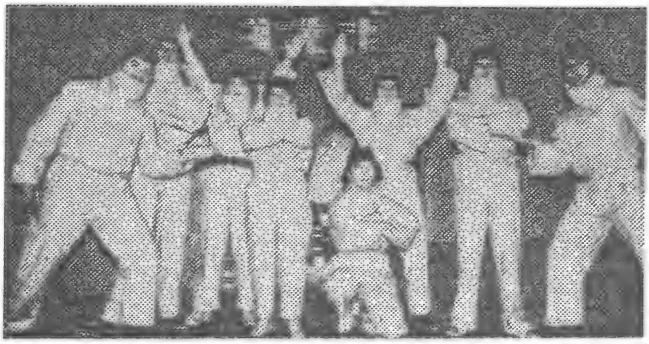
ГРЕЦИЯ

«КЛОП» В АФИНАХ

«Театр Кесариани» в греческой столице знают все. Он расположен в рабочем районе Кесариани, известном во всей Греции своими революционными традициями. За время своего недолгого существования театр много сделал для пропаганды лучших образцов театрального искусства, формирования у зрителей (прежде всего у молодежи) вкуса к пьесам, вошедшим в сокровищницу национального и мирового театра.

В нынешнем театральном сезоне на сцене «Театра Кесариани» с большим успехом идет спектакль по пьесе В. Маяковского «Клоп» (перевод Ариса Александру), поставленный известным режиссером Никосом Харалампусом.

«Мы давно мечтали поставить этот спектакль,— говорит художник Эрси Дрини.— Ведь Маяковский — один из крупнейших поэтов мира. Это он воспел Революцию, изменившую ход истории. Всей своей жизнью, всем творчеством Маяковский ра-



На снимке: сцена из спектакля «Клоп».

(Газета «Ризоспастис»)

ботал на Революцию. В то время, когда он писал «Клопа», молодой советский театр не только поднимал острейшие социальные проблемы, не только показывал происходящие в стране разительные перемены, но уже пристально всматривался в приспособленческую психологию новоявленного мещанства, вынося ей суровый исторический приговор. Маяковский в «Клопе» бичует предавших Революцию, отошедших от борьбы. А ведь это актуально и сегодня, это созвучно поискам нашей прогрессивной молодежи. Устами Маяковского мы говорим нашему зрителю: «Борьба не кончается. Революция продолжается во имя лучшей жизни, лучшего общества, во имя Человека». Работая над постановкой «Клопа», мы прочитали все переведенные на греческий язык произведения Маяковского и все, что о нем написано. Нам очень хотелось, чтобы эта новаторская по содержанию и по форме сатирическая пьеса советского поэта взволновала греческого зрителя».

Спектакль «Клоп» получил высокую оценку театральной общественности Афин. В рецензии на новую работу театра газета греческих коммунистов «Ризоспастис», в частности, отмечала: «Театр Кесариани» и на этот раз оказался на высоте. Труппа отлично справилась с нелегкой задачей — воссоздать на сцене убийственно едкую, язвительную сатиру Маяковского».

ДАНИЯ

«РАЙ ДЛЯ БЛАЖЕННЫХ ДУРАКОВ»

В Дании и далеко за ее пределами имя Людвига Хольберга не нуждается в комментариях, пишет литературный обозреватель газеты «Ланд ог фольк» Ранди К. Педерсен. Но даже немногие из его соотечественников знают, что прославленный комедиограф является автором романа «Подземное странствие Нильса Клима» (1741). Хольберг создал это произведение, уже будучи известным драматургом, основоположником датского театра.

Философско - сатирический роман «Подземное странствие Нильса Клима» беспощадно обличает ханжество, лицемерие, имущественное и сословное неравенство, угнетение женщины.

Герой романа — чудаковатый бергенский студент Нильс Клим — странствует по разным странам подземного мира. В государстве Нордак всем правят деньги — люди даже во сне судорожно сжимают ключи от сундуков. Страна Кабак населена безголовыми, которые занимают должности советников, камергеров, министров,— безголовые правители руководят безголовыми подданными. В стране Далак упразднен труд: безделье, которое становится нормой существования, является источником бед и несчастий.

После многочисленных приключений и в этих и в других странах (стране зверей, музыкальных инструментов) Нильс Клим сам становится поведителем всего подземного мира, жестоким тираном. Но, напуганный бунтом своих подданных, бежит и выбирается на свет.

Этот роман не устарел, хотя и написан почти два с половиной века назад, комментирует рецензент. Более того, он обрел свою новую жизнь в спектакле датского телетеатра: инсценировка Кая Ниссена и Каспара Рострупа, режиссура Каспара Рострупа. Взяв за основу спектакля роман Хольберга, очень сложный для сценического воплощения, создатели его ввели современную проблематику, выступая против угрозы превращения современного человека в робота, в бездушный винтик электронно-технологического общественного механизма.

Авторы спектакля, как и Хольберг в своем романе, разоблачают псевдоутопистов, мечтающих о создании «рая для блаженных дураков», лжеученых, примитивных снобов и невежд, самодовольных тиранов, замышляющих распри и войны.

Благодаря выразительной игре актеров, стремительности сценического ритма, точно найденным музыкальным и световым эффектам «Подземное странствие Нильса Клима» надолго запомнится зрителям, заключает рецензент.

На снимке: сцена из спектакля «Подземное странствие Нильса Клима».

(Газета «Ланд ог фольк»)

ИНДИЯ

КОГО ОТМЕТИЛА АКАДЕМИЯ

Как сообщает индийская пресса, в Дели оглашены имена лауреатов Литературной академии Индии за 1984 год: отряд лауреатов академии пополнился новыми именами. Органы печати особо подчеркивают тот факт,

что премии Литературной академии удостоен выдающийся поэт литературы хинди Рагхувир Сахай за сборник стихов «Потерянные люди».

Звания лауреатов Литературной академии за 1984 год удостоены малаяльский поэт — главный редактор журнала «Поэзия Кералы» Аяппа Паникар, поэт и новеллист литературы телугу Алури Байраги, ассамский писатель Девендранатх Ачарья, тамильский прозаик Тирупурасундари Лакшми.

В числе новых лауреатов Литературной академии — выдающаяся маратхская поэтесса Индира Сант, бенгальский романист Сумареш Мазумдар, пенджабский драматург Капурсинх Гхуман, орисский новеллист Махапатр Нильмани Саху. Премии удостоен Хасуркар, автор исторического романа «Индийская девушка», написанного на санскрите.

Среди тех, кто удостоен премии за 1984 г.,— имена ряда литераторов, которые предпочитают создавать произведения на своих родных, хотя и не получивших официального признания, языках: это выдающийся майтхальский поэт Арсипрасад Синх, известный раджастханский поэт Сумерсинх Шекхават, пишущий на конкани драматург Пундалик Намк, автор созданной на догри поэмы «Кактусы в горшке» Шиварам Дип.

Премий академии удостоен также ряд литературоведческих работ, в частности книга Масуда Хасана Хана о творчестве Икбала.

ИОРДАНИЯ

РАССКАЗЫ АМИНА ФАРИСА МУЛЬХИСА

Кувейтский журнал «Аль-Араби» поместил рецензию на сборник рассказов иорданского писателя, палестинца по происхождению Амина Фариса Мульхиса «Хвосты». Как пишет автор рецензии Юсуф Абдалла Махмуд, А. Ф. Мульхис, умерший в 1983 году, был одним из основоположников современной иорданской новеллистики. Его сборник, опубликованный посмертно Ассоциацией иорданских писателей включает шестнадцать рассказов. Герои писателя — простые палестинцы, представители обездоленных слоев. В большинстве рассказов Мульхис рисует тяжелую судьбу палестинского народа, изгнанного со своей родной земли.

Рассказы, вошедшие в сборник «Хвосты», были в основном написаны Мульхисом в 50—60-е годы. Для поздних произведений писателя, как считает рецензент, характерно более зрелое понимание задач социальной борьбы и большее разнообразие художественных приемов по сравнению с ранним периодом.

ИТАЛИЯ

РОМАН АНДРЕА ДЕ КАРЛО

Первый роман Андреа Де Карло «Поврежденный поезд» вышел в свет, когда автору было 29 лет. Его представлял читателю Итало Кальвино. Де Карло быстро завоевал популярность, стал одним из самых читаемых писателей в стране, лауреатом Национальной литературной премии. Через три года выходит из печати новая книга писателя, сразу же вызвавшая пристальное внимание литературной общественности и читателей.

Но Андреа Де Карло, как утверждает еженедельник «Эуропео», сам является примечательной личностью. Восемнадцатилетним юношей он уехал в Калифорнию, где работал официантом в баре, учительствовал, играл в музыкальном ансамбле (по свидетельству журналистов, молодой писатель профессионально владеет гитарой), затем он поселился в Австралии, где разводил аллигаторов; сотрудничал в итальянской периодической печати в качестве зарубежного корреспондента. Де Карло сам оформляет обложки своих книг, занимается фотографией. Он участвовал в создании документального телефильма о работе Федерико Феллини над картиной «И плывет корабль», встречался с Феллини и на съемочной площадке в качестве актера. Написал сценарий для Антониони, предпринял попытку снять игровой фильм на основе своего романа «Птицы в клетках и вольерах», но этот замысел не был осуществлен.

Но важнее всего для него — литературное творчество. Последний роман Андреа Де Карло называется «Махно» — по имени главного персонажа. Персонаж этот — по оценке корреспондента газеты «Паэзе сера», «маленький диктатор» несуществующего, но, как отмечают критики, очень похожего на Италию государства. «Фальшивый Цезарь, слабый, мелкий, ничтожный», он вознесся на головокружительную политическую высоту с помощью средств массовой информации. Бывший актер и певец, герой «голубого экрана», он обладал даром очаровывать обывателя, а когда выступал по телевидению с мимическими пародиями на политических деятелей, достиг такой популярности, что публика захотела именно его видеть у кормила государственной власти. В итоге «он оказывается жертвой собственной игры» — комментирует перипетии

Газета «Паэзе сера» отмечает, что в последнее время в Италии после увлечения экспериментальным театром вновь возродился интерес к театру «актерскому». Самой большой актерской удачей считается исполнение Витторио Гасманом роли Макбета в спектакле по одноименной пьесе Шекспира, поставленном в Вероне.
На снимке: Витторио Гасман в роли Макбета.

(Газета «Паэзе сера»)

судьбы главного персонажа романа рецензент еженедельника «Эпока». Рушится экономика страны, и толпа, еще недавно исступленно обожавшая своего кумира, отрекается от него.

Западные средства массовой информации зачастую «создают» героев, вознося на пьедестал ничтожества и формируя при этом фальшивые идеалы, заключает «Эпока».

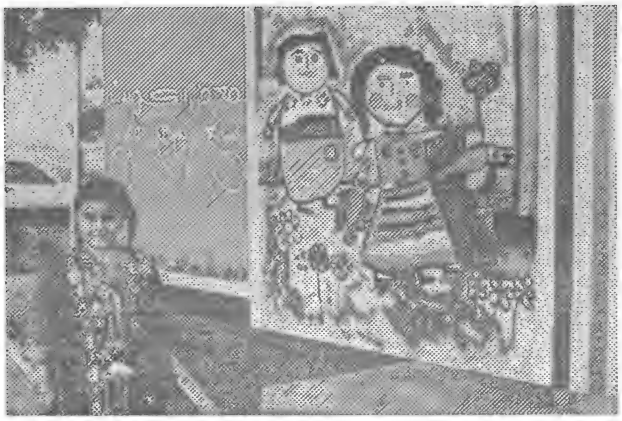
КУВЕЙТ

КОНЧИНА АБДАЛЛАХА САННАНА

Журнал «Аль-Араби» сообщает о кончине известного кувейтского поэта Абдаллаха Саннана. Кувейт и древо поэзии арабского мира, говорится в некрологе, потеряли поэта, который обогатил сокровищницу арабской поэзии многочисленными стихотворениями, выражавшими тревогу не только о судьбе страны и арабского мира, но и о судьбе всего мира.

А. Саннан родился в 1917 году в Кувейте. В молодые годы преподавал в школах. Четыре года провел в Индии, занимаясь различной работой. Вернувшись в Кувейт, находился на государственной службе в правительственных ведомствах и министерствах.

А. Саннан был одним из членов—учредителей Ассоциации литераторов Кувейта и не раз представлял страну



В Кувейте большое внимание уделяется образованию и художественному воспитанию детей. При Национальном совете по делам культуры, искусств и литературы создан Отдел культуры ребенка, возглавляемый педагогом-энтузиастом госпожой Амаль аль-Ганем. Отделом организованы детские художественные студии, регулярно проводятся выставки детского рисунка.
На снимке: На VII выставке детского рисунка в Кувейте.

(Журнал «Аль-Араби»)

на съездах писателей за рубежом.

Первый сборник стихов поэта был опубликован в 1964 году. В 1983 году вышел четырехтомный диван Саннана «Дуновения залива».

Поэту посвящена книга «Абдаллах Саннан. Исследование и избранные произведения», составленная известными кувейтскими литераторами Халидом Саудом аз-Зейдом и доктором Абдаллахом аль-Утейби.

МАЛАЙЗИЯ

ВЫСТАВКА ЛИТЕРАТУРЫ МАХУА

Литература махуа, или малайско-китайская литература, включает в себя произведения десятков писателей — представителей местных китайцев, составляющих более трети населения Малайзии.

Первая в истории страны выставка публикаций малайско-китайских писателей за 1919—1982 годы с успехом демонстрировалась недавно в городах Куала-Лумпуре, Джохор-Бару, Серембане и Малакке. Как сообщается в журнале «Деван састра», выставка привлекла внимание местных китайских читателей и послужила мощным стимулом для малайских писателей, пишущих по-китайски.

НИГЕРИЯ

ЛЮБОПЫТНОЕ НАЧИНАНИЕ

Нигерийский город Энугу становится одним из крупных литературных центров Западной Африки. В последние годы там создано несколько издательских фирм. Их деятельность способствует появлению на книжном рынке произведений африканских авторов.

По сообщению выходящего в Великобритании библиографического журнала африканской литературы «Африкэн бук паблишинг рекорд», оригинальную форму работы с писателями проводит издательство «Дельта пабликейшен (Наиджириа) лимитед». С целью поощрения нигерийских литераторов к созданию художественных произведений, представляющих интерес не только для местных читателей, но и для зарубежной аудитории, оно ежегодно проводит конкурс на лучшее произведение, посвященное международной тематике. Требования к выдвигаемым на конкурс работам таковы: действие книг должно происходить за границей, герои, изображаемая обстановка и сюжет «должны импонировать читателям по обе стороны Атлантического океана». Для награждения победителей учреждены три крупные премии.

Как свидетельствуют первые результаты конкурса, качество представленных на суд жюри произведений пока не слишком высоко. Первой премии за 1983 год удостоена сентиментальная любовная история Хансена Айулы «Она умерла вчера». Вторая премия досталась Кристоферу Абани за шпионский боевик «Хозяева концерна». Третью премию получил Питер Крукру за мелодраму «Страдающая душа».

Устроители надеются, что в будущем результаты конкурса окажутся более обнадеживающими.

НИДЕРЛАНДЫ

ВЫСШАЯ ПРЕМИЯ ПОЭТУ

Известному нидерландскому поэту Люсебергу, знакомому советским читателям по сборнику «Из нидерландской поэзии» («Прогресс», 1977), присуждена высшая премия нидерландской литературы. В отчете жюри, в состав которого входили видные литературоведы и писатели, опубликованном в журнале «Опен дейр», Люсеберг охарактеризован как поэт-бунтарь, поэт-экспериментатор, борющийся против всевозможных форм догматизма в поэзии.

В статье указано, что поэтическое творчество Люсеберга неразрывно связано с социальными проблемами, среди которых важное место занимает проблема роли поэта в современности. Его стихи, гневно обличающие все формы коррупции власть имущих, отличаются большой искренностью и высоким накалом чувств.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

«ТИХИЙ БЕРЕГ И ШУМНОЕ РИСТАЛИЩЕ»

Под таким заголовком иракский журнал «Афак арабийя» («Арабские горизонты») опубликовал корреспонденцию журналиста Кямеля Юсуфа Хусейна из ОАЭ, в которой рассказывается о литературной жизни этого одного из самых молодых арабских государств.

«Эмираты, — начинает свой рассказ К. Ю. Хусейн, — представляются тихим берегом, дышащим очарованием и красотой и ждущим поэта, который бы восславил его. Одно лишь безмолвное побережье будет простираться перед вами до тех пор, пока вы не решитесь снять сомбреро туриста, и утренний ветерок не обвеет вам голову. Тогда вы увидите рядом с тихим берегом шумное ристалище».

В эмиратах, входящих в ОАЭ, много делается в области культуры. В клубах и на страницах газет проводится множество дискуссий на самые различные общественные и литературные темы. В стране развиваются современные жанры литературы, прежде всего новеллистика.

О развитии новеллистики в ОАЭ корреспонденту рассказал один из самых известных литераторов этой страны, писатель и критик Абд аль-Хамид Ахмад, недавно опубликовавший книгу «Новелла в эмиратах». Творчество писателей-новеллистов рассматривается в книге на широком фоне экономической и общественной

жизни страны. Особое внимание автор уделяет изменениям в жизни эмиратов в результате нефтяного бума в конце 60-х—начале 70-х годов, когда прежде мало кому известные пустынные арабские княжества оказались среди главных поставщиков нефти на мировой рынок и прежнее традиционное общество с его ценностями уступило место «обществу алчного потребления», которое «зиждется на хрупкой, непроизводительной основе».

Возникновение новеллистики в эмиратах Ахмад относит к концу 50-х годов. Первым писателем-новеллистом в стране был Абдалла Сакр Ахмад Магариби, опубликовавший первые свои произведения в журналах, издававшихся местными литературными клубами. В 1973 году вышел сборник его рассказов под названием «Доска» — первый новеллистический сборник в ОАЭ. Дело, начатое Магариби, продолжили в начале 70-х годов молодые новеллисты Али Абдалла Али, Музаффар аль-Хадж, Абд аль-Азиз Халиль, Мухаммед Али аль-Мурри и Абд аль-Хамид Ахмад.

С 1974 по 1979 год в новеллистике ОАЭ царило затишье, однако в самом конце 70-х годов начали появляться произведения, качественно отличавшиеся от первоначальных опытов. Для них характерны глубина содержания, хороший язык, высокий художественный уровень. Лучшие представители этой «новой волны» — Абд ар-Рида ас-Саджавани (сборник новелл «Те времена» и «Ошибки девушек»), Мухаммед Хасан аль-Харби (сборник «Нарушение обычая племени») и Мухаммед аль-Мурр (сборники «Последний шанс» и «Другая любовь»).

В последние годы в новеллистике ОАЭ появился ряд новых имен, среди которых имена женщин--писательниц. Это Сальма Матар Сейф, Марьям Джома Фарах, Амина Бешехаб, Лейла Ахмад, Саид аль-Ханаки.

В заключение интервью Абд аль-Хамид рассказал о своем собственном творчестве, в частности, о сборнике рассказов «Плавание по бурному заливу» и о новой книге новелл, подготовленных им к печати. Как он заявляет, цель его творчества — «пробудить совесть общества: может быть, оно проснется, начнет созидать и задумается о своем будущем; может быть, его первоосновой станет человек, а не одни только деньги».

ПОЛЬША

85-ЛЕТИЕ ЛЕОНА КРУЧКОВСКОГО

Как отмечала в свое время критика, с именем Леона Кручковского связана целая эпоха становления и развития польской социалистической литературы. Он родился в 1900 году в семье переплетчика, окончил химический факультет Высшей промышленной школы в Кракове, работал сначала как инженер-химик, а потом учительствовал в разных городах Домбровского угольного бассейна. Именно там, среди шахтеров и металлургов «Черного острова», происходит становление взглядов будущего писателя. Первая книга стихов Леона Кручковского «Молоты над миром» появилась в 1928 году. Но поэзия не была сильной стороной его дарования, он обратился к прозе. Один за другим появляются романы «Кордиан и хам» (1932), «Павлиньи перья» (1935), «Тенёта» (1937), ряд публицистических статей.

Роман «Кордиан и хам» вызвал острые идеологические споры, тем не менее критика справедливо признала этот роман первым марксистским произведением в польской литературе, первой попыткой классового подхода к оценке исторических событий. В 1935 году по этому роману Кручковский сделал инсценировку для театра «Комедия». Спектакль, как и роман, был встречен прогрессивной общественностью с большим энтузиазмом и сопровождался столь бурными антиправительственными выступлениями, что у театра дежурили полицейские фургоны.

Антифашистская тема, поднятая Кручковским в его первой, еще несовершенной драме «Герой нашего времени», стала одной из центральных в его творчестве. И публицистические статьи, и романы писателя разоблачали легенды буржуазных идеологов о «единстве нации», об «общественной солидарности», были направлены против национализма и фашизма.

Началась вторая мировая война. Во время сентябрьских событий 1939 года Кручковский попадает в лагерь для военнопленных, где находится до конца войны. Вернувшись на родину, писатель целиком включается в борьбу за утверждение народно-демократического строя в Польше.

В 1945 году Леон Кручковский вступает в Польскую рабочую партию. В 1949—1956 гг. он председатель Союза польских писателей, с 1950 года — член Всемирного Совета Мира. После войны выступает преимущественно как драматург и по праву считается создателем социалистического театра. Он писал, что «театр должен в полный голос выражать передовые идеи нашего времени, должен показывать человека в историческом развитии, поддерживать и укреплять его веру в возможность социального переустройства мира, в эффективность коллективных усилий». Подтверждением этому явились лучшие драмы самого Кручковского: «Возмездие», «Немцы», «Первый день свободы», «Юлиус и Этель».

Драма «Немцы» обошла сцены многих театров мира. Идею пьесы Кручковский определил как попытку уяснить, в чем состояли вина и заблуждения «порядочного немца», ибо «на его вину и заблуждения гитлеризм опирался прочнее, чем на эсэсовские дивизии и гестапо». Драма «Немцы» беспощадно разоблачала пагубность нейтрального отношения к фашизму.

В другой драме, «Первый день свободы» (по ней был сделан фильм, с успехом прошедший на экранах нашей страны), Кручковский говорит о неразрывной связи внутренних побуждений человека с внешним миром, о необходимости активизации действий всех и каждого для переделки этого мира в согласии с подлинно гуманистическими идеалами.

Кручковскому дважды присуждалась Государственная премия ПНР, в 1953 году — международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

Творческий путь Леона Кручковского завершил сборник «Очерки из ада честных» (1963). Как и драмы последних лет, эти очерки были откликом на сложнейшие идеологические и политические вопросы времени. Сейчас варшавский «Театр на Охоте» обратился к драмам Л. Кручковского «Первый день свободы». «Юлиус и Этель», а также инсценировал «Очерки из ада честных», в которых Кручковский, так же как и в своих драмах, резко осудил «здравый» смысл обывателей, их стремление любой ценой сохранить свой покой, драматург противопоставил этому миру мир подлинных человеческих ценностей, за которые борются коммунисты.

Как отмечала критика, Леон Кручковский принадлежал к тем крупнейшим мастерам социалистического реализма, творчество которых всегда было неустанным поиском новых путей развития социалистического искусства.

Польское телевидение показало спектакль «Тихий Дон» по одноименному роману выдающегося классика советской литературы Михаила Шолохова.
На снимке: в роли Григория Мелехова — Игнаци Гоголевски, в роли Аксиньи — Мария Хвалибог.

(Еженедельник «Пшеглёнд тыгодновы»)

США

«ЗЕМЛЯ НЕПОЗАБЫТАЯ»

Так называется новый роман Патрика Смита, чье творчество хорошо знакомо советским читателям по книгам «Ангельский город» (см. «ИЛ», 1981, № 2) и «Навеки остров». Речь в нем идет о Флориде, благодатном и живописном уголке северо-американского континента, куда в 1858 году приехали в поисках счастья Тобайас и Эмма Макайви — герои романа. Семью бедного фермера постигла обычная участь: глинистый клочок земли, который был у Макайви в Джорджии, перестал давать урожаи, и Тобайас решил, бросив все, начать жизнь «с нуля» в незнакомом крае.

Но и здесь им пришлось нелегко. Судьба к Макайви по-прежнему была неблагосклонна. Природа Флориды словно решила объявить бой пришельцам. Летом тучи москитов совершали налеты, после которых от неведомых болезней полегло почти все стадо. Осенью с гор к ним повадился голодный медведь, и в конце концов фермерская семья лишилась всего зимнего запаса вяленого мяса. А потом, когда во флоридскую глухомань дошли первые слухи о начале войны между северными и южными штатами, на их ферме появились новые непрошеные гости — дезертиры из армии конфедератов...

Но Макайви не сдаются. Снимаясь с обжитого места, они передвигаются дальше к югу, поближе к океанскому берегу. Так проходят годы, проходят десятилетия. Три поколения Макайви сменяют друг друга, продолжая начатую Тобайасом упорную борьбу за выживание. Семейство Макайви, которому пришлось вынести за полвека бесчисленные беды, по словам обозревателя еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», являет собой олицетворение характера американских пионеров, осваивавших девственные просторы континента. Писатель, отмечает далее еженедельник, мало уделяет внимания тонкостям психологического анализа. Его больше привлекает изображение упорной битвы человека с природой, победителем в которой оказывается человек, но какой ценой? Некогда прекрасная земля превратилась в XX веке в стеклянно-железобетонный ад, отравляющий своим ядом природу. Таков безрадостный итог «битвы» с природой, затеянной Макайви.

Сын Макайви-старшего, Захария, продолжает дело отца, но он уже больше не находит удовольствия в тяжком труде на земле, а поглощен спекуляциями земельными участками. Его сын Сол преуспевает еще больше: в 20-е годы «процветания» он сколачивает солидное состояние, становясь одним из магнатов Флориды. Как и его дед, Сол тоже сражается, но только за то, чтобы его имя гордо красовалось на вывеске еще одного отеля или банка.

К концу книги, пишет обозреватель «Нью-Йорк таймс бук ревью», трудно отделаться от чувства антипатии к «победителям» Макайви: Смит убедительно показывает, как их несгибаемая воля и стремление выстоять в трудной борьбе выродились в жестокую слепую страсть к наживе, в хищническую погоню за деньгами. Традиционная для американской литературы жанровая разновидность романа, получившая название «роман успеха», под пером Смита, подчеркивает еженедельник, трансформировалась в острокритический «роман антиуспеха», который прочитывается как гневное осуждение безудержного развития капитализма на «непозабытой» земле отважных пионеров.

«В ПОИСКАХ ГАРБО»

Известный американский кинорежиссер Сидней Люмет в своей последней комедии умело обыгрывает один из голливудских мифов и всю иллюзорную «систему звезд».

Хотя его фильм и называется «В поисках Гарбо», зритель так и не увидит в нем легендарную исполнительницу ролей Маты Хари, Анны Карениной, Маргариты Готье и королевы Христины — разве что по ходу действия она промелькнет на экране телевизора. В фильме же Гарбо появляется лишь в последних кадрах — спиной к зрителю, в строгой фетровой шляпе и темных очках — и произносит одну-единственную фразу: «Как поживаете, Джильберт?»

Этот Джильберт Рольфе, к которому обращается Гарбо, мелкий конторский служащий, выполняет последнюю просьбу своей матери — поклонницы легендарной дивы — о том, чтобы он помог ей увидеть хотя бы перед смертью недоступную звезду во плоти и крови. Сын умирающей разыскивает Гарбо по всему Нью-Йорку, преодолевая немыслимые преграды, попадая в смешные ситуации до того дня, пока не встречает Гарбо. Уступая мольбам, Гарбо навещает умирающую, но зритель не присутствует при их разговоре и остается вместе с преданным сыном в коридоре. Так и неизвестно — была ли то действительно «божественная» Гарбо или ее двойник, но мать Джильберта счастлива.

И тем не менее Грета Гарбо не только миф. В свои восемьдесят лет она живет в Нью-Йорке и редко покидает одинокую квартиру в Манхэттене. Ей принадлежит сакраментальная фраза, которую она произнесла еще в 1961 году: «Старость — это кораблекрушение», но в памяти зрителей, как отмечает рецензент «Юманите», она остается как «непревзойденная Грета Гарбо».

На снимке: Грета Гарбо в наши дни.

На снимке: Грета Гарбо в молодости.

(Газета «Юманите»)

ФРАНЦИЯ

ПАМЯТИ АРАГОНА И ТРИОЛЕ

В Париже объявлено о создании «Общества друзей Эльзы Триоле и Луи Арагона», главная задача которого — увековечение памяти писателей, пропаганда их творчества. Среди первых членов общества — прогрессивные деятели культуры из разных стран: близкие друзья Арагона и Триоле — актеры Мадлен Рено и Жан-Луи Барро, певец и композитор Жан Ферра, испанский поэт Рафаэль Альберти, греческий писатель Янниc Ритсос и другие.

Активисты общества намереваются активно поддерживать «Институт Арагона — Триоле», который вскоре будет организован при содействии Министерства культуры Франции.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ИВУ МОНТАНУ

В последние годы известный певец Ив Монтан занял откровенно антисоветскую и антикоммунистическую позицию, которую он всячески подчеркивает в своих публичных высказываниях. Мы приводим полностью открытое письмо Ролланa-Гарсиа, адресованное Иву Монтану и опубликованное в «Юманите-диманш» под названием «Двадцать семь»:

«В своем недавнем интервью вы заявили: «Мне настолько опротивели коммунисты, что, если мне встретится на пути человек старше пятидесяти пяти лет, который все еще остается членом ФКП, я дам ему пощечину. Для меня он так же опасен, как эсэсовец».

Я написал книгу «Несгибаемый с нежным сердцем» о моем отце, который был подлинным участником Сопротивления. Доживи он до нынешнего дня, он был бы из тех, кому вы жаждете «дать пощечину», сравнивая их с эсэсовцами. «Несгибаемый» — эсэсовец! Человек, посвятивший жизнь борьбе за счастье человечества.

22 октября 1941 года в Шатобриане вместе со своими товарищами был расстрелян юный семнадцатилетний лицеист Ги Моке—все они были коммунистами. В своем предсмертном письме он обращался к нам: «Мы идем на смерть, так будьте же достойны нас, двадцати семи».

Господин Монтан, вы можете поблагодарить нацистских палачей за эту услугу — они сэкономили вам двадцать восемь пощечин, ведь всем этим мученикам было бы сегодня больше пятидесяти пяти лет.

Вы разбогатели и перешли в другой лагерь. Это ваше право. Но вы с особой яростью принялись оскорблять коммунистов, потому что не можете им простить их требования обложить дополнительным налогом огромные состояния, и я не могу больше молчать.

И вот что просит передать вам мой сын, которому двадцать один год: «Не тронь моего друга!»[1] Ведь его отцу через месяц исполнится пятьдесят пять лет.

Роллан-Гарсиа
38550 Ле Пеаж-дю-Руссийон»

[1] Антирасистский лозунг, с которым выступила сейчас прогрессивно настроенная французская молодежь.

На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Шпигель»)

ФРГ

ПО МОТИВАМ ДЕНИ ДИДРО

Ганс Магнус Энценсбергер однажды назвал своим любимым писателем великого французского просветителя и энциклопедиста Дени Дидро. Его новая пьеса «Друг человечества», поставленная в западноберлинском театре «Шлоспарк», создана по мотивам малоизвестной комедии Дидро «Он добр? Он зол?», которая была написана в 1781 году, но впервые опубликована лишь полвека спустя, а на сцене появилась только в 1951 году.

Энценсбергер превратил главного героя комедии Хардуина в самого Дидро, ввел в пьесу министра полиции де Мальверта, который в свое время заключил философа в тюрьму, а некоторых персонажей заменил другими, взятыми из разных произведений Дидро. Так, в пьесе появляются Жак-фаталист из одноименного романа и мошенник Деброссе из комедии «Обман».

Пьеса показывает один день из жизни Дидро. Философу 52 года, он гостит в имении своей знатной приятельницы, которой обещал написать ко дню рождения поздравительные стихи. Но до пера у него руки не доходят: то и дело является кто-нибудь, прося у Дидро помощи и совета. И «друг человечества» охотно помогает: влюбленным — соединиться в браке, вдове — получить пенсию за сына, второразрядному литератору — создать первоклассную комедию, мошеннику Деброссе — выработать план, как обвести вокруг пальца кредиторов и полицию. Когда же на сцене появляется министр полиции, Дидро и с ним затевает хитроумную интригу. Поскольку же он при этом не особенно разборчив в средствах, действия его порой имеют неожиданные последствия, порождая в конце концов забавную неразбериху.

«Если существует в наши дни литератор, близкий Дидро по темпераменту, так это Ганс Магнус Энценсбергер, — пишет в журнале «Шпигель» рецензент Харальд Визер. — Поэтому пьеса «Друг человечества» — не столько портрет художника и мистификатора Дени Дидро, сколько скрытый автопортрет самого Энценсбергера».

Иного мнения придерживается критик газеты «Франкфуртер альгемайне» Георг Хензель. Он сравнивает пьесу с комедией Энценсбергера «Враг человечества», появившейся пять лет назад. Если там автор переложил стихи Мольера на современный жаргон и придал им злободневное звучание, то здесь этого не произошло. «Энценсбергер лишь заострил и актуализировал некоторые сентенции Дидро, — пишет рецензент. — В пьесе можно встретить несколько метких, злободневно звучащих фраз о продажности политиков, о спекулянтах-банкирах... Но в целом автор не выходит за рамки первоисточника. Получилось схематично, простодушно и безобидно... Слишком много Дидро, слишком мало Энценсбергера».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВАЯ КНИГА ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Яромира Коларова, одна из самых известных ныне в Чехословакии писательниц, выпустила в свет новую книгу — повесть «Я хочу это дерево». Вышла она в издательстве «Чехословенски списовател». Я. Коларова хорошо известна в нашей стране, у нас переводились ее рассказы и повести («Наш маленький-маленький мир», «Мой мальчик и я» и др.). И вот — новое произведение писательницы. Талант, присущий Я. Коларовой, позволяет ей обращаться к такой «избитой» теме, как роман директора с секретаршей. Писательница не боится упреков в банальности: ведь речь в книге идет об истинной любви.

Сорокавосьмилетний Ян Бездека и двадцатилетняя Зузана очень привязаны друг к другу. Чувство их возникло не сразу, в начале повести Ян говорил о своей новой секретарше как о девушке, которую даже заме-

Братиславская киностудия «Коліба» снимает при участии западногерманских и австрийских кинематографистов новой художественный фильм по мотивам известной сказки братьев Гримм «Госпожа Метелица» и словацких сказок. Автор сценария — известный словацкий поэт и драматург Любомир Фельдек, режиссер — Юрай Якубиско, прославившийся не так давно своим фильмом «Тысячелетняя пчела». Как пишет журнал «Филм а дивадло», авторам удалось создать новое, оригинальное произведение, герой которого — мальчик, а потом и юноша не признает трудностей: «Все у него получается легко и весело. Он не мечтает о живой воде. Наоборот, отказывается от бессмертия ради настоящей жизни».

В роли госпожи Метелицы, одной из главных в фильме, снялась замечательная итальянская актриса Джульетта Мазина, памятная советским зрителям по фильмам «Ночи Кабирии» и «Дорога».

На снимке: режиссер Юрай Якубиско и Джульетта Мазина.

(Журнал «Филм а дивадло»)

тить трудно. Но постепенно милая и приветливая Зузана становится для него самым необходимым и дорогим человеком. Их роман не имеет счастливого конца, потому что герои книги не могут, не чувствуют себя вправе строить свое счастье за счет горя и слез других. Однако оба они способны бороться за любовь, нести ответственность за свои поступки. Зузана в конце повествования — это не та инфантильная, закомплексованная девушка, какой она была до встречи с Яном. Теперь это целеустремленная молодая женщина, способная создать свой дом — только не за чужой счет. В ней укрепилась вера в человеческую доброту, во всепобеждающую силу любви.

Остальные персонажи ни в коем случае не служат, как это зачастую случается, лишь фоном главным героям. Они столь же жизненно полнокровны и убедительны.

Я. Коларова обращается своим произведением ко всем нам, она утверждает им, что люди могут и должны быть внимательнее и добрее друг к другу. Взаимопонимание и человечность — вот то главное, что, по мнению писательницы, должно обязательно присутствовать в нашей жизни.

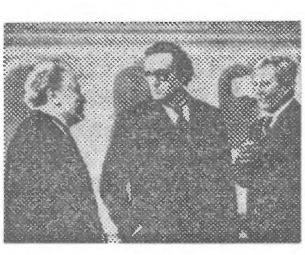
Чехословацкая критика очень доброжелательно встретила повесть «Я хочу это дерево». В частности, Я. Герштова в газете «Кмен» пишет, что книга эта знаменует собой новый этап в творчестве писательницы.

«ЗРЕЛАЯ МОЛОДОСТЬ»

Так называется новый фильм чехословацких кинематографистов, в котором рассказывается о молодых годах одного из выдающихся деятелей чехословацкого и международного рабочего движения Клемента Готвальда.

Фильм охватывает период пребывания Клемента Готвальда в Словакии, где он в молодости прожил около четырех лет, сначала работая столяром, позже — редактируя коммунистические издания «Правда худобы» и «Глас люду». В эти годы он формируется как революционер, проводит большую политико-воспитательную работу среди пролетарской молодежи, распространяет передовые идеи среди беднейших слоев словацкой деревни.

Фильм снимается по сценарию Макса Нитры и Павола Гейдоша. Режиссер — Мартин Тяпак. В роли Клемента Готвальда снялся актер Даниель Дите (на фото в центре).



ШВЕЦИЯ

НОВЫЕ ГЕРОИ АСТРИД ЛИНДГРЕН НА ЭКРАНЕ

В мире, созданном щедрой доброй фантазией шведской писательницы Астрид Линдгрен, которую называют «современным Андерсоном», рядом с хитрыми троллями, злыми великанами, страшными разбойниками, мудрыми и изобретательными зверушками возникли Малыш и Карлсон, Пеппи—Длинный Чулок, Братья Львиное Серд-

На снимке: кадр из фильма «Роня — дочь разбойника».

(Газета «Ланд ог фольк»)

це — настоящие, реальные, живые дети. Они проказничают, радуются, грустят, путешествуют в сказочные страны, защищают слабых и побеждают жестоких злодеев и драконов.

Книги Астрид Линдгрен и сделанные по ее сценариям фильмы одинаково привлекают детей и взрослых.

Сейчас на экранах Скандинавии идет фильм «Роня — дочь разбойника», снятый совместно кинематографистами Швеции и Норвегии. Действие фильма происходит в XIII веке, в горах и лесах живописного Дальсланда.

Герои фильма, малыши Роня и Бирк, —дети главарей враждующих разбойничьих шаек. И, как всегда в книгах и фильмах Астрид Линдгрен, пишет обозреватель датской газеты «Ланд ог фольк», настоящая дружба и доброта, рыцарство и благородство побеждают зло. Сказочный зрелищный фильм будит фантазию и добрые чувства детей.

ЯПОНИЯ

ВРЕМЯ СВОБОДЫ?

Японская литературная критика уделяет немало внимания роману писательницы Мидзуко Масуды «Время свободы», который недавно выпущен в свет издательством «Синтёся».

Роман повествует о судьбе молодой женщины Харуё Итии, которая дважды покидает родной дом, желая обрести самостоятельность. Однако «свобода» не приносит Харуё Итии счастья: перед ней встают и множатся сложные проблемы, она мечется и не может найти свое место в жизни.

По мнению критиков, в своем романе Мидзуко Масуда изобразила бунт молодежи против внешнего благополучия японской семьи, протест против косных традиций, ограничивающих возможности самовыражения женщины в современном японском обществе. Но протест этот обречен: стоит женщине вырваться из рутинной семейной обстанов-

ки, как она сталкивается с полным непониманием и неприятием со стороны общества. Писательница и литературный критик Рёко Умэхара в рецензии, помещенной еженедельником «Асахи сюкан», подчеркивает, что в романе ставятся важные для современной женщины вопросы: «Кто я на самом деле?», «Зачем я живу?» Рецензент отмечает тонкий психологизм романа Мидзуко Масуды, глубокое проникновение автора в тайники женской души.

НОВЫЙ ФИЛЬМ АКИРЫ КУРОСАВА

Новый фильм Акиры Куросава «Смута» — событие поистине знаменательное, поскольку Куросава, будучи крупнейшим японским режиссером и одним из ведущих мастеров мирового кино, за последние 13 лет снял только два фильма: «Дерсу Узала» (1975) и «Двойник» (см. «ИЛ», 1980, № 3). Фильм «Смута» — это, по выражению Куросава, «вывернутая наизнанку» история феодала XVI века Мори Мотонари, у которого было несколько преданных, благородных сыновей. Сценарий напоминает шекспировского «Короля Лира», но это вовсе не переработка известной трагедии, как поспешили объявить западные журналисты. XVI век в Японии характеризуется беспрестанной вооруженной борьбой между кланами и династиями, что во многом совпадает с обстановкой в Англии, описанной Шекспиром. И в первом и во втором случае сценарии Куросава были лишь дополнены некоторыми заимствованиями из Шекспира.

Куросава смог выпустить два своих предыдущих фильма исключительно благодаря финансовой помощи из-за рубежа: в 1975 году ему была предоставлена возможность снять «Дерсу Узала» в СССР; в 1979 году американские режиссеры Фрэнсис Коппола и Джордж Лукас приобрели права на международный прокат «Двойника» — только поэтому Куросава смог доснять фильм. Новый фильм «Смута» субсидировался вначале французской фирмой «Гомон», затем расходы взял на себя другой французский продюсер — Серж Зильберман.

Одна из причин непризнания Куросава в своей стране, несмотря на высокую оценку его фильмов за рубежом, состоит в том, что для японцев такой широкий успех только одного японца в международном масштабе подозрителен. Некоторые критики в Японии очень не любят Куросава, а люди, владеющие средствами, не считают его фильмы настоящим искусством и не дают субсидий. В одном из интервью журналу «Нью-Йоркер» Куросава говорил: «Японские критики упрекают меня в том, что я не делаю фильмов о современности. «Он тратит слишком много средств на большие исторические картины»,— говорят они, не понимая одного, что проблемы, которые я поднимаю, — это общечеловеческие проблемы, актуальные для всех времен».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ /зам. главного редактора/, **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ**
/отв. секретарь/, **К. А. ЧУГУНОВ** /зам. главного редактора/, **Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

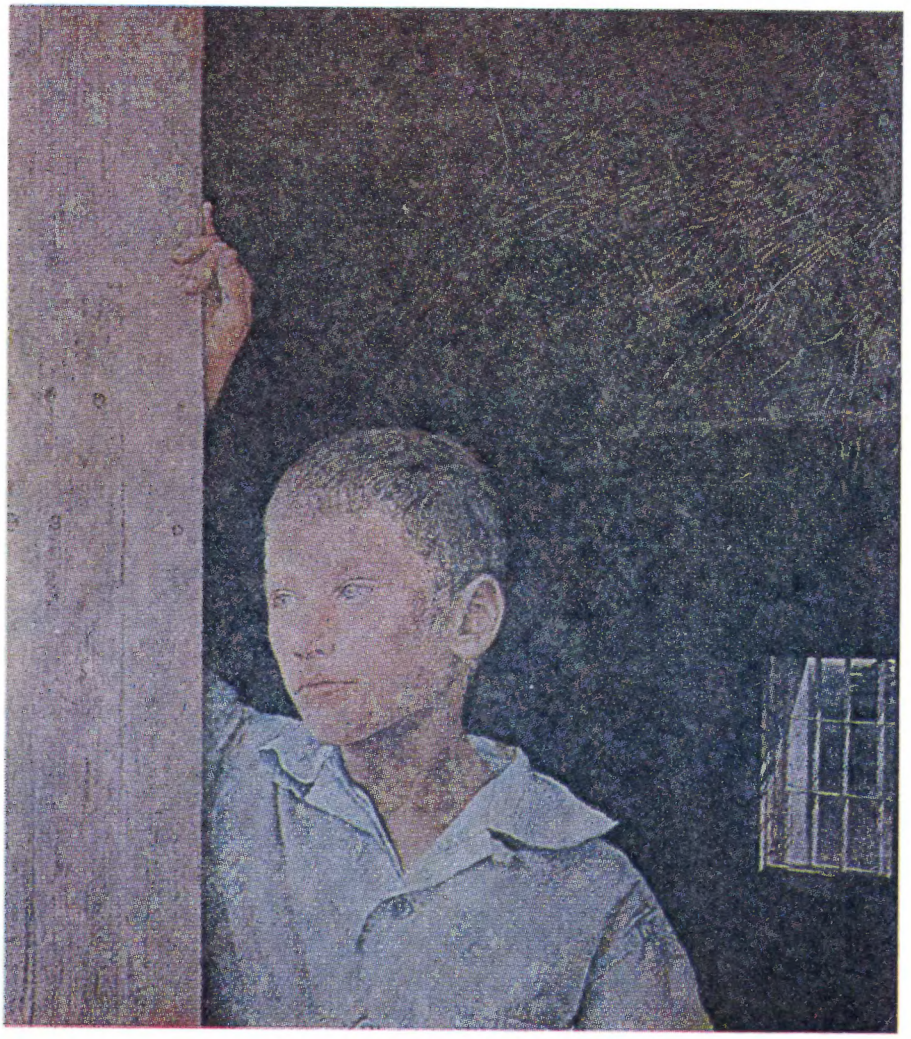
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 03.04.85. Подписано в печать 15.05.85 А 07167. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 26,5

Тираж 420.000 экз. Зак. 1360.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

РЕНАТО ГУТТУЗО (Италия). «Футбол».

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394